

ISSN 0130-7673

ЖО В Ы И  
М И Р

ЖО В Ы И  
М И Р

1986

8



1986



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 8

Август, 1986 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ — Из новой книги «Посещение», стихи	3
ВИКТОР ФЕДОТОВ — В летний день, стихи	5
ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР — Поезд, роман	7
ИВАН МАЛОХАТКИН — Колосья, стихи	87
ЧИНГИЗ АЙМАТОВ — Плаха, роман. Часть вторая	90
ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ — Стихи	149
ВАЛЕРИЙ РУБИН — Север, стихи	151
ВЛАДИМИР СОЛОУХИН — Камешки на ладони	154
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ — Пять стихотворений	175
ВЛАДИМИР ГОРДЕЙЧЕВ — Пора весомых слов, стихи	179
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ — Цена любви	180
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР — Черт во Франции. Предисловие и перевод с немецкого Л. Миримова	197
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
И. РОДНЯНСКАЯ — Незнакомые знакомцы. К спорам о героях Владимира Маканина	230
БОРИС ПАНКИН — На грани стихий	248
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	252
Н. Попова. Магия простых слов.	
Ал. Горловский. Принцип определенности.	

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ССРС»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	259
<b>И. Крупченко.</b> Полководец новой армии. <b>Михаил Коршунов.</b> Разговор на «Ты».	
<b>ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ</b>	263
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b>	
М. Кораллов.—Я. С. Драбкин. Четверо стойких. Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Франц Меринг, Клара Цеткин. Документальная повесть. ♦	
Борис Багаряцкий.—Анатолий Медников. Проспект 'Мира. ♦	
Владимир Шленский.—Любомир Левчев. Лирика. ♦	
Леонид Володарский.—Николай Старшинов. Дорога к читателю. ♦	
В. Лобачев.—Русская элегия конца XVIII — начала XIX в. Сатира русских поэтов первой половины XIX в. Русская романтическая поэма первой половины XIX в. Антологии. ♦	
Владимир Станцо.—Анатолий Эфрос. Продолжение театрального рассказа. ♦	
Л. Истягин.—В. М. Острогорский. Осторожно: «Немецкая волна». ♦	
Юрий Давыдов.—Русская Америка в «Записках» Кирила Хлебникова. Ново-Архангельск. ♦	
Борис Хавкин.—А. С. Бланк. Неонацизм — реваншизм. Мифы «психологической войны». ♦	
А. Майкапар.—Колокола. История и современность	264
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	272

---

---

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ



ИЗ НОВОЙ КНИГИ «ПОСЕЩЕНИЕ»

\*.\*

Нет, Христо Ботев — не музей.  
Стих, саблей вырванный из ножен,  
Все так же грозно непреложен.  
И Лермонтов — не юбилей.

Мой стих, тщетой не заболей,  
Будь вечно пламенной работе.  
И Лермонтов и Христо Ботев —  
Среди твоих учителей.

\*.\*

Здесь хочется писать стихи,  
Когда и сам еще не знаешь,  
Какие краски и штрихи  
Строкой летающей поймашь.  
Среди летающей листвы  
И птичьей тающей молвы  
В софийском парке столько троп,  
Где, как листву, в былые годы  
Мне вдохновения озноб  
Дарил стихи и переводы.

С почти библейской синевой  
Над матерью и над младенцем  
Здесь новый день шумит листвой  
У памятника ополченцам.

Осенней паутинки нить  
Натянутую разрывая,  
Мгновенье это сохранить  
Старается душа живая.

Среди летающей листвы  
И птичьей тающей молвы  
Что шепчут желтых лип верхи?  
Кто сыплет желуди горстями?  
Здесь хочется писать стихи,  
Здесь хочется шуметь ветвями.

### На Золотых песках

До счастливого легкого вздоха —  
 Столько дней задыханий и зим.  
 Как роскошна волна!.. Как неплохо  
 Слыть поэтом и быть молодым.

У зеленого синего моря,  
 У того золотого песка  
 На ветру я размыкал, как горе,  
 Немоту с холодком у виска.

Все проходит, как в песнях поется.  
 След недолго лелеют пески.  
 Все проходит, и все остается,  
 Отчего индевеют виски.

Но открылось, что это несложно —  
 Чтобы просто запела душа.  
 На краю бесконечности можно  
 Говорить обо всем не спеша.

О погоне за птицею белой,  
 О стихе, что горит под водой,  
 О подруге красивой и смелой,  
 Морем пахнувшей и резедой!

От морского соленого вздоха  
 Прикоснулась ко мне благодать.  
 Это, может быть, вовсе не плохо,  
 Что так долго я мог не дышать.

Это, может быть, вовсе не плохо  
 Там, где все-таки так глубоко...  
 До счастливого легкого вздоха  
 Было очень вчера далеко.

\* \* \*

У снега короткая память,  
 Но хочет ни свет ни заря  
 Какую-то лужу обрмить  
 Подтаявшего января.

Прошу его, как человека:  
 Останься подольше! А он...  
 День не отличает от века,  
 Не мной, а собой увлечен.

Он делает ветку хрустальной,  
 А кариатиду — живой.  
 И вдруг исчезает, печальный,  
 Как будто и свой и не свой.

И вновь начинается замять,  
 И вновь обнимает любя.  
 У снега короткая память.  
 Такая же, как у тебя.



---

---

**ВИКТОР ФЕДОТОВ**

★

## **В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ**

### **Арбат**

Повеселел Арбат. Таким красивым  
он не был в своей жизни никогда,  
нарядным стал и гордо-молчаливым,  
такой теперь красавец, хоть куда!

Открыт Арбат для пешего движенья,  
про шум автомашин забыл, отвык,  
ходи-броди, не зная опасенья,  
и поднимай свой зимний воротник.

Жизнь городская изменяет почерк,  
не удивило б, может, никого,  
когда бы показался вдруг извозчик,  
напомнив чем-то деда моего.

### **В летний день на Сухоне**

Как сто, как двести лет назад,  
в Сухоне женщина белье полощет.  
Роскошный самовар, в медалях и пузат,  
торчит в окошке, как на прясле кочет.

К раздумьям о далеких временах  
располагает этот край былинный:  
не подает ли прошлое свой знак,  
зовет, манит простор полынный.

Здесь словно ты у вечности в гостях,  
такой покой разлился в каждом дюйме,  
чуть шелестит берез и кленов стяг,  
успокоенье дышит в легком шуме.

Не хочется спешить. Да и куда?  
Здесь все твои печали и истоки.  
Течет Сухона. Плещется вода.  
И словно отодвинуты все сроки.

### **Каменный остров**

..Была ночь, когда на Каменный остров упало двад-  
цать восемь бомб.

*Л. Пантелеев, «Из записных книжек».*

В то время я на острове том был,  
мой друг там в небо из зениток бил,  
но не при мне те двадцать восемь бомб  
ударилась о землю черным лбом.

Пришел туда я в летний день  
и не воронки видел, а сирень,  
она везде, беспечная, цвела,  
заполонив собою что могла.

Легко на сердце стало от нее,  
сильней войны природы бытие,  
она звала, манила смело жить,  
с ней не могла душа остыть...

\*.\*

**Ш**ла тьма зловеще от Казани,  
метались мотыльки в траве,  
нарушив сводку предсказаний,  
не появился дождь в Москве.

И он рассыпал горсти гранул  
в краю, что горестно чернел,  
и с градом дождь на землю грянул,  
пролился там, где не хотел.

**Б**ыл праздник в городе, и тучи  
грозили множеством хлопот,  
предотвращая этот случай,  
подняли в небо самолет.

Открылись взору дали неба,  
вновь глубь небесная светла,  
как будто тютчевская Геба,  
свой кубок туча пролила.

#### На родине Лорки

Светило мне небо Гранады,  
я воздухом Лорки дышал.  
Не тут ли гремели гранаты  
и кто-то убитый лежал?

И уж не за тем ли пригорком,  
где куст раньше срока адел,  
поэта Испании Лорку  
франкисты вели на расстрел?..

За этим иль тем, может, садом,  
куда ни посмотришь вокруг,  
могли находиться засады,  
мог полем сраженья быть луг.

И небо казалось мне темным,  
и трудно вдруг стало дышать,  
и где бы я ни был, все помнил —  
тут Лорку вели убивать.

\*.\*

Начался на Дальнем Востоке,  
продолжился день мой в Москве,  
и спутал я даты и сроки  
в тяжелой своей голове.

и с возрастом надо считаться,  
и с травмами давней войны.

Пора б перестать мне скитаться,  
забыть беспокойные сны,

И как себя переупрямить,  
коль манят дороги одни,  
хранит благодарная память  
все самые длинные дни.



---

---

ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР

★

## ПОЕЗД

Роман

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### Глава первая

1

**Е**лизар Тишков, проводник пассажирского поезда, сидел во дворе вагонного участка. Не было еще и девяти утра, как он пришел сюда, несмотря на то, что явку назначили на одиннадцать.

Старенький портфель притулился у скамейки, раздув дерматиновые бока. Другие проводники обычно берут в рейс емкости понадежней — мало ли чем придется отовариваться в далеких южных городах, самое сейчас время черешни и клубники. А Елизар, чудак, с чем уезжал, с тем и возвращался. Даже начальник поезда, Аполлон Николаевич Кацетадзе, ему однажды попенял: «Ты б свою торбу оставлял дома, зачем возишь через всю страну?..» При мысли о начальнике Елизар помрачнел. Конечно, никаких оснований у него не было, но сердце щемило. Разве можно их сравнивать: Аполлон Николаевич — высокий, веселый, с черными хитрющими глазами, и он, Елизар Тишков, с вечно сонным выражением бледного лица, как бы подвешенного к крупным розовым ушам. Что же касается глаз, то мнения относительно их выразительности расходились. Одни пассажиры — а последние пятнадцать лет Елизар имел дело именно с этой категорией граждан — считали, что у Елизара глаза бесстыжие, другие верили, что с такими глазами человек не может быть дрянным. Так что Елизара основательно запутали. Тут еще и Магда узел затянула; убеждена была, что у Елизара вообще глаз нет. «Так, гляделки, и все», — говорила она в минуты гнева. Однако на вопрос Елизара, почему она из всех мужчин поездной бригады отдала предпочтение ему, Магда отвечала, что на остальных вообще смотреть невозможно. Это же тихий ужас, а не проводники. Одни в майках с борцовского плеча, другие в гимнастерках, что покидали в вагонах дембиля, третьи в засаленных женских кофтах. Мужчины, называется. Только один Елизар в стужу и в зной неизменно одет в форму. Что на стоянке, что в пути. Честно говоря, это не совсем уставная форма. Купил ее Елизар в «Детском мире» в отделе «Все для школы» за тридцать шесть рублей, благо школьники нынче пошли рослые, акселераты. Только и забот было, что блестящие пуговицы нашить да лычки проводника. Работы для Магды на час, а два года носит не снимая. И пыль не садится, и ни за что не цепляется, не то что за-



конная дерюга, прозванная людьми пылесосом. Раз вдоль вагона пройдешь — и весь в каких-то пятнах... Вот и красуется Елизар на своем рабочем месте, точно дирижер филармонии. Он да Аполлон Кацетадзе, начальник поезда...

И Елизар вновь вернулся к своим тихим мыслям. Нет у него фактов относительно Магды и Аполлона Николаевича, нет. Одни предположения. Да и жена у начальника ничего еще, смотрится. Каждый раз перед дорогой подруливает к вагонному участку на «Жигулях», подвозит какие-то пакеты, свертки, наверняка имеющие особое предназначение в дальней поездке. Рядом с Магдой она, конечно, проигрывает, особенно если на Магду надеть все те цацки, что сверкают на жене начальника пассажирского поезда. Но не такой уж Аполлон дурак, чтобы заводить пашни с проводницей своей бригады. Это кажется, что вагон кончается тамбуром и площадкой. На самом деле поезд — одна семья. Только локомотивщики, пожалуй, сами по себе...

Между тем просторный двор вагонного участка заполнялся людьми. Инструктора, нарядчики, проводники резерва, студенты-сезонники, технические спецы многочисленных путейских хозяйств, примыкающих к участку. Многие из них были стародавними знакомыми, поэтому встречи их сопровождалась возгласами, крепкими рукопожатиями и громким смехом. Одни только вернулись из рейса, другие, подобно Елизару Тишкову, отправлялись в рейс, третьи вернулись и сегодня же отправлялись «с крутого оборота», даже не успев забежать домой. — людей не хватало...

Елизару «везло» — он три дня повертелся дома, изнывая от безделья. Всегда так: когда надо позарез быть дома — гонят в рейс, а когда не надо — слоняешься по углам, груши околачиваешь. Конечно, он мог пристроиться в какой-нибудь рейс дня на три, но не хотелось выпадать из Аполлоновой бригады. Люди костьюми ложаться, чтобы попасть на южное направление, не станет же он рисковать. Честно говоря, Елизар ждал последний резерв, думал помириться с Магдой, махнуть с ней на дачу к брату, по лесу погулять. Черта с два! Магда сдала сменщику вагон и словно в воду канула. Елизар и по телефону звонил, и самолично в такси прикатил ночью. А толку что? Только деньги даром потратил. Как ни колотил в дверь — та не поддавалась, не открылась. Вдобавок ко всему соседи поднялись, стыдить Елизара стали. Так и поворотил пехом домой к себе, не станет же он вновь такси нанимать...

Елизар тронул мыском ботинка свой портфель. Взял ли он бритву с собой, не забыл, как в прошлый раз? Но расстегивать портфель, ворошить все не хотелось. Да и тесно стало на скамье — рядом уселась тетя Валя весом центнера полтора; как она помещалась в узком служебном купе, непонятно.

— Чего ворочаешься-то? — Тетя Валя оглядела Елизара.

— Думаю: не забыл ли бритву, а смотреть неохота.

— Эх вы, проводники! Небось в портфеле, как в вагоне, — проворчала она.

— Ладно, ладно, — обиделся Елизар. — Зато чай подаю чистый, без химии. — лобавил Елизар первое, что пришло в голову.

— И молодец! — мирно согласилась тетя Валя. — Говорят, скоро новую форму будут вводить на дороге. Шить заставят... Где они на мое пузо материю наберут — не знаю.

Однако, несмотря на громоздкость, тетя Валя была проворна. Иной и молодой проводнице за ней не угнаться. Поэтому колкости в свой адрес она принимала снисходительно и даже сама на них напрашивалась как в этом пустяковом трепе.

— А еще болтают, что нас всей бригадой на другой маршрут переведут, — продолжала вязать ленивый предрейсовый разговор тетя Валя.

— Не переведут, — в тон ей отозвался Елизар. — Будут они с нашим бугром связываться.

— Тю! — повысила голос тетя Валя. — Тоже шишка. Таких крикунов-бригадиров на участке, считай, каждый второй. Переведут! И не пикнем... Другое дело, что с Аполлоном ты нигде не пропадешь.

Площадка, отведенная под явку бригад, постепенно заполнялась. Вот подошел Сергей Войтюк, гроза поездных хулиганов. Молча сел, опустив к ногам холщовую сумку. Достал платок и принялся растирать затылок. Последнее время его донимала гипертония. Войтюк навострился мерить давление сам, даже аппарат с собой возил. Вся бригада бегала к нему в купе от нечего делать. Войтюк никому не отказывал... Подкатили на такси братья Мансуровы. Шурка и Гайфулла, бывшие носильщики, ребята крепкие, тихие и, главное, непьющие. Именно поэтому, говорят, они не прижились в беспокойном и суетливом братстве привокзальных флибустьеров. Врут, наверное. Всякое бывает... Обсуждать с ними весть, что принесла тетя Валя, бессмысленно. Братья будут отмалчиваться. С детства их, видно, приучили: нет ничего дороже молчания, всегда в выигрыше. Да и Серега Войтюк сейчас мыслями в своей гипертонии... Только что с Яшкой Гуриным перекинуться словами. Яков когда-то был инженером, устроился на сезон проводником поднакопить денег да так и осел. С тех пор прошло три года. Яков и машиной обзавелся и в кооперативный дом въехал... Вон стоит у столба, газету читает, грамотей. И чемоданчик аккуратный, и сам причесан, точно из бани. Но парень свой, положиться можно... Елизар потянулся было к Якову мыслями поделиться, как вдруг заметил Магду.

Черный китель и короткая юбка облегли ее невысокую фигуру. Берет с золотыми птичками был сдвинут набок, покрывая густые темные волосы, в которых проглядывали седые нити. В последнее время их стало больше, несмотря на то, что Магда только отметила тридцатипятилетие. Туфли на коротком бойком каблучке, подарок Елизара, сумка-баул через плечо. Стюардесса, а не проводник... «Пришла, пришла», — со сладким томлением думал Елизар, отстраняя посторонние мысли. Он не помнил сейчас причины их последней размолвки, он начисто забыл о ссоре. Предвкушение дней, в которые он, Елизар Тишков, одинокий мужчина, будет чувствовать себя семейным человеком, охватывало душу упоением и особой просветленностью...

Аполлон Николаевич Кацетадзе проводил планерку. Его скуластое лицо с широкими черными усами еще пылало после горячего разговора в диспетчерской. Все нарядчики как нарядчики, их же Веруня — злыдня. Как Аполлон к ней не подъезжал: и польские духи сулил и помидоры — все впустую. «Человек работал с фирменными поездами, привык к роскоши, а ты пытаешься ее от всего отучить, — укорял Аполлона приятель, начальник адлеровского поезда. — С твоим сундуком на колесах она просто растерялась. Дай привыкнуть человеку, потерпи».

И Аполлон терпел. Чего он добивался от Веруни? Пары пустяков. Чтобы нарядчица не посылала ему новых проводников, зачем ему неприятности? Его люди против пополнения, им это ни к чему. Катается каждый в своем вагоне, как говорится, в одно лицо, на свою удачу. По инструкции не положено? А кто соблюдает эту инструкцию? Летом так вообще на два вагона один проводник не редкость, где ваши инструкции, покажите! «Известно, почему ты новичков отфутболиваешь, — кричала Веруня на всю диспетчерскую. — Не хотят твои проводнички с другими делиться, карман-то у них без дна. Да и тебе больше перепадет!» Плюнул Аполлон, выскочил из участка как ошпаренный. И впрямь язык у женщины без костей. Приш-

лось подключать старшего нарядчика, бутылку коньяка отстегивать. А у того вкус тонкий, только французский и употребляет.

Так что настроение у Аполлона было подпорчено. А тут еще и авторучка не пишет, шкрябает, блокнот с колен стаскивает, действует на нервы... Была еще одна причина, из-за которой настроение у Аполлона Николаевича Кацетадзе не то чтобы портилось, но как-то особенно возбуждалось. Предстоящая поездка была для него не обычным рейсом. Можно сказать, событием, которое серьезнейшим образом может повлиять на его жизнь... Если ничего не изменится, то он по прибытии в Москву завтра в восемь утра покинет поезд. Точнее, улизнет, оставив вместо себя кого-нибудь из проводников. И этот из ряда вон выходящий проступок, прямо сказать, уголовно наказуемый, он вынужден будет совершить по особой причине... Он, конечно, вернется в поезд — догонит самолетом где-нибудь по маршруту. Но завтра, в четверг, к десяти часам утра ему непременно надо быть в Москве, даже если после этого он понесет самое суровое наказание... А что с поездом случится? Столько лет работает Аполлон начальником, и никаких особых происшествий. И в этом рейсе ничего не случится. Нечего себя изводить заранее, к тому же в Москве ему нужна ясная голова и душевное спокойствие...

— Ну что? Катаемся по старой схеме? — Аполлон обвел взглядом свою команду.

Бригада выжидательно молчала, словно вспоминая, как она каталась в последний раз. Елизар подмигнул Магде, та поджала губы и отвернулась. Они в дежке не принимали участия — прицепных вагонов всего два, а между собой они их давно распределили: Магда брала купейный, Елизар плацкартный...

Дольше затягивать паузу было рискованно. Кацетадзе это чувствовал. Все-таки его опередили — первой бросила камешек тетя Валя. Быстрая на ногу толстуха наверняка уже побывала на путях отстоя и ознакомилась с вагоном, который обслуживала в прошлую езду. И ознакомление это ее чем-то не устраивало. То ли титан не работал, то ли электрохозяйство доверия не внушало, возись потом...

— Мне, например, Аполлон Николаевич, хвостовым ехать надоело. — опередила она начальника на долю секунды. — Человек я немолодой...

— Почему хвостовым, женщина? — вкрадчиво произнес Кацетадзе. — До Минвод за тобой будут два вагона прицепных. А с Минвод до оборота и мигнуть не успеешь. И первым номером домой поедешь.

— Все равно, — тянула свое тетя Валя. — Дайте мне середину. Восьмой или шестой...

— Сразу восьмой! — прогудел Войтюк. — А мне пешком по шпалам?

— Ничего. Покатаешься в хвосте! — отрубил тетя Валя. — И там найдешь себе клиента. Мне с тобой не тягаться.

— Ну, тетя Валя... Ты тоже пустой не поедешь! — вставил Судейкин, прыщавый проводник-первогодок с вислыми карманами на мятом кителе. Чувствовал Судейкин, что его принесут в жертву тете Вале: первый год работает, своего еще не накричал.

И точно. Тетя Валя поймала взглядом Судейкина.

— Помалкивай, Судейка! Ты с мое пересчитай наволочек да одеял. потом и вякай...

— Тихо тихо! Не дома! — воскликнул Кацетадзе. — Клянусь могой отца, уйду я от вас. Что за люди?!

Конечно, это был не пустой спор. Хвостовой вагон реже осаждали безбилетники, и претензии тети Вали были понятны всем...

Аполлон Николаевич Кацетадзе недаром пользовался репутацией справедливого начальника. Он поднял длинный сухой палец и погрозил всей бригаде разом.

— Что я вижу?! Пожилая женщина, член нашей семьи, трясется в последнем вагоне, на отшибе. И больше рискует от всяких хулиганов, а здоровые молодые люди, ее товарищи по работе, сидят в надежных вагонах в центре состава. Что я должен подумать как старший по должности товарищ?

— Ты должен подумать, Аполлон Николаевич: есть ли среди нас мужчины? — в тон вставил Яша. — Я тебе отвечу: есть!

— За-а-писали! — И Аполлон проставил номер Яшиного вагона против фамилии тети Вали.

Все заулыбались, а Судейкин позволил себе громко засмеяться. Хитрец этот Яша, ему все равно где ехать — Яша свое дело знает. Где бы он ни работал, в проигрыше не останется, свое возьмет. А жест, что ни говори, красивый и, главное, козырной, всегда пригодится, если коснется чего серьезного...

— Значит, тетя Валя туда едет шестым, обратно девятым, — продолжал планерку Кацетадзе.

— А я обратно каким? — спросил младший из Мансуровых, Гайфулла.

— Считать не можешь? — вскричал Аполлон. — Туда третий, обратно двенадцатый. — И покачал головой с прямым намеком на некоторую заторможенность мышления единоутробных братьев.

Но Аполлон был не прав. Мансуровы слыли тугодумами, но лишь в служебных вопросах, боялись как бы их не обмануло начальство. Однако коснись что личной заинтересованности — и бывшие носильщики оборачивались на зависть смекалистыми молодцами. Не каждому удается провезти в купейном вагоне до дюжины безбилетников одновременно. Смекалистые-смекалистые, но Яшин рекорд им не перешибить. Кто как не Яша провез из Мурманска на тридцать шесть купейных мест двадцать четыре безбилетника. И как он крутился, когда в поезд сели ревизоры, как он гонял своих зайцев. И в туалете запер, и топочное отделение набил, и на антресоли складывал, прикрыв одеялами. Весь выложился, но товарищам свинью не подложил, в соседний вагон своих безбилетников не спровадил. Утер Яша нос ревизорам!..

Планерка была недолгой, надо было считаться со временем. До отхода поезда оставалось часа четыре, а дел еще выше головы: пополнить запас сахара, чая, купить еды в дорогу, а главное, принять вагоны с оборота...

Елизар шел следом за Магдой. Он видел её прямую спину, подевочки тонкую талию, крепкие, тронутые первым загаром ноги. Одна рука Магды была занята жесткой плетеной корзиной, другая придерживала ремни сумки, перекинутой через плечо. Елизар нес свой дряхлый портфель и желтый чемодан Магды. Помирились они без лишних слов — Магда после планерки кивнула Елизару на свой чемодан, он молча поднял его и двинулся за ней следом, направляясь к чаеразвесочной...

Елизару не хотелось ни о чем спрашивать Магду. То ли приберегая сладость выяснений для долгой дороги, то ли боясь контрнаступления своей неробкой подруги. Или просто довольствовался тем, что Магда рядом — стоит только протянуть руку или окликнуть. Возможно и другое — в эти предрейсовые часы как-то по-особому чувствуешь под ногами асфальт родного города. Обычный пассажир, покидающий привычную обстановку с тем, чтобы провести какое-то время в скрипящем, грохочущем домике на железных колесах, не принимает всерьез предстоящей перемены — так, временные неудобства. Совсем иное чувство у проводника — жизнь его представляется бесконечным пунктиром, где нормальное земное обиталище заменено тесным походным пристанищем, набитым случайными людьми.

ми. Елизар с этим свыкся, но примириться не мог. Поэтому каждая минута, проведенная вне вагона, была наполнена особым смыслом.

В чаеразвесочной оказалось на редкость безлюдно, и кладовщица встретила их миролюбиво. Не то что в другие дни, когда нетерпеливый путевый люд несет по кочкам кладовщицу и всю систему комплектования. Тут не до улыбок...

— Номер вагона? — Кладовщица занесла карандаш и, встретив насмешливый взгляд Магды, решила:— Ладно, проставлю тебе год своего рождения. Тоже четыре цифры.

Магда кивнула. Ничего, обойдется, не впервой...

Так и начинается рейс с никому не нужного вранья.

— Сколько сахара? Шесть блоков хватит? Хватит, — решила кладовщица.— Три пачки чая... Вафли будешь, нет? Ну и не надо. Кофе есть. Импортный. Возьми для себя...

Елизар в этом деле полностью полагался на Магду и стоял, разглядывая полки. Подстаканники, ложки, тарелки, блюда, шахматы, домино... Даже салфетки сегодня есть. Вот житуха пошла! Сколько ерунды! Елизару хватало забот с подстаканниками, будет он еще брать на себя всю прочую дребедень, век не рассчитаешься. Пусть этот ресторанный шик «фирма» катает, на то у них и шкафчиков разных в рабочих купе натыкано. А в его вагоне образца пятидесятих годов пассажир и на газете поест. Как кошка. Газетой же и утрется, салфетки целей будут. А пачку он домой отнесет, будет с чем в гости пойти, салфетки нынче в большом дефиците.

И туалетного мыла Магда взяла, как же, упустит она неподотчетное... Расписалась в накладной и за Елизара поставила закорючку. Теперь Елизар тащил и плетеную корзину, доверху заваленную пакетами. Магда несла его портфель.

Миновав двор участка, они подошли к продуктовому ларьку. Купили колбасы, хлеба, масла, яиц. Магда хотела и куренка взять, но передумала: синий какой-то, перещипали беднягу. Она вернула тушку на прилавок и передала Елизару несколько хрустящих пакетов с бульоном и харчо. Елизар распихал их по карманам, в корзину они уже не вмещались...

Нагруженные, они двинулись в ранжирный парк.

Втиснутый в самое чрево большого города, парк в этот прохладный день казался мхурым, собрав на пропитанной мазутом земле многочисленные морщины-рельсы. Елизару всегда парк виделся живым существом. Не было и мгновения, когда бы он замирал, как замирают ночами улицы. Его тело, исполосованное стальными плетями, круглые сутки напрягалось под тяжестью составов, маневровых тепловозов, дрезин. И даже в те редкие паузы, когда ничто не двигалось, он, казалось, еще тяжелее дышал под замершими в ожидании движения вагонами на путях отстоя.

К двум таким вагонам сейчас и приблизились Магда и Елизар. Без маршрутных досок-фризок вагоны внешне походили на множество других своих собратьев, что высились на путях. С этими фризками постоянные неприятности: срывают их при мойке мохнатые барабаны, ищи потом. Только что за пятерку и вернут ее мойщицы, а фризка числится на балансе, за нее отвечать приходится. Вот и снимают ее проводники перед мойкой, если не забудут. Кому охота пятерик отстегивать? И без того в парке обирал больше, чем шпал...

Магда поднялась на носки и постучала кулаком в глухую дверь. Подождала недолго, подобрала лежащий у ног кусок щетня и шандарахнула о боковину. Дверь соседнего вагона приоткрылась, и в проеме показалась взъерошенная башка молодого человека.

— Лезьте ко мне,— предложил молодой человек после короткого приветствия.— Сосед побежал с маршрутным листом, я приглядываю...

Магда проворно взобралась на площадку, протянула руку, приняла у Елизара поклажу. Следом вскарабкался и Елизар. Толкнул

дверь, глянул в коридор: вагон плацкартный, его. Магда подобрала сумку и тамбуром ушла к себе в купейный...

— Ты, что ли, меня подменяешь? — спросил Елизара молодой человек.

Елизар молча шагнул в служебное купе и поставил на пол вещи. И так ясно, что он подменяет, тратит слова впустую ни к чему. Вдобавок Елизар давал понять молодому человеку, что нравом он строгий и вагон принимать будет всерьез... Служебное купе было завалено одеялами, ящик с помидорами стоял на столе, придавив собой разбросанные медные монетки; всюду грязь, пыль.

Елизар решил было перенести свой портфель в коридор. Но там какая-то тетка в военных галифе подметала пол. Отодвинув дверь, Елизар сунулся было в подсобку, но и она занята: кто-то в рабочем комбинезоне, отгородясь спиной от двери, мыл в раковине стаканы...

— Рано заявился, — буркнул взъерошенный молодой человек. — Только вагон обрабатываю. На семь часов опоздали, вот и попал в штопор. Пришлось кликнуть специалистов из «Северных зорь». — И он общим кивком повязал тетку в галифе и того, из подсобки.

— Недорого стою, — игриво произнесла востроухая тетка. — Не обеднеешь.

— Все равно платить, — рассудительно ответил молодой человек.

— А дай помидорку — и квиты, — словоохотливо подстегнула тетка.

— Вадиму витамины самому нужны, — сам о себе позаботился молодой человек.

Елизар продолжал хмуриться. Он понимал: причины у этого Вадима серьезные. Любое опоздание уменьшает время обработки вагона перед обратным рейсом. А выбитую из графика бригаду уборщиц уже никакими посулами не вернуть в опоздавший состав, к ним уже другие поезда подвалили. Вот и трудятся «специалисты из фирмы», названной в шутку «Северные зори», — алкаши, бомжи и прочая окол вокзальная знать. С кем деньгами проводники расплачиваются, кого порожними бутылками приваживают — в зависимости от уговора. Крутой заработок имеет ранний алкаш, благо поезда его не подводят, частенько запаздывают, знай поворачивайся...

Тетка в галифе опустила в бездонный карман случайную бутылку и оглянулась.

— Видел, видел! — оповестил Вадим. — В счет впишу. Небось специально натянула штаны с ушами.

— Ох и зыркает, — добродушно ответила тетка. — Буржуй недобитый. Ладно, вычтешь из аванса.

— У меня аванс и получка вместе, — ответил Вадим. — Вытряхнуть бы твою галифе, представляю, сколько добра там припрятано. — Вадим заговорщически подмигнул Елизару, призывая и его повеселиться, чего хмуриться-то.

— Ты вот что, любезный. — Елизар несет службу и от своего не отступит. — Сдавай по описи. Нечего время терять. На посадку потянут по расписанию, никто с твоим опозданием не посчитается. — И, не дожидаясь ответа, Елизар принялся пересчитывать одеяла. Потом спохватился и потребовал ведомость.

Взъерошенный Вадим пригладил ладонями выбившуюся из брюк рубашку, полез в тумбу и достал книгу съемного имущества. Быстрым взглядом Елизар тотчас усек, что на книге стоит номер другого вагона. Да и Вадим присвистнул в искреннем изумлении: вот те раз, катался почти неделю и не обратил внимания!..

— Принимать не стану! — объявил Елизар. — Беги к начальству, пусть решают.

— Лады! — обрадовался совету патлатый Вадим. — Мигом! А ты посмотри тут. Упрут чего — и не заметишь.

Теперь Елизар мог спокойно оглядеться. Ох и не любил он, если во время приемки стоят над душой, ждут, когда наконец подпись поставят в маршрутку. Конечно, проводника можно понять: болтаешься, как цветок в проруби, считай, шестеро суток, а то и больше, если с оборота на повторку заворачивают. И вот он, дом, под носом, а тут с приемом-сдачей тянут. Бывали случаи — оставят вагон при полной экипировке и бегут домой. Потом возвращаются притихшие, успокоенные. И все неприятности, возникшие из-за их отсутствия, принимают без огорчения...

Елизар пометил на бумажке количество одеял и принялся пересчитывать оконные занавески. Ну, это несложно — спрессованы, словно только что со склада. Не любят проводники вешать занавески. Обязательно потом недосчитаешься. Елизар как-то схватил за руку одного дембиля — тот на прощание сапоги занавеской драил. Так бы и метнул измазанную ваксой занавеску в окно, если бы Елизара рядом не оказалось. А то и одеяло в окно швыряли — ради куража или чтоб проводнику насолить. Пойди докажи потом — кто. А за все плати...

Но маршрутная фризка есть, вон торчит за сундуком. Надо теперь подстаканники пересчитать. И стаканы с ложками. Титан вроде в порядке, окарины не видно стало быть, не прогорел, что, честно говоря, удивительно при таком проводнике. А где кочерга?

— Куда кочергу подевал? — спросил он у выросшего в дверях Вадима. Тот едва переводил дух. Загнанно дышал. В руках держал ведомость. — Исправил? — Елизар уже видел, что исправил, старый номер был погашен штемпелем, рядом стоял новый, соответствующий.

— Исправил, — выдохнул Вадим. — За треху.

— Брось врать. — попенял Елизар. — Не разжалобишь... Вот народ — любую малость к деньгам подводят. Думают, что сострадание вызовут, а мне плевать. Так что напрасно врешь.

— Да клянусь! — Парень смутился, видно, Елизар в точку попал насчет его вранья. — Треху и отдал, — добавил он вялым голосом. — Кто же мне на слово поверит, что у вагона другой номер? За три рубля и поверили.

Елизар махнул рукой и поинтересовался кочергой.

Вадим рассвирепел.

— Ну, сучок, подожди! Придет мой черед принимать тебя с оборота — покуражусь! Колеса у вагона пересчитывать заставлю, будет мой праздник.

— А чо ты злишься, чо злишься?! — взвился Елизар. — Тоже цаца! Может, у меня какая баба-проводник принимать придет! Они, бабы, каждую нитку заставят показать, все нервы вытянут... А тем более кочерга. Не пальцем же мне шуровать в титане, верно? Или ты вообще чай не кипятил?

— Хо! Не кипятил он... Все колено в умывальнике чаем засорил, — бросил из подсобки поденщик из «Северных зорь».

— Не твое дело! — горячился Вадим. — Лучше сбегай, кочергу добудь. Мою, наверно, кто-то из пассажиров прихватил. Была ведь!

Парень в рабочей робе вышел из подсобки и скрылся в тамбуре. Сейчас принесет кочергу — украдет в каком-нибудь бесхозном вагоне...

— А где куртка? В чем я буду чай разносить? — не смирился Елизар.

— В майке! Пижон... Вот куртка. — Вадим извлек из сундука свежую, клеенную крахмалом белую куртку официанта.

Санитарный врач, как правило, обращает внимание на куртку. И наказывает проводника: если куртка имеет такой парадный вид, значит, чай разносится без куртки, нарушаются правила.

— Что, санитар не ходил? — Елизар провел ладонью по прохладной белизне куртки.

— Ходил, — с веселой злостью ответил Вадим. — Дал треху — ходил мимо.

— Санитар у нас неподкупный,— укорил Елизар.

— Неподкупный. В соседнем вагоне без унитаза катаются, ко мне бегают... Кто выпустил вагон, если не он, твой неподкупный? — ехидно поставил вопрос Вадим.

— Чей же интерес? Проводника, что ли? Без унитаза ехать... Скажешь тоже,— усмехнулся Елизар.

— А то,— ответил Вадим.— Он, хитрец, в туалетах ящики с помидорами вез, на перекупку. А я его пассажиров обслуживал.

— И что? — Елизару подумалось о том, что этим вагоном готовится к поездке Магда. Вот так номер!

— А ничего! Говорит, на машину деньги собирает. Теперь купит — помидоры по червонцу на рынке. Шутка ли, два сортира помидор!

Тем временем расторопный поденщик приволок кочергу. Елизар принялся пересчитывать подстаканники.

Тетка все не теряла надежды отведать витаминов. Зябко поеживаясь, она просунула палец между досками ящика, трогая тугой помидор.

— Может, запремся в купе? — подмигнула она патлатому Вадиму.— Дело-то короткое.

— Тю! — Вадим мусолил мятые рублевки, что горстью извлек из кармана.— С тобой запрешься — век на докторов придется работать... Вон запрись с этим.— Вадим кивнул на поденщика-стаканомоя.

— Ну, ну! — вдруг обиделся тот.— Кого ты ко мне прислоняешь, подметала? Хочешь, чтобы и я квалификацию потерял, да?

— Свою квалификацию ты и так растерял. Диван от полки не отличишь. Заждались небось вагончики столяра. А он вот где — стаканы перебирает...

Елизар скосил глаза на парня в брезентовой робе и вздохнул со значением. Вот почему в коридоре вагона валяется холщовый мешок с инструментом. Оказывается, его владелец не из корпуса привокзальных умельцев, а столяр вагонного участка.

— Ты что это меня укоряешь-то? — заполошил по-бабьи парень.

— И не стыдно тебе, брат? — негромко оборвал Елизар.

— Может, у меня дырка? Может, состав мой не подали?

— Как же! Не подали... Прошлый раз я ждал столяра, да и отправился с поломкой. А он, выходит, в это время живую деньгу сшибал. Да что же это такое, а?! — Елизар чувствовал, как в нем просыпается обида. С чего бы, вроде и не его вагон сейчас томится в ожидании столяра. Он давно обратил внимание, что стынут пальцы, когда просыпается обида. С этого и начиналось. А потом ударяло в голову, глаза застило. Невменяемым делался. На что угодно мог пойти. Никакая злость так не выворачивала нутро, как обида... Он отстранил ладонью подстаканники, шагнул в коридор, приподнял с пола холщовую сумку и швырнул ее в окно. Парень обомлел. В следующее мгновение он метнулся к Елизару. Лишь сноровка патлатого предотвратила потасовку.

— Тиха-а! — встрял он между столяром и Елизаром.— Драк мне тут не хватало. Насмотрелся за дорогу... На! Выметайся! — И он протянул столяру несколько влажных бумажек.

Парень принял и пересчитал.

— Мало! — объявил столяр и протянул деньги обратно.

— Чего?! А бутылка? — обиделся проводник.

— Хог! Едва на доньшке плескалось. Так это ж за встречу! — настаивал столяр.

— Тоже мне родственник,— усмехнулся Вадим.— Нет у меня ничего, все ревизоры вытряхнули.

— Ладно. Я тебе еще наработаю,— пригрозил столяр от двери.— И тебе, активист! — Он мазнул взглядом по физиономии Елизара и исчез в тамбуре.



— А где тетка? — удивился проводник и крикнул в глубь вагона: — Тетка! Жива, нет? Ушла... И помидоры прихватила. От стерва!

В прорехе, что образовалась на месте сдвинутой боковой дощечки ящика, явно недоставало нескольких помидоров. А один, оброненный, сиротливо валялся на мокром, только что прибранном столике.

— Если от многого взять немножко — это не воровство, а дележка, — покорно заключил патлатый Вадим и, вернув помидорину в ящик, укрепил дощечку. — Скорей подписывай маршрутку, сменщик. Совесть имей, с ног валюсь, которую ночь не сплю.

— Так и не спишь, — ворчливо протянул Елизар. — Как катался-то? Поделись. — Он достал ручку и расправил мятый маршрутный лист.

— Катался как на метле, — воодушевился Вадим. — Туда вообще ни одного ревизора. Обратно — только в Минводах сели. Пришел человек из штабного, собрал милостыню, на том и закончилось.

— В Минеральных Водах? — недоверчиво хмыкнул Елизар. — Там ребята строгие.

— Может, и бугор спонтирил. Дополнительный налог решил собрать.

— А кто у вас бригадир?

— Михайлов.

— Долгоносик? Он может... Шел бы ты от него.

— С лета я работаю, еще не огяделся.

— С институтскими пришел?

— Угадал.

— Далеко пойдешь, хваткий, — непонятно усмехнулся Елизар. — Думал, ты уже не один год катаешься. все тайны познал.

— Научили. В студенческой бригаде. Пришли мы на дорогу ясноглазые, а ушли хмельные. Понял? Одна даже и дите с собой прихватила... Вот и я решил покататься год-два, приборахлиться, чтобы и в институте учиться не стыдно было. А то наука в голову не лезет.

— Такой хваткий — и не лезет... Наша-то наука сразу полезла? — И, помолчав, Елизар спросил: — Как же тебя, свежака, на южное направление поставили? И в одно лицо!

— Есть способ, есть способ, — осклабился Вадим. — Научить? — Он достал с антресолей припрятанную бутылку. — Ну? Как принято: за встречу-расставание?

Елизар избегал возлияний до главной посадки. Не то что некоторые: зальют zenки и при посадке билет разглядеть не могут. Но искушение Елизар испытывал — не идол же он деревянный. Возможно, так бы ему и не совладать с собой, но в этот момент дверь распахнулась, в коридор вбежала Магда. Темные ее волосы, освобожденные из-под гнета берета, рассыпались по спине, глаза в гневе косили еще сильнее.

— Ну?! Это ж надо... Два часа до отправления, а вагон сняли с маршрута. Другой дают под оборудование.

— Кто же снял? — растерялся Елизар. — Санитар? Из-за туалетов?

— Если бы! По ходам забраковали!

Елизар заохал. Хорошенькое дело — оборудовать вагон за два часа до отправления...

— Как же ты его приняла-то, такой вагон?! — Елизар со значени-ем постучал согнутым пальцем по собственному лбу.

— Не приняла я его, не подписала маршрутку, — отмахнулась Магда. — Но ехать-то мне.

И она рассказала о том, как стервец проводник пытался ей всучить вагон не в санитарной норме. Правда, беда не беда — баки в туалетах текли. Она вентиль затянула. исправила.

— От паразит! А мне плакался пассажиров направлял! — возмутился Вадим. — Думаю, ладно, пусть помидоры свои везет, раз санитар глаза на это закрыл, выпустил вагон в маршрут...

Елизар выразительно оглядел Вадима, тот умолк.

— А тут появился слесарь-вагонник и браканул по ходам,— продолжала Магда.— Сообщила диспетчеру... Не слышали? По радио на весь парк.— Она посмотрела на бутылку, которую выставил Вадим, перевела взгляд на Елизара.

Тот суетливо сунул руки в карманы, шмыгнул носом.

— Ко-о-гда они еще найдут новый вагон тебе,— виновато пробормотал Елизар.— Ищи-свищи... И раздеть-одеть вагон дело не быстрое...

— А вот парень нам поможет. Поможешь, парень? — Магда стрельнула глазами в Вадима.

Лицо Вадима одеревенело, словно его посадили в зубокаменное кресло. Не задержись он на эти несчастные три минуты со своей бутылкой, гулять бы ему вольным казаком.

— Сами, сами! — Вадим вскочил на ноги.— Трое суток я не спал. Ни секунды больше в этом сарае. Или я его подожгу.— Одной рукой он сгреб ящик с помидорами, второй подхватил чемодан и был таков...

Магда сунула голову в окно и резко, по-мальчишески, свистнула вдогонку убегающему Вадиму. Но свисти не свисти, а надо действовать.

Перым делом необходимо перетащить все матрацы и одеяла...

Елизар завел топор под дверь, чтобы свободней было бегать из вагона в вагон, руки-то заняты. Матрацы только на вид послушные, а когда пытаешься их обхватить, беда просто. Одни ничего, смиренные, а другие так и норовят развернуть свое душно тело, хлестнуть по ногам. И цепляются за каждую загогулину, особенно в тамбуре. Попробуй побегай с такими, перенеси почти сорок штук! С одеялами полегче — горкой сложишь да гляди знай под ноги.

— Равномерно раскидывай по купе, равномерно,— задыхаясь от бега, советовала Магда.

Да Елизар и сам знал, что тут куда попало не свалишь — потом, когда надо будет затаскивать обратно в новый вагон, скажется самая малая неаккуратность...

Прошло то время, когда на путях отстоя ждали своего часа подменные вагоны при полной экипировке. И не надо было устраивать великого переселения. Да проводники и сами виноваты. Бывало, за какой-нибудь проступок переведут проводника в охрану запасных вагонов на месяц-два, а он и рад наказанию. Метнется на вокзал, где народу тьма непроглядная. Потолкается, поползает между тюками и чемоданами, глядишь — возвращается в охраняемый вагон. Да не один: целая ватага с ним из тех, кому не досталось места в гостинице. Загонит их в купе — спите-ночуйте, мол. С каждого по рублику, а то и по два, если с предоставлением простыни и наволочки, за сервис, значит. Вот и собирает с одного вагона до полусотни в ночь. А такой вагон у него под охраной не один. Утром подметет, приберет, сильно мятую простыню водичкой sprysнет, под матрац подложит — она и разглядится до следующего постояльца... Все шло гладко, пока какой-то стервец с пьяных глаз пожар не устроил, не подпалил вагон сигаретой. А много ли вагону надо: пластик да поролон. Как свеча растаяла за двенадцать минут до самых ходовых тележек. Один остов остался, хорошо еще не в сцепке стоял. Польшал, как пионерский костер. Кто в чем был повыскакивали на мороз, двое, правда, не успели, угорели. Суд был, засудили проводника и ближайшее начальство, что сквозь пальцы глядело на заработки ночные, не без корысти видно. Ну, горяча и отменили экипировку подменных вагонов. С тех пор и бегают проводники как ошалелые, перетаскивают съемное имущество, если вдруг вагон бракуют...

Магда согнала со лба повлажневшие пряди волос.

— Елизар, а Елизар! Сигай к маневровому, уговори задержаться. Пусть минут десять постоит покурит. Пока мы управимся.

Елизар понимал свою подругу с полуслова. Он шагнул в тамбур, открыл дверь. И вовремя. Пятясь задом, к вагону подкатывал маневровый тепловоз, ему и предстояло оттащить бракованный вагон. Елизар спрыгнул на полотно и бросился к тепловозу. Машинист с любопытством оглядел проводника и понимающе кивнул. Конечно, он потянет время: почему не помочь ребятам? Только вот как дежурный технического парка отнесется? Тот все видит на своем экране. Елизар и поблагодарить не успел хорошего человека за участие, как заметил деповского осмотрщика, того самого, что забраковал вагон. Надежда проснулась в душе Елизара. Может, удастся уговорить отменить решение? Достаточно приставить черточку, и вместо пятого месяца срок технической ревизии вагона переместится на шестой месяц. Одна черточка белой краской на трафарете. Был бы плановый ремонт вагона — другой вопрос, с плановым шутки плохи, комиссия решает, а техническая ревизия никого еще не пугала, тем более если отсрочить на один лишь месяц.

— Ты меня под суд не толкай, ясно?! — заорал осмотрщик на Елизара. — Ишь какой указчик выискался! Вам, проводникам, лишь бы с полки не сползаты...

Ох и взвился в душе Елизар. Ему бы проводниковского хлебушка поесть, осмотрщику этому! Но сдержался Елизар, смолчал. Ясно, что такого хмыря, как этот осмотрщик, на кривой кобыле не объедешь. Видно, настроение у него кем-то подпорчено, раз так колготится из-за ерундовой просьбы. Только и позволил себе Елизар что сплунуть смачно на гравий в знак презрения и поспешил обратно. Ох, служба окаянная, все не как у людей. И не виноват вроде, а спрос с них, с проводников, будто они и есть главные закоперщики всех неурядиц на дороге...

## 2

К полудню в багажном отделении вокзала клиентура заметно редела, и появление старика в светлом старомодном плаще привлекло внимание. Весовщица Галина вспомнила, что в последнее ее дежурство старик долго расспрашивал об условиях отправления багажа. Все нервы вымотал. Кажется, проще пареной репы: доставил багаж, предъявил билет, оформил квитанцию, оплатил и гуляй себе... Старик все дознавался, почему не надо предъявлять паспорт. Привыкли, что всюду у них паспорта требуют по каждой чепуховине. Иначе неуверенность душу томит — не обманули бы, не украли, пойдя докажи потом без паспорта...

Галина и сама не знала, почему появление старика вывело ее из себя. Вероятно, все из-за настроения. А настроение у Галины сегодня было неважное. После утренней планерки подошла к начальнику службы, поинтересовалась: дали ход ее заявлению или застопорили? Хотела Галина работу поменять, в камеру хранения перевестись. Отказал ей начальник. Мол, в камере хранения работа не женская, за смену, считай, около пяти тонн на душу приходится. Так ведь и зарботок какой! Не с оклада же они, кладовщики, такие круглорозие и мускулистые? Другой стоит за решеткой камеры хранения, словно журнал мод рекламирует. И не из пижонства, просто иного тряпья у него нет. А тот, кто работает в халате несвежем или в пиджачке засаленном, так он или алиментщик крутой, или просто человек, к себе равнодушный. Но таких все меньше остается в камерах хранения, преодолевают их молодые кадры с высшим образованием, есть которые и в аспирантуре учатся. Раз один оставил в подсобке книгу, так вообще на английском языке вся. Вот куда образование шагнуло — в камеру хранения при вокзале... Галине с ними не тягаться — едва шесть классов одолела, судьба так сложилась. Однажды подменяла она приемщика из третьей кладовой. Летом, в самый разгар перевозок. Все следила, чтобы не произошла распарка, чтобы номерок,

который клиент на руки получает, спаривался с номерком, что на чемодан цепляешь. И хватило ей для этого дела своих шести классов, обошлась без аспирантуры. Правда, руки и спина к концу дня одеревенели. Ну и что? Зато одна смена работы уравнила почти половину месячной зарплаты весовщика. Сколько она тогда по уговору чемоданов и ящиков понаставила, боком продиралась по камере хранения. Но не подвела службу, справилась с этой мужской работой. Почему же сейчас начальство сомневается? А может, не с той стороны подъехала? Говорили ей бывалые люди: поначалу надо маслом сковородку смазать, потом блины печь. И чего она сунулась сдуру со своим заявлением, что у нее — лапа где-нибудь есть волосатая, поддержка? Или сама она персона-танк — есть такие, любую преграду перемолотят, во всех приемных стены оботрут, всем начальникам письма разошлют, а своего добьются. А такие, как она, Галина, серые мышки должны хоженой тропой шлепать — с ценным пакетом в сумочке. Нет денег — одолжила бы где, с будущих доходов и вернула. Подумаешь, умники, Галина и сама знала, что тропа эта безотказная. Да как-то на нее вступить совестно. И боязно, если честно. А если начальник ее вышвырнет за дверь или милицию вызовет?

Галина зябко повела плечами. На улице солнце ласкает город, а здесь под землей, в багажном, лампы дневного света кладут на кафель тусклый глянец, сыростью от асфальта тянет. Тишину, что текла от складского туннеля, временами нарушало кудахтанье. Кто-то решил отправить багажом клеть с курами. Вот народ ушлый: мясо посылать рискованно, может испортиться за дорогу, а куры как-нибудь доберутся живыми. Будет бегать на станциях, подкармливать... Чего только люди не перевозят в багажном вагоне, умом можно тронуться. Насмотрелась Галина за десять лет... Интересно, что тот дед в допотопном плаще перевозить собрался? Что-нибудь ценное, неспроста был недоволен, что паспорт у него никто не требует, беспокоится за груз.

Тем временем старик и с ним мужчина в толстой вязаной кофте спешили за тяжело груженной тележкой. Три объемистых тюка, обшитых холстиной, были стянуты широкой голубой тесьмой. Ребята из упаковки такой тесьмой не вяжут, слишком шикарно. Носильщик Расилов — жилистый, кривоногий — придерживал ладонью груз. Он уже схлестнулся со стариком, когда принимал багаж. Чем старик набил свои тюки — неизвестно. Только весили они гораздо больше положенных восьмидесяти килограммов. Полное было право отказать от такелажа: носильщик человек, а не подъемный кран. Старик разгорячился, грозил написать куда следует. Расилов оставался спокоен. Он высморкался в носовой платок, аккуратно сложил его вчетверо, как было, и сказал негромко: «Посуди сам, дед, если я уже болею радикулитом, зачем мне и грыжа еще? Соображаешь? Делай еще одно место из лишнего веса. Все равно в багажном отделении такую фасовку не примут. Так что разговаривай со мной вежливо, найди со мной общий язык, может быть, я тебя пойму. Тогда и в багажном отделении не оставлю, возьму все на себя».

Мужчина, который сопровождал старика, одобрительно засмеялся. Он спросил старика, не хочет ли тот здесь, на вокзале, распотрошить тюки и собрать из трех четыре. С тем чтобы выполнить инструкцию Министерства путей сообщения. Старик затряс головой. Тогда мужчина ему сказал: «Отойдите в тень, Павел Миронович, у меня есть о чем поговорить с носильщиком». И они договорились... Вообще Расилов избегал заводить с клиентами, себе накладней. Правда, попадались типчики, которые специально затевали свару, для того чтобы носильщику лишнего не платить. Такого клиента сразу можно угадать. По тому, как он поправляет чемоданы, принятые на тележку, а ведь только минуту назад, когда ловил носильщика, голубь был, а не человек. Но и Муртаз Расилов себе на уме, не так-то просто к нему

придраться — рванет быстрым шагом от клиента, не станет же тот в спину носильщика претензии предъявлять, неловко, люди кругом, а он брюзжит. А другому-то и дыхания не хватает в гонке за тележкой. Если честно, редкий клиент спокоен, что его чемодан не уворуют. И видит, что носильщик бляху с номером носит, а все равно беспокойство не оставляет пассажира — такова уж, видно, природа человека...

— Что, Муртазик, болеешь? — Галина и взглядом не удостоила клиентов. — Дня три не видела тебя. Или на платформу перевели в подсобники?

— Свадьба была, на свадьбе гулял хорошо. — Смуглое лицо носильщика улыбалось, видно, ему приятна была эта встреча.

— Ну?! Никак женился? — игриво продолжала Галина.

— Брат женился младший, Сережа... А я тебя дожидаюсь.

— Жди, жди... Куда я тебе с двумя детьми, подумай.

— Самый раз. Меньше мне работы будет.

Носильщик развернул поудобней тележку, прикидывая, как сподручней подхватить багаж на весы. Особенно его смущал тюк, что стоял в середине. Железо упаковали там, что ли, черти? Он накиннул на тюк брезентовый пояс и, ухватив скобы, потянул багаж к животу.

— Что, гражданин, выяснили насчет паспорта? — не удержалась Галина.

Старик пожал плечами, подчеркивая, что он уже давно забыл о досадном недоразумении.

— Билеты, пожалуйста, в кассу надо предъявить. Грамотные, наверно, а весовщика от багажного кассира не отличаете. — И чтобы добить пассажиров окончательно, Галина обернулась к носильщику: — Что только люди не возят теперь, Муртазик. Такую тяжесть. Может, бомбу какую переправляют, а?

— Мое дело привезти-отвезти, — уклончиво ответил Расилов. Не в его интересах раздражать клиента, но и с Галиной портить отношений не хотелось. Он аккуратно расставил на весах багаж и вежливо постучал в окошко багажного кассира. Окно распахнулось.

— Билеты, билеты! — заторопил клиентов носильщик. — Скорей. Начнет печатать документацию, час прождем. — Он отошел к стене, увлекая прочь от весов Галину.

Старик суетливо расстегнул плащ и полез под полу, нахмурился, отвернул полу пошире.

— Павел Миронович, вы уж совсем, дорогой, не в себе, — молодой человек свободным жестом достал из вислого кармана вязаной кофты портмоне, извлек из него два билета.

— Игорь, Игорь... Провал памяти, — заохал старик. — Извини, брат. Я и забыл, что оба билета у тебя.

— Бывает, Павел Миронович, — покровительственно проговорил Игорь. — Отойдите, дайте мне распорядиться.

Старик вздохнул и покорно шагнул в сторону.

Молодой человек, названный Игорем, приблизил к окну удлиненное лицо с пухлой нижней губой над скошенным подбородком и вступил в переговоры с багажным кассиром. Несмотря на то, что носильщик взялся уладить отправку нестандартных по весу тюков, Игорь понимал, что требовалось особое обхождение. Еще эта вздорная весовщица зыркает злорадно через плечо носильщика, ждет момента, когда кассир спросит вес. Правда, для подстраховки Павел Миронович купил еще и третий билет, чтобы лишний вес приложить к этому билету, если возникнет недоразумение...

— Багаж оцениваете? — спросили из окошка.

— Чего там оценивать? — усмехнулся Игорь. — Тряпье домашнее. — Игорь выпрямился. Он чувствовал, как сжался Павел Миронович. Пусть! Во всяком случае, настал конец спорам. «Хотя бы символически надо оценить, понимаете?! — кричал ему вчера Павел Миро-

нович.— Чтобы они чувствовали ответственность!» «Слушайте, дедуля, моя мать просила доставить вас в предгорья Кавказского хребта к вашей сестре. Вы должны мне верить». Но все равно Павел Миронович настаивал на оценке груза до последней минуты. И вот теперь стоит надутый, с укоризной глядя на своего проводжатога. Игорь подмигнул старику. Тот с шумом втянул в себя сырой воздух багажного отделения и обиженно отвернулся...

— Получите квитанцию, расплатитесь и за мной! — скомандовал носильщик. Значит, он уже все уладил. Без лишних слов.

Игорь обернулся к подопечному.

— Платите, Павел Миронович!

— Сколько? — испуганно спросил старик.

Игорь назвал сумму, указанную в квитанции.

Запавшие губы Павла Мироновича довольно выпятились — не ожидал он такой дешевизны.

— Рано ликуете, сударь. Основная оплата пойдет через носильщика. Не за так же он крутился мелким бесом. Да и прямая доставка к багажному вагону будет стоить,— охладил Игорь своего подопечного.— Если вы вопреки моему настоянию не желаете быть таким, как большинство граждан.

Но Павел Миронович быстро сориентировался.

— Вот вам пятьдесят рублей, Игорь, распорядитесь,— великодушно проговорил он.— Надеюсь, хватит?

Павел Миронович Гурзо, пенсионер дворового значения, был доволен своим проводжатым. Болтает, правда, много. Такой же говоруней была и мать его, давняя приятельница Павла Мироновича. Именно по ее рекомендации старик доверился Игорю, тридцатипятилетнему шоферу «скорой помощи»...

— Не отставайте, папаша! — обронил через плечо Игорь.— Эта злыдня весовщица глядит нам вслед точно обманутая кошка...

В рабочем тоннеле было малоллюдно. На грубых просторных тележках висели таблички с номерами поездов. Их загрузили по мере поступления багажа. Потом электрокар потянет тележки к багажному вагону. Как раз сейчас под загрузкой стояли тележки с номером кисловодского поезда. Павел Миронович замедлил шаг, чтобы удостовериться в своей правоте. Нельзя было сказать, что грузчики небрежно обращались с багажом. Наоборот, складывали довольно аккуратно, подгоняя так, чтобы тележка заполнялась равномерно.

— Ваши опасения были напрасны! — воскликнул Игорь.— Мальчики работают на совесть. Целы были бы ваши тарелки, сударь.

— Послушайте, Игорь, а третий билет? Так и пропадет? — проговорил Павел Миронович в сутулую спину своего покровителя.

— Я и забыл о билете. Он у вас? — обрадовался Игорь возможности стряхнуть с себя тягостные мысли.— Еще есть время. Побегу сдать...

Игорь взял билет. Если послать носильщика в камеру хранения за чемоданами, то сам постарается успеть продать билеты. Или сдаст. Глупо пропадать билету. И носильщик с этим согласился.

— Конечно. Лучше живые деньги, чем дырявая картонка,— рассудительно одобрил Расилов, толкая тележку. Он кивал головой в такт движению и что-то напевал по-татарски.

— А что, Муртаз, много людей вашей национальности в носильщиках?

— Не носильщик... Станционный рабочий! — чему-то обиделся Расилов.— А татары... Еще с царской железки остались. Традиция. Мой папа был носильщик...

— Станционный рабочий,— участливо поправил Игорь.

— Носильщик! Тогда не было станционных рабочих.

Игорь подавил улыбку и развел руками: мол, никак не угодить.

— Станционный рабочий,— продолжал Расилов.— Неделю двор убираю, платформы, подметаю или пути чищу. Снег зимой. Летом

бумажки от мороженого бросают, рельса не видать... А неделю вещи ношу — носильщик... В Москве, говорят, носильщики только носильщики. Правильно! Человек должен специалист быть. Думаешь, просто: взял чемодан, повез? Так много не наработаешь. Надо голову иметь, какой груз как уложить. Приемы знать, технику... А ты думал! Поставь тебя, через два часа мертвый свалишься. Особенно летом... Татарин человек крепкий, работу любит, водку не пьет...

— Выходит, сейчас, как и раньше, — много ваших людей при вокзале, — съязвил Игорь. — Ничего не изменилось.

— Почему не изменилось?! — Расилов даже с шага сбился. — Не изменилось... У меня кооперативная квартира, зайдешь в гости — выйти не захочешь. — Он подумал, какие еще выложить доказательства. — А брат мой младший женился сейчас... Знаешь кто? — Расилов приостановился в предвкушении эффекта. — Я вот носильщик, а брат ученый, по атомам. Все равно хоть на неделю, а носильщиком идет работать, силу погонять, на воздухе побыть. Его все ребята наши уважают...

Да и сам Муртаз был не лыком шит. Лет семь работал осмотрщиком вагонов по электрической части. И специалист был классный. Работал в бригаде предварительного осмотра. Живое было дело. Потом должность сократили: не хватало людей в парке отстоя, где вагоны зимуют. Не понравилось это Муртазу — ползать по вагонам в чистом поле. Он и ушел в носильщики, зажил как человек...

Миновал тоннель, они появились на платформе. Расилов ловко катил тележку между стоящими в ожидании посадки людьми. Игорь старался не отставать, удивляясь прямо-таки балетной ловкости носильщика. Лишь в особых случаях Расилов выкрикивал предостерегающе: «Поберегись!» Он как бы предвидел, где в этом живом подвижном месиве приоткроется достаточная щель, чтобы немедленно проникнуть в нее.

— Что-то не очень торопятся с посадкой. Сколько людей собрали, — проговорил Игорь и шуточно добавил: — Может, и вагонов у них нет?

— Все может быть, — с серьезным видом кивнул головой Расилов в такт движению. — Лето, понимаешь, на носу. Народ уже поднялся. Едут туда-сюда... А у начальников еще зима в графиках...

— Я бы этих начальников, — отозвался дядечка из посторонних с пирожком в руке.

— Сами небось самолетами летают, — ехидно поддержала какая-то старушенция и, заметив носильщика, торопливо спросила елейным голосом: — Где ж твой поезд, служивый? Аль с рельсов скатился? Дак а мы как же?

— Дома бы сидела, старая, — огрызнулся носильщик. — Что я тебе, министр сообщения?

— Форму-то надел, стало быть, ответ держи! — бросила вслед егозливая старуха.

— Все они одним миром мазаны, — поддержал бабку чей-то голос. Носильщик засмеялся.

— Вот народ... Я-то при чем? Еще и вправду по шее дадут.

— У нас не дадут, — ответил Игорь. — Поворчат-поворчат и забудут.

— А надо бы дать по шее, — вдруг объявил носильщик. — Коекому. А то сидят в своих кабинетах, дорогу только из окна и видят.

Он резко умолк и озабоченно вытянул палец вверх, призывая Игоря сосредоточиться. Шумную разноголосицу платформы перекрыл металлический голос информатора: «Поезд Североград — Кироводск по отправлению задерживается, будет отправлен по готовности».

Получив пустяковую информацию, люди успокаивались, будущее казалось им более определенным. Более неуступчивые еще продолжали ворчать о том, какая теперь будет давка при посадке и что наверняка поезд выбьется из графика и настоится у каждого столба. Но общее благодушие понемногу охлаждало их пыл.

— Дурное предзнаменование, дурное предзнаменование,— бормотал Павел Миронович.

— Оставьте! — раздраженно ответил Игорь.— Если каждый срыв в нашей жизни — дурное предзнаменование, то можно удивляться тому, что еще восходит солнце... Исключения стали правилом. И все!

— Дурное предзнаменование, поверьте,— продолжал бормотать старик.

— Придется потребовать увеличения договорной суммы за преодоление роковых обстоятельств... Сейчас я побегу, попробую продать лишний билет, а вы останетесь охранять тюки.

— Бог с ним, с этим билетом. Или поручите носильщику, когда он уйдет за чемоданами.

Муртаз Расилов остановил тележку у телефонной будки и сдвинул фуражку на затылок — упарился. Когда подадут поезд, багажный вагон окажется в этом месте. О чем там спорят его клиенты, интересно? Этот старик, видать, большая зануда. Расилов вспомнил Галину. Конечно, ей нелегко, что и говорить. Одна живет, детей поднимает. Сколько ей там перепадает в ее подземелье? Смех сказать! Недаром на той работе люди не задерживаются, уходят. Можно, конечно, помочь Галине. Только кажется, что носильщик маленький человек на вокзале, винтик. За девять лет работы Расилов изучил вокзал как свою квартиру. Кто на кого влияние имеет, слово нужное сказать может. Сам он, конечно, к начальнику не пойдет, а люди есть, их можно попросить. В сауну, что на Строителей, многие с дороги ходят, даже крупные начальники, бывает, заглядывают...

— Муртаз, у вас паспорт с собой? — спросил Игорь.

Расилов в недоумении молчал. Зачем ему паспорт на работе? Что он, каждому клиенту будет документы предъявлять? А рабочая бляха на что? Совсем чокнулись с этим паспортом...

— Я не о том! — усмехнулся Игорь.— Билет надо сдать, понимаешь.

Расилову дважды повторять не надо.

— Зачем сдавать, деньги терять! Да его с руками оторвут! — Носильщик сунул билет в карман.— Какой шифр на вашем автомате? И торопитесь, времени мало. Поезд отправят вовремя — посадку сократят.

— Какой шифр на ящике в камере хранения, Павел Миронович? — Игорь достал листок и карандаш.

— Я набрал год своего рождения,— ответил старик.

— Лучший вариант обмануть жуликов,— одобрил Игорь.— Им и в голову не придет, что люди так долго живут.

— Почему? — насупил старик.— Мне только шестьдесят восемь.

— Подумать только! На вид вы старше Джамбула.

— Татарин? — поинтересовался Расилов.

— Казах. На домбре играл и пел.

— У нас домбры нет, у нас гармонь.— Расилов опустил в карман листочек с шифром и номером ячейки автоматической камеры хранения. Выбрав удобную площадку за телефонной будкой, он сгрузил тюки и, развернув тележку, заспешил по платформе к серому зданию вокзала...

Павел Миронович откинул полу плаща, уперся острым коленом в тюк, на второй тюк положил ладонь, в третий уставил слезящиеся от волнения и прохлады глаза. «Теперь его только бульдозером сдвинешь,— подумал Игорь.— И такого человека когда-то любила моя мать...»



Сам по себе Павел Миронович не произвел бы особого впечатления на Игоря. Но, как оказалось, это был тот самый мужчина, письма которого мать хранила. Игорь случайно нашел их на чердаке дачи много лет назад. Все письма получены были до востребования. Тот факт, что воображением матери мог овладеть автор этих напыщенных эпистол, задевало самолюбие Игоря. А сознание, что мать была в определенных отношениях с таким человеком, когда еще жил отец, наполняло сердце Игоря ненавистью к старику. Матери он все прощал... И кончину отца он приписывал существованию Павла Мироновича, ибо не хотел признаваться в том, что его собственное безалаберное и легкомысленное поведение усугубило болезнь отца. Человек эгоистичный, Игорь создал миф, отведя вину от себя. Вся штука заключалась в том, что миф этот вполне мог быть реальностью. И то, что мать с годами продолжала отдавать чужому человеку свое сердце, которое должно было принадлежать только сыну, все больше смущало Игоря. Он пытался найти в Павле Мироновиче черты, которые могли оправдать привязанность к нему матери. Искал честно, но то ли собственная вина перед отцом не допускала компромисса с его соперником, то ли и впрямь Павел Миронович был мелкой личностью. И еще одна мысль терзала Игоря: пока существует этот старик, мать никогда не будет знать покоя — он мешал ей жить, требуя к себе внимания и забот. И мать, добрая душа, бросая все, спешила к нему, подобно «скорой помощи», в любое время суток. Ненавидя и проклиная свой слабый характер... Неожиданное решение Павла Мироновича перебраться на жительство к родственникам, поначалу обескуражившее мать, теперь казалось и ей и ее сыну единственной возможностью избавиться от несносного старика...

Игорь продел в петлю верхнюю пуговицу своей вязаной кофты. Его знобило. Сказывалось возбуждение последних дней. Напрасно он отказался надеть свитер, как настаивала мать. Хорошо хоть взял с собой, пихнул в чемодан. И старик легко одет, не по погоде — конец мая, а летом и не пахнет. Весна здесь в этом году какая-то робкая, а на юге, передают, уже теплым-тепло. Он взглянул на старика — тот, казалось, прикипел к своим тюкам.

— Не холодно, Павел Миронович? — бодро спросил Игорь. — Мне кажется, ваш плащ изъеден молью. Просвечивает, точно чайное ситечко.

Старик в ответ лишь высокомерно поджал губы.

## *Глава вторая*

Пожилой вахтер в аккуратной железнодорожной форме внимательно рассматривал списки приглашенных на коллегию.

Всякий раз, попадая в министерство, Свиридов волновался, предвосхищая встречи, которые ждали его на этажах этого запущенного, усталого здания. Такой доход приносила стране железная дорога, а посмотришь на здание... В других министерствах стекло, пластик, дубовые панели, современные интерьеры, а тут — точно общий вагон... Хорошо еще, главный этаж с «высокими» кабинетами выглядит прилично.

Иной составитель поездов или бедолага-проводник заскочит по делу в министерство, оглядится да и махнет рукой: дескать, все понятно, чего уж в поездах порядка ждать, раз в министерских коридорах да комнатах шурум-бурум сплошной... И невдомек ему, что министерство тут ни при чем, не дают ему лишних рублей на уют, считают — баловство, и без того везут. А подумали бы умы, что стоят на страже этого рубля, какой ущерб моральный приносит подобная скарредность и, наоборот, какую отдачу принесло бы по-настоящему хозяйское отношение к Главному дому на железной дороге... Свиридов понимал это и свое управление в Чернопольске держал на высоте, хоть и не-

легко ему приходилось. И у человека, который попадал за тяжелые стеклянные двери, будь он хоть стрелочник или путевой обходчик, просыпалось чувство собственного достоинства, гордость за судьбу, что приобщила к такому значительному учреждению...

— Свиридов, Свиридов... — уставился в список очками вахтер-пенсионер. — Ага... Есть... Милости прошу, товарищ начальник дороги. Коллегия сегодня в Малом зале. На лифте, пожалуйста, до четвертого...

Свиридов уже опаздывал. Он должен был прилететь в Москву еще вчера, в среду, но самолет задержался по метеоусловиям, и он прилетел в четверг, в день коллегии. И то к десяти утра он не поспевал и дорожил сейчас каждой минутой. Поэтому переходы казались особенно длинными и путаными. Он шел, отмечая про себя двери кабинетов, куда ему предстоит заглянуть для решения каких-то вопросов, но потом, после коллегии...

Поначалу Свиридов хотел послать в Москву своего заместителя, так как неожиданно резко упала передача на двух отделениях дороги, задерживались составы с минеральными удобрениями, с грузами первостепенной важности. Меры надо принимать срочные, иначе задержка перекинется на всю дорогу. И хотя в телеграмме значился персональный вызов в Москву его, Свиридова, он пытался подменитьсь, связался по телефону с помощником министра. «Ты нужен, ты, Алексей Платонович, серьезный разговор предстоит. — И памятуя добрые личные отношения, добавил, чтобы не тяготить неизвестностью: — Сам хозяин вызывает тебя. Кадровые вопросы будут решаться...» Свиридов знал: в ближайшее время освобождаются должности начальников двух дорог — один уходит на пенсию, второй... Со вторым вопрос решался остро — за развал. И этим вторым был его институтский друг Савелий Прохоров, начальник Североградской дороги. Так что кадровые изменения ожидались...

Небольшое фойе перед Малым залом пустовало, если не считать молодой буфетчицы в белой крахмальной шапочке на пышных волосах. Женщина нажимала кнопки калькулятора, занося цифры в листочек.

Свиридов окинул взглядом стол. Бутерброды, веером разложенные на блюде, противень с пирожками, конфеты, пирожные, лимонад...

Набрав еду на поднос, Свиридов отошел в сторону и устроился на подоконнике, стараясь разобраться в шуме, что доносился из зала. Но дверь, к сожалению, была прикрыта слишком плотно. Он уже заканчивал свою трапезу, когда дверь приоткрылась и в проеме показался мужчина в темной «зимней» форме. Очки рискованно сидели на кончике длинного его носа, и казалось, вот-вот соскользнут. По этим очкам Свиридов и припомнил: человек этот из Управления путевых сооружений, только фамилию запомнил.

— Алексей Платонович, — полушепотом произнес тот, косясь на дверь: прикрыта ли? — Проголодались?

— Да вот, понимаете... Только с самолета, решил позволить себе. Чем там нас радуют?

— Ну! Страшное дело. — Глаза путеца колочье пробивались сквозь утолщенные стекла. — Прохорова снимают с Североградской дороги. И так плохо снимают, ужас. Если бы только развал, а то и аморалка... Хорошо, что он сам на коллегию не приехал, заболел, говорят. Куда бы лицо дел?! Последний случай слышали?

Свиридов, не переставая есть, неопределенно покачал головой. Он слышал об этом случае: нет долгих тайн на дороге, но обрывать путеца не стал, очень уж того распирало.

— На дороге ЧП: товарняк с цистернами стрелку взрезал, бед наделал. А этого Прохорова нет. Разыскали через сутки. На даче за преферансом.

— Выиграл хотя бы? — Свиридова раздражал этот очкарик.

— А черт его знает,— серьезно ответил тот.— И ведь головастый человек этот Прохоров, дело знает... Говорят, вас на его место сватают? Верно?

— Ну и что? — Свиридов достал платок, промокнул губы.

— Как что? — переспросил путеец.— Мы вот гадаем: не откажетесь ли вы, как в прошлый раз, когда вас в главк прочили? Дорога-то Североградская запущена, преуспел Прохоров. Слабовольный оказался, по течению плыл. А чтобы не скучно было плыть, водочкой баловался... Я с инспекцией недавно к нему ездил. С какого конца дорогу латать, ума не приложу. Сплошные прорехи. Орешек вам достанется!

Свиридов сунул платок в карман и, сухо кивнув путейцу, направился в зал.

Вытянутое помещение Малого зала было заполнено участниками расширенного заседания коллегии. Сплошь черные железнодорожные кители, белые воротнички. В президиуме Свиридов увидел министра, его заместителей, членов коллегии, представителя из отдела транспорта Центрального Комитета партии...

Заметив свободное место, Свиридов направился к нему, стараясь не причинять тем, кто был на пути, особого беспокойства, но его унавали, молча пожимали руку...

— Какая повестка? — шепнул Свиридов соседу слева — больше как бы приязнь выразить, чем по необходимости, о повестке он и сам знал из телеграммы.

— Первый вопрос кадровый, второй — обеспечение ремонта путевых работ,— торопливо ответил сосед.

И Свиридов не любил, когда его отвлекали, поэтому легонько хлопнул соседа по колену — извините, мол.

Кадровый вопрос, как обычно, включал в себя и представление членам коллегии новых назначенцев.

Принаряженные и взволнованные, они сидели рядышком согласно традиции вдоль правой стены. Сегодня коллегия должна утвердить человек десять, и к приходу Свиридова почти все уже отстрелялись.

Это был торжественный ритуал...

Свиридов свежо помнил свой день. После оглашения послужного списка тогдашний министр позволил себе пошутить: «Может, воздержимся от утверждения? Слишком уж молодым будет начальник дороги. Боюсь, на вечерний сеанс не пустят его одного». И тогда кто-то из членов коллегии бросил реплику: «Вот и хорошо. Меньше будет ходить в кино, больше заниматься дорогой...»

С тех пор минуло более десяти лет.

Конечно, те, кого утверждала коллегия, были далеко не новички в железнодорожном деле, занимали высокие посты, перемещались на другую работу по служебной необходимости. Но все равно волнение не отпускало...

Очередной назначенец — плотно сбитый крепыш — ссутулился, но, почувствовав в позе неудобство, выпрямился, вытянув руки вдоль короткого устойчивого туловища.

— Николаев Николай Николаевич. Тысяча девятьсот тридцать пятого года рождения. Закончил МИИТ. Трудовую деятельность начал в системе МПС старшим ревизором службы безопасности...— Начальник управления кадрами перечислил все должности, которые занимал крепыш.— Назначается главным ревизором Северной дороги.— Начальник управления кадрами взглянул на министра.

Среднего роста, широкогрудый, в голубовато-сером кителе, рукава которого украшала крупная звезда под вышитым гербом, министр терпеливо оглядел сквозь прямоугольные очки членов коллегии.

— Нет возражений? — Министр четко произносил слова, деля их едва уловимой паузой, что придавало фразе особую значительность.— Утверждается!

Крепыш пробормотал благодарность и с облегчением сел.

— Следующий! — предложил министр. — Все?

— Все, товарищ министр... Осталось только вот, — начальник управления кадрами потянулся к отдельно лежащей папке, раскрыл ее. — Теперь, значит... Прохоров Савелий Кузьмич, начальник Североградской дороги. За развал работы и злоупотребление спиртными напитками... — Он осекся и поднял глаза на министра, особым чутьем улавливая, что министр недоволен его сообщением. И оказался прав.

Министр отставил кресло и уперся сжатыми кулаками о зеленую обивку стола.

— Что же получается, товарищи? — проговорил министр. — Нам известно, что начальник Североградской дороги допускал систематические нарушения дисциплины, пьянствовал. И беспрецедентная история в конце прошлого месяца оказалась последней каплей... Мы приняли решение о снятии Прохорова с работы за развал и неправильное поведение. Параллельно мы дали указание отделу кадров подготовить принципиальный документ. — Министр покачал головой. — И что мы сейчас слышим? «Допускал злоупотребление спиртными напитками». Чуть ли не с сочувствием написано... Вам, товарищи из кадров, задаю вопрос! Выходит, разрешается употреблять спиртные напитки, а вот злоупотреблять — нельзя! Верно? Даже нет вот такого чувства особой остроты... И это уже не первый раз! Вы помните, когда мы решали вопрос о нескольких товарищах по БАМу, по Молдавской дороге... Какие там были формулировки? «Освободить согласно личной просьбе». Какая же это личная просьба? Это явная сделка с совестью! Чтобы я больше не слышал таких мягких представлений управления кадрами, ясно вам?!

Начальник управления кадрами развел руками: мол, никаких сомнений быть не может, дело они поправят.

— Вот тут вновь утвержденные на должность, — обратился министр к ближним рядам. — вы тоже учтите этот урок на будущее, как говорится. Конечно, я ничего плохого о вас не говорю, иначе бы вас коллегия не утвердила. Но так, к слову... Когда-то и Прохоров сидел на этих самых стульях. В конце заседания мы еще заслушаем отчет о том, как они докатились до жизни такой там, в Северограде. Жаль, сам «именинник» приболел... Знаем мы эти болезни, разберемся и с этим... А пока продолжим нашу коллегия. Но вначале я хочу сказать несколько слов. — Министр поправил очки, оглядел зал. — Я хочу поблагодарить руководителей дорог за работу в прошлом году. То, что вы сделали, дало положительные результаты. С одной стороны, обеспечили план перевозок, а с другой — укрепили путевое хозяйство. И нам удалось отменить в многих направлениях предупреждения, поднимать скорости. Конечно, это не значит, что у нас мало недостатков... Критически оценив ситуацию, коллегия пришла к выводу: для того чтобы дать план перевозок наступившего года — три миллиарда девятьсот миллионов тонн отправления, — надо с пятнадцатого марта и до конца года работать в рабочие дни с суточной погрузкой не ниже одиннадцати миллионов тонн, это двести пятнадцать тысяч вагонов погрузки. — Министр суховат, но с какой-то потаенной горделивостью ронял в зал цифры, величина которых с трудом укладывалась в сознании. Очень сложный вопрос рассматривает сегодня коллегия, глобальный вопрос. — Я бы хотел, чтобы каждый из вас, учитывая сказанное мной, задумался над тем, что надо ему делать на своей дороге...

Министр коротким жестом предложил занять трибуну начальника Главного управления пути.

Свиридов положил на колени портфель-дипломат и, приглушая щелчок замка подушечками пальцев, приоткрыл его, извлек блокнот и ручку. Привычка записывать наиболее интересные сообщения сохранилась у Свиридова еще со студенческих лет. Он не просто слушал лекцию и конспектировал все подряд, а вылавливал из потока информации нужные именно ему идеи... Но сейчас Свиридов не мог сосредото-

точиться, мысль о Савелии будоражила его, уводила в сторону от упругой, заряженной вниманием атмосферы зала. Выступление министра ставило точку на карьере Савелия Прохорова. Как перенесет это гордец Савка, тщеславный и самолюбивый по натуре? Вообще-то, Свиридов не очень вникал в личную жизнь своего институтского друга. В те торопливые дни, когда они встречались на коллегиях, разговор, как правило, вертелся вокруг железнодорожных дел. «С Аполлоном у него наверняка нашлось бы о чем поговорить,— не без горечи думал тогда Свиридов.— А между нами всегда стояла какая-то преграда».

Вот оно как жизнь поворачивалась — неужели ему придется принимать дела у Савки?!

Тем временем начальник Главного управления пути продолжал своё сообщение.

— Вы знаете,— говорил он,— что в условиях необычайно низких температур по Уралу, Сибири и Востоку практически не было ни одного серьезного прокола в эту зиму. Не в пример дорогам юга. И я должен просто просить извинения у коллегии за серьезные недоработки, связанные со снежными заносами на юге страны. Здесь, на коллегии, присутствуют товарищи с южных дорог. Речь не идет о наказании. Просто этих командиров пошлем в летнее время поучиться на Восточно-Сибирскую или на Чернопольскую дорогу, к товарищу Свиридову, опыт перенять...

Сосед справа толкнул Свиридова в бок: мол, знай наших.

Свиридов кивнул, продолжая держать ручку над блокнотом. Пока что он не находил ничего для себя интересного... Его отвлек голос министра.

— Конечно, перенимать опыт дело хорошее. Но почему-то в вашем сообщении недостаточно говорилось об отношении к технике. А это главное! Это условие успешной работы... Что произошло на Казахской дороге? Из двадцати трех снегоуборочных машин работало одиннадцать. Тут присутствуют товарищи, которые в свое время докладывали, что техника готова. Они нам так докладывали? Они! Это доклады? Это обман, очковтирательство... Или по Пензе. Докладывали, что все машины готовы. Дунул снег — какую машину ни возьми, не работает. То цепи, то барабаны... Отношение к технике по готовности к зиме отвратительное. Выработалось у некоторых, видимо, в кровь вошло. И ведь голова уже седеет. Привыкли так: потом, авось, как-нибудь... Не пройдет! Зима все обнаруживает.— Министр сделал паузу.— Давайте рассматривать этот вопрос как особо важный. Вот так.— Министр бросил взгляд на докладчика.

— Товарищ министр,— проговорил начальник главка.— В такой плоскости мы вчера и вели разговор, памятуя, что эта зима не последняя. И руководители дорог должны сделать выводы... Тем более что есть и другие примеры. Как решали поставленную задачу на линии Москва — Ленинград по организации скоростного движения. Вы путейцы, вы понимаете. Время хода пассажирского поезда — семь с половиной часов — надо было сократить до пяти. И эту задачу путейцы Октябрьской дороги решили. В зимних условиях.

Боковая дверь, что вела из зала на второй, «главный» этаж, растворилась, и в проеме показалась тонкая фигура помощника министра. Мягко ступая, он подошел к министру со спины и шепнул несколько слов. Министр кивнул, наклонился к заместителю, что-то передал, собрал бумаги, отодвинул стул и направился к боковой двери...

Заместитель министра — молодой, невысокого роста — пригладил ладонью темные, гладко зачесанные назад волосы, встал и приблизился к микрофону.

Свиридов знал его еще со студенческих лет, он был секретарем комсомольской организации, когда Свиридов поступил на первый курс. Потом они сталкивались в студенческом научном обществе. Энергичный, доброжелательный, он в то же время отличался стро-

гостью, и начальники дорог его боялись больше, чем министра. Так нередко бывает, что самый главный гораздо мягче своих помощников. Возможно, оттого, что он уже мог позволить себе такую роскошь, как мягкость...

— Хочу навести справку,— проговорил заместитель министра.— Свиридов Алексей Платонович в зале? Начальник Чернопольской дороги.

— Здесь, в зале,— ответили несколько голосов.

— Да,— поднялся Свиридов.— Я здесь, Сергей Сергеевич.

— В четыре часа министр ждет вас у себя, Алексей Платонович... А сейчас продолжим, товарищи... Министр на время отлучился для выезда в правительство и поручил вести заседание нам, членам коллегии. И дал указание, в каком направлении его проводить. Первое — чтобы выступающие доложили, что они сделали в прошлом году, а если не сделали, то почему. Четко и определенно. И второе — что намерены делать в этом году. Только по существу.

Свиридову нравилась сегодняшняя коллегия. Вернее, нравилась манера министра проводить ее, почерк, что ли. Тонкое это искусство. Ветераны помнили, как в недалеком прошлом проходили подобные заседания. С самого начала воздух в зале почему-то густел, становился тяжелым, каждому казалось, что за ним подглядывают колючие, недобрые глаза. Из всех углов. Почему возникало это ощущение? И собирались на коллегиях нехотя, с тяжелым чувством — неизвестно, вернешься ли после нее в свой кабинет.

Многое изменилось с некоторых пор, многое. И хотя Свиридов знал, что серьезный разговор еще впереди, что слова будут сказаны жесткие, неприятные, но в итоге люди покинут зал в добром настроении, с желанием работать, даже если сейчас их понесут, как говорится, по кочкам. Это особое мастерство — вести заседание коллегии. Особое искусство. А главное, счастливый дар ощущать истинное свое место в круговерти событий. Понимать, что ты занимаешь высокую должность в результате стечения обстоятельств плюс каких-то личных деловых качеств. Но — не более того! Так что не заносись, не прикидывайся богом, не заставляй людей смеяться над собой...

Размышляя, Свиридов упустил, чем была вызвана резкость заместителя министра — тот говорил с потемневшим лицом, голос его напрягся.

— Промахи?! Не с каждым промахом можно мириться.— Он взглянул через плечо на очередного докладчика, потом обернулся в зал.— Промахи, а?! Все мы читаем газеты, слушаем радио, радуемся свершениям нашим. И вдруг оказывается — газет-то не читаем, радио не слушаем... Я о чем?! Взять Костомукшу. Построили там крупнейшее металлургическое предприятие. С иностранными партнерами. Встречи на той стороне, на нашей стороне, газеты пишут, радио вещает. Вот! Весь мир наблюдал торжественный момент... Все знали: будет производство, а значит, придется везти сырье. Производство пустили! А на дороге говорят: «Мы не можем концентрат забирать. Там лежат такие рельсы, по ним тяжелый груз везти нельзя». Понимаете? А о чем раньше думали? Не видели, не слышали, не читали, да? — Заместитель министра покачал головой.— Вы не просто мастера, вы все — члены партии, большие государственные люди, вы же должны знать экономику своего региона... Вот я сейчас из Астрахани вернулся. В тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году должны пустить на полную мощность астраханский комплекс — шесть миллионов тонн серы. В год! С одной только точки — Саксарайской. А мы? Мы совершенно не готовы к вывозу. Даже нет технической документации на автоблокировку. Ждем, когда жареный петух клюнет, тогда и спохватимся. И выход, конечно, найдем: в век автоматике к старенькому телефончику временно вернемся. А как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное... Да, да! Не улыбайтесь!

Даже узаконили это безобразие. Инструкции составили, рекомендации. Гордятся этим наши связисты. Как что — на телефон... Вот если бы их, умудренных опытом инженеров да научных работников, посадить на место девчухи, которая только училище закончила и направлена работать в какой-нибудь Иссык-Куль или в Корпачево, где за смену выше ста грузовых, не считая пассажирских. Да отключить там автоблокировку, на телефон перевести... Вот я и поглядел бы тогда на ваши инструкции...

Заместитель министра умолк, провел по лбу платком.

— А когда мы упускаем путь, когда ни проехать, ни уехать... И все останавливается... Как на Астраханском отделении... Теплая погода, люди в рубашках ходят, природа оживает, гуси из Африки вернулись. А на Астраханском отделении поезда стоят. Стоят поезда! Потому что путь там запустили так, что ничем не помочь. Только работой. Поэтому надо засучить рукава и работать. Работать! Ведь вы, товарищи, сила! Вас полмиллиона. И механизмы есть. Конечно, человеку всегда чего-то не хватает. И в личном быту и на производстве. В этом и жизнь состоит, чтобы преодолевать нехватки, а не складывать руки... Вы все слышали, министр сказал: три миллиарда девятьсот миллионов тонн надо везти. И повезем!.. Мы как-то прикинули с карандашом в руке — в прошлом году только из-за нерадивости дорога потеряла десять миллионов тонн. Что такое десять миллионов тонн?! Это целые сутки работы всей сети дорог страны. Сутки! Представьте, что какая-то черная сила на сутки закрыла всю железную дорогу страны. Взрыв! Уму непостижимо... Работать надо, товарищи. Днем и ночью... Между тем основная нерадивость в нашей работе проявляется ночью. Особенно по вагонному хозяйству. Недавно мы проверяли пункт технического осмотра вагонов на станции Баскунчак. Пришла первая группа проверяющих — пункт спит, кто где. Разбудили, заставили работать. Ушли проверяющие — снова все легли спать. Мол, все уже проверили. Пришла вторая группа — спит пункт. А там пишут, перья скрипят: составы готовы, тормоза в порядке... Разбудили, заставили работать... Ушла вторая группа — снова все легли спать. Пришла третья группа в пять утра — спят голубчики... Вот какие дела, товарищи! И это на железной дороге! Мы тут разворачиваемся — научная организация труда, смотры, соревнования... Конечно, я утрирую, правильно меня поймите, научная организация труда необходима. Но ведь и совесть надо иметь. Пришел на работу — работай! Где совесть твоя?! Я поинтересовался: сколько получает осмотрщик вагонов на той станции Баскунчак? Именно получает, а не зарабатывает. Двенадцать часов спит, и двести пятьдесят рублей в кармане. Вот как! Помню, газета «Гудок» напечатала письмо осмотрщика вагонов. Тот пишет, что мы, дескать, выдаем справки, не проверяя тормоза. Совесть заговорила у человека, легкие деньги руки жгли... Я недавно читал: на американских дорогах поезд идет полторы тысячи километров без пробы тормозов. А у нас чуть встал — проба! Тук-тук-тук — стучит по буксам, проверяет со сна... Техника совершенствуется, а инструкции еще со времен царя Гороха, куда ни кинь — сплошь контроль, контроль. Иные спят, деньги получают, а считаются контролерами. Законтролерились совсем!

— И не только в Баскунчаке, — слышался негромкий возглас из зала.

Заместитель министра не расслышал реплики, но по реакции зала догадался, усмехнулся с горечью. И в какой-то момент Свиридова охватило чувство неловкости, точно именно его укоряет Сергеич в грехах. Он заерзал, покосился на соседа. И тому было невесело... Допустим, осмотрщик вагонов мужик-хитрован, себе на уме. Знает, что пустое это дело — выстукивать буксы через чуть ли не каждую сотню километров, когда специальная автоматика есть в вагонах на случай аварии. И пользуясь стародавней инструкцией, удит свою рыбку...

Но в зале сидят большие начальники, за столом президиума — еще большие. Так неужели всем миром нельзя навалиться, пересмотреть эти устаревшие инструкции? Какая сила мешает разобраться, исправить положение? Ведь и тот, кто отвечает за это положение, тоже не бесплатно работает, зарплату получает. И уж наверняка не меньше осмотра. Да еще и живет не в какой-нибудь там тмутаракани, а в Москве живет, в столице. Где ж его-то совесть? Выходит, он, хоть и является на работу, также спит, только с открытыми глазами да с деловым озабоченным видом, с портфелем в руках.

Эта невысказанная вслух мысль расплзлась по залу, подобно магне... Во многих, если копнуть, живут микробы сладкого безделья. А взметнется после этих пронзительных слов совесть, заговорит душа — и дают себе слово убеленные сединами мужчины... Но, к сожалению, микроб этот живуч, ждет, затаившись, своего часа. И дождавшись, вновь разъедает душу, усыпляет совесть. Если в этом и состоит особенность человеческой природы, тогда откуда столько свершенных дел? Не от лени же все это взялось, не от суесловия. Значит, не в сладком безделье суть жизни человека, а в делах и поступках...

— Вы думаете, почему министр ушел с коллегией? — продолжал заместитель министра, глядя в зал. — Поехал в правительство объясняться за вчерашний срыв погрузки угля. Вчера по вине железной дороги недогрузили тысячу вагонов угля. И уверяю вас — министру ох как неуютно сейчас в Кремле... А у некоторых вагоны простаивают, неделями не работают. Как же так?! Неужели, товарищи, вы не чувствуете, в каком ритме работает наша отрасль? Ведете себя хозяйчиками — куда хочу, туда ворочу... У нас в стране все государственное! Все принадлежит Союзу Советских Социалистических Республик! А не каким-нибудь отдельным хозяйчикам по путям, по движению... Взять ту же Астрахань. Прихожу на грузовой двор — прибыло оборудование для начальника дистанции. Три платформы трое суток стоят, никто к ним не прикасается. А там работы для трех мужиков на тридцать минут. Три платформы — трое суток! А?! И еще жалуются мне, что мусор станционный нечем вывозить. Это ж надо! Вот где бы проявить себя хозяином. Мы списываем в год тридцать тысяч старых вагонов. Ну оборудуйте их под свои нужды — мусор возить, старые шпалы... Нет! Обязательно возьмут новую платформу, с металлическими бортами, на роликовых подшипниках, погрузят три гнилые шпалы, загонят в тупик — и месяц она там стоит... А министр назвал цифру — три миллиарда девятьсот миллионов тонн надо везти... Поэтому уважайте вагон, берегите вагон. Он труженик наш, он работает на советскую власть... А не так: мой вагон — пусть стоит, аж позеленеет, мне так хочется. Не по-государственному это, не по-партийному!

Белые гардины в приемной волнами спадали до самого пола, напоминающая застывший прибор... Секретарь министра, отодвинув кресло на колесиках, поднялась и, собирая гардины под потолок, обошла все три окна.

Разговор с министром частично уже состоялся. Да, Алексею Платоновичу Свиридову предстоял перевод на должность начальника Североградской дороги вместо Савелия Кузьмича Прохорова, о чем его министр и поставил в известность. Но беседу их пришлось прервать — зазвонил телефон, и Свиридов, подумав, что министру хотелось бы вести разговор без посторонних, вышел, прикрыв за собою дверь.

Оставленный в приемной портфель по-прежнему лежал на одном из кресел. Было заведено: к министру в кабинет входить без всякой ручной поклажи, только деловые бумаги. Иной посетитель, добившись приема, норовил пронести в портфеле и подарок, благодарность изъяслял в надежде на удачное решение своего вопроса. Особенно усерд-



ствовали некоторые представители южных дорог. Традиция у них там такая исторически сложилась, что ли? И своих коллег с других дорог к этой традиции приучать стали. Потому и пришлось специальный инструктаж проводить: в кабинет — без всяких портфелей-чемоданов. Конечно, большинство посетителей никаких даров не принесли, но ситуацию понимали и на инструкцию не обижались. Хотя неудобства некоторые испытывали — приходилось необходимый документ в отдельную папку переключать.

У Свиридова на этот раз никаких бумаг, требовавших внимания министра, не было, он снял портфель с кресла, опустил на лакированный паркетный пол и сел, вытянув ноги. В такой позе он просидел несколько минут, глядя на гардины...

Секретарь Мария Федоровна — моложавая, удивительно опрятная, в строгом кофейном костюме с крупным простроченным швом на лацканах — симпатизировала начальнику Чернопольской дороги. Свиридов никогда не ставил секретаря в неловкое положение своим любопытством и назойливыми вопросами о каких-то сторонах внутренней жизни министерства, как это делали многие командированные. И такое поведение Свиридова интриговало Марию Федоровну.

— Ах, Алексей Платонович, от вас и лишнего слова не услышишь, — произнесла она с улыбкой. — Удобно с вами.

— Так я все ваши новости знаю. Дорога, она ведь все несет на себе. — И, помолчав, добавил: — И газеты я читаю.

Мария Федоровна с игривой капризностью нахмурила переносицу.

— Вы все об этой истории... Я-то думала, вы имеете в виду Савелия Кузьмича Прохорова. Кажется, вы с ним институт заканчивали, дружили, верно?

Свиридов кивнул, не скрывая досады: ну и дела, даже это знают и помнят. Неплохо осведомлены, молодцы.

— Удивляюсь, Мария Федоровна, с такой постановкой информации в министерстве и упустили своего Лезгинцева, а?

— Да, — вздохнула Мария Федоровна. — Маху дали. Кто же мог подумать — начальник Главного ревизорского управления...

— Представляю состояние министра, — проговорил Свиридов.

— О! Мы думали, что он сляжет. Умел пыль в глаза пустить Лезгинцев, ничего не скажешь. А таким казался всегда щепетильным. Такой тью-тью-тью. «Ах, что вы! Ах, не стоит!..» Значит, вы в газете прочли?

— До газеты тоже знал. Столько месяцев шел процесс.

— Хорошо, что напечатали, — не дослушала Мария Федоровна. — Мы все гадали-думали: напечатают, нет? Напечатали. Я полагаю, Алексей Платонович, гласность — самое сильное оружие. Конечно, если хочешь победить. А если так, лишь бы сегодня мимо пронесло... Так это ж сегодня пронесет, а завтра и ударит. А чего бояться-то? Боятся гласности тот, кто сам на углях сидит, — в этом я уверена...

Свиридов уже не слушал непривычно разговорившуюся Марию Федоровну. Он вспомнил фельетон в «Труде»... Начальник Главного ревизорского управления Афанасий Лезгинцев. Надежду подавал. Действительно, был неглупый человек, хороший специалист. Ну и что? Не устоял перед соблазном, дал слабину — и пошло-поехало. Злоупотребление служебным положением. Поборы, взятки. За сокрытие актов ревизии, за устройство на теплое место. Да мало ли на чем можно погреть руки нечестному человеку, особенно в ревизорском аппарате!..

Свиридов взглянул на важные стенные часы с римскими цифрами. Сверил со своими. Ровно пять.

— Я решила, что вы имеете в виду Савелия Кузьмича Прохорова, — поддержала угасающий разговор Мария Федоровна.

— Ну... о Прохорове пока в газетах не пишут. — Свиридову не хотелось говорить на эту тему. — Надеюсь, и не напишут.

— Да... жалко мне его, неплохой человек. Спокойный, нетрепличный. Да и начальником столько лет считался на уровне... Действительно, судьба-индейка! Куда он теперь? После такого скандала.

Свиридов взглянул на черненую люстру с белыми чашками светильников, на такие же бра, на распластавшуюся гигантским крабом схему метрополитена. Тоже ведомство Министерства путей сообщения, да еще какое.

— А сам-то.— Свиридов повел глазами в сторону кабинета,— небось успокоился, а тут — газета!

— Ну! — всплеснула руками Мария Федоровна.— Приехал утром, газету положил на стол, говорит: «Вот, Мария Федоровна, выставили нас на обозрение всей стране». Усмехается, и криво так. Да что ему статья? Он ведь историю с Лезгинцевым через сердце свое пропустил. Конечно, газета соли подбавила, но не в газете дело... Он же человек государственный, дальше видит...

И, точно почувяв, что разговор идет о нем, министр приоткрыл дверь и жестом пригласил Свиридова вернуться в кабинет.

Министр шел впереди. Невысокого роста, в сером ладном мундире. Зашел за стол, сел. Снял очки, положил рядом...

— Ты чего же, Платоныч, глобус руками не потрогал, а? — говорил он.— Привык я — какходишь ко мне в кабинет, все норвишь глобус тронуть.

Свиридов покосился на огромный цветной глобус, что стоял в кабинете министра, у стеллажей с книгами. Он действительно знал за собой этот детский порыв — тронуть пальцами тяжелый насупленный глобус, наверняка сознающий, что он представляет в этой комнате, пусть в миниатюре.

— Я уже его трогал,— признался Свиридов.— Когда входил сегодня в первый раз.

— А... Ну, извини тогда, не заметил. А о привычке твоей помню. Память у меня такая, сам, брат, удивляюсь — все помню. И что поздно и что забыть пора.

Министр умолк, погружаясь в свои мысли. Опустил глаза к буамам, поправил несколько страниц.

— Сейчас мне из Центрального Комитета позвонили... Говорят, были в Реченске. Лица людей хмурые, понимаешь. Лица обыкновенных людей на главной улице. Остановили одного, второго, поинтересовались. Оказывается, не могут купить в магазинах самых простых вещей. Стали дальше копать: почему нет завоза в торговую сеть необходимых товаров? И выясняется — сортировочная горка плохо работает. До Урала-батюшки стоят поезда с товарами. Вот как! Один диспетчер на горке может испортить настроение населению целого региона. Позвонил я им сейчас... Думаешь, не выставили причину?

— Выставили, Семен Николаевич,— кивнул Свиридов.

— Выставили, Алексей Платонович.— Министр выдвинул ящик, достал платок, протер очки.— И такую причину выставили, что не почитаться нельзя, вроде правы. Только грозным голосом и заставляешь, выводешь на предел человеческих возможностей. А разве это дело?! Предел он и есть предел!..— Министр повысил голос.— И ты тоже, Алексей Платонович...

— Что я? — встрепенулся Свиридов.

— У вас в Чернопольске живет Харитон Викторович Васильчиков...

— Живет.— Свиридов нахмурился, он уже понял, куда клонит министр.

— Помню, была у старика задумка о принципиально новом комплексе для работы на горке. И что? Конечно, старик — мечтатель. Но изобретатель должен быть мечтателем... Если бы то, что он надумал, сделать... Это, считайте, революция в технологии работы на горке... Прошу, Алексей Платонович, пока дела свои сдаешь в Чернопольске,

съезди к старику. Он обиды держать не станет, хоть и есть у него для этого основания... Не на тебя, ты как производственник тут ни при чем... Пришли его чертежи мне. Я передам в институт, в конструкторское бюро. Необходимо объединить усилия в этом деле, давно назрело. А одному Харитону Викторовичу не совладать, силы уже не те — седьмой десяток досчитывает.

Министр положил подбородок на сцепленные пальцы согнутых в локтях рук. Его крупная голова в этой домашней позе казалась еще крупнее, а глаза, серые, с густо-коричневыми райками, такие неприличные без очков, не мигая смотрели на Свиридова, излучая какую-то элегическую печаль. Не помнил Свиридов таким министра.

— Дай бог некоторым выдать хотя бы часть того, что сделал Харитон Викторович. И ведь в одиночку. Да и мешают еще ему некоторые со степенями, которых голыми руками не возьмешь. В регалиях да при билете. Такую демагогию запустят — рад не будешь. Как же! Уральский неотесанный мужик да в калашный ряд лезет... Повидаешь Васильчикова — поклон от меня передай. А не успеешь — своему преемнику накажи...

Свиридов слушал и с тревогой ждал, что вот-вот раздастся какой-нибудь важный телефонный звонок или войдут в кабинет с неотложным делом и их разговор вновь будет прерван. Или министр сам должен будет срочно уехать. Надо было торопиться, а с чего начать, Свиридов так и не знал...

— Так вот. Алексей Платонович, сдавай дела главному инженеру и...— Министр значительно помолчал.— Есть вопросы, просьбы?

Откуда, из какого потаенного закутка человеческого сознания нет-нет да и возникает чувство осторожности или, скорее, страха — за то, что доброе слово в защиту не только человека тебе близкого, но и против какой-то несправедливости может изменить твою собственную судьбу вызвать недовольство тобой, заронить подозрение?..

Свиридов сейчас сердился на себя за этот страх.

Вначале когда ему стала ясна ситуация, он дал себе слово как-то защитить Савелия, помочь ему подняться, добиться у министра достойной должности для Савелия на той же дороге. Не уезжать же ему из города, в который врос корнями. Но постепенно, с приближением момента, он остывал, благоразумие остужало порыв, и, подобно тому как огонь угасающей свечи уплотняет мрак, Свиридов все больше поддавался этому унижительному страху.. Искал оправдание... Что ему Савелий Прохоров в конце-то концов? Да, так случилось, что они жили в одной комнате общежития. Но если разобраться, не так уж они и дружили. Вот с Аполлоном Савелий дружил, это точно.

— Тогда все! — подытожил министр.— До встречи!

Министр кивнул Свиридову. И в этом вдруг каком-то суховатом кивке Алексей Платонович Свиридов почувствовал укор. Чепуха, просто показалось...

### *Глава третья*

Поезд тянулся вдоль платформы. Вагоны виновато покачивались, словно извиняясь за досадную задержку. Платформа разом зашевелилась, взъерошилась подобно рассерженному ежу. Люди, поднявшись со своих коробок и чемоданов, чем-то и впрямь напоминали колючие ежовые иглы...

Елизар стоял в распахнутых дверях вагона и перебирал взглядом толпу. Среди сотен людей на посадке он каким-то образом безошибочно выделял своих будущих пассажиров. Эта игра забавляла. Бывало даже так: приметит какое-то лицо, и поезд уже в пути, и пассажиры расположились, успокоились, вдруг ведут к нему человекка — в соседнем вагоне на одно место два билета продано. Усмехается Ели-

зар, радуется про себя: тот самый, которого он при посадке отметил. И сейчас его взгляд споткнулся о старика, что толковал о чем-то с носильщиком. Еще взгляд задержался на женщине в светлом пальто и голубой шапочке. И кого сегодня в превеликом множестве, так это «дедов морозов», тех, кто намерен переправить посылки с проводником. Их сразу отличишь по беспокойному взгляду. Проводник не брезгует подобным заработком. Иной раз так заставит служебку, что столика не видно...

Елизар развел плечи, в спине что-то сладко хрустнуло. Совсем он взмок с этими матрацами. Едва успели с Магдой вернуть часть в подменный вагон, остальные так и остались у Елизара — в пути перенесет, пассажиры помогут. Вообще, пассажиры не мешают проводнику, если, конечно, не задаваться, а быть с ними на равных. Взять те же чурки для растопки титана, вечно их не хватает. А бросишь клич пассажирам на какой-нибудь станции — глядишь, столько тебе понатащат всякой древесной мелочи, что хоть вместо угля в топку бросай. Как-то один доброхот даже лестницу деревянную приволок на дрова, дежурный по станции прибежал, скандалил: «Верните! На баланс лестница, мало вам ящиков, ворюги!» Или взять щекотливый момент, когда с ревизором не найдешь общего языка и надо безбилетников прятать. Если с пассажирами на ножах, враз тебя продадут с потрохами... Нет, с пассажирами Елизар дружил. Конечно, всякое бывало. Иной раз такие зануды попадались — никаких нервов не хватало, но все равно Елизар старался наладить контакт. Не то что Магда — мигнуть не успеешь, как та с половиной вагона перессорится...

— Почему второй вагон?! А где семнадцатый? — раздались крики с платформы. — Какой это вагон? Раскидали номера, как лото!

«Неграмотные, что ли? — подумал Елизар. — Ведь фризка висит». И тут он вспомнил, что в запарке не поменял номер, как значился вагон под номером прибытия, так и сейчас значится. Правда, насадки с трафаретом вообще не было, просто патлатый Вадим нарисовал фломастером на листке цифру «2» и прислонявил в служебку к оконному стеклу. Так листок и висит, вводя в заблуждение пассажиров, ждущих вагон под номером семнадцатым.

— Семнадцатый, семнадцатый! — крикнул Елизар в ответ. — Ошибка!

— Семнадцатый! — облегченно передавали весть друг другу пассажиры, бросаясь вслед за медленным вагоном.

Прохладный майский воздух теплел от снующих по перрону людей, от криков, рукопожатий, мелькающих чемоданов, узлов, ящиков, недоговоренных фраз, сдерживаемых слез, тележек носильщиков... Елизар при главной посадке билеты не проверял. А что их проверять? Времени в пути достаточно, разберется. Пусть каждый занимает свое место сам, а Елизару и без того хватает работы...

— Слушай, прихвати до Баку. Две коробки, — шепчет в ухо усатый парень. — Там встретят.

Елизар принял под мышку коробки и, проминая застрявшую в дверях тетку, ринулся в служебное купе. Едва закинул коробки на полку, как в дверях выросла фигура мужчины в кожаном пальто.

— Возьми до Махачкалы, будь другом. — Мужчина держал обшитый брезентом громоздкий круг. — Резина для «Жигулей». Сам встречу, самолетом вылетаю.

Расплатившись, мужчина ушел. Елизар решил забросить покрывку в глубь антресолей. Если сунется ревизор, коробки он еще спрячет, а с покрывкой хлопот не оберешься... В тесном купе покрывка почему-то увеличилась в диаметре, за все задевала, ну, никак не упрятать на чердак. А тут еще сунулась женщина в светлом пальто и голубой шапочке.

— Проводник! Все купе завалено матрацами, окна не видно! — У женщины был приятный поющий голос.

— Сразу и в окно смотреть? — игриво сказал Елизар, испытывая симпатию к пассажирке, которую он еще на перроне определил как свою.

— А одеял нет? — Молодой человек, что протискивался коридором к выходу, подмигнул Елизару. — Без одеяла мы не согласны.

Женщина повернула голову и окатила молодого человека ледяным взглядом.

— Ладно, ладно! — срезал Елизар молодого человека. — Слово сказать не дадут. — И, деликатно прикрыв ладонью рот, добавил, обращаясь к пассажирке: — Только отправимся, все матрацы уберу...

Женщина хотела что-то возразить, но ее опередил грубый голос с площадки:

— Проводник?! Белье принимай! Эй! Оставлю без белья. Быстр-а-а!

Елизар соскочил с полки и, разметав по стенкам пассажиров, бросился на площадку. Еще бы, и впрямь ведь оставит. Смотря кто сегодня дежурит по раздаче белья. Другой не застанет проводника на месте, проедет дальше, к следующему вагону, тащи потом вдоль всего состава мешки с бельем. А в каждом двадцать комплектов — полусырые простыни, наволочки, полотенца. Будь здоров весят, лошадь надорвется.

— Сколько скидывать? — Раздатчик махнул рукой рабочему, что сидел на мешках точно турецкий султан на подушках.

— Скидывай семь, — решает Елизар.

— Что так много? С мылом будешь есть? — благодушно интересуется раздатчик, извлекая пачку накладных. — Сто сорок комплектов?

— Дак он же и безбилетникам отель устроит, санаторию, — догадливо бросает с высоты рабочий. — Бросать, нет?

— Бросай, — разрешает раздатчик. — Нам один хрен.

Первый мешок, подобно пушечному ядру, летит на площадку.

Увертываясь от очередного мешка, Елизар принялся оттаскивать белье к топочному отделению, чтобы освободить проход, потом, после отправления, он разложит мешки по полкам. Да так, чтобы на виду были. Еще в памяти у Елизара держалась стародавняя поездка, в которой у него пропал мешок с полотняным олимпийским бельем. У кого он только не побывал, доказывая свою непричастность. Конечно, соблазн-то велик: белье не дешевое, а выплачиваешь при нехватке всего половину стоимости, другую половину вагонный участок покрывает. Только за прошлый год участок, говорят, выплатил бельевому хозяйству сорок тысяч рублей. Это ж надо, сколько постельного белья к лихим рукам прилипло! Яшка-проводник подсчитал, что такая страна, как Абхазия, могла бы сны свои мандариновые видеть, нежась на уплывших простынях... Так что нелегко тогда пришлось Елизару, надолго запомнил, считай, до ворот тюрьмы дошел, еле отбился. А насчет сетований раздатчика, что Елизар много комплектов за собой записал, так это раздатчик погорячился. В вагоне пятьдесят четыре полки, туда-обратно — это уже сто восемь комплектов. А сколько пассажиров сменится на одной и той же полке за поездку, никому неизвестно. Возможно, и семи мешков будет мало. Бывалый проводник все должен предвидеть... Однако допустил промашку Елизар с этими мешками. Только уложил, смотрит — в тамбур угольщик вваливается, как есть черт из преисподней, одни белки глаз сияют, даже зубы черные.

— Хозяин! Горф тебе доставил под затравку!

Любил Елизар растапливать титан торфом. И схватывается быстро и горит весело. Главное, не надо пассажиров за щепками гонять. А уголек у него есть, древесный, сухой, служивый из угольного двора доставил по таксе... Но замуровал Елизар топку, некуда ему сейчас торф этот складывать.

— Недорого возьму,— подзуживал угольщик.— Сухие брикеты, гореть будут ясно. Любой уголь раскопчегарят. Ну?! А бельишко мы в проход сдвинем, место освободим для торфа.— И угольщик, не раздуваемая, потянул мешок в сторону, ухватив ушки грязными лапами.

Это вывело Елизара из себя.

— А ну! Вали отсюда! Ишь командир выискался. Весь вагон перемазал.— И от вытолкал угольщика на платформу.

Тот ругнулся без обиды и двинулся вдоль состава на своей чумазой колеснице, громыхая бандурами с торфом. И автокар казенный, и торф вроде не на своем огороде копал, а разъезжает не таясь, торгует государственным добром, складывая денежки в черный лоснящийся карман. Такие дела...

Елизар вернулся в купе.

Для начала Елизар отодрал от стекла старый номер. Перевернул листок, начертил карандашом цифру «17». Но тут в пыльном окне мелькнул профиль начальника поезда Аполлона Николаевича Кацетадзе, рядом с ним спешил молодой человек в вязаной кофте. И еще какие-то люди. Елизар был уверен, что это Мадины пассажиры. Елизар даже мог сказать, какие места проставлены у них в билетах. Дело в том, что бракованный вагон заменили старым, мягким, другого в резерве не нашлось. А у этой серии вагонов на одно купе меньше, значит, четверо пассажиров останутся без места... В ушах у Елизара еще стоял крик, который подняла Магда при виде подмены. Конечно, обидно, теперь наверняка займут служебное двухместное купе, которое, как правило, набивалось «длинными» зайцами. Или выгодным грузом... Но так расстраиваться?! «Никого я не хотела брать, понимаешь? — кричала ему Магда.— Желание у меня такое, желание!» Елизар размяк, но что он мог ей сказать, чем успокоить? Он и сам расстроился. На всякий случай имелась еще и рубка. Полка, правда, там одна, но им и не нужно больше. И столик был и шкафчик. Только что приборная доска маячила перед глазами с переключателями да стрелками. Но можно не обращать внимания, в конце концов.

Да и к чему заранее нервничать? Может, вообще полупустыми отправятся, как в прошлый раз. Хотя надежд мало — именно в эти дни второй половины мая не угадаешь: вчера полупустые, а сегодня чуть ли не с крыш пассажиров надо гнать...

Так и случилось. Еще на перроне Елизар определил, что населенность вагона будет полная. Только бы двойников не собралось. Как лето, так от двойников отбоя нет. Конечно, всем миром народ поднимается, вот и захлебываются кассы — никакая автоматика-электроника не справляется, путает...

Судя по тому, что к Елизару в купе пока никто не врвался, с двойниками пронесло. А то такую бузу затеют, хоть на полотно прыгай. Конечно, понять можно: билет есть, а места нет, вот и качают права. И документы всякие под нос проводнику суют, справки, мозоли демонстрируют, увечья разные. Как-то один пассажир протез от культы отстегнул. Размахнулся им точно шашкой, свою полку требовал. А там, на полке, старуха столетняя. И спит уже. Или делает вид, что спит. Их, старух, всюду теснят, так они хитрее хитрого стали. Половина вагона инвалиду сочувствует, половина — старухе. Крик подняли — колес не слышно. Хорошо, один демобилизованный сжалился, уступил инвалиду свое место, сам весь день в тамбуре простоял, стены окурками оклеивал. А ночью на большом перегоне Елизар к Магде отправился, отдал ему свое место...

Елизар окинул взглядом купе, кажется, ничего в глаза не бросается. Снял с крючка фуражку, выдвинул дверь с зеркалом. Всегда так: наденет фуражку — уши вырастают, смотреть тошно. Но если долго смотреть, то не замечаешь этого безобразия. И Магда ему говорила: «Привыкла я к тебе. Ты для меня стал первый красавец. Куда я от тебя денусь?» Елизар подмигнул своему отражению. Действи-

тельно, куда Магда от него денется? Там, в городе, в простое, она еще выкидывает коленца, пропадает где-то, а здесь, в зеленом сарае на быстрых колесах, куда ей скрыться? Он еще раз подмигнул в зеркало, задвинул дверь, замкнулся трехгранником и заспешил из вагона.

Перрон уже угомонился. Пассажиры и провожающие стояли группами. Одни молча, хмуро, другие громко разговаривали, смеялись, третьи жестикулировали в глухое стекло, что-то объясняя. Где-то пели без мелодии, зато старательно выговаривая слова.

Магды на платформе не оказалось. Да и не могла она прохладиться у дверей, когда наверняка в вагоне сейчас баталия. Идти туда, вязываться Елизару не хотелось. Кацетадзе не любит, когда в спор вмешиваются посторонние, хотя вся бригада знала, что Елизар для Магды не посторонний... И вновь, как утром на планерке, Елизара чем-то зацепила мысль о начальнике поезда. Теперь уже не в связи с Магдой, а сама по себе.

Станный он человек, Аполлон Николаевич Кацетадзе. С одной стороны, ничем вроде не отличается от других начальников: и ребят своих прикрывает от ревизоров, и конфликты старается уладить. А с другой — все же странно себя ведет начальник. В чем выражалась эта странность, Елизар не мог объяснить. Но в последнее время холодок чувствовался в его отношениях с бригадой. Конечно, Елизара в прицепном вагоне это не очень тревожило, а вот других из основного состава настораживало. Так бывает, когда в привычном замечаешь непривычное. Вспомнились слова тети Вали о том, что их всей бригадой переведут на другой маршрут. Может, сам Аполлон Николаевич к этому стремится, только держит в тайне, хочет отбиться от южного направления — слишком многим там повязан, лучше бы, как говорится, слинять пока не поздно.

Но это лишь домыслы, первое, что приходит в голову...

Елизару подумалось и другое: в последнее время жена Аполлона не приезжала в вагонный участок. Может быть, именно в этом все дело? Не ладит с женой Аполлон, вот и мается, усох весь. Ха! Такой красавец и весельчак будет страдать из-за женщины?! Любая за ним пойдет, мигни только. Но одно дело женщины вообще, другое дело — жена. Правда, Елизар уже забыл разницу. Развелся он пятнадцать лет назад, прожив семейной жизнью три месяца, из которых, считай, полтора был в разъездах. А Аполлон Николаевич женат много лет, дочь взрослая...

Елизар был недоволен собой — с чего это он занимает свои мысли Аполлоном, мало забот перед поездкой? Времени-то осталось всего ничего. Пожалуй, не успеть ему добежать до локомотива, выяснить, не Зюмин ли ведет их сегодня до Оленьего Ручья. Который месяц Зюмин должен Елизару двадцать рублей и все не отдает. А брал на неделю...

— Муртаз! — окликнул Елизар знакомого носильщика. Тот вышел из Магдиного вагона, взялся за пустую тележку, покотил вдоль состава в голову поезда.

Муртаз Расилов был явно не в духе и взглянул на проводника без особого расположения.

— Будь другом, пройдешь мимо локомотива, спроси фамилию машиниста, а? Если Зюмин — помаши мне, договорились?

— Чем я тебе буду махать, тележкой?

Муртаз выругался по-татарски, откинул полу куртки, достал кошелек и переложил в него какие-то деньги. Откинул второй подол, извлек носовой платок, высморкался, аккуратно сложил, как было, и упрятал в тот же карман.

— Самое важное в жизни — это нервы, — промолвил он наконец. — Хочешь быть здоров, не надо нервничать. — И, толкнув тележку, заспешил. — Здоровье дороже всего!

— Здоровье,— подхватила полная женщина в розовой кофте, что стояла у двери вагона.— Сейчас здоровых людей нет. Просто люди соревнуются, кто дольше протянет. Верно я говорю?

Елизар солидно помолчал, потом промолвил:

— Вы бы вошли в вагон. Через пять минут отправление, будете прыгать, упадете, а я отвечай.

Женщина, вцепившись в поручни, втянула себя в вагон.

— И вы тоже, молодые люди! — строго обратился Елизар к парням восточной наружности.

— Покурим, да, начальник,— ответил тот, что повыше, затягиваясь сигаретой.

— Без нас не уедет,— поддержал второй, коренастый и большеглазый, добавляя услужливо: — Хочешь, я бегом узнаю фамилию машиниста?

— Еще отстанешь,— отозвался Елизар с грубоватой признательностью.— Лучше посмотри внимательно, помашет носильщик или нет.

Елизар был убежден, что Муртаз выполнит просьбу, несмотря на неопределенность поведения. У носильщиков с проводниками были свои, особые отношения, хотя внешне, казалось, они не только равнодушны друг к другу, но и находятся в определенной вражде.

Большеглазый вышел на середину платформы и обратил свои круглые очи в синеющую к вечеру даль платформы.

— Загораживают, понимаешь,— негодовал он, перебегая с места на место...

До отхода оставались считанные минуты. Что-то не видно желающих — никто не подходит, не шепчет. Странно даже... Лучше бы, конечно, «длинный» заяц, тот, кто едет от начала и до конца. Но можно прихватить и «короткого». С ними забот больше, хотя и выгодней в деньгах, если один другого сменяют, точно на конвейере. «Короткого» зайца ревизор сразу замечает — сидит, бедолага, на кончике скамьи, озирается, вздрагивает при каждом стуке...

Интересно, как с этим делом у соседей? Ближайший сосед — Яшка. Стоит спокойно, скупая. По внешнему виду не поймешь — пустой едет или половину вагона набил безбилетниками. Дело тихое, личное. Порой так законспирируешься, что зайца с законным пассажиром спутаешь, бывает конфуз.

Из-под вагона раздался протяжный, затухающий звук «пс-с-с-с» — опробывали тормоза. Скрипнули в нетерпении колеса, напряглись. Теперь и упрямыцы спешили поскорее закинуть себя на площадку вагона.

— Машет, начальник! — радовался большеглазый, не покидавший свой пост до последней секунды.

Что ж, надо будет выбрать стоянку подольше, навестить Зюмина, небось тот и забыл о долге...

Подобрав всех пассажиров, Елизар опустил площадку и, держа в руках желтый флажок, встал в дверях на отправление. Теперь надо глядеть внимательно, как держат флажок соседи...

Вагон дрогнул и плавно сдвинулся с места — незаметно, словно в дреме. «Молодец Зюмин, хороший машинист, только должок все равно придется вернуть, далеко теперь не уедешь».

Елизар высунулся из двери и посмотрел на соседний вагон. Что за черт? Кажется, Яша держит флажок горизонтально, а не так, как положено,— вертикально... Вот те на! Или он, стервец, пугает, или просто забылся, прохлаждается... Елизар бросил взгляд на идущий следом Магдин вагон. А что толку? Ведь Магда ориентируется на Елизара, так же как Яша глядит на идущего раньше в сцепке Гайфуллу Мансурова, а тот, в свою очередь...

Яша упрямо продолжал держать флажок горизонтально. Значит, никакой ошибки: в поезд сели ревизоры. Кто первым выбросил ус-



ловный знак — неизвестно. Да и какое это имеет значение? Главное, тревога! И проводники предупреждают об этом друг друга...

— Где бугор? — крикнул Яша. — Предупреди его!

«Видно, не пустым едет Яша, беспокоится», — подумал Елизар. Лично ему опасаться нечего: посылки упрятаны, зайцев нет. Но все равно предупредить начальника, что сели ревизоры, необходимо. И, едва проведив станцию, Елизар захлопнул дверь. Точно дожидаясь этого момента, дверь тамбура распахнулась — и на площадку вышел Аполлон Николаевич Кацетадзе. За ним торопился молодой человек в вязаной кофте, следом маячил старик в старомодном плаще. Тот самый, которого Елизар определил как своего пассажира...

#### *Глава четвертая*

Семейство Кацетадзе проживало в Баку на бывшей Старопочтовой улице, ныне улица Островского, и занимало половину второго этажа большого дома, сложенного из белого известняка. Население дома даже для такого многонационального города, как Баку, отличалось пестротой. В доме жили армяне, азербайджанцы, русский, грузины, евреи, лезгины. Бабушка Инесса выдавала себя за дочь англичанина-инженера, и в графе «национальность» значилось: католичка. Вероятно, паспортист, заполняя бумаги, совсем одурел от разнообразия населения своего участка и поверил бабушке, тогда еще молодой девушке, на слово...

Отец Аполлоши, Николай Георгиевич Кацетадзе, служил на железной дороге. И каждое его появление во дворе в ладной черной форме вызывало переполох и зависть к Марии, имеющей живого, даже не раненного мужа. Правда, он немного хромал — получил травму на дороге еще до войны, — но все равно был красив.

Имея такого отца, Аполлоша считался среди ребят самым большим авторитетом по железнодорожному транспорту. Обладая цепкой памятью, он приносил на дворовый сход самые невероятные истории, связанные с железной дорогой. Отец поощрял увлечение сына и нередко брал с собой Аполлошу. Радости мальчика не было предела, особенно когда предвкушал, как пройдет двором, усталый и озабоченный, словно именно он вел состав к далекой станции с голубым названием Аляты.

Никаких сомнений, только железнодорожный транспорт — вот судьба Аполлона Кацетадзе. После школы Аполлон поступил в Ленинградский институт железнодорожного транспорта, окончил его и по распределению был направлен в Североградское управление дороги инженером по эксплуатации с окладом в сто десять рублей...

Аполлону исполнилось двадцать восемь лет, когда товарищ по работе Савка Прохоров познакомил его с подругой своей жены. Пыльный Аполлон был очарован светлокудрой пышечкой Алиной. После непродолжительных встреч Алина объявила Аполлону, что надо что-то решать, не допустит же он, чтобы Алина стала матерью-одиночкой. Нет, этого Аполлон допустить не мог. Но не мешало бы поставить в известность родителей, иначе посыплются обиды, а у отца больное сердце. Алина ехать к родителям Аполлона не решилась, ей стыдно: еще невестой не была, а уже ребенка заготовила. Аполлон не настаивал. Он тоже испытывал неловкость при мысли, что привезет Алину в свой большой и любознательный двор...

Семейный совет проходил на веранде при открытых окнах. И все, кто находился во дворе, имели возможность обсуждать событие.

Отец, одетый, несмотря на духоту, в парадный железнодорожный китель, сидел во главе стола и в задумчивости крутил в пальцах ножку тяжелого чешского бокала. Фотография девушки уже прошла первый круг ознакомления. И теперь, отдыхая, стояла, прислонившись к вазе с яблоками.

Так и не дождавшись, когда муж хоть что-нибудь скажет, Мария робко проговорила:

— Что-то она слишком белая. На солнце не сидит? Или, может, больная?

— На солнце не сидит,— согласился Аполлон.— Ты, мама, тоже... Разве плохо, что белая? Все там белые. На севере живут.

— Ты, Мария, думай, что говоришь! — поддержал Аполлона голос со двора.— Даже медведи там белые.

Мать подошла к окну и крикнула:

— Только вашего совета мы ждем, да? Весь двор собрался.

Мать захлопнула окно и, ворча, вернулась на место.

— Ладно! — произнес старший Кацетадзе.— Выпьем за твое, Аполлон, решение. Жаль, конечно, что невеста не приехала. Зачем нас бояться, мы же не звери.

Аполлон кисло улыбнулся и стиснул пальцы рук. Почему-то он не ощущал особой радости от поддержки отца.

Мария прильнула щекой к горячему лицу сына.

— Скажи, мальчик... Ты вынужден жениться? Скажи нам, не стесняйся матери с отцом, скажи.

— Почему вынужден? — вяло ответил Аполлон.— Она девушка хорошая.— Он замаялся и покраснел.

— Ва-ра-а-а! — вскрикнула Мария.— Значит, поэтому она сюда не приехала. Стыдно, да? Фигуру показать стесняется? Я сразу поняла...

Аполлону хотелось спрятаться под стол. В то же время он радовался, что все сказал. И на душе полегчало — передал родителям часть своей ноши.

— Слышишь, Николай? Чужало мое сердце.— Мария бегала по веранде.— Какой позор! — Ее лицо, обтянутое смуглой кожей, пылало.— Мальчика учили английскому языку,— вдруг вспомнила она.— А кто из него вырос?

Николай Георгиевич хлопнул ладонью по столу. Тонко звякнули бокалы.

— Кто из него вырос! — воскликнул отец.— Мужчина вырос, вот кто! Правильно сделал! Если бы он жениться отказывался, тогда другое дело... Слушай, зачем я парюсь в этом кителе, если в жизни так все просто, а? — И отец громко расхохотался.

В последнее время он хромал сильнее: нога с годами не становилась лучше, как обещали врачи, наоборот, совсем сдал отец. Сказывалась работа на дороге. «Рельсы мне холод передают,— говорил Кацетадзе-старший.— Никуда от них не уйти. Куда ведут, туда и приведут. Но без них нет моей дороги в жизни. Не жалею».

Николай Георгиевич повесил китель в шкаф и остался в сетке. Набрал из сифона шипучую воду, сделал полный глубокий глоток. Прошел мимо сидящего спиной Аполлона, слегка похлопал его по плечу.

— Кочаг чемо, бичо!<sup>1</sup> Дедом меня хочешь сделать. Слушай, как жить будешь? Семья ведь, жена, ребенок... На какие деньги будешь жить?

— На отца надеется! — крикнула из кухни мать.

— Проживем как-нибудь,— отмахнулся Аполлон.— Я инженер или кто?

Придерживая двумя руками блюдо с рисом, мать вернулась в комнату. Скорбное выражение лица Аполлона несколько умерило ее гнев.

— Интересно, о чем они там думают? Инженер себя одного прокормить не может. Человек семью заимел — прибавьте зарплату, дети пошли — еще прибавьте.

<sup>1</sup> Молодец, мой мальчик! (Груз.)

— Скажешь тоже, Мария,— неодобрительно отозвался отец.— Так можно сидеть дома и зарплату министра получать. Делай детей и бегай в кассу. Э-э-эх! — Отец вскинул брови.— Я так думаю: небольшой оклад дают молодому специалисту, чтобы он зубы точил. Если ему сразу дадут хорошие деньги, он сразу и станет бюрократом. А так бежит, как лошадь за овсом...

— Лошади тоже силы нужны, чтобы бежать за овсом,— покачала головой мать.— Если она упадет от голода, кому нужен тогда твой овес, интересно? Сгниет без пользы.

— Ничего, пока не падает,— ответил отец.— Какие ребята к нам на участок приходят! Орлы! Только в помощниках машиниста стоял. Смотрю — сам локомотив ведет. Рукой машет, догоняй, дядя Нико, кричит.

— Послушай, папа, я зачем к вам приехал? — перебил Аполлон.

— Правда, Нико... Опять начинаешь свои глупости повторять! — вступила мать.— Мальчик приехал посоветоваться с родителями. Серьезный шаг делает. А ты? Как старый казан! Бу-бу-бу...

Отец насупленно молчал. Говорить при сыне, что отец произносит глупости и что он старый казан?! Да, постарел он, постарел. Разве раньше он, Николай Кацетадзе, вытерпел бы такое унижение со стороны жены?

И Мария догадалась...

— Аполлоша, сынок... Отец жизнь прожил. Плохого он тебе не пожелает.— И, окончательно разозлясь на себя, Мария принялась раскладывать по тарелкам рис.

— Хотя я и старый казан.— Николай Георгиевич не мог подавить обиду.

— Ты что, Нико?! — воспользовалась мать.— Я сказала: как старый казан. Понял? А какой ты казан? Только пятьдесят лет исполнилось.— Мать спрятала лицо в поредевшую шевелюру мужа.

Как Аполлон любил эти минуты!

У себя, в Северограде, простуженными зимними вечерами он часто вспоминал далекий бакинский двор, и эту веранду, и этих двоих людей. Почему он живет так далеко от них? В чем смысл его пребывания в Северограде? Работа? Но работу с таким окладом можно найти везде. Теперь еще и семьей обзаводится. А может быть, взять Алину и вернуться сюда, в этот дом? Тесно будет им, да еще с будущим малышом...

— Я о чем думал, когда спрашивал, на какие деньги собираешься жить с молодой женой? — важно продолжил Николай Георгиевич.— Я подумал, Аполлон... Ты столько лет работаешь инженером по эксплуатации. Пора тебе расти по службе, пора показать всем, кто такие Кацетадзе.

— Английский язык знает,— вставила мать.

— Зачем ему английский язык, женщина? — поморщился отец.— Делом надо заняться, делом.

Мать гордо выпрямилась, ее маленькие блеклые глаза гневно сверкнули.

— Николай Кацетадзе! Ваше понимание служебной карьеры не идет дальше службы движения. Я желаю своему сыну более интересную судьбу. Я не хочу, чтобы люди о нем говорили: «Это тот самый Аполлон Кацетадзе, чей отец так и проработал всю жизнь маневровым диспетчером. А ведь какая это была голова! Как красиво на ней сидела форменная фуражка!»

Отец сжал губы. Его небритый подбородок приблизился к носу, что являлось признаком серьезной обиды.

— Аполлон! — произнес отец.— Я желаю, чтобы твоя семейная жизнь была счастливей, чем моя.

— Ах так?! — взвилась мать.— Аполлон! Слушай, сынок. Если

ты будешь таким рохлей, как твой отец, то останешься к концу жизни пустым, как воздушный шарик.

Мать шагнула к окну и с треском запахнула ставни в знак того, что разговор будет слышным серьезным, не для посторонних ушей.

— Смотри сюда, Аполлон.— Она сбросила с полки шкафа толстую папку, перевязанную лентой.— Здесь похоронены мысли, которые могли сделать имя Николая Кацетадзе известным всей стране.

— Мария, Мария...— растерянно повторял отец, стараясь подавить гнев и смирением своим облагородить супругу.

— Молчи! Ты уже свое сказал... Аполлон должен знать, каким он не должен быть...

Аполлон с детства не видел в распре матери с отцом особого происшествия. И знал, что распри заканчиваются долгим миром.

— Хватит, хватит! — хохотал Аполлон.— Честное слово, не знаю, зачем я приехал к вам?! Женился бы, и все.

— Как тебе не стыдно? — укорял отец, надеясь отвлечь внимание жены.— Без согласия родителей? Ты слышала, что он сказал, Мария? — И, видя непреклонность жены, воскликнул: — Эшмакма дасцхевлос!<sup>2</sup> Лезешь в мои бумаги?! Кто дал тебе право, женщина?!

Мария развязала тесемки и раскрыла папку.

— Это право, Николай Кацетадзе, я заслужила своей несчастной жизнью с тобой! — внушительно произнесла мать и бросила папку перед Аполлоном.

— Цис риххва!<sup>3</sup> Кругом крошки, грязь, жирные пятна... Что ты делаешь, Мария, опомнись! — взмолился отец, не решаясь под яростным взглядом матери отобрать папку.— Сын приехал на три дня. У сына важный разговор. Чем ты забиваешь ему голову, Мария?!

— Читай, Аполлон, читай! — требовала мать и, рассерженная смехом сына, сама прочла название: — «Предложения по устранению недостатков в пассажирских перевозках на железнодорожном транспорте». Вот! Сколько лет работы... Графики, схемы... Лучше бы я это все сожгла, чем видеть своими глазами, как гниет на полке такой труд...

— А-а-а... Все! Нет, все, говорю! Хватит! — Отец вскочил на ноги, опрокидывая стул. Он метался по просторной комнате. Хромота придавала его движениям неловкую резкость. При этом он вздыбливал плечи, словно крупная нахохлившаяся птица, размахивая руками.— Враг в моем доме, враг! — причитал он сдавленным голосом.— Если человека не может понять собственная жена, что ему остается делать?!

Аполлон занялся бумагами. На одних красовался гриф отдела писем Министерства путей сообщения, на других управления дороги, попадались какие-то циркуляры, справки, выписки из приказов. Но основную часть составляли листы, исписанные четким отцовским почерком.

— Слушайте, чего вы так кричите! — воскликнул Аполлон.— Слова прочесть не могу...

— Потому что ты ослороп! — в сердцах переключилась на него мать.— Как ты еще выучил английский язык, удивляюсь.

— Я по-английски знаю только пять слов,— разозлился Аполлон.— Пять! Может быть, шесть. И все! Даже то, что знал в институте, забыл... И хватит! Перестань делать из меня вундеркинда. Я с трудом получал стипендию.— Аполлон говорил правду, мать это знала.— А вы с отцом решили, что я обязательно должен прославить фамилию. И удивляетесь, почему меня еще не назначили начальником дороги. Я инженер по эксплуатации службы движения с окладом сто десять рублей. На эти деньги я буду жить со своей женой...

— И с ребенком,— поправила мать.

<sup>2</sup> Черт побери! (Груз.)

<sup>3</sup> Гром небесный! (Груз.)

— И с ребенком,— кивнул Аполлон.— Не хватит — придумаю что-нибудь. У нас в стране деньги под ногами валяются, надо только нагнуться,— вспомнил Аполлон фразу своего институтского товарища, который устроился работать в вагон-ресторан...

Высокий, худой, он рядом со своими родителями казался могучим деревом среди потрепанного непогодой кустарника. Да и голос у него уже окреп и мало чем напоминал его прежний — ломкий, с развязными интонациями, типичными для мальчишек из южных городов. Слова поэтому звучали хоть и дерзко, но с уверенностью человека, который выбрал свой жизненный принцип и убежден, что только так можно преуспеть, не оказываясь в дураках...

Аполлон захлопнул папку и бросил ее на стол.

— Морочишь голову людям с этим проектом. А кому он нужен? Столько народу вокруг дороги кормится. Зачем им твой проект? И без него колеса крутятся,— проговорил Аполлон.— Я зачем приехал?! Слушать, как отец хочет принести стране пользу, а ему мешают? Когда я был здесь в последний раз, эта папка была не толще тетрадки. Теперь она, как телефонная книга... А что изменилось?! В холодильнике — лекарства, в шкафу — лекарства... Еще обижаетесь, почему я Алину не привез. Чтобы она слушала, как мать ругает отца за то, что ему надоело драться за свой проект? Чтобы Алина видела, какие у меня чокнутые родители, да? Хватит, хватит! Живите как все люди... Пейте, ешьте, гуляйте на бульваре, дышите морским воздухом...

Отец и мать с недоумением смотрели на своего сына. Со двора слышался резкий стук костяшек по доскам и голоса игроков...

— Мария, дорогая,— проговорил отец,— что такое «чокнутые родители»?

— Нико-джан... Это родители, которые хотят, чтобы внуки ими гордились. Или правнуки.

— А почему он нас тогда упрекает? Ведь наши внуки — это его дети.

— Потому что он еще совсем глупый, дорогой Нико.

— Тогда зачем он женится?

— Чтобы поумнеть. После женитьбы люди всегда умнеют. Или глупеют. Если он станет совсем-совсем глупый... как мы с тобой... тогда он, наверно, нас поймет, Нико-джан...

— Ты права, Мария, умные люди совсем перестали нас понимать... Я говорю тому, кто дверь от вагона отодрал и на даче уборную открыл: зачем ты это сделал? Он ничего не ответил. Только посмотрел на меня, как очень умный человек на очень глупого человека...

Чай они пили молча. И молча разошлись спать.

За просторным окном чернела южная ночь. И мелкие звезды москитами бились о стекло. Это окно не открывалось во избежание сквозняка. Да и духоты особенной не было, в комнате хватало щелей...

Двор давно угомонился. Лишь сверху доносились глухие звуки пианино — кто-то разучивал гаммы. У кого там было пианино, Аполлон уже не помнил, редко приезжал к родителям, все время возникали иные соблазны...

Скорей бы его утвердили начальником поезда. Вот когда он надоест здесь всем, если попадет на бакинское направление. О том, что он надумал уйти из управления, Аполлон родителям не признался. Зачем? Отец огорчится. Любой человек, связанный с железной дорогой, понимает, почему специалист переходит в поезд. По нынешним временам это наиболее доходная работа. Особенно, конечно, негодовал бы отец, Николай Кацетадзе. Идеалист! И мать такая же идеалистка, под стать отцу. Нашли друг друга. Впрочем, мать более трезво смотрит на вещи. Если б не она, отец пропал бы со своей болезненной порядочностью. Нет, мать не сталкивала его с этого пути, боже

упаси. Просто она старалась из восторженности отца извлечь практическую пользу. И очень переживала за него.

Взять хотя бы проект. Он так бы и остался фантазией, если бы не мать. Пока отец не втянулся в работу, она, экономист по образованию, собрала большой материал по пассажирским перевозкам, систематизировала, составила картотеку. Товарооборот вагонных и вокзальных ресторанов, объем бытового обслуживания пассажиров, распределение доходов на дорогах формирования поездов и на транзитных дорогах.... Ее энергия растормошила отца. Идея, которую тот высказывал в общих чертах, после вмешательства матери обрела конкретную форму.

Отец начал свой долгий поход. Не встретив особой заинтересованности в своих предложениях у местного железнодорожного начальства, отец замкнулся в себе. И если бы не Мария, живым укором маячившая перед глазами, он бы отдал бумаги школьникам, озабоченным сбором макулатуры. Мария требовала, чтобы муж стучался выше, в партийные организации, но Николай Георгиевич не хотел подставлять своих товарищей по работе, противопоставлять себя родному гнезду. Не то что бы он боялся, нет. Просто многих из них он знал долгие годы, привык к ним. Если вдруг проекту дадут ход, то кое-кто на дороге проявит себя не с лучшей стороны как специалист. И люди, обремененные семьями, могут оказаться не у дел... Так думал Николай Кацетадзе, совестливый человек. Мать злилась, находя поведение мужа недостойным настоящего мужчины...

Аполлон смотрел в потолок. Казалось, эти чертовы гаммы пятнами выступают на штукатурке и, подобно дождевым каплям, срываются вниз, прямо на него...

Аполлон поднялся с кровати, нащупал комнатные туфли и вышел в коридор. Постоял немного. Что ж ему делать? Подняться к соседям, попросить закончить концерт, время позднее. Неудобно как-то, подумают, склочником стал сын Николая Кацетадзе.

Знакомый с детства коридор выпирал углами шкафа, стола, подоконников. Раньше коридор казался гораздо просторней. Вот в квартире Алины коридор так коридор — хоть на велосипеде катайся. И комнаты там просторней.

Аполлон неслышно пододвинул табурет, присел, подхватив на весу колени сцепленными пальцами. Тут слух уловил разговор, приглушенный дверью спальни родителей.

— Уходит от нас сын, Мария, уходит, — говорил отец. — Были бы еще дети...

— Вспомнил, — вздохнула мать. — А что толку? И те бы ушли. Только всем отрядом. — И помолчав, еще раз вздохнула: — В какие руки он попадет?.. Никогда дети своих родителей не понимали. Потом поймут, когда нас не станет.

— Дело не в этом... Мир изменился, Мария, мир.

— Все же ты старый казан, Нико.

— Да. Хромой неудачник...

Аполлон не был сентиментален. Но эта ночь, старый коридор с привычным сладковатым запахом сушеного укропа и люди, чьи родные голоса он слышал, ему сейчас казались такими беззащитными... Чувство вины тяжестью давило на сердце. Но чем он виноват перед ними? Что уехал в другой город? В конце концов они могут переехать к нему, поменять квартиру. Сколько раз заводил об этом разговор! Но отец упрямылся. Куда он должен ехать, зачем? Из города, где каждый дом — как шкаф в собственной квартире, где столько знакомых, друзей, родственников. И мать его поддерживала...

Аполлон еще долго сидел, погруженный в печальные думы. Из комнаты родителей все настойчивее доносилось похрапывание отца. И звуки пианино больше не капали с верхнего этажа.

Дом спал.

Через пятнадцать лет после женитьбы Аполлона его отец, Николай Георгиевич Кацетадзе, умер.

Телеграмма застала Аполлона с семьей в Пицунде на отдыхе.

Он вылетел в Баку один: трудно было с билетами, разгар лета. И вот он стоит у гроба, придерживая вялой рукой мать, покрытую черным платком...

Алина с дочерью приехала поездом в самый день похорон. Кто-то из соседней одолжил Алине темную накидку — неудобно, похороны, а она в голубом платье. «Какой у нее чужой вид», — раздраженно подумал Аполлон. От волос Алины цвета осенних листьев, рассыпанных поверх накидки, веяло праздником и беззаботностью, казалось, волосы еще не просохли от морской воды. Алина пыталась придать капризному лицу выражение печали, но глаза ни о чем не говорили, кроме скуки. Дочь — так та вообще видела деда два раза в жизни. И сейчас испуганно жалась к матери, худая и высокая, не совсем понимая, что происходит.

Гроб поставили посреди двора на старый лысый ковер. Гроб почему-то казался чрезмерно большим — возможно, от цветов, в которые он зарылся, или от двух венков, приставленных к изножью.

Тяжелые мысли ворочались в голове Аполлона, мрачные... Смерть не исказила отцовское лицо, только заострила черты, и все, кто стоял сейчас поблизости, не могли не заметить поразительного сходства этого известкового лица с лицом стоящего рядом сына...

Словозобравшуюся во дворе толпу пробирался человек в железнодорожной форме, дядя Алекпер, он уходил договариваться с шоферами.

Дядя Алекпер трудно дышал, черный галстук был приспущен, верхняя пуговица сорочки расстегнута.

Многие из тех, кто находился в толпе, знали Николая Георгиевича долгие годы, им было что сказать. Но люди молчали, не решаясь быть первыми...

Встретив прищуренный взгляд старика с розовой лысиной и редкой бороденкой, дядя Алекпер растерянно кивнул:

— Салам, Хачатур. Может, ты скажешь слово?

Лысый старик приподнял плечи, множество медалей и значков звякнули на лацкане ветхого пиджачка.

— Сначала ты скажи, Алекпер. Я еще скажу про нашего незабвенного Нико, успею, — произнес старик со значением.

— Что я могу сказать? — вздохнул дядя Алекпер и, сделав долгую паузу, проговорил: — Дорогой Нико... И ты, Мария... И ты, Аполлон... Не думал я, что буду говорить с тобой, Нико, когда ты не сможешь ответить. Думал, получится наоборот... Сколько лет мы знали друг друга? Почти шестьдесят, когда мальчишками поступили на сортировочную в Баладжарах...

— Пятьдесят четыре, — поправил Хачатур. — Я мастером был.

— Вот, Хачатур тогда уже мастер был, — согласился дядя Алекпер без спора. И умолк, сбившись с мысли. — Я что хочу сказать? Тогда как работали? Какой был инструмент? Гайковерт, молоток, ручной домкрат. — Дядя Алекпер сделал паузу, подумал. — Сейчас он тоже есть... Ты, Нико, работал, как будто у тебя современный инструмент, самоходная установка, честное слово... Потом, когда перешел в пассажирскую службу... Что тогда было в поезде? В каждом дальнем маршруте работал парикмахер, два электромонтера. В каждом вагоне два проводника, честное слово. Потом сократили монтеров, поезда передали вагонному участку, начальника поезда называли механик-бригадир, чтобы он и за механика отвечал, честное слово... Я что хочу сказать? — Дядя Алекпер перевел дыхание. — Ты всегда, брат Нико, был уважаемый человек, замечательный работник, почетный железнодорожник...

— Отличник безопасности движения, — добавил Хачатур.

— Да. Вот Хачатур напомнил... Ты был отличник безопасности движения,— опять согласился Алекпер. Он достал платок, потер лоб, словно проясняя свои мысли.— Дорогой брат Нико... Ты был удивительный человек, даже и не знаю, остались ли такие еще на земле. В самые трудные дни войны ты всегда был уверен, что все будет хорошо, честное слово. Работал, работал, не успокаивался... Вместе со своей Марией, пусть она живет долго...

— Зачем мне жить без моего Нико? — произнесла Мария.

— Мария, Мария,— укоризненно произнес Хачатур.— У тебя еще сын есть, внучка... Как ты можешь?

— Ай, Хачатур, дорогой... Без Нико...

Из толпы потянуло шорохом, точно ветерок пробежал в камышах.

— Ладно, Мария, ты такие смешные вещи говоришь, честное слово,— произнес дядя Алекпер и, вздохнув, продолжил: — Я что хочу сказать? Ты, Нико, вместе со своей Марией решил помочь нашей родине. Начал крепко думать. И очень полезные вещи придумал. Но пока мало кто их поддерживает...

— Это его и сгубило,— раздалось из той части толпы, где сгрудились железнодорожники.

— Надо было в Москву писать, в Совмин,— возразил другой голос.

— Что толку? Пиши не пиши...— не согласился третий голос.

Дядя Алекпер ждал, когда возгласы утихнут.

— Словом, я что хочу сказать, Нико... Спи спокойно, дорогой, мы никогда, никогда тебя не забудем.

Дядя Алекпер умолк и сделал шаг в сторону. Возникшая тишина сгушалась, становясь какой-то неловкой.

— Я скажу слово.— Старый Хачатур выступил из толпы.— Дорогой Николай Георгиевич.— Хачатур обвел всех взглядом мудрого человека и вновь обратил взор в сторону гроба.— Дорогой Николай. Для кавказца семьдесят лет не возраст... Но я что хочу сказать... Мы всегда гордимся, когда наша страна вырывается вперед. Наши железные дороги впереди американских на целую эпоху. На каждый километр пути мы перевозим в шесть раз больше груза, чем американцы... И в этом тоже твоя заслуга, дорогой Николай Георгиевич... Ты прошел большой путь от осмотрщика вагонов до машиниста локомотива. Последние несколько лет по состоянию здоровья ты перешел на диспетчерскую работу, потом стал пенсионер. Когда обслуживание пассажиров разделили между двумя начальниками — вагонным управлением и пассажирским главком,— ты увидел, что это не годится, что пассажиру стало хуже. Твое сердце, Николай, дорогой, и жены твоей Марии... Ваши сердца не могли успокоиться. Вы не начали вечером пить спокойно чай, вы стали разрабатывать предложения. И я, Хачатур Тер-Ованесян, уверен, что рано или поздно твое дело, Николай, закончит твой сын Аполлон, который, как и отец, железнодорожник... Почему тебя тогда не поняли? Потому что время твое тогда не пришло, другие заботы были в стране. Сейчас надо пробивать... Поэтому спи спокойно, дорогой. Товарищи не оставят твою семью... И вообще, не беспокойся, дорогой...— Полный достоинства, Хачатур отошел в сторону, скромно позванивая медалями.

Потом выступали еще. Соседи, сослуживцы, двоюродный брат отца из Навтлуги...

Полусухой тутовник, единственное дворовое дерево, накинуд на толпу дырявую сеть теней, и казалось, под легким ветерком сеть шелестится, сдерживая тугой улов.

Панихида затянулась, желающим выступить не было конца.

С улицы слышались деликатные сигналы автомобилей. Шоферы напоминали, что время истекает, их ждут другие заказчики,— они же на работе.

Хачатур Тер-Ованесян бросил робкому дяде Алекперу:



— Кончай, Алекпер. Еще на кладбище говорить будут.— Тем самым он дал понять, что лучше него все равно никто не скажет.

Дядя Алекпер облегченно вздохнул и посмотрел в сторону крыльца, где бездельничали музыканты.

Руководитель оркестра приподнял белую трубу, и печальная мелодия, собранная небольшим оркестром, известила жителей улицы, что нет больше среди них тихого старика Нико Кацетадзе.

Аполлон, не зажигая света, сидел в своей комнате.

Мать увезли к себе родственники на сегодняшнюю ночь — она совершенно выбилась из сил. Звали и Аполлона, он отказался...

Бледная полоса мазнула пол из-под двери — кто-то включил лампочку в гостиной, наверное, Алина с дочкой вернулись. Они гуляли по бульвару, проветривались после забот, связанных с поминками, хотя всю тяжесть взяли на себя соседи. Аполлону не хотелось никого видеть. Он перестал раскачивать кресло, чтобы не привлекать к себе внимания. Капризный голос дочери громко вопрошал у Алины, придет ли ночевать отец или ей можно будет лечь с матерью? Они решили, что Аполлон отправился к родственникам. Алина не знала, что ответить, и посоветовала лечь отдельно — на всякий случай. Или в другой комнате...

— Я здесь, здесь! — Аполлон опередил появление дочери — войдет, испугается от неожиданности.

— Ты там, Апик?! — воскликнула Алина.

«Апик, Апик... Словно мы с ней в постели», — раздраженно подумал Аполлон и проговорил навстречу возникшей на пороге жене:

— Свет не включай, хочу посидеть в темноте.

— И я с тобой. — Алина направилась к дивану, села, и пружины старого дивана недовольно заскрипели. — Красивый город... Когда я здесь была в последний раз? Лет пять назад? Да, лет пять прошло. Зойке исполнилось десять. Юбилей справляли...

В проеме двери возникла нескладная фигура дочери.

— Ма... Где ты? Сидите в темноте, как мыши... Где же мне лечь? — Девчонка демонстративно обращалась только к матери, подчеркивая необязательную роль отца в ее жизни.

«Таким же болваном был и я в ее годы». — Аполлон запрокинул голову на спинку кресла, пытаясь унять подступающие слезы.

— Куда ей лечь, Апик?

— Куда хочет, — ответил Аполлон, — Я здесь останусь.

— Тогда я с тобой лягу, ладно, мама?

— Только к стенке.

— Когда мы вернемся в Пицунду?

— Не знаю, — раздраженно ответила Алина. — Иди спать, не морочь голову.

— Давай завтра уедем, а, мам?

— Тебе говорят — иди спать! — крикнула Алина.

Аполлон чувствовал, как тупо саднит незалеченный зуб, он всегда дает о себе знать, когда сожмешь скулы.

— Апик, может быть, ты хочешь чаю? — проговорила Алина, когда дочь ушла.

— Иди спать, пожалуйста.

— Хорошо, хорошо, — смиренно произнесла Алина. — Я тебя понимаю...

Нельзя сказать, что пятнадцать лет семейной жизни Аполлона прошли счастливо. Несколько раз он пытался уйти от Алины, но всегда возвращался. Да и отец с матерью были против развода. «Никто в нашем роду не бросал свою жену Аполлон. И не тебе быть первым», — наказывал покойный отец... Покойный отец. Покойный!

С самого начала Алина невзлюбила новых родственников. С чего началось; непонятно. Может быть, с того, что родители всячески

увещевали сына заняться «солидным делом» в депо или на участке, в то время как Алина настаивала, чтобы Аполлон оставался на поезде? Слишком много соблазнов у начальника поезда, говорил отец. Но мнение Алины перетянуло, да, признаться, и сам Аполлон больше был на ее стороне. Сейчас, однако, однообразие работы все больше угнетало его. Возможность не особенно стеснять себя в деньгах потеряла прелесть, стала обыденной, и он столкнулся с простой истиной: деньги — далеко не все. Аполлон уже не мог видеть теток и мужиков, которые встречали его на всем протяжении маршрута. Алинины агенты! Он вручал агентам коробки с дефицитным товаром, те в свою очередь передавали свои посылки для Алины или просто свертки с деньгами. Так и шел этот чумной оборот, выгодный обеим сторонам. Пока однажды Аполлон не взбунтовался. Поднялся страшный скандал, хорошо, дочь была в школе. И Алина отступила, почувствовала, что перегибает палку...

— Апик,— позвала Алина с дивана.

— Хотя бы сегодня избавь меня от этого дурацкого прозвища,— тихо обронил Аполлон.

— А что особенного?

— В чем? В сегодняшнем дне?

— Вы просто нарываеетесь на скандал, Аполлон Николаевич.— Обращение к мужу по имени и отчеству было признаком сдерживаемого гнева, а в гневе Алина могла пойти на что угодно, любые слова сказать. Аполлон это знал.

— Будем укладываться спать,— примирительно проговорил он.

— Когда мы уедем отсюда?— спросила Алина.

— Не понял,— помедлив, выдохнул Аполлон.

— Я спрашиваю, когда мы вернемся в Пицунду? У меня отпуск не резиновый. И у Зойки кончаются каникулы.

Аполлон не смог сразу подобрать слова, а лишь издал какое-то глухое бурчание.

— Послушай... мы только похоронили отца... Пройдет девять дней...

— Девять дней?! — с тихой злостью проговорила Алина.— Завтра же ноги моей тут не будет.

— Послушай... Я не говорю о том, что это мой отец,— пытался овладеть собой Аполлон.— Но существует такт, что ли...

— Ты говоришь о такте?— ядовито усмехнулась Алина.— А хотя бы один человек вспомнил обо мне? Хотя бы собственный муж? Все говорили о Николае Георгиевиче, о матери, о тебе. А меня вычеркнули, меня не существовало в числе близких людей. Спасибо, Зойку кто-то вспомнил, внучку. А меня...

— Это похороны, это не банкет.

— Все равно...

Аполлон молчал. Перед его закрытыми глазами ходили оранжевые круги, четкие, несмотря на полумрак комнаты. Он мог сейчас сказать злое, гадкое...

— Когда будут твои похороны, Алина, все будут говорить о тебе.

— Раньше будут твои, Аполлон,— в тон ответила Алина.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### Глава первая

#### 1

Это был выдавший виды вагон, не один сезон зимовавший в отстое по разным адресам. Он напоминал дедушку, которого спровадили в дом престарелых и по мере надобности возвращали в лоно семьи нянчить внучат. А ведь и не таким уж старым он был — вагон-

ный век определен специалистами в сорок лет. Так что в свою годовщину его можно было принять и за воина, одряхлевшего в нелегкой походной жизни, полной опасностей и печалей...

Первые три года вагон катался в фирменном составе. Золотые были времена. Проводницы — две девчонки из прибалтийского городка — ухаживали за ним, точно за любимым псом. И вагон, еще совсем юный, с кислотатым запахом лака от стен и панелей, мягким сиреневым светом новеньких плафонов, чистых, до хрустальной нежности, стекол, красных ковровых дорожек, скрадывающих шум колес, отвечал на заботу проводниц надежностью, гостеприимством и уютом...

Но, как известно, ничто не вечно под луной. Дорога получила новые вагоны. И один из них, легкомысленно кокетничая свежей зеленью корпуса, чистой серой кровлей и черными, еще не уставшими ходовыми тележками, бесцеремонно вытеснил наш вагон из фирменного состава в обычный поезд. Девчонки-проводницы, как истинные представительницы прекрасной половины человечества, тотчас отдали свои сердца новому кумиру, а прежний принялся отмеривать километры среди собратьев, проводивших свои лучшие годы в фирменных поездах. Им было о чем вспомнить. Прошлое согревает, если будущее заманчиво и желанно. Но если от будущего не ждешь ничего, то и прошлое нередко вызывает горечь, несмотря на добрую память, — горечь утраты. Будущее у нашего вагона мало привлекательно. Сколько об этом переговорено за долгие перегоны! Особенную тоску навалал бурый вагон, который попал в схему из почтово-багажного состава и сейчас стоял в сцеплении сразу же перед нашим вагоном. Ну и порассказал он о своем житье-бытье, нагнал страха на бывшего аристократа-фирмача.

Многое из слышанного наш вагон знал и сам, хотя зимовал он на охраняемых базах отстоя. Правда, охрана — смех один: три бабки на восемьсот вагонов. Как опускается ночь, бабки занимают оборону в старом, снятом с колес пульмане, выставляют дворнягу и укладываются спать. Так собачка и охраняет их сон. А зимой день короткий, особенно на севере. Ветра колючие, мороз. Хорошо, если вся вода из системы слита, трубы не разорвет. Но краска лупится, пластик трескается. Ждешь не дождешься, когда с весной начнут вагоны из отстоя выбирать, составы формировать... Однажды, правда, повезло — отправили на зимнюю спячку к югу. Курорт! Вот и построили бы там санаторий для вагонов. И государству выгодно! Один весенний ремонт после северной стужи каких денег стоит — в один сезон можно оправдать все расходы на строительство такого санатория... Только никак не решат по-государственному этот вопрос. Год прошел, и ладно, вперед смотреть каждодневная суэта мешает. В итоге большие миллионы просаживают на ветер. Нет, не врет этот бурый вагон, не от скуки рассказывает истории свои невероятные...

С самого начала ему не везло. Бывают такие невезунчики, на роду у них написано. Начать с того, что местом его рождения была одна из дружественных стран, где по доброте поставили в рабочем купе разной аппаратуры: и для искусственного климата, и для горячей-холодной воды, и для контроля всевозможного. Да так все красиво изладили, что любой деталью можно комнату украсить. Это и привлекло внимание людей из тех, кто себе на уме, есть у нас еще такие, попадают. «Ни к чему, — думают они, — одному вагону столько радостей». Влезли ночью, когда сторожа спали, и восстановили «справедливость». Повыдергивали терристорные блоки со всеми диодами и триодами, чтобы у себя дома цветомузыкой наслаждаться. Унитазы голубые, мойки из нержавейки, плафоны узорные... Так ободрали вагон, что стены просвечивали. Хорошо хоть ходовую часть не тронули, в утиль не снесли... Так и стал наш вагон инвалидом, не сделав и сотни километров с пассажирами. На заводе, конечно, дело попытались исправить, не сдавать же новый вагон в переплавку.

Кое-как залатали. Замазали кое-как бурой болотной краской, привинтили арматуру и поставили в схему неторопливого пассажирского поезда...

Да, тяжела ты, жизнь вагонная. А был бы настоящий хозяин, разве допустил бы такое?

Бурый бедолага тяжело дышал, ревматически скрепя всеми частями, вызывая удивление у нашего вагона своей живучестью. Однако дорога длинная, еще посмотрим, дотянет ли...

Липкая сутемь, приникшая к окну, вмиг растворилась, как только уплыли назад подкрашенные к майским праздникам щиты на платформе и вагон наполнился бело-розовым светом уходящего дня... Елизар разыскал в столе тетрадку, вырвал из нее лист, достал ручку. Надо было переодеться, но передумал: если в поезд сели ревизоры, то могут и внешним видом попенять, когда захотят придраться.

Обычно Елизар принимался составлять «колдуна» с последнего купе, но сегодня решил начать со служебного отделения. Очень уж он был зол на Аполлона за двух подкидышей. Умом-то понимал: другого выхода нет, не оставлять же людей на платформе с законными билетами. И в другие вагоны не отправишь. Но все равно обида на Аполлона Николаевича тлела в душе.

Еще бы, отобрать полки, которыми можно было распорядиться со своей выгодой. Считаю, верных полсотни из кармана выпало, а то и более. Лишь память о том, что старика он заранее вычислил на платформе как своего, смирила недовольство.

Елизар постучал костяшками пальцев о дверь и, не дожидаясь разрешения, потянул ее в сторону. Застревая на ржавых полозьях, дверь, казалось, без особой охоты вывернула на обозрение темное однобокое купе с двумя арестантскими нарами и столиком, голым, как ладонь.

Старик пассажир зябко зарылся подбородком в воротник плаща. Кисти его рук цвета сырой извести покоились на острых коленях. Из-под задранных штанин выползли гофрированные манжеты голубых подштанников.

С верхней полки свешивался попутчик. Неопрятная вязаная кофта складками напозала на длинную шею, открывая смуглую поясницу.

Прищурившись на резкий свет в проеме двери, молодой человек смотрел на Елизара, появление которого было явно некстати. Но это не особенно смутило проводника, не в гости пришел...

— Попрошу билеты.— Елизар присел, раскинул на коленях ветхую брезентовую кассу.— Куда едем?

— До станции Хасавьюрт.— В голосе молодого человека слышались отзвуки прерванного горячего разговора.

Старик отвернулся к окну, его глиняное лицо лихорадили тени станционных построек. Он молчал.

— Попрошу билеты,— повторил Елизар.

— Прошу,— проговорил молодой человек. Он сбросил длинные ноги, уперся о полку и спустил себя на пол.— Вот наши проездные документы. Извините, потрепались, в кармане держал.

Елизар расправил билеты, сложил по линии и навел на свет. Компостер был нечеткий, с пропуском.

— Что, фальшивые?— усмехнулся молодой человек.

— Выписной фальшивый не встречался,— всерьез ответил Елизар.— Картонку подделывают, попадалось. А выписной не встречался.

— А картонку подделывают?— удивился молодой человек.

— Подделывают. Так подделывают, что специальную экспертизу проводить надо.— Не в правилах Елизара таить обиду на пассажира. Да и вины их нет в том, что Магде вагон подменили.— Они что

придумали?! Замешивают на клею картонную крошку и затирают старый компостер. Потом пробивают нужные дырки своим компостером. Все! Вот и являются на одно место два пассажира. А то и пятеро... Спрашиваю, где покупали билеты. С рук, отвечают. И кассир билет признала, проконсультировались. А как не признать, у кассира микро-скопа нет.

— Откуда же у них компостер?— спросил молодой человек.

— У жуликов-то?— Елизар покачал головой, удивляясь людской наивности.— Да собрали! Из хлама. Сколько хлама безнадзорного валяется на станциях по закоулкам. Когда все хозяева, хозяина и нет. Что компостер? Тепловоз можно собрать... Значит, до Хасавьюрта. Два человека. Запишем.

Елизар достал заготовленный листок. Не каждый проводник ведет учет, терпения не хватает: записывай, следи, на какой станции кто выходит, предупреждай. Одним словом — колдуй. Потому листок так и называется — «колдун»...

— Туалет закрыт? Павел Миронович обеспокоен.— Молодой человек кивнул в сторону старика.

— Только отъехали. Санитарная зона.— Елизар поднялся.— Какие еще претензии?

— Есть претензии,— живо отозвался молодой человек.— Замок дверной заклинивает. Дергал, дергал — с трудом одолел. Как бы не подстроил неприятность Павлу Мироновичу, по срочному делу.

— Игорь,— укоризненно обронил старик.

Елизар сдвинул дверь до щелчка, вновь отворил.

— Минут пять дергал — не получалось,— вставил молодой человек.

— Чувствует хозяина,— согласился Елизар. Замок и вправду сбавывал не так ладно, как ему полагалось, но беспокойства не вызывал — будет на такую ерунду Елизар внимание обращать, мелких неполадок в вагоне хватает, только оглядись...

Он перешел в соседнее плацкартное купе.

Елизару нравились плацкартные вагоны. К сожалению, их становилось все меньше — пассажир требовал купейные, он доплачивал за спертый воздух, за духоту и теснотищу, только бы чувствовать себя отсеченным от яростного мира хотя бы на короткий срок поездки, не волноваться за чемоданы, надежно упрятанные на антресолях. Пассажиру невдомек, что по статистике на хищение вещей в дорожных условиях приоритет держат именно купейные вагоны. В плацкартных все на виду: и вещи и люди. И пассажир там родней, сговорчивей. Как-то Елизар катался на «СВ», дело, правда, давнее, но до сих пор он помнил, как дух перехватывало от тех пассажиров — и то им не нравилось и это. А считай, чуть ли не каждый второй из них — туз козырной, которому ничего не стоило на Елизара всякие напасти наслать. И вернулся он в свой плацкартный чумным, точно после парилки в холодный душ: покой и блаженство. В сущности, как мало надо маленькому человеку — надо, чтобы тебя принимали за своего. А в плацкартном Елизар был свой. Конечно, и в плацкартном разные люди катались. У иного на лице такое выражение всю дорогу, словно он в плацкартный по приговору суда попал. Но Елизару они были не страшны, большинство пассажиров, как правило, оказывались на его стороне в любых конфликтах. Умел Елизар вызывать к себе расположение...

— Все места заняты?— спросил Елизар и свойски подмигнул большеглазому парню, что помогал перетаскивать матрацы.

— Все, дорогой!— с готовностью ответил с верхней полки большеглазый, сияя круглой физиономией.— И на том берегу тоже все занято. Полный комплект.— Он имел в виду боковые места.

На одном из них сидел моложавый мужчина с крепким загоре-

лым лицом, на другом старушка. Старушка держала на коленях ведро и глядела на проводника смешливыми узенькими глазками.

— Так-та-а-ак,— неопределенно протянул Елизар и окинул взглядом купе, точно прицеливаясь, с кого начинать проверку.

Нижнюю скамью занимала уже знакомая Елизару женщина, что заходила в служебное отделение. Сейчас она улыбалась, извлекая из сумки какие-то пакеты. Напротив сидел паренек лет восемнадцати, светловолосый, чем-то похожий на пассажирку. Из-под коротковатых зеленых брюк случайными яркими утюжками выглядывали кроссовки. Одно время их сотнями скупали на юге, где предприимчивые мастерские наладили производство модной обуви, и оборотистые дельцы везли кроссовки в северные города, брали за них двойную цену. Елизар тоже ввязался было, но прогорел. Ему вообще не очень везло. Он медленно созрел. Когда ему еще Магда внушала, что надо обратить внимание на кроссовки. Сама-то она их скупала чемоданами и, не напрягаясь, оптом сдавала перекупщикам. А вот Елизар никак не мог переломить себя, а когда переломил, спрос на кроссовки упал: завалили ими северные города. Едва свои деньги выручил Елизар, зарекся с конъюнктурой связываться.

— Куда путь держим? — Елизар разложил на коленях брезентовую канцелярию.

— До конца,— охотно отозвалась женщина, протягивая билеты.

— Двое? — принял билеты Елизар.

— Да. Сын со мной... На побывке был.

— Ну, мамо,— смутился чему-то паренек и толкнул под скамью сверкающие чернью солдатские сапоги.

Елизар аккуратно уложил билеты в ячейку и поднял глаза на кавказского парня.

— Тоже до конца еду,— с готовностью ответил тот.— Чай будет?

— Все будет... А где твой товарищ?

— Чингиз? И он до конца.

— Билеты есть?

— Конечно, начальник.— Кавказец протянул Елизару два билета.— Хочешь, титан разожгу, помогу тебе?

— А можешь? — Елизар и так знал, что эти ребята все могут,— месяцами в поездах ошиваются, фрукты-овощи возят на рынок.

Довольный разрешением, парень резво соскочил с полки.

Елизар обернулся к боковым местам секции и невольно улыбнулся.

— Что, старая, жива еще?

— Жива,— поддержала бабка.— Когда мы в Армавир пришьем?

— В Армавир... Тебе в Армавир надо было в другой вагон билеты брать.

— А что, мы его просемафорим? — встревожилась бабка.— Ах, батюшки, чего ж это она, кукла крашенная, кассирша?

— Не в этом дело, бабка,— терпеливо пояснил Елизар.— Армавир-то мы встретим-проводим честь по чести. Только вагон наш прицепной, на него спрос большой у тех, кто далее Минвод едет. А тебе все одно как. Армавир-то до Минвод будет.

— Господи, напугал-то... Я и сама дале еду. В Армавири мне ведро отдать надо куме. Год держу. Сказывала, как поеду обратно — выкину ей ведро.

— Да, ценность большая.

— А то... цинковое ить.— Бабка хитро прищурила глазки.— А что, служивый, может, билет при мне останется, надежней будет?

Елизар молча складывал ее длинный билет, выискивая взглядом нужную ячейку.

— А то прошлый раз проводник упился и тряпочку с билетами потерял,— жала свое бабка.— Весь вагон вверх дном перевернули, искали. Только что под колеса не заглядывали...

— Я непьющий,— степенно ответил Елизар.— А вы куда путь держите? — обратился он к мужчине, что сидел с другой стороны столика.

— До Гудермеса.— У мужчины оказался слабый застенчивый голос.

— Вы один? — уточнил Елизар.

— Со скрипкой.— Мужчина указал на третью полку, где среди тюков и коробок пробивался черный футляр. Попутно бросил летучий взгляд на пассажирку с ореховыми глазами.

Елизар перехватил этот взгляд, усмехнулся.

Его увлекало начало дороги, первое знакомство со своими пассажирами. Кто из них доставит радость, кто огорчения? Что сулят они Елизару в долгие часы поездной жизни? Сколько раз бывало — после ухода из вагона последнего пассажира такая тоска овладевала Елизаром, что хоть оставляй эту окоянную работу и спеши следом за теми, чьи укороченные чемоданами фигурки пропадают в тени вокзальных порталов, чтобы исчезнуть навсегда. А сколько из них Елизару доводилось впоследствии встречать! И странно, мало кто узнавал Елизара в другой, городской жизни. Он узнавал, а его — нет. Казалось, должно бы быть наоборот — их много, а он один. Ан нет... Елизар на это не обижался, глупо. Поэтому каждую новую поездку встречал добросердечно, с интересом. Стоит только взглянуть вдоль коридора на то, как свешиваются с полок, сидят на скамьях, обратив к нему любопытные, ждущие взгляды, его пассажиры, как сразу же овладевает наивное сознание значительности дела, которым занимаешься...

Проверка билетов занимает немного времени. Но надо торопиться. Того и гляди в вагон нагрянут ревизоры. Факт, что билеты не собраны, может быть истолкован как уловка проводника: набрал в вагон зайцев и хитрит. Дескать, не уследил, время посадки сократили, вот и напустил всех желающих... Редкий ревизор при этом удержится от искушения самому проверить билеты. А там, глядишь, и впрямь кого-нибудь обнаружат. И окажется проводник, как говорится, без вины виноватый.

Елизар уже подбирался к последнему купе, когда в коридоре появилась Магда. В руках у нее белел листок.

— Что, уже бегунок несешь? — проговорил Елизар навстречу Магде.— Быстро ты...

— Я уже и постели раздала,— ответила Магда.— Не было гостей-то?

— Не было. Застряли, видать, где-то.

— И из штабного никого. Тихарят что-то, не собирают.

— Ты б сходила поглядела.

— Больно надо,— ответила Магда.— Сами придут, куда им деться.

Действительно странно. Если и впрямь сели ревизоры, так что-то не чувствуется паники. Давно бы Яша появился с указанием от начальника поезда: как себя показывать, насколько выставяться... Конечно, Елизар мог и переждать, как говорится, в холодке. Ему скрывать нечего, не за что вносить оброк в общую кассу. Но не Елизару ломать закон — сейчас нет товара, так потом будет. К чему всю бригаду против себя восстанавливать из-за рубля-другого? Да и Магда этого бы не допустила — Елизар-то ей не чужой...

— Ладно, схожу погляжу, что там делается,— передумала Магда.— К тому же пинча не подключили, катаемся как в мешке, от всего мира отрезаны.

— Сходи, сходи. Дай им прикурить,— поддержал Елизар.— Да и бегунок снеси, чего меня ждать.

Магда спрятала бланк в карман, обошла Елизара, упираясь в плечо его школьного кителя.

— Кстати, как там мои? Где пристроились?

— В служебке разместились, где еще? Старик какой-то чокнутый.

— Чокнутый... Такой скандал поднял — еле успокоили. У меня, говорит, позывы, мне в туалет надо без очереди, а в плацкартном не пробиться, вечно толпа. Буду в купейный бегать.

— Да,— ответил Елизар.— Нахлебаюсь я с ним, чувствую.

## 2

Верный своей привычке, Аполлон Кацетадзе вместе с электриком совершил первый обход поезда, взяв на карандаш замеченные недостатки и упущения. Одни можно устранить своими силами, к другим придется подключить слесарей в пути. А ведь все это должны были исправить в Северограде... Правда, до хвостового, что в суматохе подцепили из резерва, Аполлон не добрался — пассажиры отвлекли, затеяли спор из-за двойников. Пришлось посылать электрика Гаврилу Петровича. Беда с ним. В общем, мужик ничего, покладистый, только спать любит, завалится где-нибудь и дрыхнет. Давно хотел избавиться от него Аполлон, да руки не доходили. Покричит-покричит и забудет..

В целом состав оказался вполне сносный, ехать можно. Так что начало пути ничем пока не омрачилось для начальника поезда. Если не считать панику, поднятую проводником Судейкиным. Человек, что вспугнул Судейкина, действительно был ревизор, но только не при исполнении. Предъявил билет по форме «2-К» и поехал как обычный пассажир. А Судейкин заподозрил неладное, занервничал и всех проводников перебудоражил. Аполлон по опыту знал, что самые отчаянные проводники те, кто работает первый год. Многие им кажется простым и ясным. Уверовав, что на дороге все ловчат, выживают свою рыбку в мутной воде, они держатся нахально и вызывающе. Это потом, когда жизнь преподаст им жестокий урок, когда поймут, что не все можно купить и продать, они теряются. Одни разочаровываются, уходят, другие, сбросив шелуху, остаются, превращаются в хороших работников. Судейкин же с самого начала оказался человеком осмотрительным. Дотумкал, что не так уж все просто, поэтому на рожон не лез, но и упускать не хотел. Наиболее подходящий проводник для штабного. Аполлон это понимал и старался закрепить Судейкина за пятым вагоном..

В переменчивый рокот колес, в скрип купейных переборок вкрадывалось назойливое треньканье стаканов. Аполлон заглядывал в шкафчик, раздвигал посуду, но через короткое время стаканы опять сбивались, раздражая слух своим нудным звоном.

Аполлон вздохнул, томясь далеким, едва уловимым сознанием того, как переплетается этот назойливый звон с тем, что тяготит его в последнее время. Что бы ни являлось причиной его размолвок с женой, в конце концов непонятным образом распри исчезали и вновь наступал странный угрюмый мир. Подобно этим оживающим стаканам, что сбиваются в кучу, как их ни разгоняй.

Аполлон не любил отвлекаться, когда составлял сведения для участковой станции. И делать это он старался добросовестно, не то что другие — берут сведения чуть ли не с потолка, торопятся сбросить эту нудную процедуру, потом сами себя клянут, когда возникают осложнения. Особенно в летнее время... Проводники знали о щепетильности Аполлона Николаевича и старались составлять бегунок



как можно точнее — все равно Аполлон будет бегать по составу проверять. Или вызовет к себе в штабной вагон. Как он сейчас вызывал по радио проводников прицепных вагонов. А те почему-то не шли. Надо попросить Судейкина сходить к прицепным. Самому Аполлону не хотелось показываться в коридоре, там его дожидались пассажиры, энергию которых несколько поубавил привязанный к дверной ручке листок с просьбой не отвлекать начальника поезда ввиду его особой занятости, прием начнется минут через тридцать, потерпите. И добавлено: «С уважением — Кацетадзе». И это дружеское обращение, как правило, срабатывало.

Но делать было нечего, вся работа стоит. Аполлон отомкнул замок и, приоткрыв дверь, высунул голову в коридор. Пассажиры оживились, потянулись было к купе.

— Занят, занят еще, — опередил их Кацетадзе. — Где проводник?

Тотчас поверх толпы всплыла услужливая физиономия высоко-го Судейкина.

— Послушай, Судейкин, — произнес Аполлон. — Позови сюда из прицепных кого-нибудь, есть вопросы.

— Что они, радио не слышали? — заупрямился проводник, не хотелось ему идти через половину состава.

— Возможно, пинча не подсоединили, — ответил Аполлон. — Далеко не ходи, передай по цепочке.

— Им передашь. За мной Гайфулла прицеплен, тот на ходу спит... Лучше уж сам побегу.

— Беги, дорогой. — Аполлон задвинул дверь и вернулся к своей бухгалтерии.

Надо составить документ о свободных и освобождающихся местах на участке, завести планомерный учет свободных мест, заготовить предварительные телеграммы о посадке пассажиров на участковые станции. Цифры, цифры, цифры... Каждую ошибку ревизор вынюхает, прищьет сокрытие мест, затеет кляузу. Сколько служб следит за учетом распределения мест в поездах, у них и вычислительная техника и штат, кому как не им помогать проводникам? А работы, как в насмешку, прибавляется да прибавляется. Смех и только. Особенное недоумение вызывали у Аполлона люди из группы технологического контроля — ГТК. Вместо того чтобы контролировать работу билетных кассиров да вести учет мест в поездах, они дублируют ревизоров-контролеров. Черт знает что... Наваждение какое-то: контролеров все больше, а количество двойников не уменьшается, наоборот, растет. Или вовсе гонят через всю страну чуть ли не пустые вагоны, в то время как у касс люди давятся. Отсюда и всевозможные злоупотребления. С некоторых пор этот парадокс завораживал Аполлона своей абсурдностью. Все чаще вступал он в спор с серьезными ребятами из группы технологического контроля. Чудак, убеждали его ребята, люди поумней нас с тобой придумали нашу службу, им с горы видней... Последний раз Аполлон затеял спор с Савкой Прохоровым, своим бывшим сокурсником и другом.

Они встретились случайно на улице. Казалось бы, люди, работающие на железной дороге, должны видаться чаще, но Аполлон не видел Савелия с тех пор, как ушел из управления. Аполлон не подозревал, что эта случайная встреча на улице так повлияет на его судьбу...

Савелий Прохоров в памяти Аполлона был тонкогуб, броваст, длинноног, сутул, и только ясные голубые глаза придавали теплоту его угрюмой внешности. Теперь это был высокий седой мужчина с широкими, устало опущенными плечами и гладким лицом, тонкие, загнутые вниз уголки губ придавали лицу брезгливое выражение. Лишь глаза оставались ясными и теплыми. Но, в общем, весь вид Савелия Прохорова свидетельствовал об уверенности в себе и удачливости...

Честно говоря, Аполлон хотел улизнуть от своего бывшего друга, были у него на то причины. Но Савелий удержал его, завел в первый подвернувшийся ресторан. И как обычно бывает в теперешних застольях, разговор от воспоминаний студенческих лет — через непременно обсуждение политических ситуаций — перешел к фундаментальному разбору экономического положения страны и, конечно же, родного железнодорожного транспорта. Вот где можно отвести душу...

У Савелия было отвратительное настроение. Он много пил и гу-сто хмелел. Изредка, прерывая беседу, хлопал Аполлона по плечу и восклицал: «Неужели это ты, Аполлон?! Кем ты стал, Аполлон?! Неужели это ты и есть?» И Аполлон в его восклицаниях слышал тяжелый укор не только в адрес его, Аполлона, но и себе самому, Савелию Прохорову, его бывшему другу-товарищу.

Эти восклицания выводили Аполлона из себя. Но он сдерживался. Не забывал о должности, которую занимал сейчас Савелий. Дело в том, что Савелий так же, как и третий их приятель, Алешка Свиридов, сделал головокружительную карьеру — стал в свои сорок семь лет начальником дороги. Именно той дороги, на которой работал Аполлон...

Да, давненько они не виделись. И в управлении не часто встречались, а уж когда Аполлон подался в начальники поезда, и вовсе перестали. Аполлон и раньше стеснялся двух своих скромных звездочек, которые терялись на фоне звезд, летающих на нашивки кителя бывшего друга. А когда из-за звезд не стало видно и самих нашивок, отношения приятелей окончательно прервались, как ни старалась Алина их наладить. «Чудак! — кричала Алина. — Люди носом роют, чтобы заполучить в приятели такую персону, как начальник дороги. Мало ли что может быть, кругом ревизоры», «Именно потому! — отрезал Аполлон. — И хватит об этом. При первом же удобном случае я уйду на другую дорогу». Но не так это просто сделать — надо переезжать в другой город, менять свою жизнь...

Поначалу он скрывал, что когда-то учился в одной группе с начальником дороги, работал с ним на одинаковых должностях в управлении. Что бы люди сказали, сравнивая их судьбы... А потом... потом и сам стал забывать... Аполлон старался поддерживать добрые отношения на более близких ему орбитах — с начальником вагонного участка, с диспетчерами — людьми, непосредственно влияющими на его судьбу. И скрывал свое студенческое прошлое, чтобы не отпугнуть их, мало ли что творится на участке...

Изрядно нагрузившись в жарком ресторане, бывшие друзья расстались, обменявшись домашними телефонами, за годы их отчуждения у них изменилось многое в жизни, в том числе и телефоны.

Дней через десять Савелий позвонил Аполлону и попросил заехать к нему домой.

Дверь купе отошла, и на разложенные бумаги упала тень.

— Вызывали, Аполлон Николаевич? — спросила Магда.

— А, товарищ Савина! Магда Сергеевна! Слушай, что там у тебя в бегунке? Вагон набит, а ты записала два свободных места.

— По ошибке подсели двое из восьмого вагона. Спутали восемнадцатый с восьмым. И как раз на свободные места.

— Тогда верни старика и того мужчину.

— Скандал будет, старик нервный. Пусть Елизар его нянчит. Тем более в купе их разместили отдельно, не надо делать перерасчет... Зачем нам снова эта волюнка?

— Ну как знаешь, — не стал спорить Аполлон. — А почему сразу не явилась? Пришлось Судейкина гонять за тобой.

— Радио отключено. Пинча нет,— ответила Магда.

Аполлон выдвинул из-под стола ящик с инструментами. Но ничего не нашел.

— Чего же ты у электрика не попросила?

— Видела я вашего Гаврилу? Дрыхнет где-нибудь, паразит... Без связи едем. А если что случится?

— Прибежишь доложишь,— пошутил Аполлон.— Лишний раз повидать начальство не грех.— Он коротким взглядом окинул сбитые на лоб пряди черных волос Магды. То, что от прицепных вагонов придет именно Магда, а не Елизар, он знал заранее. Обстоятельный Елизар наверняка еще не закончил собирать билеты, да и пассажиров у него в плацкартном больше...— Ну, тогда все? — полувопросительно произнес Аполлон.

— Все так все,— подхватила Магда.— Пойду. Вагон без присмотра, еще и хвостовой... Кстати, ревизоры сели, нет?

Аполлон молчал.

— Ложная тревога? Так я и думала.— Магда решительно поднялась и ухватила ручку двери.

— Погоди,— попросил Аполлон. Его смуглые веки стянулись, загоняя вглубь дикие черные зрачки с золотистыми крапинками.

Магда повернула голову и провела ладонью по щеке, откидывая за спину прядь волос.

— Я приходил к тебе, Магда. Но не застал дома. Я ходил по твоей улице часа три.

— Зачем вы это делали, Аполлон Николаевич? По-моему, я вам не давала повода.

— Плохо мне в тот вечер было. Вот и захотелось тебя увидеть. А увидел пьяного Елизара...

Магда удивленно вскинула брови, но промолчала, ожидая, что Аполлон еще скажет...

— Буянил, рвался к тебе.

— А вы?

— Я вел себя тихо. Посидел в скверике, думал, ты вернешься, не может же человек где-то пропадать всю ночь. Но так и не дождался, ушел... Надо было еще посидеть?

— Я не ночевала дома,— уклончиво ответила Магда.— К дочери ездила в интернат.

Она хотела что-то еще добавить, но сдержалась. Зрачки Аполлона по-прежнему тлели остывающими угольками в узкой полоске между сдвинутыми веками.

— Хорошо, что вы тихо вели себя,— вдруг проговорила Магда.— Что бы подумали обо мне соседи...

— А Елизару ты прощаешь?

— Елизару я прощаю,— не задумываясь, ответила Магда.

— Хотел бы я с ним поменяться,— обронил через паузу Аполлон.— Плохо мне сейчас, Магда. Я совсем один.

— Один? Сейчас набегут пассажиры с жалобами, ревизоры сядут, инспектора.— Магда пыталась свести к шутке возникший разговор.

Аполлон хлопнул по коленям плоскими широкими кистями. Звук раздался резкий, нервный. Он склонил голову и отвел глаза к окну. Он сейчас видел только безоблачное вечернее небо. Если бы не грохот колес и покачивание вагона, казалось бы — поезд стоит на месте...

— В Москве я сойду с поезда,— произнес Аполлон.

— Не поняла.— Магда обернулась.— Как сойдете?

— Останусь в Москве. Важный вопрос надо решить.

- А... поезд?  
— Поезд пойдет дальше. Без меня.  
— Шутка?  
— На полном серьезе... Начальником останется Судейкин. Или Яша... Еще не решил... Я догоню поезд самолетом в Минеральных Водах. Постараюсь.  
— Ничего не понимаю. Это же не пустяки, у вас будут большие неприятности. Вдруг что-нибудь произойдет?  
— У меня будут еще большие неприятности, если я этого не сделаю. Надеюсь, ничего не произойдет,— вздохнул Аполлон и добавил ей вслед: — Пока никому об этом не говори!

### Глава вторая

Построенный в начале века на средства Лесного акционерного общества, вокзал выходил на площадь шестеркой невысоких ампирных колонн. Часть из них в войну полущило, и мрамор заменили на бетон. Потом всю колоннаду покрасили бледной зеленкой, под цвет фронтонна.

В середине семидесятых годов к основному зданию примкнула стеклянная пристройка, под которой полуоткрытым веером расходились платформы, и теперь в своем нынешнем виде вокзал напоминал осьминога.

Люди попадали под своды вокзала с трех сторон — центральный подъезд брал на себя основную массу пассажиров, а два боковых подбирали остатки. Кроме того, на платформы можно было проникнуть с примыкающих улиц, застроенных сооружениями, что имели прямое отношение к вокзальным службам: багажные и почтовые цехи, экспедиции, конторы. А дальше вдоль рельсов тянулись вагонное и локомотивное депо, ремонтно-экипировочное хозяйство...

Какой проказник назвал вокзалом<sup>4</sup> помещение, в стенах которого день и ночь колобродила толпа озабоченных и суетливых людей с чемоданами, узлами, детьми? Помещение, в котором любое оконце обладало магической способностью обрастать толпой. Где сшибались носами люди со всех концов просторной страны и, почему-то принимая его за экстерриториальное учреждение, вели себя там с удивительной непринужденностью...

Какой-то карапуз, разбежавшись, боднул Свиридова в бок, отскочил и побежал дальше, воля от восторга. В экстазе он вцепился в толпу, осаждающую дежурную по вокзалу.

— Это разве дети? Это дикари! — воскликнули в толпе. — Где мама этого хулигана? Возьмите его, он перепачкает людей соплями!

Мама — сама еще девчонка — настигла малыша и принялась извлекать его из толпы, в то же время достойно отвечая недовольным.

Свиридов приглядывался к тому, что происходило у дежурной по вокзалу. Он давно усвоил истину: наиболее четкое представление о состоянии дел дает отношение к своим обязанностям работников низовых должностей. Так по биению пульса иной врачеватель может определить все, что творится в организме. И теперь, бродя по залам с праздным видом, он впитывал в себя заботы этого странного мира, называемого вокзалом, где никому ни до кого не было дела, едва сдерживая улыбку при мысли о том, какая поднялась бы суматоха, если бы эти люди узнали, что он и есть самый главный человек на дороге...

Поезд, которым приехал Свиридов, прибыл без опоздания. В дороге Свиридов скрывал свою должность, да и одет был не по форме, в светло-коричневый гражданский костюм. Обычный командированный

<sup>4</sup> Вокзал (англ.) — место для общественных увеселительных мероприятий, танцев и пения.

с небольшим чемоданчиком темно-синей кожи, напоминающим деловой портфель...

В гостиницу Свиридов не торопился, успеет еще. К тому же день воскресный, время не позднее, хорошо пройтись по городу, в котором ему приходилось когда-то бывать, гостить у старого институтского друга Савелия Прохорова, давно, правда. Не думал тогда Свиридов, что ему придется сменить Савелия, отстраненного начальника дороги...

Свиридов спустился в зал, где разместились автоматические камеры хранения. К вечеру здесь, как всегда, напряжение спало, и зеленые фонарики свободных ячеек светлячками слетелись в скудно освещенные глухие подвалы. Да и перед обычными камерами никто не топтался. Ухоженные кладовщики глядели из-за решеток своих секций, точно сонные обитатели зоопарка...

— Что, молодцы, нет работы? — обронил Свиридов.

Не в правилах кладовщиков точить ляды с посторонним человеком. Ребята они гордые, в простоте слова не обронят.

— Сдаете? — сурово спросил молодец из ближайшего «вольера», глядя на темно-синий чемоданчик.

— Прогуливаюсь.

— Выбрали место! — Кладовщик подозрительно уставился на Свиридова.

— Ну... не совсем гуляю, отношение некоторое имею к вашему ведомству.

Кладовщик и без того почуял уже в незнакомце значительную птицу, но отступить с поджатым хвостом было неловко, коллеги только делают вид, что заняты своими делами, слушают небось. Тут каждый друг за другом приглядывает, система.

— Ну раз имеете отношение, то здрасьте, — в голосе кладовщика уже не было суровости. — Какая ж работа вечером? Разъезжается народ. — У парня кривая, соскальзывающая с лица улыбка: знает человек себе цену.

— Вижу, спорится у вас работа, — произнес Свиридов. — Даже кассы сломались от перегрузки. — Он обвел взглядом четыре кассовых аппарата, спрятанных под надписью «Ремонт». Ему давно знакомы подобные уловки. — И настоятельно вам рекомендую, мальчики: проследите, чтобы кассы больше не ломались после ремонта. — Он говорил негромко — как человек, совершенно уверенный в том, что его прекрасно слышат.

— Экой ты! — ввернула невесть откуда взявшаяся бабка в дворничком фартуке поверх черной шинели. — Считаю, у них выгода вполовину пропадает, если касса цела. Не соображаешь? — Бабка смотрела на Свиридова, удивляясь его непонятливости. — И веник у меня уперли. В углу оставила, возвращаюсь — нет веника. Небось за решетку унесли, да кто ж их проверяет? Делают что хотят...

Свиридов вышел в коридор. Бесчисленные реконструкции основательно запутали вокзальные переходы, а указатели только увеличивали путаницу, нередко предлагая совершенно противоречивую информацию, — новые таблички во многих местах висели вместе со старыми. Память Свиридова впитывала все эти недоразумения, она будет хранить их до тех пор, пока не примут меры. Между кабинетом Свиридова в управлении дороги и этими катакомбами стояло такое несметное число служебных ступенек, что появление начальника дороги здесь можно было бы пометить в календаре как невероятное событие, имеющее место быть раз за многие годы. Иные и не поверили бы в такую ситуацию. Тем более что Свиридов о ранге своем не распространялся и голоса не повышал — обычный пассажир, слоняющийся по вокзалу от нечего делать. Он хотел было заглянуть и в комнату отдыха, но передумал — наверняка там пришлось бы задержаться, — повернул к залам ожидания и тут на широ-

ком подоконнике увидел спящего мужчину. Сапоги, замызганный плащ — и несуразно богатый портфель желтой кожи под затылком. Свиридов приблизился. Мужичонка приподнялся на локтях и сел, мигая дурными со сна глазенками.

— Ну чего тебе?— вскинулся он на Свиридова.

— Ничего. Иду себе,— ответил Свиридов.

— Ну и иди,— пробурчал мужичонка, ощупывая портфель.

— И иду,— ответил Свиридов.— Разлегся, точно царь...— Он намеревался пройти мимо, но передумал, остановился.

Мужичонка сидел нахохлившись, боком, точно голубь, поглядывая на Свиридова, чувствуя в незнакомце значительное лицо. И решая, как себя вести: соскочить на пол или продолжать кемарить...

— Поезда ждете?— миролюбиво проговорил Свиридов.

— Жду-у-у,— протянул мужичонка.— Мой поезд ушел... От стерва!— воскликнул он и сухо сплюнул в сторону.— Я ж ей говорю: продай хоть стоячее место, в дороге все утрясется. Нет, отвечает, нет мест никаких... А поезд пустым ушел.

— Так и пустым?

— Сам видел. Прибег на перрон, думал — проводнички подберут, не впервой. А их вспугнули — контроль большой ожидается. Мы, говорят, тебя бы взяли, места есть, только рисковать не хотим. Так и уехали.— Мужичонка еще раз сплюнул, сопровождая свои действия успокаивающими душу словами, извинился.— Ну а ты кем саужишь-то?

— Я? Ну... по хозяйственной части.

— А-а-а,— чему-то разочаровался мужичонка.— Ты вот мне скажи — вроде все мы свои, верно? И чего друг на дружку так бычимся? Что стоило той стерве мне билет продать? Ведь были места. Теперь я должен до утра на подоконнике ошиваться. Ведь в зале ожидания ступить некуда... Закурить дашь?

— Не курю.

— Тю! Думал, начальство какое, заступится. А у тебя и табака не выпросишь... Чего стоишь, иди. Я еще посплю.

Мужичонка пощупал портфель.

— Красивый.— Свиридов повел подбородком в сторону портфеля. Нравился ему этот тип, наверняка сибирского корня мужичонка.

— А то... Премия! Хорошую работу отметили портфелем.— Ему пришлось по душе похвала незнакомца.— Еще и грамоту дали... Знатный человек я, вот кто есть.

— Знатный. А подоконник оттираете.

Мужичонка остренько обернулся. Его загорелое, привычное к солнышку лицо стянулось от обиды.

— Знатный и есть. Только не сейчас. В прошлом месяце. Тогда и портфель вручили, и в гостиницу определили, и билет обратный. Все было. А ноне я так явился в город, по личной надобности. Но знатный я же остался, верно?

— Верно,— согласился Свиридов.— Чем же занимаетесь-то?

— Я-то? Берестяник я. Штуковины всякие плету.— Мужичонка подумал немного: хвастануть, нет? И щелкнул замком портфеля, пошуровал в его темном брюхе, достал металлическую банку, извлек из нее два берестяных бокала. Один в другом. Кора излучала нежный розоватый свет. Прокуренные жесткие пальцы мужичонки казались детскими...— Красота? — горделиво спросил он.— За границу отсылают. Все я делаю — табакерки, короба, корзины. Что хочешь! Могу статую сварганить на коне... Только вот билет сделать не могу... Я ей, дуре из шестой кассы, подарить хотел бокал за билет. Раскричалась она: дескать, взятку съешь, сукин сын. То ли красоты не понимает, то ли денег чистых хотела. А денег-то у меня...— Мужичонка подумал немного.— И хорошо, что не взяла берестень. Кляд бы себя потом, что в потные ее лапы красоту отдал... Ладно, ступай.

Я вздремну малость.— Он упрятал в портфель свое добро.— Следующий поезд утром. Если и на него билет не дадут, пойду шуметь в Дом художественных промыслов. Пусть защитят, ежели я для них свой. Знатный я или уже не знатный у них...

— Вот что, любезный,— проговорил Свиридов,— идемте со мной. Может, и смогу вам помочь, раз вы такой знатный.

Мужичонка вскинулся, смерил долговязую фигуру незнакомца цепким взглядом, но допытываться не стал. Резво соскочил с подоконника, застегнул плащ, вытянул из кармана засаленный кепарь, нахлобучил и был готов.

В вокзальной суете он отставал и боялся, что потеряет незнакомца из виду. И имени не спросил, чтоб окликнуть, если совсем растеряются...

Свиридов остановился у депутатской комнаты, нажал кнопку звонка. Дверь приоткрылась, и в проем высунулась голова дежурного в красной парадной фуражке. Свиридов показал удостоверение. Дежурный прочел, охнул и торопливо распахнул дверь. Пропустив мужичонку, Свиридов вступил на вишневый линялый ковер. Мужичонка приподнялся на мысках своих стоптанных сапог да так и стоял, пока, одеревенев, не шагнул с ковра в сторону, на сверкающий лаком паркет. Искоса оглядел убранство комнаты: мягкую мебель, горку с чистой посудой, цветы, столик с яркими журналами. Домашняя обстановка, кто бы подумал...

— Вы вот что,— проговорил Свиридов,— гражданина приютите, пусть отдохнет. Чайком угостите по желанию и всем что есть. Принесите билет на поезд. И проводите по чести. Он человек знатный, имейте в виду.

Дежурный глубоким кивком отмечал каждое слово начальника дороги.

Свиридов похлопал оробевшего мужичонку по плечу и взглянул на часы. Время еще позволяло. И он направился в кассовый зал...

Шестая касса находилась в центре, у стенда с расписанием поездов, и было неясно, куда тянутся люди — к окошечку кассы или к стенду: хвост стоял длиннющий.

Свиридов подошел к голове очереди.

— Куда, куда?! — заволновались голоса.— Хватит! У всех документы, а мы стой!

Наблюдавший за порядком доброволец в свитере не удостоил Свиридова взглядом. Уверенным голосом он осадил:

— Ну чего, чего кричите? Не пущу я его. Пусть стоит себе, хоть позеленеет.

— И правильно! — одобрила очередь, теряя к Свиридову интерес.

Свиридов протиснулся к расписанию и, пользуясь высоким ростом, выбрал позицию, с которой довольно широко просматривалась касса.

Кассир — женщина лет сорока, с капризным выражением миловидного лица — сидела, глядя в сторону сонными глазами. Вероятно, она послала запрос и теперь ждала ответа старшего билетного кассира по распределению мест. Очередь благоговейно помалкивала в тайной надежде, что их смирение вызовет снисхождение у важной дамы-кассира. И она сделает соответствующий вывод...

Свиридов вспомнил, что в привокзальных кассах Северограда собирались ввести систему «Экспресс», ему об этом говорил Савелий на какой-то коллегии лет пять назад. Чем закончилась затея, Свиридов не знал, к проблемам, связанным с пассажирскими перевозками, приступил пока косвенно, через график, через совокупность задач, стоящих перед дорогой...

Наконец-то у кассы номер шесть произошло какое-то шевеление,

и тетка в распушенном платке, сильно оттолкнувшись, покинула очередь.

— Уф-ф-ф... Открепилась.— Она сжимала в руках билеты.— Не верится, честное слово.— И громко рассмеялась, пряча концы платка за отвороты пальто.

Очередной пассажир склонился к окошку, придав лицу благостное выражение.

Вероятно, Савелий Прохоров успел-таки внедрить систему «Экспресс» в свое хозяйство... Свиридов следил за движениями кассира: и как она прошлась штекером по контактам, набирая шифр, и как вставила голубой бланк в машину. Но лицо ее по-прежнему источало обиду и неприступность.

Раздалась дробь печатающего устройства. Именно время печатания и рекомендуется использовать для расчета с пассажиром. Но кассир терпеливо ждала, когда машина отстукает все цифры, она никуда не спешила...

Свиридов заметил в углу графарет с фамилией кассира, сделал шаг и прочел: «Кацетадзе А. Г.». Он как-то не сразу вник в звучание этой фамилии, просто она тронула какой-то туманной знакомостью, и лишь в следующее мгновение его память начала созревать, он подумал: не родственница ли его институтского дружка Аполлона сидит с таким постным видом в кассе? А может, жена? Свиридов с любопытством, как-то по-новому взглянул на кассира. Нет, не может быть! Он вспомнил белозубого, усатого, всегда веселого приятеля юности. Нет, не может быть...

Предвечерние воскресные улицы были немногочисленны. Сумерки заметно сгустились, размывая и без того вялые тени. Странное ощущение покоя в первые часы приезда. И город этот пока казался безмятежным, припрятав от Свиридова до завтра все свои заботы. Свиридов охотно принимал эту безмятежность. Может он себе позволить такую роскошь хотя бы на один вечер? Отойти от забот дороги. Выбросить из головы графики движения поездов, регулировку, передачу, погрузку-выгрузку, капстроительство, сохранность грузов, безопасность движения, детские сады и еще десятки других вопросов, которые заботят начальника дороги. Всего лишь на один вечер! Заслужил он это безупречной службой? Именно безупречной — ни одного выговора за двадцать три года работы. И где! На железной дороге! Даже кадровики в министерстве удивлялись, когда вопрос коснулся назначения Свиридова начальником главка несколько лет назад. «Наверное,— говорили они,— наше упущение. забыли внести в карточку. Чтобы живой человек столько лет проработал на дороге — и без единого строгача?!» Конечно, кадровики шутили. Кто-кто, а они-то знали, что именно так и было — ни единого. А какой Свиридов принял Чернопольскую дорогу?! Передача одна из самых низких по сети, графики сплошь и рядом нарушались, по любому показателю отставание. И вытянул Свиридов, вытянул. А говорят, что роль личности в наше время утеряна. Может, где-то и действительно личность в силу обстоятельств бессильна что-либо изменить, но только не на транспорте, в этом Свиридов убежден. И примеров множество... Тридцати лет его перевели из Свердловска в Чернопольск начальником вагонного депо. Через четыре года назначили заместителем начальника отделения дороги, потом начальником отделения. А последние девять лет он работал начальником дороги. Карьера неплохая. И делал он свое дело с достоинством — сам чувствовал. Это удивительно личное, почти интимное чувство, когда ты сам себе с предельной искренностью можешь сказать: «Да, дело, которым я занимаюсь, именно мое дело, я это чувствую всем нутром своим». Много ли людей могут сказать подобное? И мучают себя, мучают других... «Да,— улыбался про себя Свиридов, глубоко вдыхая свежий вечерний воздух.— Человека все же создал не труд, а отдых...»



Где-то в середине улицы выпячивались из общего строя каменные кариатиды старой гостиницы. Неподалеку от нее, у скверика с бюстом Ломоносова, когда-то жила девушка, с которой Свиридова знакомил Савелий Прохоров. Сколько с тех пор прошло лет? Свиридов вдруг вспомнил пухлый козырек теплой вязаной шапочки над большими голубыми глазами, носик с тонким вырезом ноздрей, бледные губы и широкий розовый бант на шее. Как ее звали? Забыл, не вспомнить...

Свиридов был холостяк, но не то чтобы убежденный, нет, скорее он был... кадровый холостяк, что ли. Есть некоторая разница. Ему не удавалось жениться, хотя вниманием со стороны нежного пола он пользовался — руки не доходили, некогда все было. В институтские годы не сложилось — и внешностью он тогда не выделялся, и в учебе весь был, недаром калининскую стипендию получал. В первые послеинститутские годы при своем инженерском довольствии, отсутствии жилой площади плюс еще и наружность доходяги не представлял особого интереса как жених. Впоследствии, когда начал набирать по всем статьям, отношения с женским полом складывались торопливые, ограниченные временем. А так как Свиридов во всем старался постичь глубину, то отношения эти не могли его захватить до потери пульса. И будучи человеком серьезным, а главное — нравственно ответственным, он оказывался во власти сдерживающих сил. Постепенно девушки махнули на него рукой, переключив свой энтузиазм на более легкомысленных и снисходительных молодых людей... Так Свиридов втянулся в холостяцкую жизнь, привык к ней. И, являясь по натуре человеком неопрометчивых, хотя нередко и рискованных поступков, он не решался ломать стереотип...

Свиридов относился к тому складу людей, которые с годами резко меняются во внешности. Если человек в юности был физически крупным, то со временем его внешность не претерпевает особых изменений, он только тяжелеет как-то, уплотняется. А такие, как Алеша Свиридов, тощие да лобастые, с годами настолько преобразуются, что никак не признаешь, если достаточно часто не видишься. И еще. Нередко натура человека, деятельная, командирская, так меняет наружность, что, бывало, войдет такой человек в компанию людей незнакомых — и те сразу смекают: вошла персона, лидер. И не хочешь, а чувствуешь, как тебя отрывает от стула какая-то сила, и во всем поведении своем испытываешь смирение и робость, пока человек этот не найдет нужных, ободряющих слов, ставящих его вровень со всеми...

Свиридов не спеша приближался к гостинице.

И вдруг как от резкого толчка он почувствовал, что безмятежность его не что иное, как спокойствие человека перед прыжком в воду в незнакомом месте. Что никуда ему не уйти от предстоящей встречи. И если он не ускорит ее, затянет, то вся дальнейшая жизнь в этом городе превратится в череду дней, заполненных ожиданием этой встречи. Чем бы он ни занимался, он будет думать только о ней...

Свиридов остановился у телефонной будки. Достал монетку. Ему не надо было заглядывать в записную книжку — номер он знал наизусть...

Ждать пришлось недолго.

— Будьте любезны... Мне Савелия Кузьмича. — Свиридов старался подавить волнение.

— Его нет дома, — ответил женский голос. — Он за городом.

«Люсьена, жена Савелия», — подумал Свиридов и поинтересовался, когда вернется Савелий Кузьмич.

— Болеет он, — ответила Люсьена. — Что ему передать? Кто звонил?

Свиридов помедлил и повесил трубку. И в ту же минуту порадовался, что не представился Люсьене. Сам не зная почему.

## Глава третья

## 1

— Ну, бабушка, вы и понабрали,— со скрытым неудовольствием проговорил загорелый скрипач, когда на его коленях оказался сверток с пронзительным запахом аптеки.

— Дак ты же сам и позволил, милай,— скороговоркой ответила бабка.— Спрашиваю: поддержишь ли? Ты и молчишь.

— Молчание — знак согласия,— с готовностью вставил солдатик и вновь уткнулся в книгу под влюбленным взглядом матери.

Скрипач усмехнулся. На его лице отражалась борьба чувств. С одной стороны, чувство справедливости, ради которого ему хотелось поставить на место нахальную старушеницу, с другой — чувство присущей ему галантности, которое он настойчиво хотел донести флюидами до сердца матери солдатика.

— Сейчас подберу, сейчас.— Старушка энергичней закопошилась в рыжем туристском рюкзаке.— Тебя как звать-то?

— Прохором Евгеньевичем назвали,— ответил скрипач и улыбнулся матери солдатика, как бы извиняясь за свое такое несовременное имя, и, не желая упускать момент, добавил: — А вас как нарекли?

— Варварой Сергеевной,— ответила женщина.— А его Виктором.— Она погладила сына по спине.

— А меня зовут Дарьей Васильевной,— обшительно объявила старая, извлекла из глубины мешка сморщенное яблоко и протянула скрипачу.— Угощайся, Проша, за терпение.

Прохор Евгеньевич подумал было отказаться, но все же яблоко принял и протянул Варваре Сергеевне. Та с улыбкой покачала головой, но скрипач настойчиво тянулся со своим яблоком. И тут сверток соскользнул с коленей и со стуком свалился на пол.

Дарья Васильевна обомлела.

— Ты что же, милай! — плаксиво загнудела она.— Там же лекарств на двадцать пять рублей, даже больше.— И, опередив опешившего скрипача, резво подняла с пола сверток, торопливо расшебуршила, убедилась, что лекарства целы.— Слава тебе, господи.

На иконописных ликах кавказцев, что свесились с полок, отразилось явное разочарование.

— Позвольте узнать, что вы читаете? — Прохор Евгеньевич пытался отвести внимание кавказцев от своей персоны.

— Что ты читаешь, Витюша? — проговорила мать.— Ответь дяде.

— Достоевского,— нехотя отозвался солдатик,— «Преступление и наказание».

— Там одна такая,— Чингиз повертел пальцем у виска,— деньги в огонь бросила. Понял? Деньги зажигала. Такую пачку в огонь бросила.— Он развел руки, обращаясь к товарищу.— В кино показывали.

— Чего только в кино не покажут,— насторожилась Дарья Васильевна.— Кто ж такое придумал?

— Великий русский писатель Достоевский,— важно отозвался Прохор Евгеньевич.— Только это в другом романе деньги сжигают, «Идиот» называется.

— Чего только не напишут,— качнула Дарья Васильевна остренькой макушкой повязанного платка.— Видать, он и знать не знал, что такое деньги...

— Ну это вы зря, Дарья Васильевна,— снисходительно обронил Прохор Евгеньевич.— Дело там и не в деньгах вовсе...

Солдатик закрыл книгу и встал. Он был высок ростом, плечист и фигурой гляделся старше своего возраста, если бы не лицо — круглое, широкоскулое, нежная кожа, легкий пушок на подбородке и вокруг мягких губ.

— Куда, Витюша? — спросила Варвара Сергеевна.

— Не беспокойтесь, мама, я постою в тамбуре, почитаю,— ответил солдатик.— Пусть люди располагаются.— Он направился было в тамбур, но дорогу преградил молодой человек из служебного купе.

— Проводника не видели? — спросил молодой человек.

Солдатик развел руками и, обойдя молодого человека, вышел в тамбур.

Молодой человек взглянул на Прохора Евгеньевича и повторил вопрос.

— Понятия не имею,— ответил Прохор Евгеньевич, с любопытством оглядывая человека, ехавшего с явной привилегией, в купе, у которого имелась дверь.

— Черт знает что, чаю не дожидаться,— молодой человек задержал взгляд на Варваре Сергеевне.

Прохор Евгеньевич, почуввав в пассажире служебного купе серьезного соперника, забеспокоился. Он по-детски надул губы, от чего по тщательно выбритым щекам пошли бурые пятна, делая совершенно некрасивым и без того малопривлекательное лицо.

Варвара Сергеевна отвернулась в окно. Столбы, столбы, столбы. Пестрые птички на проводах. Речка, мелькнувшая в распадке, церквушка на холме...

Прохор Евгеньевич поерзал на своем облучке, потом как бы невзначай перенес себя через коридор и усердно вытянул шею в сторону окна.

— Мне вот любой пейзаж за стеклом кажется мертвым. Как картина. Для восприятия мне нужен запах...

— Как у собаки, да? — обронил с полки Чингиз.

Прохор Евгеньевич сжался, но сделал вид, что не расслышал. Варвара Сергеевна молчала. Вся ее обращенная к окну фигура не выказывала желаний поддерживать разговор. С верхних полок вновь послышался орлиный клетот, и оба парня рассмеялись нарочито громко, вызывая еще... Дарья Васильевна скучала. И уже прикидывала смысленными глазками, как бы сподручней улечься на боковую, хоть и час был неподходящий, рань светлая, уснешь, потом ночью-то что делать? И верно, куда же запропастился-то проводник? Объявил, что отправляется в соседний вагон за заваркой, и пропал. Может, от поезда отстал?.. Дарья Васильевна оглядела купе, уже тронутое вечерними сумерками, пупырчатые стены, сухие полки. Чем бы одарить всех, расположить к себе? Не ровен час и помощь какая-нибудь понадобится. вон сколько мужиков на полатях сидят. А этот Прошка к дамочке ластится, подъезжает. И слепому видно. А та его, ясное дело, по воду шлет с дырявыми ведрами. Конечно, при взрослом-то сыне. Дамочка, вообще-то, ничего, смотрительная. И здоровая, видно, не городская. В городе дохленькие да бледненькие, а эта с пружиной... Тут, точно гром с неба, с полки ахнул Чингиз, прокопченный, точно бес.

— Чего тебе? — струхнула бабка и привалилась к рюкзаку.

— Мамаша, сол есть? — Чингиз щерил белые зубы.

— Чего?

— Молодой человек имеет в виду соль,— вежливо пояснил Прохор Евгеньевич.

— А тебе что? — Покровительство явно Чингизу не понравилось.— С мамашей разговариваю, мамаша понимает, тебе что?

Прохор Евгеньевич пожал плечами и отвернулся.

— Есть соль, есть.— загомонила Дарья Васильевна, доставая спичечный коробок с солью; не хватало еще ссоры между пассажирами.

Варвара Сергеевна продолжала отрешенно глядеть в окно.

— Гражданка, можно мы немного хлеб, сыр будем кушать? — обратился Чингиз к Варваре Сергеевне.

— Пожалуйста, пожалуйста,— разрешила та. Занимая с сыном обе нижние полки, она по неписанным законам имела особое право на столик.

Вскоре столик ломился от еды... Зелень, чуть пожухлая от хранения: лук, кинза, лепестки рейхана. Сыр с пронзительным запахом, завернутый в тряпицу. Яйца. Маринованный чеснок, что ломился в стенки банки янтарными зубчиками. Вяленая рыба. Куски мяса в цыпках красного перца. Фиолетовые баклажаны, начиненные лиловым фаршем. Плоские лепешки. Лаваш, напоминающий видом скатанную холстину. Бутыль с мутной жидкостью.

— Угощаем! — Чингиз широким жестом пригласил к столику попутчиков.

Варвара Сергеевна улыбнулась. Она пока не хочет. Она позже будет есть, когда молодые люди освободят столик.

— Обижает, соседка,— присел к приятелю второй кавказец, Полад, и, тронув за колено Прохора Евгеньевича, добавил гостеприимно: — Вы тоже садитесь, сосед. Не обижайтесь... Просто вы какой-то смешной, честное слово.

— Почему смешной? — серьезно отозвался Прохор Евгеньевич.

— Смешной, да,— коротко объяснил Чингиз.— Не обижайтесь... Мамаша, садись к нам.

Дарья Васильевна не стала ждать повторного приглашения, выложила яйца, картошку в мундире и присоединилась к компании.

Варвара Сергеевна тоже не заставила себя долго уговаривать. Она извлекла из баула шпроты, колбасу, банку с винегретом.

Чингиз выглянул в тамбур:

— Солдат! Иди, солдат, мама зовет.

Девичье лицо Витюши покраснело. Он строго нахмурил брови и укоризненно покачал головой. Но книгу захлопнул...

Когда Чингиз и Витюша вернулись в купе, Прохор Евгеньевич уже сидел у столика, сделав взнос в виде пачки печенья «Салют» и надломленного шоколадного батончика.

— Можно сходить в вагон-ресторан,— пробормотал он навстречу Чингизу,— вина взять...

— Не надо, чача есть,— успокоил его Чингиз.— Знаешь, что такое чача? Не знаешь — узнаешь... Налить вам, соседка? — обратился он к Варваре Сергеевне.— Вашего сына не спрашиваю. Солдат, да!

Варвара Сергеевна разрешила. Она не чувствовала стеснения. Ей нравился этот прокаленный солнцем кавказец. Сколько ему лет, интересно?

— Мне? Тридцать. Старый? Старый... У меня дети есть.

— Шесть штук,— важно подтвердил круглолицый Полад.

— Сколько? — не поверила Дарья Васильевна.

— Шесть штук,— засмеялся Чингиз.— Два мальчика, остальные девочки.— Он щедро плеснул мутную чачу в стаканы.— Кавказский человек детей любит. У меня еще будут, клянусь.

— Жену бы пожалел,— вырвалось у Дарьи Васильевны.

— Зачем ее жалеть, бабушка? Ее дело одно. А у меня? Столько человек надо кормить, одеть...

— Ты что, большой начальник? — не успокаивалась Дарья Васильевна.— Такие деньги добываешь.

— Почему большой начальник? Я маленький начальник... Я над трактором начальник в колхозе...

— Тракторист,— подтвердил Полад.

— Еще я — спекулянт,— завершил Чингиз.

— Так и скажи,— удовлетворенно проговорила бабка.

— Я, мамаша, знаю, что ты подумала, когда меня увидела. Раз кавказский человек, значит, спекулянт.— Чингиз громко расхохотался. И все засмеялись, за исключением строгого солдата Вити.— Хочешь, расскажу, какой я спекулянт? — Чингиз вкусно захрумкал зе-

ленью.— Зимой трактор ремонтирую, да? Запчастей нет. В деревне живет один человек, у него большой дом, а в подвале склад. Запчасти! Для «Жигулей», «Волги», тракторов... Для танка, наверное, тоже есть... У государства нет, у него есть... Я к нему иду, достаю из кармана свои деньги, он достает из подвала свои запчасти. Мне хорошо, ему еще лучше...

— Не понимаю,— позволил себе вставить Прохор Евгеньевич.— Одно дело — легковушка... А трактор? Трактор же колхозный. Пусть колхоз и покупает у того человека запасные части. Зачем вам платить свои деньги?

— За справку! — вставил Полад, продолжая уминать лаваш с сырком и зеленью.— Давай выпьем. Ты тоже, Чингиз, позвал гостей, а сам какие-то глупости рассказываешь.

— Вот! — поднял смуглый палец Чингиз.— Брат правильно говорит: за справку. Ладно, выпьем!

Молодые люди дружно выпили.

— Кто наверняка понимает в этой чаче, так это наш проводник.— Варвара Сергеевна брезгливо поднесла ко рту кусочек фиолетового баклажана.

— Куда делся наш проводник? Может, он выпал из вагона? — общительно поддержал Прохор Евгеньевич. Ему так хотелось быть в компании своим парнем.— Так за какую же справку вы приобретаете запчасти на свои деньги? — Прохор Евгеньевич чувствовал, что его любопытство чем-то по вкусу добрякам кавказцам, а кроме того, и на самом деле было интересно.

— Не знаю, как там у вас... А у нас надо получить справку у председателя колхоза. Что везешь свои фрукты. Или там зелень. Как сказать по-русски? — И Чингиз обратился к Поладу на непонятном языке.

— Излишки,— подсказал тот.

— Излишки,— подхватил Чингиз.— Если у нас плохие отношения с председателем, он справку не даст. Или будет ждать, когда фрукты испортятся. А если у нас хорошие отношения — он даже грузовик даст фрукты на базар везти... Не знаю, как у вас, а у нас я везде должен платить деньги. За запчасти платим, председателю платим. На дороге через каждый поворот ГАИ стоит. Он стоит на дороге, а рядом собственные «Жигули» отдыхают. Или «Волга». Откуда у простого милиционера собственная «Волга»? Это все мои фрукты. Приезжаю на базар. В базарком плати, за место плати, доктору плати. Весы взял — плати, фартук дали — плати. Гири — тоже плати! — Чингиз распалился, наболело, видно.— А где мне столько всего взять, чтобы всем платить? Сухое лето, воды нет. Везу воду — тоже плати. Или в прошлом году такой град был. Правда, тут никому не плачу... В деревне жить трудно. Не знаю, как у вас, у нас с маслом трудно, с мясом трудно...

— Ну ты даешь! — задиристо выкрикнула Дарья Васильевна.— Если вы в деревнях скотину не можете держать, то так вам и надо!

— Ай-ай, какой горячий старушка! — Чингиз повел руками, призывая всех посмотреть на бабушку Дарью.— Интересно! Корова кушать не хочет? А что ей кушать, если везде хлопок растет и виноград? Ладно, пусть не корова! Даже барашек, для которого сухой колючка — как для меня шашлык, и то стоит, не знает, куда идти. Кругом хлопок и виноград. Заготовка! Зачем так много хлопок? Все равно половину не убирают, так и остается в поле. Или виноград! Что, пьяных у нас мало, не хватает?.. Поэтому в деревне с мясом трудно, с маслом трудно. Большие деньги платим за них... Поэтому цена на фрукты такая, что, клянусь, самому продавать стыдно. А что делать?

— Какой же ты спекулянт? — Дарья Васильевна всплеснула руками.— Ты честный колхозник!

— А я что говорю? — Чингиз все продолжал жестикулировать. — Все думают, что я спекулянт. Подходят на базаре, цену узнают и говорят: «Спекулянт проклятый, милиции на тебя нет!» А мне что делать? Смеюсь. Разве каждому расскажешь, где настоящий спекулянт сидит, который с колхозника шкуру снимает, как с барашка.

— Ну, вы не совсем правы, — вступила Варвара Сергеевна. — Сколько на базарах проходимцев. У колхозников скупают и продают.

Молодые люди дружно загомонили. Видно, Варвара Сергеевна попала в точку.

— Думаешь, перекупщиков начальник базара не знает? Или милиция? — продолжал Чингиз.

— Всех в лицо знает. За руку здороваются, — добавил Полад. — Вот и соображай, если голова есть.

— Хорошо, ребята, что ж делать? — участливо обронил Прохор Евгеньевич.

И все рассмеялись.

Встречный поезд рванул тяжелым ветром по стеклам и пошел громыхать, гоня мимо окна пунктирные тени. Наконец проскочил...

— Что делать? — переспросил Чингиз. — Расстреливать надо. На площади. И по телевизору показывать... Через неделю все взяточники и спекулянты пропадут. Нет?

— Клянусь мамой! — поддержал Полад.

Опять все помолчали.

— Это не метод, — вздохнул Прохор Евгеньевич. — Нельзя человека за какие-то деньги или там фрукты жизни лишать. Это противостоестественно. — Уловив на себе потеплевший взгляд «милой Вареньки», скрипач приободрился. — Да и вообще... Известно — не то в Иране, не то в Ираке, не помню точно... За воровство отрубали руку. И что же? Именно во время экзекуции резко учащались случаи воровства...

— Мало рубили! — с издевкой произнес молодой человек из служебного купе. Никто и не заметил, как он вышел из своей кельи.

Прохор Евгеньевич был явно недоволен его появлением. Но, передернув плечами, продолжил, глядя на Варвару Сергеевну:

— Человек смотрит на казнь, а в это время у него карманы очищают. Сам читал в какой-то газете. — Но голос его уже потускнел.

Какая-то неловкость возникла в компании этих малознакомых людей. Чем объяснить ее? Может быть, угловатый скрипач своим присутствием чем-то корил спутников. Или бабка смущала хитровато-оценивающим прищуром острых глаз... А возможно, появление молодого человека из служебного купе, с его нагловато-развязной интонацией низкого, сочного голоса...

Бывает же так: кажется, все сложилось, все как-то притерлись друг к другу, и вдруг словно ярким прожекторным лезвием высветилась и стала зримой несовместимость людей, та, которую не снять никаким застольем, никаким душевным разговором. И самое разумное — разойтись по своим углам, унося с собой остатки дружеского тепла...

— А что, проводник все не появлялся? — спросил молодой человек из служебного купе.

Удерживаясь сильными пальцами за металлическую подпорку, он уперся скошенным подбородком в согнутую руку и прогонял взгляд узких голубых глаз с одного обитателя купе на другого, неизменно возвращаясь к Варваре Сергеевне.

— Мы как-то не очень следим за проводником. — Прохор Евгеньевич решил превозмочь себя и осадить нахала. — Полагаем, что это его прерогатива — следить за нами...

Молодой человек усмехнулся, продолжая глядеть на Варвару Сергеевну.

— Слушай! Зачем тебе проводник? — проговорил Чингиз. — Садись с нами. Кушай, пей! Угощаем...

Но приглашение радушного кавказца повисло в воздухе — молодой человек ушел в свое купе.

## 2

Игорь лежал спиной на комковатом пятнистом матрасе, вслушиваясь в голоса, что прорывались сквозь переборку. В соседнем купе веселились вовсю. А здесь, в колодезной глубине служебки, сидел у окна мрачный старик и щурил слезившиеся глаза на сизый пейзаж, что лентой разворачивался в направлении, обратном бегу поезда...

Они молчали уже не меньше часа. Лишь изредка старик отводил лицо от запотевшего стекла и, прислушиваясь к веселому шуму за стеной, произносил в пространство:

— Господи, не дадут спокойно доползти до могилы, не дадут...

— Ну уж бросьте, Павел Миронович, в этом деле вас не оставят на произвол судьбы! Помогут! — подхватил Игорь с серьезной суровостью.

Старик пальцами пригнул ворот плаща и по-птичьи склонил плоскую голову набок, высматривая на полке своего попутчика.

— Игорь... я вас знаю с детства. Но не думал, что вы можете быть таким жестоким.

Игорь с трудом сдерживал себя. Десяток справедливых, по его убеждению, слов балансировали на кончике языка, достаточно легкого толчка, чтобы слова эти пали в гулкую тишину купе бегущего поезда, но толчка не последовало — старик умолк. А в следующее мгновение Игорь уже справился с собой. И был этим доволен... «Может, пойти к соседям? — подумал он. — Звали ведь». Он вспомнил женщину с темными ореховыми глазами. Только вот молодые люди вокруг нее несколько осложняли обстановку.

— И угораздило меня сунуть в тюк пижаму, — захныкал старик. — Теперь что — в плаще спать?

— Предупреждал же вас. — съязвил Игорь. — Столько барахла напихали в эти тюки. Где только вы его набрали?

— Долгая жизнь. Вы еще молоды, не судите.

— А тарелки зачем? Неужели у вашей сестры не найдется для вас лишней тарелки?

— Не трогайте мою сестру. Она святой человек. — И помолчав, добавил: — Ваша матушка тоже о ней говорила дурно.

— Может, у моей матушки были на то основания? — не удержался Игорь и, упреждая кудахтанье старика, сказал: — Ладно, успокойтесь. Я дам вам свой тренировочный костюм.

— Спасибо! — Старик, пытаясь устоять слабыми ногами на живом полу, принялся стаскивать с себя плащ.

Игорь вытянул с антресолей чемодан. Пока он возился с ним, доставая уложенный в самый низ костюм, старик вынул из внутреннего кармана плаща багажные квитанции и бросил на Игоря нетерпеливый, озабоченный взгляд. Присутствие Игоря его сейчас чем-то стесняло. Уловив момент, он с завидной быстротой расстегнул брюки и добравшись до полотняного кармашка, что серой заплатой виднелся на голубых байковых подштанниках, торопливо упрятал квитанции и пристегнул булавкой...

— Одобряю. — хмыкнул Игорь и предупредительно вышел в коридор, плотно задвинув за собой дверь.

Вагон уже принял жилой вид. С полок свешивались небрежно запроваленные простыни, сползающие одеяла. Малыш бегал вдоль коридора, издавая ликующие вопли. Устойчивый дух общежития уже настоялся в вытянутом жилище на грохочущих железных колесах, несмотря на легкий ветерок, праздно гуляющий по коридору.

Из соседнего купе доносился негромкий разговор. Бабка в платке, опавшем на ворот зеленой кофты, оглядела Игоря взглядом цепких глаз.

— Что, милай, взопрел в своем тереме? — общительно проговорила Дарья Васильевна, радуясь новому лицу.

— Весело у вас. Едите-пьете сладко, — в тон ответил Игорь.

— Садись к нам, дорогой, — предложил подвыпивший Чингиз. — Прохор, подвинься... У Прохора есть скрипка, он сыграет... Сыграешь, Прохор? «Шалахо» знаешь? Танец такой... Наверно, кроме «Лезгинки», ничего не слышал?

Пассажир средних лет, который ранее встречал Игоря настороженными круглыми глазами, засопел и отвернулся.

Игорь намеренно не смотрел в глубину купе, где у окна, вежливо оборотив скучающее лицо к спутникам, сидела Варвара Сергеевна. Напротив нее, ловя уходящий дневной свет, уткнулся в книгу солдатик.

— А дама не будет против? — Игорь бросил на Варвару Сергеевну взгляд узких голубых глаз.

— Дама не будет против, — колко ответила та и, демонстративно подавив зевок, обратилась к солдатику: — Не устал, Витюша?

Солдатик что-то промышчал, не отводя глаз от страницы.

— А что, сынок, ты один в том купе голодуешь? — не отвязывалась Дарья Васильевна от Игоря.

— Не один он. Там дед еще едет, — подсказал с полки глазастый Полад.

— Почему голодую? — усмехнулся Игорь, положив согнутые в локтях руки на полки.

— По глазам вижу... А то ешь. Сосед на стол накрыл, праздник устроил.

— Добрые вы на чужое угощение, — вставил молчавший до сих пор скрипач.

В купе рассмеялись. Только Прохор Евгеньевич насупил, глядя поверх головы Варвары Сергеевны в окно на плотное серое небо.

— Вот. Кто угощает, а кто и отшивает, — легко подавил смущение Игорь. — Нет, я уж лучше в ресторан загляну.

— Обижает, сосед, — осовело проговорил Чингиз.

Игорь убрал с полок локти и быстро пошел вдоль вагона.

Он вернулся из ресторана минут через тридцать.

Левой рукой Игорь прижимал к груди небрежный газетный кулек, из которого чуть ли не выпадали сосиски, соленые огурцы, ломтики хлеба, в правой руке он держал перевязанную лентой глянцевою коробку зефира.

Первое купе пустовало, только Варвара Сергеевна скучала на прежнем месте, подперев кулаком подбородок, перебирая взглядом мелькающие за окном строения, да старушечья сидела на своей полке и расчесывала крупным гребнем редкие седые волосы.

Игорь шагнул в купе и положил на вытертый после пиришества стол коробку зефира. Варвара Сергеевна вздрогнула от неожиданности и отпрянула назад, потянув на себя лежащий на коленях баул.

— Это вам! — проговорил Игорь, улыбаясь.

— Мне? Что вы?!

— Прошу вас, — настойчиво улыбался Игорь.

Варвара Сергеевна растерянно оглянулась. Гребень замер над отливающей алюминием головой старушки. И без того остренькое ее личико заострилось до невозможности.

— Бери, бери, милая, — пропела она со значением. — А то еще передумает, хват... Мне небось не подарит.



— Какой прок мне от тебя, старая? — усмехнулся Игорь. Осмелев, он взял коробку и с мальчишеской непосредственностью опустил ее в раскрытый баул Варвары Сергеевны.

— Эх, жаль, хлопцы курить пошли, — не успокаивалась старушеница. — Намяли б тебе бока, будь здоров.

Игорь сделал ручкой еще не пришедшей в себя Варваре Сергеевне, погрозил бабке пальцем и, прижимая к животу окончательно промокший кулек с продуктами, скрылся в своем купе.

— Где вы пропадали, Игорь? — слезливо спросил Павел Миронович. В мятом выцветшем тренировочном костюме он был похож на выпивоху-сторожа Центрального водного стадиона, о чем его немедленно уведомил Игорь. Павел Миронович обиженно насупил, не сводя взгляда с разорванного газетного кулика.

— Корм принес, — пояснил Игорь, опорожня кулек. — Я решил не тянуть вас в вагон-ресторан, а то еще сдует в тамбуре... Жаль, чая нет. Проводник запропастился куда-то.

Павел Миронович с одобрением глядел на столик: сосиски в целлофане, огурчики, что натекли рассолом на стол, точно шкодливые щенята, и подрагивали, словно живые, в такт движению поезда.

Старик постепенно привыкал к остротам своего попечителя. И все равно каждый раз оставался в душе неприятный осадок. Но уже помалкивал. Павел Миронович знал Игоря с детства. Еще задолго до рождения Игоря, в далекие тридцатые годы, молодой и обаятельный искусствовед Павел Гурзо познакомился с юной студенткой художественных курсов Верочкой, проходившей в музее практику. Несмотря на близость их отношений, Павлуша не торопился регистрировать брак, что с самого начала заставило страдать родителей Верочки, людей, измученных традициями. И Верочку это не радовало. Она пыталась порвать с Павлом, даже замуж вышла за влюбленного в нее сотрудника того же музея. Но Павел Миронович не успокоился. Он принялся преследовать молодых и, пользуясь слабостью к нему Верочки, не раз вызывал у ее супруга приступы ревности. И, надо отметить, весьма обоснованные. Дело дошло до развода. Однако, разрушив их семейную жизнь, Павел Миронович не торопился связать свою судьбу с Верочкой.

Все детство и юность Игоря прошли в непрерывных скандалах родителей из-за этого старика, что сейчас сидел на нижней полке вагона...

Игорь достал из чемодана газету, разорвал пополам, вытер столик. Потом расстелил вторую половину, выложил сосиски и огурцы. Старик придвинулся к столику, провел языком по сухим блеклым губам. Протянул руку и принялся перебирать огурцы, вызывая у Игоря чувство брезгливости. Наконец огурчик по вкусу был выбран, сосиску Игорь пододвинул ему сам.

— Скажите, Павел Миронович... Почему вы отказались жениться на моей матери? — вдруг проговорил Игорь, глядя в окно на золотистые вечерние облака.

Старик захлопал короткими и ржавыми ресницами.

— Не понял вас, — проямлил он.

— Я спрашиваю, — терпеливо повторил Игорь, — вы так долго питали чувства к моей матери. можно сказать, преследовали ее, а когда умер отец, ушли в тень, почему?

— Ну и вопросы. Игорь.

— А что? Разве я не имею права спросить об этом?

Старик нахмурился, делая вид, что весь поглощен тем, как бы поаккуратнее снять пленку с сосиски.

— Молодой человек. — наконец заговорил Павел Миронович важно и решительно, — есть вопросы, которые старшим людям задавать

неприлично. Тем более если они затрагивают... какую-то сторону жизни родной матери.

— Почему же матери? — отрезал Игорь.— Речь идет о вас, Павел Миронович.

— Ваша мама, Игорь, попросила вас сопровождать меня. Что вы и делаете за определенное вознаграждение. Но это не значит, что вы имеете право лезть куда не следует! — В голосе Павла Мироновича послышались отзвуки былой уверенности в себе. Он даже расправил тощие плечи и выпрямил спину. Это выглядело забавно.— И прошу вас, Игорь, выйдите из купе. Я должен сделать себе укол...

Он полез в карман плаща, достал дорожный бикс, перетянутый широкой резиновой лентой, ампулы с инсулином и спиртом, лежащие в плоской металлической коробке. Выложив все это на столик, он еще раз с нетерпением взглянул на своего попечителя.

Игорь усмехнулся и вышел в коридор. Может, взглянуть, чем занимается милая соседка?.. Но Игорь себя сдержал: неловко как-то, слишком уж назойливо. Сколько же ей лет, при сыне-солдатике? Вероятно, Игорь ей ровесник. И у Игоря мог бы быть такой сын, если бы его мимолетная жена предусмотрительно не приняла мер.

Игорь поднес руку к титану. Ослабшее тепло нежно тронуло ладонь. Досада все не оставляла его, напрасно он затеял с Павлом Мироновичем беседу. Не слишком ли много чести для этого дрянного старика?..

Поезд замедлил бег, однако никаких признаков станции за окном не угадывалось — голая степь. Колеса ворочались с глухим скрежетом неудовольствия от узды, которую все туже затягивали тормоза. Скрипнув в последний раз, поезд окончательно остановился. Тишина, тягучая и густая, заложила уши. Где-то в глубине вагона женский голос обронил с ленцой: «Станция, что ль?» И вновь тишина...

И тут слух уловил тихий разговор, пробивающийся в тишине подобно родничку в густой лесной чащобе, из соседнего купе.

— Ну, мамо, вы и рассуждаете,— говорил солдатик ломким полупешотом.— Что же, я своему командиру буду зефир дарить? Да и не возьмет...

— Возьмет, возьмет,— убеждала его мать.— Все берут.

— Ну, мамо... Представляете, прихожу я к полковнику в кабинет. И выкладываю коробку с зефиром... Какая ж это армия...

— У полковника есть дети. Пусть им и отдаст зефир,— рассудила Варвара Сергеевна.— Надо ж отблагодарить человека, что он тебя домой отпустил.

— Я заслужил.

— А ты поблагодари его. Не тыщу даешь — коробку зефира. Все одно что цветы.

— Ну, мамо...

В это мгновение вагон вздрогнул, и разговор утих.

## 3

— Поехали вроде,— обронил Зюмин.— Зеленый.

— Вроде поехали,— согласился помощник машиниста, безбровый краснолицый парень.— Зеленый дали.

— Поехали,— заключил Елизар.

Зюмин всей ладонью прижал пусковую клавишу и, переждав мгновение, медленно освободил тормоза. Локомотив плавно сдвинулся с места. Точно и не тащил за собой пятисотметровый состав. У каждого машиниста свой почерк. Другой так дернет, что пассажиры с полок скатываются, считай, машинист поначалу тормоза ослабил, а потом уже пустил локомотив, как обычно трогают автомобиль. Больно ему надо рисковать. Это подобные Зюмину мастера улавлива-

ют момент: и двигатель не напрягают, и колодки тормозные сберегут. Так снимаются с места, что у пассажиров в стаканах вода не шелохнется. Правда, зимой в мороз не всегда красиво получается — колодки к колесам примерзают во время стоянки. Но Зюмин и тут хитрит: отпустит сначала, пересилит морозец, потом прижмет их и, не дожидаясь нового прихвата, пускает локомотив...

— Молодец! — одобрил Елизар, глядя, как Зюмин, щелкая клавишей, набирает скорость. — Ласково тронул.

— Кого же мне еще ласкать? — ответил Зюмин. — Это у тебя, говорят, есть кого ласкать в вагоне. А у нас с Федюней только что эта лошадка.

— Будет тебе, — потупился Елизар.

Конечно, старый знакомый Зюмин знал о его отношениях с Магдой и всегда посмеивался при встрече. Странные люди... Да и Магду Зюмин знал хорошо и первого ее мужа, тот и сейчас работает в локомотивном депо.

— Ты не обижайся, Елизар... Чего ты в самом деле? Перед такой женщиной только семафор может устоять. И ушла Магда от своего муженька, потому как ревновал он ее по-черному. На работу не ходил, дежурил...

Елизар молчал. Ни разу за все время он не спрашивал Магду о причинах разрыва с мужем...

— Будет тебе сплетничать, — одернул Федюня. — Того и гляди наш гость под откос сиганет, отвечай потом.

— Не сиганет, — продолжал треп Зюмин. — Он еще должок с меня не требовал.

Елизар поерзал на своем откидном стуле, потянул носом... Он прибежал к локомотиву на разъезде у двести восьмидесятого километра и так пригрелся, что не хотелось уходить. А куда спешить — главные дела по вагону он уже переделал. До вечерней раздачи чая время еще было, а что касается Магды, так та залегла спать, уповая на длинный перегон. Ночью посыплется мелочь, считай, через каждые четверть часа станция, не до сна будет. Она и Елизару советовала вздремнуть, да не послушался ее Елизар: не успеешь оглянуться, как в Олений Ручей прикатим, а там ищи-свищи Зюмина с его долгом — смена локомотива, другая бригада поезд потянет...

Радуясь своей силе, локомотив широко и весело нес себя к сияющей кромке горизонта по сизой лестнице рельсов, увлекая за собой глазастые зеленые близнецы-вагоны. Разорванный воздух обтекал стеклянный лоб локомотива, сгоняя с насыпи случайный мусор, песок, щебенку. Точно выслуживаясь перед строгим хозяином. И еще долго не мог успокоиться, катая по буеракам разномастный хлам.

Пересчитывая бесконечные стыки рельсов по косограм, по мостам и мосточкам, гнал себя электровоз марки «ЧС», прозванный «чебурашкой». А навстречу спешили такие же обреченные на работу красногрудые мощняги, влекущие длинный хвост — то из цистерн, то из хопров, то из полувагонов... И чего только не развозят они по стране! Локомотивы традиционно приветствовали свистками друг друга. И прощались долгим, тревожным гудком — не угораздит ли кого-нибудь выскочить на рельсы из-за последнего вагона встречного поезда...

— Никак троллейбусы везут? — Елизар удивленно провожал взглядом стоящий на боковом пути состав.

Укрощенные колодками, покорно прижав к спине тощие уши-штанги, громоздились на платформах широкозадые голубые троллейбусы. Видеть среди лесов этих родных городских трудяг было непривычно и радостно.

— В Колумбию отправляют... На разъезде рядышком стояли, я и прочитал на маркировке, — проговорил Федюня. — К морю везут, на пароход.

— Ишь ты, в Колумбию, — недоверчиво произнес Елизар и осекся — опять вспугнул резкий и пронзительный свист системы бдительности. — Ух, зараза!

Зюмин привычным прихлопом погасил сигнал, который будоражил кабину разбойничьим свистом через каждые двадцать секунд.

— Да выключи ты ее! — взъярился Елизар. — К нему в гости пришли, а он оглушает.

— Не могу. Еще усну с таким гостем, — ответил Зюмин. — А позади восемьсот человек жить хотят. Так что потерпи. Служба у системы такая — сон у машиниста разгонять.

Елизар и сам понимал, что поставили систему в кабине машиниста не для праздного шума. А покричал он так с перепугу, хоть можно и привыкнуть за время, что гостил в кабине локомотива.

— Вижу желтый. — Федюня занимал свое место у левого крыла и следил за сигнализацией.

— Вижу желтый, — подтвердил Зюмин и сбавил скорость.

— Ага, желтый, — деловито подтвердил Елизар.

Ему нравилось участие в этой серьезной игре. Одно время Елизар пытался разглядеть цвет светофора раньше впередсмотрящего Федюни, но не удавалось, навыка нет. Хоть на мгновение, а все равно Федюня опережал... Елизар скосил глаза и в который раз подивился всемогуществу техники: на миниатюрном светофорике, который пеналом торчал на пульте управления, тоже горел желтый свет, как бы напоминая машинисту о цвете фонаря путевого светофора.

— А от чего этот-то загорается? — не справился со своим любопытством Елизар.

— От встречного светофора, — снисходительно объяснил Федюня. — Электромагнитное излучение наводится. Понимаешь?

Елизар понимал, но не очень, в общих чертах. Не было у него специального образования, только среднее.

— Ни черта он не понимает, — с добродушной ленцой поддержал беседу Зюмин. — Вот каким образом одной простыней двух пассажиров обслужить, это он понимает, да, Елизар? Эх вы, люди-блохи, — закончил Зюмин с неожиданным ожесточением.

— Ну, ты вот что, — растерялся Елизар, принимая чересчур близко к сердцу обидную реплику машиниста. — Не очень-то, знаешь... Поездить бы тебе без сна несколько суток, потому как одно лицо на вагон. Да станции встречать-проводить. А они, как назло, одна за другой, одна за другой. Да еще зимой, в морозец. За сто с небольшим целковых в месяц. А то сидит себе как в кабинете да простыни наши, проводниковские, трясет...

Кажется, Елизара всерьез проняло. Даже уши побелели. Снисходительно принимая критику в адрес своего ремесла со стороны несведущих людей, он свирепел, когда его укорял свой брат-железнодорожник.

Несколько минут ехали молча.

В этих местах снег еще держался в оврагах светло-серыми языками. А по склонам холмов молодо зеленела трава. И это было странно — трава и снег. Местами холмы отбегали к хвосту поезда, и глаза охватывали утекающие к горизонту поля. Но поля в этих северных краях жили за окном поезда короткой жизнью: скоро их вновь подсекут леса — и уже надолго...

— Эх-х-х, Елизарушка, сгубит тебя, молодца, обидчивость. — Зюмину надоело молчание в кабине. — Лучше расскажи: получил ли ты новую комнату? Или все в тире живешь?

— Почему в тире? — удивился Елизар.

— Как же. Сам говорил, что исполком целится снести твою хибару.

— Это когда ты у меня денег позаимствовал? — уколол Елизар. — Ну и память у тебя. Столько времени прошло, а помнишь.

— Намек понял,— кивнул Зюмин, не отводя глаз от смотрового окна.— Начало опасной зоны!

— Начало опасной зоны,— подтвердил Федюня.— Кстати, тут и ограничение.

— Сплошные ограничения,— обронил Зюмин.— Ну, поползли.— Он начал притормаживать.

Этот участок ремонтировался чуть ли не каждый год — то вода подмоет полотно, то лед сокрушит, то еще какая напасть. Издали приближались фигурки путевых рабочих в оранжевых стоп-жилетах. Заслышав сигнал локомотива, они сошли с полотна и сбились на площадке у дерева. Почти одни женщины.

— Что бы мы делали без баб? — Зюмин коротко гуднул, отвечая на приветствия рабочих.

Одна из работниц, стоявшая поодаль, что-то крикнула и засмеялась. Но разве что услышишь в таком грохоте?

— Не тебя ли зовет, Елизарушка? — пошутил Зюмин.

— Она спрашивает, вернул ли ты мне долг,— в тон ответил Елизар.

Зюмин засмеялся и одобрительно тронул Елизара за колено.

Локомотив осторожно, точно на ощупь, продвигался вперед. Медленная езда раздражает, кажется, что время остановилось. Через припущенное стекло форточки воздух вдавливался плотным прозрачным комом, которому никак не подходило стремительное слово «ветер». Ком расползлся по кабине, остужая приборы, что так плотно заставили рабочее помещение. И скоростемер уже не стрекотал, а что-то тяжело прокручивал, подобно усталому велосипедисту на крутом подъеме. Только система бдительности исправно включала свой вредный посвист...

— Приедем в Олений Ручей, а в ночлежке душевая не работает,— вспомнил Федюня.— Опять не помыться по-человечески.

Ночлежкой называли профилакторий локомотивных бригад. Как раз в Оленьих Ручьях дом был отличный, трехэтажный. В комнатах по две кровати, крахмальное белье, даже цветами ухитрились удивить. И столовая не позорная, круглосуточно горячие блюда. Не то что в других домах — одни пирожки да вареные яйца. А что касается душа, так что-то со сливом приключилось, обещали наладить.

— Ладно, душевую ему подавай. Небось дома раз в год в баню ходишь,— проворчал Зюмин.— Такая езда, мать их девочка! Разве график удержишь?

Елизар только сейчас обратил внимание на внешность Зюмина. Крупный, крепкий мужчина. Загорелое энергичное лицо с седеющей у висков пышной каштановой шевелюрой. Кремовая сорочка с коричневым галстуком приятно сочеталась с шоколадным кителем, на лацкане которого тяжелел знак «Почетный железнодорожник», а его не просто заслужить. Зюмин считался машинистом высокого класса.

— Сколько ж тебе лет, Зюмин? — почтительно спросил Елизар.

— Пятьдесят пять,— смягчился Зюмин.

— Никогда бы не дал! — искренне воскликнул Елизар.

— Я бы и не взял! — Зюмин засмеялся, ему по душе было это наивное восхищение Елизара.

Разговор развеял одурь медленной езды. Зюмин выпрямился, развел плечи. Чувствовал, что скоро кончится тягомотина. Дотянуть до леска, а там, помнится, ограничение снято.

Они проехали переезд, собравший у шлагбаума несколько автомобилей. Водитель самосвала, что стоял первым, погрозил им из окна рукой: чего, мол, тянете, быстрее, быстрее. Но локомотив никак не реагировал на его нетерпение, спесиво протягивая длинное змеиное тело вдоль подхалима-шлагбаума.

Наконец леживо подплыл знак, отдаленно напоминающий крендель.

— Конец опасного места,— проговорил Федюня.

— Конец опасного места,— продублировал Зюмин.— Все равно еще пять километров тащиться по ограничению. Сколько там предписано?

Федюня взглянул в листок предупреждений, что висел подколотый к вентилятору.

— Пять километров ехать не более шестидесяти.

— А там и станция, тоже позагораем,— поморщился Зюмин, но скорости не прибавил, ему нужно было еще протащить весь состав за знак, это добрых полкилометра. Только потом можно будет повысить скорость до разрешенных шестидесяти километров в час.

Локомотив будто понимал: скоро выпустят его на волю, сыграет мускулами. И вот уже запели на тон выше двигателя, дрожь корпуса стала мельче.

— Хоть глоток, да наш. Вот как работаем, Елизарушка! — Зюмин уже набирал скорость.— А ты говоришь! Небось и пассажиры твои костерят нас на чем свет: лентяи, еле плетутся! Да, Елизар? Костерят?

— Костерят,— согласился Елизар. Он-то знал своих пассажиров.

— А все почему? — проворчал Зюмин, ни к кому не обращаясь.— Потому как не хотело начальство наше себя беспокоить. Им и без того хорошо было, зарплата шла. Только сами над собой топор вешали.

— Это как? — насторожился Елизар.

— А так! Со стороны Москвы к нам подступает дорога — загляденье, двухпутка, с отличным полотном... Электрички снуют, не мешают. А от Северограда — прости господи. Однопутка на тепловозной тяге. Это разве дело? Идешь по сухому, и вдруг — вода... Они к нам с пирогами, мы к ним с сухарями... А возможности есть и денег больших не надо. Хотя бы восстановить полотно, что немцы во время войны порушили. Столько лет прошло. Пора бы! Какая была бы разгрузка дороге. Кислород! Хотя бы электрички волю почувствовали, как в Москве. Да... Все хотим проскочить на холяву. Сколько краски на лозунги извели. А те бы деньги да в дело...

— Ну, как пономарь,— не выдержал Федюня.— Расскажи лучше, как ты с новым начальником беседовал.

— Свиридов-то? — с небрежной ленцой проговорил Зюмин.— А что? Собрал старых машинистов и спрашивает: что, мол, делать, как не дать помереть дороге, как ее оживить, кормилицу? Я и сказал, что думаю... Верно, говорит. Революция нужна Североградской дороге, кардинальный подход. Иначе — хана! Инсульт, как говорится... Что ж, посмотрим на молодца, все поначалу охочие, потом в тенечек прячутся. Правда, бывший генерал, Савелий Кузьмич Прохоров, нас и поначалу не привечал, советчиков. Гордый был человек. Сам да сам... А со стороны смешно...

Зюмин весь извертелся на сиденье, дожидаясь конца этих разносчастных километров. Федюня достал из закутка флягу с водой, сделал несколько глотков, покосился на Елизара: может, и тот изволит горло промочить? Подождал, спрятал флягу.

— Разрешите сходить в машинное отделение! — четко, по-уставному проговорил Федюня.

— Разрешаю! Веду наблюдение за сигналами,— коротко ответил Зюмин.

Обычно, разговаривая свойским манером, они переходили на сухой и официальный язык, когда касались служебных забот. И это нравилось Елизару — знают люди свое дело, не забываются...

Федюня скрылся в машинном отсеке, а Елизар протиснулся на его место, к левому крылу.

— Вижу зеленый! — горделиво и с робостью объявил Елизар. Чего доброго, Зюмин его сейчас осадит.

— Вижу зеленый! — серьезно ответил машинист.

Локомотив в этот момент миновал границу ограничения.

Перестук колес слился в торопливый ритмичный цокот. Встречные столбы за окном мелькали, точно лопасти вентилятора, вгоняющего в форточку колючий и упругий ветер. Пришлось поднять стекло. Стрелка на указателе скорости подползла к цифре «140» и тянулась выше.

Елизар таил восхищение. За годы работы в поезде ему множество раз доводилось мчаться с приличными скоростями, но, признаться, он впервые встречался со скоростью лицом к лицу. Когда любой предмет впереди вырастал на глазах и через мгновение уносился в хвост поезда.

— Жмем сто сорок, а кажется, будто шестьдесят, честное слово! — в упоении воскликнул Елизар. — Только что столбы шибче бегут, верно?

— Ты что же, детка, сигнал пропустил? — ехидно спросил Зюмин.

— Ах да! — испуганно спохватился Елизар и взглянул на контрольный светофорчик. — Желтый был.

— Был... — усмехнулся Зюмин. — Такой «был» знаешь чем может обернуться? — Зюмин сбросил скорость.

Потянулись редкие, разбросанные домики окраины поселка, зарывшиеся в весенние палисадники, потом пошли безлюдные улицы... Скоро станция. Вот и название ее мелькнуло на блеклом вокзальном здании — Лисички. Но остановка здесь не предусмотрена, и Зюмин намеревался на скорости проскочить разъезд, на котором частенько придерживали пассажирские поезда. Не удалось...

— Сто девятнадцатый, сто девятнадцатый! — ворвался радиоголос дежурной по станции. — Лисички проследовали без замечаний. А на разъезде обождите маленько.

— Ты что, милая? — обиженно возразил Зюмин. — И так с графика слетели.

— Пропустим два нечетных состава, дядечка. До выходного, — ответил радиоголос. — Потом и вам дорожку открою.

— Всегда ты так, милая, — миролюбиво проговорил Зюмин в микрофон, надеясь уговорить дежурную. — Я проскочу до Разуваевки хорошим ходом.

— Не могу. Там еще двадцать третий скучает, очереди ждет. — И щелкнула в микрофоне, точно улетела.

— Вот стерва! — обернулся Зюмин к Елизару. — Каждый раз на пассажирском отсыплются. За товарняк они премии получают, а мы жди.

Тем временем рельсы ушли вправо, приглашая поезд на запасной чуть.

— Что случилось, шеф? — Федюня появился из машинного отделения. — Споткнулись?

— Ты вначале доложи, как положено! — в сердцах огрызнулся Зюмин. Его можно понять: гнал, вырабатывал график — и на тебе, все коту под хвост...

Федюня не стал спорить, показывать характер, а четко и бесстрастно доложил о состоянии двигателей.

— Ну хотя бы тут все в порядке. — Зюмин вывел состав на боковой путь разъезда, остановился и выключил тягу. — Приехали...

Елизар ерзал на своем месте и думал, не убраться ли ему к себе, пока остановка? Все равно ничего не добиться. Настроение у Зюмина подпорчено, а тут еще он со своим долгом...

— Ладно. Пойду к себе, — проговорил Елизар. — Погостевал, и будет.

Зюмин обернулся, впери в Елизара глаза, наполовину прикрытые слоистыми веками.

— Чудак человек,— проворчал он.— Ты что же думаешь, я тебе долг не верну?

Елизар молча отстранил железный табурет, шагнул к двери.

— Погоди,— мягко остановил его Зюмин.— Что ты на самом деле? Кто же такие тыщи в дорогу берет, сам подумай. Только на еду и взял, чтобы поесть.

— И не стыдно?! — искренне удивился Елизар.— Двадцать рублей всего и должен... Мужик ты или кто? Неужели двадцатник карман оттопыривает?

Тут Федюня посчитал за обязанность вступить за честь своего начальника. Он захлопал широкими ладонями по тощим ягодицам и покачал головой, с презрением оглядывая Елизара от фуражки до ботинок.

— Тоже мне! — воскликнул Федюня.— Ситуацию надо знать. У Зюмина свой досмотрщик имеется. Она его на перроне стережет. С обыском. Думает, как раньше было, зайцев в локомотиве катаем, а заработок — в загашник.

Елизар ответил недоверчивым взглядом.

— Скажешь тоже, зайцев... Куда их тут определить? Не то что зайца — воробья не провезешь, теснотища.

Федюню такое суждение заело, и стерпеть это не было возможности.

— На чешских локомотивах — да. Каждый сантиметр площади на учете. И то, если приспичит, в машинное отделение пустить можно, посадить на трапах. А в наших локомотивах запросто несколько человек провезешь. Только скажи, где их взять, зайцев-то?! Всех ваш брат-проводник оттяпал...

— Ладно-ладно, разболтался,— с напускной строгостью осадил помощника Зюмин.— Все тайны ему откроешь. Того и гляди, ревизоров напустит.

«Насмежаются,— с обидой подумал Елизар.— Сами должны, а сами...»

Он так и не додумал до конца свою обиду — стремительно нарастающий шум вломился в форточку нестерпимым скрежетом, лязгом, стуком и воем. Черный, осатаневший от собственной мощи товарняк метал в кабину рваные тени... Елизар с испугом отпрянул от двери. Боковым зрением он увидел, как Зюмин достал десятку и жестом предложил Федюне присовокупить. Федюня принялся копошиться в карманах, извлекая мятые бумажки. Но, видно, так им и не удалось дотянуть до двадцати рублей...

«Крохобором меня считают», — еще с большей обидой подумал Елизар. За время, проведенное в кабине, он проникся симпатией к этим двум людям. И, честно говоря, больше болтал о долге, чем думал о нем на самом деле.

Товарняк пропал так же неожиданно, как и возник. Тишина вновь овладела кабиной. Но тут же что-то щелкнуло в динамике и раздался голос дежурной по станции, вплетенный в посторонний треск и свист помех. Только опытное ухо могло разобраться в этом сумбуре звуков.

— Сто девятнадцатый... Где вы там?

Зюмин, пихнув собранные деньги в карман тужурки, метнулся к динамику.

— Слушает сто девятнадцатый. Чем порадуешь, милая?

— Пропущу вас до Разуваевки впереди второго нечетного. Успеете?

— Успею, милая,— радостно ответил Зюмин.— Там только одно ограничение на три километра.— Зюмин бегло взглянул на листок предупреждений.

— Бархатных рельсов вам, катите! — разрешила дежурная.



И тут же на выходном светофоре вспыхнул зеленый глазок.

Елизар стоял у двери, соображая, что же ему делать. Жаль, что между локомотивом и вагонами нет радиосвязи, узнал бы, как там и что.

— Садись на место, чего уж там,— мягко бросил Зюмин. Не топясь и с явным удовольствием он нажимал пусковой контроллер, увеличивая обороты двигателя.

Елизар облегченно вздохнул, но вида не показал, так и вернулся на свое место с угрюмым выражением лица.

Какое-то время Зюмин обменивался с помощником специальной информацией. Потом они примолкли, отдаваясь нарастающей скорости.

— Елизар, а кто идет начальником в этом рейсе? — прервал молчание Зюмин.

— Аполлон Николаевич,— охотно отозвался Елизар.

— Кацетадзе, что ли?

— Он самый. А вы что, знакомы?

— Знакомы. Он когда-то в управлении работал,— ответил Зюмин.— Толковый вроде был инженер, а места своего не нашел... Конечно, в начальниках поезда жить веселее. Машину уже купил?

— Купил. Давно купил.— Елизар с увлечением наблюдал, с какой упоительной яростью несет себя локомотив. Неужели есть сила, которая может его сдержать?

— Конечно. Инженером он только и мог что на электричке кататься. А тут — пожалуйста, хоть куда. Верно?

Молчание в кабине было подтверждением того, что прав машинист: свой автомобиль не помешает.

— А ты ж чего сам не купишь? — спросил Елизар.— Небось за четыре сотни в месяц получаешь.

— Получаю,— согласился Зюмин.— Сижу, понимаешь, в тепле, катаюсь себе, а денежки капают. Не работа, а рай... Тоже ведь раньше сидел в управлении бумаги перекладывал.

— То-то... А к Аполлону претензии. Завидуешь?

— Еще бы! — усмехнулся Зюмин.— Он сейчас в штабном вагоне сидит, бедняга, голову ломает, как бы пассажиров лучше обслужить, а я тут с тобой кейфую, лясы точу...

Зюмин оборотил лицо к Елизару. Но тотчас, словно подчиняясь сильному толчку, вновь вернул взгляд к дороге, вытянул шею, приблизил лоб к прохладному стеклу...

И Федюня поднялся, подавшись всем корпусом вперед.

Чувствуя неладное, Елизар напрягся, пытаясь уяснить, что же там, интересно, стряслось? Он видел, что навстречу им стремительно приближался поезд. И шел он по своему законному полотну, как шли до него десятки встречных поездов. Никаких сомнений в этом не было. Рельсы текли к горизонту и в прозрачных сумерках смотрелись необычайно четко.

Зюмин дал длинный гудок.

Встречный поезд ответил коротким обычным приветствием.

Зюмин повторил гудок. И еще раз...

— Тормози, шеф, тормози! Он же ни черта не слышит из-за товарняка! — воскликнул Федюня.— Тормози!

Зюмин включил экстренное торможение.

Казалось, локомотив на полном ходу вдруг соскочил с рельсов и заковывал, увязая в песке. Сила инерции бросила Елизара вперед, он едва успел опереться о стенд управления.

И тут Елизар увидел, как прямо по курсу, сливаясь темной фигурой с частоколом чумазных шпал, спиной к локомотиву брел человек. В свитере, с непокрытой головой, перекинув через плечо какой-то предмет...

В грохоте встречного поезда даже Елизар уже не слышал гудка своего локомотива. Он видел, как с неотвратимой силой подтягивалась к лобовому стеклу фигура этого человека. Он уже видел на спине свитера какое-то пятно. «Грязь, а может, и масло»,— вяло подумал Елизар, проникаясь ужасом.

— Сейчас накроет... Хана мужику... Метров тридцать бы, эх!

Но, видно, бог не торопился повидаться с мужиком в засаленном свитере.

В какой-то момент мужик вдруг обернулся. Елизар увидел его глаза, ставшие вдруг огромными. Мужик дико скакнул в сторону и, перелетев через рельс, кулем повалился на насыпь. Предмет, что он держал на плече, свалился, это был топор...

Локомотив утюгом прошелся по тому самому участку дороги и, протянув еще немного, окончательно замер.

И встречный товарняк пролетел, увлекая за собой последний грохот...

Тишина.

Елизар поглядывал то на Зюмина, то на Федюню. Оба они сидели неподвижно и даже... торжественно. Потом он увидел, как Федюня потянулся к Зюмину и похлопал ладонью по белым пальцам руки машиниста, сжимающим рукоятку тормоза...

— Будет, будет, шеф,— проговорил Федюня.— Не впервой ведь... И все хорошо на этот раз.

Зюмин кашлянул, убрал руку, поднялся.

— Где же этот охламон? — голос его крепчал.— Сиганул куда?

— Дома уже небось,— поддержал Федюня.— Что, продадим торозную систему и дальше двинем?

— Да, пожалуй,— тихо ответил Зюмин.— Сходил бы ты к машинам, Федор. Как они там после такого торможения,— добавил Зюмин без уставной строгости и прикрыл глаза.

Федюня ушел.

Елизар сполз со своего стула и бочком двинулся к наружной двери. Наверняка он успеет добраться до вагона, пока будут продурывать тормоза.

Зюмин повернул голову, показывая свое белое лицо.

— Представляешь, Елизарушка... Был бы он у меня восьмым по счету. Не отмыться мне, хоть каждый день свечки боженке ставь.

— Восьмой,— еще не осознавая услышанное, проговорил Елизар.

— Восьмой, Елизарушка, восьмой.— Зюмин тронул рукой пульт управления.— Разве такую махину сразу остановишь?

Елизар постоял, переминаясь с ноги на ногу, и вновь двинулся к двери.

— Ты возьми деньги-то, хоть часть... Мы с Федором собрали. Остальные на днях занесу, клянусь.

— Ладно тебе... Все и принесешь,— засуетился Елизар.— Побегу. В вагоне заждались.

— Посиди еще, а? Побалакаем о том о сем. Видишь, какая работа, сплошной кейф... В тепле...

Елизар промолчал. Спустился по ступенькам. Вытянул ногу, нащупал податливую щебенку и побежал вдоль локомотива, хрумкая мелким морским галечником... И тут в хилом кустарнике, что рос в неглубоком распадке у самого полотна дороги, он увидел высоко торчащее кривое топориче.

Елизар опешил. Пережитое вдруг прокрутилось в его сознании и обернулось этим захватанным куском дерева... Нет, ему ничего не почудилось, все произошло на самом деле.

Он сбежал к распадку, ухватил топорщице, вырвал его из кустарника. Топор сверкнул свежей заточкой.

Перекинув топор через плечо, точно так, как нес его тот бедолага, Елизар побежал.

Дверь ближайшего вагона была распахнута. На площадке, сдерживая спиной любопытных, стоял тихий Шурка Мансуров, младший из единоутробных братьев-проводников.

Елизар задвинул топор на площадку и вцепился в высокие поручни.

— Что такое, что случилось?! — негромко зачастил Шурка, подхватывая Елизара за плечи.

— Человека чуть не задавили.— Елизар вскарабкался на площадку.

— Тебя, что ли? — уточнил тугодум Мансуров.— Ты что, из вагона упал?

Елизар секунду вглядывался в невинные Шуркины глаза, которые ничего не отражали, кроме далекой кромки леса.

— Как я мог выпасть, соображаешь? Где мой вагон, где локомотив! — И, подхватив топор, Елизар добавил: — Дрова бегал рубить, титан растапливать.

— А-а-а,— с некоторым разочарованием протянул Шурка.— А ревизоры не сели?

— Откуда? Из леса? — Елизар махнул рукой и скрылся в глубине вагона.

## 4

После пестроты плацкартного вагона пустующий коридор купейного казался подслеповатым ночным переулком, лишь у самой служебки на откидном стуле уныло сидел какой-то тип, придерживая в ногах чемоданчик. Заметив Елизара, он вскинул голову и бросил тревожный взгляд в дверной проем служебного отделения. Поднялся, придерживая пружинящее сиденье, и отвернулся к окну, услужливо сдвинув с прохода свой чемодан. «Успела уже, подхватила». Елизар боком втиснулся в служебку и сел на устланную матрацем полку.

Магда собиралась разносить вечерний чай.

В чистом синем фартуке и белой куртке она хлопотала у мойки, ополаскивая стаканы под узкой стружкой воды.

Магда стояла спиной, тщательно расчесанные волосы, раздвигаясь к плечам, приоткрывали на затылке светлеющую полоску, что стекала по смуглой шее к родимому пятнышку на бугорке позвоночника. Правда, пятнышка сейчас не было видно, но Елизар-то знал о его существовании...

— Темновато у тебя в вагоне,— проговорил Елизар.

Конечно, вагон, взятый из запасных под горячую руку, мог преподнести и не такую неприятность, как поломка генератора. А ведь вначале он вроде бы и работал. Главное, чтобы не подвел контроль нагрева букс, но ему хватало и той энергии, что гнали аккумуляторы. А что темновато — не беда. Наоборот, пассажиры раньше спать лягут, спокойнее будет. Выпьют чай и лягут, чего еще делать в полутьме. Елизар предлагал попросить электрика подключить электропитание от своего вагона. Но Магда отказалась. Ей и так видно, сколько соды подсыпать к заварке, чтобы цвет стал густым, насыщенным, словно она целую пачку чая вбухала. Елизар, к примеру, никогда не добавлял соду, чем вызывал нарекания Магды. Она утверждала, что с содой чай даже полезнее, неспроста врачи прописывают соду от изжоги. «Покажи хотя бы одну столовую, где брезгают содой заправлять чай! — говорила Магда.— Недаром же соду называют чайной, подумай

сам»... Поэтому Елизару, как правило, в рейсе не хватало заварки. Особенно на южном направлении, где пассажиры пили чай с особой истовостью. И еще одно, к чему Елизар не мог привыкнуть за годы работы проводником, так это к вопросу о цене одного стакана чая. «Ну и болван же ты,— укоряла Магда,— все равно пассажир платит не меньше гривенника. А ты в смущение их вгоняешь четырьмя копейками. Всю коммерцию ломаешь своей принципиальностью. Сам подумай, кому помешает лишняя десятка за рейс!»

Но Магда не особенно давила на Елизара. То ли жалела его — не могла вынести, как при очередном поучении Елизар виновато хлопал ресницами своих ясных гляделок и краснел, то ли видела в нем нечто такое, что заставляло ее затихать, смирять норов.

Они познакомились года три назад, когда Елизар попал на южное направление. Первый год ездили по одному маршруту, но с какой-то прохладцей друг к другу. Елизар и предположить не мог, что заинтересует такую женщину, как Магда... Все началось после заурядного случая. Они встретились на остановке такси. Елизар стоял в начале очереди и налегке. Он почти всегда возвращался из рейса налегке. Чего нельзя было сказать о Магде. Ее вообще не было видно среди вороха коробок. Елизар уступил Магде свою очередь, помог загрузиться. И вызвался сопровождать — мало ли что, как она дома управится с грузом? Все равно ему спешить некуда. С тех пор и началось... Примечательным в их отношениях было то, что вне рейса они почти не виделись так, как хотелось бы этого Елизару. Только в кино ходили. Правда, Магда после кино заходила к нему в гости. Иногда и ночевать оставалась. Но как-то украдкой. А к себе и вовсе не приглашала. Отрезала даже самые робкие попытки Елизара проводить ее до подъезда. Елизар покорно сносил все капризы, живя ожиданием очередной поездки. Он никак не мог взять в толк: почему им нельзя открыто продолжать свои отношения в городе? И однажды всерьез взбунтовался. Дело дошло до ссоры. Но наступил очередной рейс, и все покатило по-прежнему.

— Напрасно ты ко мне ломился, Елизар,— сказала вдруг Магда, продолжая полоскать стаканы.— Просила же тебя...

— А откуда ты знаешь? — встрепенулся Елизар.

Магда прикусила язык. Не станет же она выкладывать, что начальник поезда поведал ей об этом. Действительно, язык что помело...

— Соседи доложили,— вывернулась Магда.— Сказали, мужчина заглядывал. Ушастый. В мятой кепчонке. Кому же быть как не тебе?

— И неправда. Я был вовсе без кепки. И костюм румынский надел. Новый почти,— простодушно пояснил Елизар, показывая в улыбку крупные и какие-то особенно белые зубы.

— Ну?! Жених...— И помолчав, Магда добавила лукаво:— Стало быть, врут соседи, что ты пьяный был.

Елизар сник. Виновато скосил глаза на столик, где под чистым полотенцем угадывались очертания приготовленной к ужину еды. У окна возвышалась бутылка, прикрытая с одной стороны полотенцем, но достаточно четко проявляя контуры в черном глянце ночного стекла...

— Ну как там у людей? — Магда резко перевела разговор.— Ты составом шел от Зюмина?

— Составом,— поддержал ее уловку Елизар.— Вроде все в порядке. Тетя Валя кофту вяжет. Серега Войтюк давление меряет... Кто еще? Яшку не видел, купе закрыто. Гайфулла с пассажирами сидит, пиво пьет. А Судейкин с Аполлоном Николаевичем что-то обсуждают... Господи, что ты на самом деле? Разве всех запомнишь? Что я, участковый?

— Не о том я.— допытывалась Магда.— Стоят у них тени в вагонах? Или ясные едут?

— Вроде не видно. Не то что у тебя.— Елизар повел головой в сторону коридора, где маячил мужчина с чемоданчиком.— Где ты его подобрала?

— На разъезде. Да толку что? «Короткий», на три перегона.

— Копейка рубль бережет.— Елизар умолк, уловив усмешку Магды.

— Ладно. Разнеси чай по купе.

— Я-то разнесу, куда денусь,— распустил губы Елизар.— А ты? Забыла свое желание вдвоем побыть? Забыла?

— Говорю тебе: «короткий» он, на три перегона. Через час сойдет,— нетерпеливо пояснила Магда.— Делом займись.

В хрустально-чистых стаканах свежезаваренный чай смотрелся особенно красиво. Да еще в плетеных подстаканниках. Это позже заварка от соды потемнеет, как деготь станет... Елизар зараз подхватывал четыре подстаканника. Так и разносил по купе, тренькая ложечками, шикарным жестом извлекая сахар из кармана. Жест этот он подсмотрел у одного старого проводника, дяди Семена, вот был проводник так проводник. Люди просили чай специально — поглядеть, как тот достает палочку сахара. Не то что некоторые — встанут и копошатся в карманах, пить не захочешь...

— А ты как насчет чая? — спросил Елизар у «короткого» пассажира, что жался к окну, всякий раз пропуская Елизара.

Пассажир застенчиво развел руками: нелегальный ведь он, какой чай?

— Ладно ладно,— подбодрил его Елизар.— Такие же деньги платишь! — и вручил безбилетнику тяжелый подстаканник, достал сахар.

Пассажир довольно зажмурился и сиротски, бочком присел на свою катапульту. Елизар еще раз хозяйски оглядел пустующий коридор и глухие двери купе, за которыми сейчас сочно причмокивал и посасывал горячий чаек бездомный вагонный люд. Кажется, всех ублажил...

В дверь нервно постучали.

— Да! — крикнула Магда.

На пороге возник пожилой пассажир в пижаме.

— Девушка,— проговорил он сурово.— Нельзя же так... Ни газетку прочесть, ни в домино сыграть. Темновато у нас.

— Ладно, скажу электрику,— не стала упрямыться Магда,— если отыщется.

— Извольте отыскать,— непреклонно произнес пассажир.— А то и сообщить недолго куда следует, сейчас на вас управу найдут, не те времена.

— Ох-ох... Испугалась.— Магда всплеснула руками и показала язык ему вслед.

— Схожу попозже к Гавриле Петровичу. Что он на самом деле? — Елизар скинул надоевшие туфли и влез в мягкие тапочки, что держал у Магды. И стараясь развеять дурное настроение от визита пассажира в пижаме, проговорил весело: — Эх, и поедем мы сейчас с тобой!

— Руки помой, чучело,— мягко ответила Магда.

Не могла она себе объяснить, чем привлекал ее Елизар. И лицом не взяла, и фигурой особенно не отмечен. Муж ее бывший, Константин, куда внушительней выглядел. А ведь ушла от него с дочерью, не побоялась. До сих пор сожаления не испытывает, как вспомнит его пьяную рожу... Конечно, Елизар ей удобен: всегда под боком, надежный человек, мало ли что бывает на такой работе, как-никак, а кататься в одиночку несколько суток не просто. Но не только это толкало Магду к Елизару. Здесь, в вагоне, в своем втором доме, она чув-

...ствовала себя женщиной, которую любят. А в том, что Елизар любит ее, она не сомневалась.

— Что так глядишь на меня? — с напускной грубоватостью обронила Магда и убрала полотенце со столика.

— Соскучился, — вздохнул Елизар. — Вот и гляжу.

— И я соскучилась, — призналась Магда.

— Правда? — Глаза Елизара вспыхнули густым кофейным светом. — Обманываешь... Тогда зачем ты... — Елизар спохватился, заметив, как стянулись в линию ее брови. — Молчу, молчу, — пробормотал он и утих.

Приподнялся, ополоснул руки под краном, тщательно вытер, покосился, пытаясь разглядеть бутылку. Может, только на этикетке обозначено, что сухое вино, а внутри что-нибудь покрепче? Неспроста же бумажной пробкой горлышко заткнуто.

— Не надейся! Что написано, то и налито, — точно прочтала Магда Елизаровы мысли. Впрочем, особой проницательности в данном случае и не требовалось. Магда заглянула в шкафчик, чтобы достать рюмки. — Черт! Все же порешили одну. Дай газету, собрать надо. — Она смела на ладонь тонкие стеклянные осколки. — То-то звякнуло, когда твой Зюмин тормознул.

— Почему мой? — Елизар подставил газету. — Твой, а не мой. Рассказывал, как тебя муж ревновал.

— Ну?! — засмеялась Магда. — Ах он, болтун старый! Ты меньше слушай всякие сплетни. Про меня и не такое порасскажут...

«А что можно про нее рассказать?» — думалось Елизару. Десять лет в проводниках. Разведенная. Дочь в интернате. Есть отец, отдельно живет. Так и мечется между ним и дочерью все резервные дни... И Елизар никак не мог понять, почему нельзя все упорядочить. Вернуть дочь из интерната, съехаться с отцом, уйти из проводников, устроиться где-нибудь хоть в том же ВОПе — вагонное обслуживание пассажиров. И образование Магде позволяло, хоть и среднее специальное (техникум коммунальный закончила), но было же. Не то что у Елизара... А Елизар — вот он весь, свистни, побежит за ней, как пес. Райку удочерит, будет не слезать с маршрута, деньги зарабатывать. А захочет — и в городе устроится. Диплома нет, так это и лучше по нынешним временам — специалист широкого профиля. Хоть на базе какой, хоть в трансгентстве. Люди не жалуются...

— А что можно про тебя рассказать? — Елизар протянул руку, прикрыл ладонь Магды, и было в этом жесте столько нежности, что Магда растерялась. Подчиняясь сильным и горячим пальцам Елизара, она ковшиком раскрыла ладонь, улыбаясь и что-то шепча. Но звук слабого голоса поглощал рокот колес...

Ах, какое блаженство разливалось сейчас в душе Елизара! И, возможно неожиданно для самого себя, он принял легонько постукивать пальцами о ладонь Магды, напевая песенку, которую десять раз на день крутили по поездной трансляции:

У-летай, туча, у-летай, туча,                    улетай!  
У-летай, туча, у-летай, туча,                    улетай!

Точнее, Елизар не пел, а только выговаривал слова с таким отдаленным намеком на мелодию, что можно было принять песню за рапорт. Если бы не сияние глаз... Магда засмеялась, приподнимая и опуская в такт «рапорту» плечи, и не выдержав, присоединилась, вгоняя слова в мелодию грубоватым, с хрипотцой голосом:

Разве ты не видишь,                    ту-у-ча!  
Без тебя намного                    лу-у-ч-че!

У-летай, туча, У-летай, туча!  
У-ле-та-а-ай...

Елизар одобрительно отмеривал короткими кивками каждое слово песенки, выжидая, когда Магда допоеет куплет, чтобы не прозевать припев, а дождавшись, достойно ринулся на подмогу, дергая башкой и горланы на все купе:

У-летай, туча, у-летай, туча...

Расходившись, Магда достала из шкафчика бутылку с остатками водки, граммов сто пятьдесят там плескалось, не более. И поставила на столик. Не упьется от такого количества Елизар.

Сюрприз произвел впечатление. И Елизар с еще большим усердием пустился выводить слова беспечной песенки про тучу...

— Ладно, хватит, разошелся! — осадила Магда. — Из-за тебя ничего не услышишь...

Елизар лишь подмигивал ей, жмурился, продолжая барабанить по столику.

Колеса вагона ритмично разгоняли слова скачущей песенки. Казалось, вагон сейчас сорвется с рельсов и взлетит в густую ночь к мигающим звездам, очищенным от туч.

*(Окончание следует)*



---

---

## ИВАН МАЛОХАТКИН



### КОЛОСЬЯ

#### Полночь

Срок настал,  
И полночь отшагнула  
От своей назначенной межи.  
Плеском ивок надымь шуганула,  
Обдавая блеском голыши.

И рванулса ветер, будто кто-то  
Снял его с веревки бельевой.  
Речку сразу проняла икота,  
Как хлебнула стужи теновой.

И взялись —  
И закипь кустовая,  
И воды распахнутая тьма  
Так ломали тишь не уставая,  
Что, казалось, вышли из ума.

И костер, собою не владея,  
То вставал, то падал на откос.  
Спрашивала птица:  
«Где я? Где я?» —  
Под крутые вымахи берез.

И когда бы, поманив огнями,  
Не держался дом мой за кряжи  
Родовыми цепкими корнями,  
Он, как полночь, сдвинулся б с межи.

#### Ночь

Сомкнет и трассы и тропинки.  
Потом закинет холод свой  
Туда, где свадьбы и поминки  
Смеялись, плакали с лихвой.

Пойдет подслушивать окошки.  
Девчат видением пугать.  
И у какой-нибудь гармошки  
Ее веселье отнимать.

Услышит охи горевые  
И парня хохот озорной.  
И, может быть,  
Сама впервые  
Вздохнет созревшей тишиной.

Накинет лунную косынку.  
Даст чистый голос соловью.  
И, выбегая на тропинку,  
Окликнет молодость мою.



\*.\*

Парчу тумана прожигают пчелы.  
 Окрестный мир —  
 Ни хруста, ни тоски.  
 И только ветер с утреннего дола  
 Озябшие доносит лепестки.

В затишке у дремучего кургана,  
 Где потаенно птица голосит,  
 Роса, ловя движение тумана,  
 Глухими колокольцами висит.

Блестят села промьгтые оконца.  
 Все круче пахнет илистой рекой.  
 И, позабыв на миг о мире, солнце  
 Лежит себе, припав к горе щекой.

\*.\*

Разломы ржи  
 Шершавый лижет свет,  
 Отставший от дождя непроливного.  
 Губами ловит тень  
 Щетинистый кювет —  
 От птичьего крыла,  
 От шороха сквозного.

Остановись!  
 Дай сердцу заглянуть  
 Вот в эту даль,  
 Вобрать ее дыханье,  
 Чтобы в тебе на весь твой долгий путь  
 Нашло приют степное колыханье.

\*.\*

Ночь не ушла — истаяла  
 До звездочки, до ворса.  
 Потом в саду оставила  
 Живую струйку голоса.

Заря, собой довольная,  
 Взошла и улыбается.

Река — наверно, больно ей —  
 Никак не проморгается.

Туда-сюда все мечется,  
 А в самой серединочке  
 Лежит кусочек месяца  
 Колючею сориночкой.

### Жеребенок

А он еще не пуганный бежит.  
 К кустам бежит  
 На шорох волокнистый.  
 И на спине, согревшись чуть, лежит,  
 Подсвечивая холку,  
 Свет искристый.

«Постой! Куда ты?» —  
 Ржанием глухим  
 Мать не пускает к черному растеку.  
 Но только след пластается за ним  
 Да птицы взрывом шевелят осоку.

Ах воля, воля!  
 Кто тебе не рад!..  
 Мать, прыгая,  
 Рванет зубами путы.  
 Они в ночи так тихо прозвенят,  
 Что этот звон не позабыть кому-то...

### Август

Чудес и вольности — досыта.  
 В любой гравинке бубенец.  
 И август, бережно побритый,  
 Девчат уводит под венец.

Такое зрелище!  
 Такое  
 Веселье тянет тут и там,

Что не ищи,  
 Здесь нет покоя  
 Ни переулкам,  
 Ни дворам.

Светло помахивают луны  
 С реки чуть дымчатым платком.  
 И горячат дорожку струны  
 Под неумным каблуком.

\*.\*

Когда я вижу, как зарю  
 Крылами застигает птица,  
 Любимая,  
 Я говорю:  
 Она в огонь не обратится.

Сгорит?  
 У жизни нет конца.  
 Она, не разрывая круга,  
 Идет, меняя цвет лица,  
 Чтоб не привыкли мы друг  
 к другу.

Огонь исходит от огня.  
 А холод мы рожаем сами...  
 Как ты морозила меня  
 Своими синими глазами.

А я, как птица на зарю,  
 Летел на зов любви.  
 Но сердце...  
 Любимая,  
 Я говорю:  
 Приблизь огонь, чтоб отогреться!

\*.\*

Возвысил день огонь над чашей,  
 Тумана скомкал полотно.  
 А я все слышу звук скорбящий  
 Птенца, умолкшего давно.

Пыль, растекаясь, затопила  
 Твои, как лодочки, следы.

А я все слышу:  
 «Милый... милый,  
 Боюсь я этой пустоты...»

И знаю ведь, что не разлука.  
 И помню ведь, что я любим.  
 Но скорбь того лесного звука  
 Уж стала образом твоим.



---

---

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

★

## ПЛАХА \*

Роман

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

— **П**ривет пострадавшему,— сказал Авдий как можно обыденнее, пытаясь умерить тем самым сердцебиение в груди.

Гришан, сидевший на своем крохотном, раскладном, как у рыбаков, стульчике, поигрывая палкой, прищурил один глаз.

— Привет-то привет, а от кого привет?

Авдий невольно улыбнулся:

— От того, кто для начала должен осведомиться о твоём самочувствии.

— А, вон как! Очень признателен, положительно признателен, хоть и только для начала. В безлюдной степи такое внимание вдвойне дорого. Ещё бы! Все мы люди, не так ли?

«А он многословен и если к тому же ещё и начитан, то беда. Вот уж чего не ожидал так не ожидал. Рисуеться, выдает себя за говоруна,— подумал Авдий. — К чему бы? Или это игра Самого?» И ещё отметил Авдий про себя отсутствие каких-либо примечательных черт в облике Гришана. Все в нём было заурядно: в меру шатен, выше среднего роста, худощав, одет не броско, как обычно одеваются в его возрасте, — джинсы, заношенная рубашка на «молнии», неприметная кепочка, которую в случае чего можно сунуть в карман. Если бы Гришан не прихрамывал и из-за этого не ходил с толстой суковатой палкой, его трудно было бы выделить, повсюду он бы затерялся в толпе. Разве что глаза Гришана запомнились бы, если за ним понаблюдать побольше. Выражение его юрких карих глаз все время менялось, возможно, он и сам не замечал, как часто щурился, косился, играл бесцветными бровями, напоминая загнанного в угол хищного зверька, который хочет кинуться, укусить, но не решается и все-таки храбрится и принимает угрожающую позу. Возможно, такому впечатлению способствовал обломанный верхний резец, обнажившийся при разговоре. «А ведь мог поставить себе какую-нибудь золотую коронку, но почему-то не делает этого,— подумал про него Авдий. — Возможно, не желает иметь лишнюю примету».

— С ногой-то что? Подвернул? Недоглядел, стало быть? — поинтересовался он из вежливости.

Гришан неопределенно покачал головой.

— Да, можно сказать, повредил малость. Недоглядел, ты прав, Авдий, так, кажется, тебя зовут?

— Да, я именуюсь Авдием.

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 6 с. г.

— Имя-то редкое какое, библейское, — нарочито растягивая и смакуя слова, размышлял Гришан. — Авдий — определенно имечко церковноприходского разлива, — задумчиво заключил он. — Да, когда-то люди с богом жили. Вот откуда на Руси — Пречистенские, Боголеповы, Благовестовы. И фамилия у тебя, Авдий, должно быть, соответствующая?

— Каллистратов.

— Вот видишь, все совпадает... Ну, а я попроще зовусь, по-пролетарски — Гришаном. Да не это важно. Так вот, прав ты, Авдий Каллистратов, недоглядел я с ногой. Страшноватый вывод напрашивается из этого: человек, коли он не последний дурак, непременно должен себе под ноги смотреть. И байка о дурной голове, от которой ногам покою нет, о том же. Как видишь, инвалидствую. Банальная история, собственно.

— И на чем это отразилось? — спросил Авдий, имея в виду намеки Петрухи.

— Не понял, — насторожился Гришан.

— Я о том, что эта банальная история отразилась на твоём деловом успехе — так надо понимать? — пояснил Авдий.

— Ну, это уже другой разговор! — Гришан сразу переменялся, отбросил пустой наигрыш. — Если ты о деле речь ведешь, тогда ты прав. Но не это сейчас главное, не это меня беспокоит. Я, да ты и сам, конечно, догадываешься, иначе зачем бы я сейчас с тобой разговаривал, зачем мне это пустопорожнее бле-бле-бле... Словом, я тут вроде распорядителя, что ли, или, скажем, старшины армейского, и для меня самое главное пробиться через линию фронта, сохранив живую силу.

— Чем могу быть полезен в таком случае? Да и вообще стоило бы поговорить, — предложил Авдий. — Мне ведь тоже об этой живой силе есть что сказать...

— Ну, коли такое совпадение интересов, тут уж не поговорить, а потолковать надо, — уточнил Гришан. — Я как раз на это и нацеливался. Ну вот, к примеру, напрашивается вопрос, так сказать, между нами, девочками, говоря, — хитровато намекнул он и, помолчав, велел тем двоим гонцам, что, не вмешиваясь в разговор, сидели в сторонке: — А вы, чем без дела сидеть, ступайте, готовьтесь!

И они молча ушли выполнять то, что было, видимо, заранее обговорено. Отдав распоряжение, Гришан взглянул на часы.

— Через часок начнем посадочную операцию. Посмотришь, как это делается, — пообещал он Авдию. — У нас здесь строго. Дисциплина, как в десанте. А мы и есть настоящий десант беззаветно преданных родине. С большой буквы. И ты тоже должен действовать, как прикажут. Без всяких там «могу», «не могу». Если все сработаем как надо, к вечеру доберемся до этого самого Жалпак-Саза.

Гришан многозначительно замолчал. Потом, бросив злорадный взгляд на Авдия, сказал с усмешкой, обнажив щербатый зуб:

— А теперь о главном. О том, что тебя к нам привело. Ты не топчись, не спеши. Так вот, в так называемом преступном мире, в котором ты странным образом очутился, о чем речь будет еще впереди, экспозиция твоя такова: ты — гонец, ты повязан с нами и ты слышном много знаешь. Ты, похоже, не дурак, но ведь ты сам полез в капкан. Так что теперь, будь ласка, оплачивай мое высокое доверие не менее высокой ценой.

— Что ты имеешь в виду?

— Думаю, ты сам догадываешься...

— Догадываться — одно, говорить впрямую — другое.

Оба замолчали, пережидая, когда прогрохочет проходящий мимо состав, — каждый по-своему готовился к неизбежному теперь поединку. Авдию в ту минуту подумалось о том, как странно складываются людские отношения: даже сюда, в голую степь, где, казалось

бы, все равны, где у всех одинаковые шансы, всем одинаково грозит провал и уголовная ответственность, а при удаче всех ждет одинаковый успех, люди, как свою кровь, принесли с собой неистребимые законы, согласно которым у Гришана, в частности, было некое неписанное право повелевать, потому что он был здесь хозяином.

— Так ты велишь говорить впрямую, — прервал молчание Гришан. — Хорошо, — неопределенно протянул он и вдруг, как бы спохватившись, лукаво добавил: — Слушай, а правда, что на тебя волки напали?

— Да, было дело, — подтвердил Авдий.

— А не кажется ли тебе, Авдий Каллистратов, что судьба оставила тебя в живых для того, чтобы ты ответил мне сейчас на несколько вопросов, — обнажил в улыбке осколок зуба Гришан.

— Пусть так.

— Тогда кончай крутить. Ты мне должен объяснить здесь, сейчас и не сходя с места: чего ты мутишь моих ребят?

— Одна поправка, — перебил его Авдий.

— Какая? Что за поправка к биллю?

— Я пытаюсь наставить их на путь истинный, а, значит, слово «мутить» тут никак не подходит.

— Это ты брось, товарищ Каллистратов. Истинный, не истинный — на этот счет у каждого свое понятие. Ты эти штучки оставь. Здесь не место изощряться в словопрениях. Я хочу знать, что тебе надо понять, чего ты для себя добиваешься, святой отец?

— Ты подразумеваешь какую-то личную выгоду?

— Безусловно, а то что же? — широко развел руками Гришан и торжествующе-глумливо улыбнулся.

— В таком случае — ничего, абсолютно ничего, — отрезал Авдий.

— Прекрасно! — почти радостно вскричал Гришан. — Лучшего и не придумаешь! Все совпадает. Так ты, выходит, из той сияющей породы одержимых идиотов, которые...

— Остановись! Я знаю, что ты хочешь сказать.

— Значит, ты подался в Моюнкумы под видом добытчика анаши, затесался к нам, стал у нас прямо как свой, и не потому, что деньгу большую возлюбил, как Христа, и не потому, что деваться было некуда после того, как тебя выперли из семинарии и тебе нигде ходу не было? Да будь я на месте этих попов, я бы в два счета пинками тебя вышиб — ведь ты такой даже им и то не нужен. Они ведь в старые игры играют, а ты все взаправду, все всерьез...

— Да, всерьез. И ты принимай меня всерьез, — заявил Авдий.

— Еще бы! Ты что же, считаешь, что я тебя не понимаю, а я тебя насквозь вижу, вижу, кто ты есть. Ты — чокнутый, ты — фанатик собственного идиотизма, потому ты и подался сюда, а иначе что бы тебя сюда занесло? Прибыл, стало быть, с благородной целью — таким мессией, чтобы открыть глаза нам — падшим, промышляющим добычей анаши, торгующим и спекулирующим запрещенным дурманом. Прибыл распространять извечные спасительные идеи, от которых, как мочой, за три версты несет прописными истинами. Прибыл отвратить нас от зла, чтобы мы раскаялись, изменились, чтобы приняли обожаемые тобой стандарты тотального сознания. Вот ведь и Запад утверждает, что у нас все на один манер мыслят. — Гришан неожиданно проворно для пострадавшего от ушиба человека поднялся с полотняного своего стульчика и шагнул к Авдию, вплотную приблизив свое разгоряченное лицо к его лицу. — А ты, Спаситель-эmissар, подумал прежде о том, какая сила тебе противостоит?

— Подумал, и потому я здесь. И предупреждаю тебя: я буду добиваться своего ради вас же самих, чего бы мне это ни стоило, ты уж не удивляйся.

— Ради нас самих же! — скривился Гришан. — Не беспокойся, не удивляюсь, чего ради мне удивляться тому, на чем свихнулся еще тот,

кого распяли, Спаситель рода человеческого... Раскинул руки в гвоздях на кресте, голову свесил, скорчил мученическую рожу и на тебе — любуйтесь, плачьте и поклоняйтесь до конца света. Недурно, понимаешь ли, придумали себе иные умники занятие на все века — спасать нас от самих же себя! И что же, кто спасен и что спасено в этом мире? Ответь мне! Все, как было до Голгофы, так оно есть и до сих пор. Человек все тот же. И в человеке ничто с тех пор не изменилось. А мы все ждем, что вот придет кто-то спасать нас, грешных. Тебя вот, Каллистратова, не доставало в этом деле. Но вот и ты явился к нам. Явился не запылится! — скорчил комическую мину Гришан. — Добро пожаловать, новый Христос!

— Обо мне можешь позволять себе говорить что угодно, но имени Христа не упоминай всуе! — одернул его Авдий. — Ты возмущаешься и удивляешься тому, что я здесь появился, а это не удивительно — ведь мы неотвратимо должны были встретиться с тобой. Вдумайся! Неужто ты этого не понимаешь? Не я, так кто-то другой непременно должен был бы столкнуться с тобой. А я вычислил эту встречу...

— Быть может, ты и меня вычислил?

— И тебя. Наша встреча с тобой была неотвратима. Вот я и явился не запылится, как ты говоришь.

— Вполне логично. черт побери, — мы же не можем обходиться друг без друга. И в этом есть, наверно, какая-то своя сволочная закономерность. Но не ликуй, Спаситель Каллистратов, твоя теория на практике ничего не даст. Однако хватит философствовать, хотя ты и довольно занятный субъект. Хватит, с тобой все ясно! Вот мой добрый совет тебе, коли уж так обернулось: иди, Каллистратов, своей дорогой, спасай прежде всего свою головушку, тебя никто сейчас не тронет, а то, что собрал в степи, если хочешь, можешь раздать, сжечь, пустить по ветру — воля твоя. Но смотри, чтобы наши с тобой пути никогда больше не пересеклись! — И Гришан выразительно постучал палкой по камню.

— Но я не могу принять твой совет. Для меня это исключается.

— Послушай, да ты настоящий идиот! Что тебе мешает?

— Я перед Богом и перед собой в ответе за всех вас... Тебе, быть может, не понять этого...

— Нет-нет! Отчего же? — вскричал Гришан, от гнева бледнея и возвышая голос. — Я, между прочим, вырос в театральной семье, и поверь мне, я оценил и понял твою игру. Но не слишком ли ты увлекся, ведь после любого, даже гениального, исполнения в заключение дают занавес. И сейчас занавес, товарищ Каллистратов, опустится при одном-единственном зрителе. Смирись! И не заставляй меня брать лишний грех на душу. Уходи, пока не поздно.

— Ты о грехе толкуешь. Я понимаю, что ты имеешь в виду, но устранишься, видя злодеяние своими глазами, для меня равносильно тяжкому грехопадению. И не стоит меня отговаривать. Мне вовсе не безразлично, что будет, скажем, с малолетним Ленькой, с Петрухой да и с другими ребятами, что состоят при тебе. Да и с тобой в том числе.

— Потрясающе! — перебил его Гришан. — С какой же стати ты берешь на себя право вмешиваться в нашу жизнь? В конце концов, каждый волен распоряжаться своей судьбой сам. Да я тебя впервые в жизни вижу, да кто ты есть такой, чтобы печься обо мне и других, будто тебе даны какие-то полномочия свыше. Уволь! И не испытывай судьбу. Если ты чокнутый, иди с богом, а мы как-нибудь обойдемся без тебя. Понял?!

— Но я не обойдусь! Ты требуешь полномочий — так вот, мандатов мне никто не выдавал. Правота и сознание долга — вот мои полномочия, а ты волен считаться или не считаться с ними. Но я неукоснительно их выполняю. Вот ты тут заявил, что вправе сам решать свою судьбу. Звучит прекрасно. Но не бывает изолированных судеб, нет отделяющей судьбу от судьбы грани, кроме рождения и смерти. А

между рождением и смертью мы все переплетены, как нити в пряже. Ведь ты, Гришан, и те, кто оказался под твоей властью, сейчас ради своей корысти несете из этих степей вместе с анашой несчастье и беду другим. Соблазном мимолетным вы вовлекаете людей в свой круг — круг отчаяния и падения.

— А ты что нам за судья? Тебе ли судить, как нам жить, как поступать?

— Да я вовсе не судья. Я один из вас, но только...

— Что «но только»?

— Но только я сознаю, что над нами есть Бог как высшее мерило совести и милосердия.

— Опять Бог! И что ты хочешь этим нам еще сказать?

— А то, что Божья благодать выражает себя в нашей воле. Он в нас, он через наше сознание воздействует на нас.

— Слушай, к чему такие сложности? Ну и что из этого следует? Нам-то что это даст?

— Как что! Ведь благодаря силе разума человек властвует над собой, как Бог. Ведь что такое искреннее осознание порока? По-моему, это осуждение зла в себе на уровне Бога. Человек сам определяет себе новый взгляд на собственную сущность.

— Чем отличается твой взгляд от массового сознания? А мы от него бежим, чтобы не оказаться в плену толпы. Мы не вам чета, мы сами по себе.

— Ошибка. Свобода лишь тогда свобода, когда она не боится закона, иначе это фикция. А твоя свобода под вечным гнетом страха и законного наказания...

— Ну и что из этого? Тебе-то какая печаль — ведь это наш выбор, а не твой?

— Да, твой, но он касается не только тебя. Пойми, есть выход из тупика. Покайтесь вот здесь, прямо в степи, под ясным небом, дайте себе слово раз и навсегда покончить с этим делом, отказаться от наживы, что сулит черный рынок, от порока и ищите примирения с собой и с тем, кто носит имя Бога и единым разумом объединяет нас...

— И что тогда?

— И тогда вы вновь обретете подлинную человеческую суть.

— Красиво звучит, черт возьми! И как просто! — Гришан нахмурился, поигрывая суковатой палкой, переждал, пока пронесся скрытый за увалом еще один грузовой состав, и, когда шум поезда стих, в наступившей тишине произнес, жестко и насмешливо сверля взглядом разоткровенничавшегося Авдия: — Вот что, уважаемый Авдий, я терпеливо выслушал твои суждения, как говорится, хотя бы любопытства ради и должен крупно тебя разочаровать: ты ошибаешься, если в своем самодовольстве полагаешь, что только тебе дано говорить с Богом в мыслях своих, что я не имею контакта с ним, что привилегия такая только у одного тебя, у праведно мыслящего, а я ее лишен. Вот ты сейчас чуть не задохнулся от удивления, слух твой резануло, что с Богом может быть в контакте и такой, как я?

— Совсем нет. Просто слово «контакт» тут несколько непривычно. Напротив, я рад это услышать из твоих уст. Возможно, в тебе что-то переменялось?

— Нисколько! Что за наивность. Так знай, Каллистратов, только смотри не стань зайкой — у меня к Богу есть свой путь, я вхож к нему иначе, с черного хода. Не так твой Бог разборчив и недоступен, как тебе мнится...

— И чего ты достигаешь, попав к Богу с черного хода?

— Да не меньшего, чем ты. Я помогаю людям изведать счастье, познать Бога в кайфе. Я даю им то, чего вы не можете дать им ни своими проповедями, ни своими молитвами... Своих людей я приближаю к Богу куда оперативнее, чем кто-либо.

— Приближаешь к Богу, купленному за деньги? С помощью зелья? Через дурман? И это ты называешь счастьем познания Бога?

— А что? Думаешь небось, святотатство, богохульство! Ну да! Я оскверняю твой слух. Конкурент твой, понимаешь ли! Дорогу тебе перебежал. Да, черт поberi, да, деньги, да, наркотики! Так вот, деньги, если хочешь знать, — это все. Ты что думаешь, у денег особый Бог? А в церквах и прочих учреждениях вы что, без денег обходитесь?

— Но это же совсем другое дело!

— Оставь! Не заливай! На свете все продается, все покупается, и твой Бог в том числе. Но я, по крайней мере, даю людям покайфовать и испытать то, что вы сулите лишь на словах и вдобавок на том свете. Лишь кайф дает блаженство, умиротворение, раскованность в пространстве и во времени. Пусть блаженство это мимолетно, пусть призрачно, пусть оно существует лишь в галлюцинациях, но это счастье, и достижимо оно только в трансе. А вы, праведники, лишены даже этого самообмана.

— Одно ты правильно сказал — что все это самообман.

— А ты как хотел? Получить правду всего за пять копеек? Так не бывает, святой отец! За неимением иного счастья кайф его горький заменитель.

— Но кто тебя просит заменять то, чего нет! Ведь это злой умысел — вот что это такое!

— Полегче, полегче, Каллистратов! Ведь я, если разобраться, ваш помощник!

— Как так?

— А вот так — и ничего тут странного нет! Человеку так много насулили со дня творения, каких только чудес не наобещали униженным и оскорбленным: вот царство Божье грядет, вот демократия, вот равенство, вот братство, а вот счастье в коллективе, хочешь — живи в коммунах, а за прилежность вдобавок ко всему наобещали рай. А что на деле? Одни словеса! А я, если хочешь знать, отвлекаю неутоленных, неустроенных. Я громоотвод, я уважу людей черным ходом к несбыточному Богу.

— Да ты куда опаснее, чем я ожидал! Какую мировую смуту ты мог бы заварить — представить страшно! В тебе, быть может, умер маленький Наполеон.

— Бери выше! Почему не большей? Дали б мне волю, я бы мог так развернуться! Если б мы на Западе вдруг оказались, я бы еще не такими делами ворочал. И тогда ты не дерзнул бы со мною полемизировать, а смотрел бы на то, что есть добро, а что есть зло, так, как мне угодно...

— Не сомневаюсь. Но страшного в твоих словах тоже не вижу. Все, что ты говоришь, не ново. Ты, Гришан, паразитируешь на том, что люди изверились, а это культивировать куда удобнее. Все плохо, все ложь, а раз так — утешься в кайфе. А ты попробуй, если клеймишь все, что было, дать людям новый взгляд на мир. Вера — это тебе не кайф, вера — продукт страданий многих поколений, над верой трудиться надо тысячелетиями и ежедневно. А ты на позорном промысле желаешь перевернуть чередование дня и ночи, извечный порядок. И, наконец, начинаешь ты за здоровье, а кончить придется за упокой — ведь вслед за кайфом, так тобою перевозносимым, наступает полоса безумия и окончательная деградация души. Что ж ты не договариваешь до конца? Выходит, кайф твой — провокация: ведь придя к Богу мнимому, тут же попадаешь в объятия сатаны. Как с этим быть?

— А никак. На свете за все есть расплата. И за это тоже. Как за жизнь есть расплата смертью... Тебе не приходило это в голову? Что притих? Тебе, святоша, конечно, не по нутру моя концепция!

— Концепция антихриста? Никогда!

— Ха-ха! Что стоит твое христианство без антихриста? Без его вызова? Кому оно нужно? Какая в нем потребность? Вот и выходит,



что я вам необходим! А иначе с кем вам бороться, как демонстрировать воинственность своих идей?

— Ну и изворотлив ты — прямо уж! — невольно рассмеялся Авдий — Готов играть на противоречиях. Но не витийствуй. Нам с тобой не найти общего языка. Мы антиподы, мы несовместимы — вот почему ты гонишь меня отсюда. Ты меня боишься. Но я все равно настаиваю: покайся, освободи гонцов из своей паутины. Я предлагаю тебе свою помощь.

Гришан неожиданно промолчал. Нахмурился, стал молча ходить взад-вперед, опираясь на палку, потом приостановился.

— Если ты думаешь, товарищ Каллистратов, что я тебя боюсь, ты очень ошибаешься. Оставайся, я тебя не гоню. Сейчас мы будем пробираться на товарняк. Устроим, так сказать, организованный набег на транспорт.

— Скажи лучше — разбойничий, — поправил Авдий.

— Как тебе угодно, разбойничий так разбойничий, но не с целью грабежа, а с целью нелегального проезда, а это вещи разные, ведь твое государство лишает нас свободы передвижения...

— Государство оставь в покое. Так что ты хочешь мне предложить?

— Ничего особенного. При разбойничьей, как ты изволил уточнить, посадке, — кивнул Гришан в сторону железнодорожных путей, — все будут в сборе, все на виду. Вот и попробуй переубеди их, малолетних Ленек и разбитных Петрух, спасай их души, Спаситель! Я ничем, ни единым словом тебе не помешаю. Считаю, что меня нет. И если тебе удастся повести этот народ за собой, обратить его к своему Богу, я тут же удалюсь, как и полагается удаляться при поражении. Ты понял меня? Принимаешь мой вызов?

— Принимаю! — коротко ответил Авдий.

— Тогда действуй! А о том, о чем мы здесь говорили, никто и знать не будет. Скажем, потолковали о том о сем.

— Спасибо! Но мне скрывать нечего, — ответил Авдий.

Гришан пожал плечами.

— Ну смотри, как сказано в Библии, «ты говоришь!».

Был уже седьмой час вечера одного из последних дней мая. Но солнце по-прежнему ярко и горячо светило над степной равниной, и подозрительно застывшие серебристые облака, что весь день стояли как на приколе, поначалу бледные, к вечеру сгустились и темнеющей полосой нависли над самым горизонтом, поселив чувство необъяснимой тревоги в душе Авдия. Очевидно, надвигалась гроза.

А поезда все шли в ту и в другую стороны, с севера на юг и с юга на север, и земля подрагивала и сотрясалась под их тяжелыми колесами. «Сколько земли, сколько простора и света, а человеку все равно чего-то недостает, и прежде всего — свободы, — думал Авдий, глядя на необъятные степные просторы. — И без людей человек не может жить и с людьми тяжело. Вот и сейчас — как быть? Что сделать, чтобы каждый кто попал в сети Гришана, поступил бы, как велит ему разум, а не так как принуждают его действовать сообщники из страха или из стадного чувства, и прежде всего потому, что не в силах побороть влияние этого иезуита от наркомании. Нет, каков! Страшная, опаснейшая bestia. Как мне быть, что предпринять?»

И час настал. Перед тем как остановить товарняк, гонцы, схоронясь за травами и кустарниками, рассредоточились группами по два-три человека вдоль железной дороги. Свист был условным знаком. Когда вдали показался состав, возникший, как ползучая змея, на далеком изгибе пути, все, едва раздался свист, приготовились к броску. Рюкзаки, чемоданы с анашой были под рукой. Авдий вместе с Петрухой и Ленькой втроем залегли за кучей щебня, оставшегося от ремонтных работ на железной дороге. Неподалеку от них держался Гришан с двумя другими гонцами: одного, рыжеголового, звали Колей, друго-

го, горбоносого и ловкого, говорившего с кавказским акцентом, звали Махачем — по всей вероятности, он был из Махачкалы. Об остальных Авдий ничего не знал, но ясно было, что еще двое-трое гонцов нашли себе удобные укрытия и тоже готовились к решающему броску. Что касается тех двоих, которых Гришан послал химичить на путях, устроить иллюзию пожара на мосту и тем вынудить машиниста остановить локомотив, то они находились далеко впереди по движению поезда, возле дорожного указателя с пометкой «330 км». Здесь железная дорога проходила по небольшому мосту, перекинутому через глубокий овраг, размытый весенними паводками. Там, в этом уязвимом месте, и химичили двое, которые среди гонцов прозывались диверсами.

Поезд стремительно надвигался, и Авдий понимал, что все очень нервничает, как и что у них получится, удастся ли быстро заскочить в вагоны и каким еще окажется состав, а что, если сплошь из цистерн — куда тогда пристроиться? А, неровен час, еще окажется охраняемый военный эшелон, тогда и вовсе хана.

Ленька трясущимися от волнения руками закурил сигарету. Петруха тут же гневно цыкнул на него:

— А ну брось! Убью, падла!

Но тот, синюшный и бледный, продолжал жадно затягиваться взахлеб, и тогда Петруха метнулся к нему зверем, ударил наотмашь по голове, сбил фуражку. Однако и Ленька не остался в долгу — ответил ударом на удар и, изловчившись, пнул Петруху ногой. Петруха и вовсе остервенел — и между ними завязалась яростная потасовка.

Авдию пришлось привстать:

— Прекратите, сейчас же прекратите. Петруха, не трогай Леньку. Как тебе не стыдно!

Но Петруха со злости накинулся на Авдия:

— А ты-то чего лезешь, поп — толоконный лоб! Что встал, чурка, тебя же за версту видно! — И изо всех сил дернул за штанину. Разгоряченные стычкой, переругиваясь и тяжело дыша, они откатились на свои места.

А поезд был уже на подходе. Волнение гонцов невольно передалось и Авдию. Момент, что и говорить, был чрезвычайно напряженный и опасный.

Авдий с детства любил следить за поездами: ведь он еще застал послевоенные паровозы, те романтические машины, выбрасывавшие могучие столбы дыма и клубы пара, оглашавшие гудками окрестность, — но он не представлял себе, что с таким трепетом будет ожидать поезд, ведь ему предстояло незаконно и более того — насильственно проникнуть в него.

А тяжелый товарный состав, влекомый парой локомотивов в едином сцепе, все надвигался, его приближение было почти что осязаемым до мурашек, до гусиной кожи. Далеко было прежним паровозам до нынешних дизелей. Их сила таилась внутри, но они тащили за собой такой длинный хвост вагонов, что казалось, ему нет конца. А бесчисленные колеса все катились и катились, из-под вагонов неслись порывистый ветер, гул и дробный перестук. Авдий глядел на эту стремительно и четко движущуюся махину, и ему не верилось, что этот чудовищно тяжелый и огромный состав можно остановить.

Вагоны — платформы, цистерны, лесовозы, грузовые и крытые контейнеры — проносились один за другим, вот уже пронеслась мимо половина состава, и Авдий подумал, что ничего не выйдет, что все это напрасная затея: невозможно остановить раскатившуюся на такой скорости махину, но вдруг скорость поезда начала падать, колеса стали крутиться все медленнее, раздался скрежет тормозов, и эшелон, судорожно дергаясь, будто спотыкаясь, постепенно сбавил ход. Авдий глазам своим не верил: состав почти остановился. Но тут раздался пронзительный свист, в ответ ему раздавался такой же свист.

— Пошли! — скомандовал Петруха. — Вперед!

Подхватив рюкзаки и сумки, они ринулись к замедляющим ход вагонам. Все происходило быстро и стремительно, как при налете из засады. Надо было, ухватившись или зацепившись за что-нибудь, успеть вскарабкаться в любой вагон, на любую площадку — только бы вскочить, а там уже можно на ходу перебраться по крышам и устроиться поудобнее. Дальше все для Авдия шло как в кошмарном сне: он метался перед вставшей чуть не до неба глухой стеной вагонов, подсознательно удивляясь тому, как они высоки и как резок запах мазута от колес, готовых в любую секунду покатиться дальше. Но, несмотря на все это, Авдий лихорадочно карабкался, кому-то помогал, и кто-то помогал ему. Поезд раза два угрожающе дернулся, состав заскрежетал и залязгал — того и гляди упадешь под колеса. Однако все обошлось как нельзя лучше. И когда поезд еще раз дернулся и снова быстро пошел наперстывать упущенное время, Авдий огляделся и обнаружил, что находится в порожнем товарном вагоне вместе со своими неразлучными сподвижниками — Петрухой и Ленькой, был здесь и Гришан. Одному богу ведомо, как он умудрился заскочить в поезд с ушибленной ногой, при нем были еще те двое — Махач и Коля. Все были бледны и тяжело дышали, но лица их были радостны и довольны. Авдию не верилось, что все так удачно получилось и что самый сложный момент был позади. Теперь добытки анаши уезжали в сторону Жалпак-Саза, а там уже путь лежал на большую землю, в большие города, в многолюдье...

Ехать предстояло часов пять. Им повезло: в порожнем вагоне, который они оккупировали, оказались брошенные, должно быть, за ненадобностью после выгрузки товаров пустые деревянные ящики — гонцы приспособили их для сидения. Расположились, как велел Гришан, чтобы снаружи их не заметили. В вагоне было достаточно светло, если открыть двери только с одной стороны, к тому же оконца наверху были открыты для продува.

При первой же остановке на каком-то разъезде они наглухо задвинули дверь и затихли, пережидали остановку в духоте и жаре, но возле состава никто не появился. Петруха осторожно выглянул и доложил, что все в порядке — никого вокруг не видно. Как только прогрозотал мимо встречный пассажирский, поезд снова тронулся, на следующем полустанке Махач успел раздобыть целую канистру холодной воды, и жизнь в вагоне возобновилась — все оживились, перекусили сухарями, консервами и уже размышлялись, как здорово они поедят горячего в столовой на станции Жалпак-Саз.

А поезд шел своим маршрутом по Чуйским степям в сторону гор...

Тем долгим майским вечером было еще светло. Говорили о том о сем, но больше всего о еде, о деньгах. Петруха вспомнил о своей шикарной бабе, которая ждала его в Мурманске, на что Махач с чисто кавказской экспрессией заметил:

— Слушай, Петруха, дорогой, ты, кроме Мурманска, нигде не можешь бабу делать? Что, в Москве уже нельзя немножко делать? Ха-ха-ха! Что, в Москве нэт баб?

— Ты сопляк еще, Махачка, что ты понимаешь в этом деле? — обозлился Петруха. — Сколько тебе лет-то?

— Сколько-сколько! Сколько есть, все мои! У нас, на Кавказе, такие, как я, уже давно детей делают! Ха-ха-ха!

Всех развеселил этот разговор, даже Авдий невольно улыбался, поглядывая время от времени на Гришана, а тот, сидя в сторонке, снисходительно ухмылялся. Он по-прежнему примостился на своем складном стульчике и держал в руках все ту же суковатую палку. На других гонцов он походил разве что тем, что курил такие же, как и все остальные, дешевые сигареты.

Так они ехали веселой компанией, обживая порожний товарный вагон. Ленька прикорнул в уголке вагона, другие тоже собирались поспать, хотя солнце еще не догорело на краю земли и освещало все вокруг. Покуривая, переговариваясь о чем-то незначительном, гонцы вдруг примолкли, затем, поглядывая на Гришана, стали перешептываться.

— Слушай, Гришан,— обратился к нему Махач,— что мы тут сидим, понимаешь, на общем собрании мы решили — немного кайфанем, а? Время есть, кайфанем? У меня, дорогой тамада, есть такой смак, пех-пех, только багдадский вор такой курил!

Гришан бросил быстрый взгляд на Авдия: ну, мол, как? И, помолчав, выждав время, бросил:

— Валяйте!

Все оживились, сгрудились вокруг Махача. А он достал откуда-то из куртки анашу, тот самый смак, который мог курить только багдадский вор. Скрутил большую папиросину, затянулся первым и пустил самокрутку по кругу. Каждый благоговейно вдыхал дым анаши и передавал самокрутку следующему. Когда очередь дошла до Петрухи, тот жадно затянулся, зажмурил глаза, потом протянул самокрутку Авдию:

— Ну, Авдьясь, глотни и ты малость! Что ты, лысый? На курни! Да не жмись ты, ей-богу, ты что, девка?

— Нет, Петр, я курить не буду, и не старайся! — наотрез отклонил Авдий предложение Петрухи.

Тот сразу оскорбился:

— Как был попом, так и останешься! Подумаешь, поп-перепоп! Тебе как лучше хочешь сделать, а ты в душу плюешь!

— Я тебе в душу не плюю, Петр, ты не прав!

— Да тебя разве переговоришь! — махнул рукой Петруха и, затянувшись еще раз, передал самокрутку Махачу, а тот с кавказской ловкостью протянул ее Гришану.

— А теперь, дорогой тамада, твоя очередь! Твой тост!

Гришан молча отвел его руку.

— Ну, смотри, хозяин — барин! — жалеючи покачал головой Махач, и самокрутка вновь пошла по кругу. Вздохнул Ленька, за ним рыжий Коля, за ним Петруха и снова Махач. И вскоре настроение куривших начало меняться, глаза их то туманились, то поблескивали, губы расплылись в беспричинных, счастливых улыбках, и только Петруха все не мог забыть обиды, все бросал искоса недовольные взгляды на Авдия и бурчал себе под нос что-то про попов, мол, все они гады такие.

Сидя на своем стульчике, Гришан молча, невозмутимо наблюдал из своего угла за сеансом курения с иронически-вызывающей, снисходительной ухмылкой супермена. Юркие уничтожающие взгляды, которые он кидал время от времени на Авдия, стоящего у открытых дверей, говорили о том, что он доволен происходящим и безусловно догадывается, чего это стоит праведному Авдию.

Авдий понял, что Гришан, разрешив гонцам покайфовать в пути, устроил для него показательный спектакль. Вот, мол, каково? Гляди, как я силен и как бессильны твои высокие порывы в борьбе со злом.

И хотя Авдий делал вид, что вроде бы ему безразлично, чем они тут занимаются, в душе он возмущался, страдал от своего бессилия что-либо противопоставить Гришану, предпринять что-либо практическое, что могло бы вырвать гонцов из-под влияния Гришана. И вот тут-то Авдию изменила выдержка. Он не в силах был совладать с гневом, все больше переполнявшим его. И последней каплей опять же послужило предложение Петрухи курнуть от его бычка, от той самокрутки, которая с каждой затяжкой облюбливалась все больше, пока не приобрела наконец зловещий желто-зеленый оттенок.

— На, Авдьясь, да не вороти морду, попик ты наш! Я ж от чистого сердца. В нем, в бычке, самая сладость, аж мозги киселем расплзаются! — развязно приставал Петруха.

— Не лезь! — раздраженно оборвал его Авдий.

— Чего еще не лезь! Я к тебе со всей душой, а ты выпендриваешься, морду строишь!

— Ну, дай сюда, дай! — сказал в сердцах Авдий и, протянув руку за тлеющим бычком, поднял его над головой, как бы демонстрируя Петрухе, и бросил в открытую дверь товарняка. Это произошло так быстро, что все, включая и Гришана, на некоторое время онемели от неожиданности. В наступившей тишине явственнее, гулче и грозней стал слышен стук быстро бегущих по рельсам колес. — Видел? — вызывающе обратился Авдий к Петрухе. — Все видели, что я сделал? — обвел он гневным взором добытчиков. — И так будет всегда!

Петруха, а за ним и все остальные недоуменно и вопрошающе обернулись к Гришану: как, мол, это понимать, хозяин, это что еще за выскочка тут объявился?

Гришан демонстративно молчал, насмешливо переводя взгляд с Авдия на оскорбленные лица гонцов. Первым не вытерпел Махач:

— Слушай, тамада, ты что молчишь? Ты что, нэмой?

— Нэт! Я нэ нэмой! — передразнил его Гришан и жестко добавил, не скрывая злорадства: — Я дал этому типу слово молчать. А в остальном разбирайтесь сами! Больше я ничего не скажу...

— Это взрно? — недоуменно спросил Махач Авдия.

— Верно, но это еще не все! — выкрикнул Авдий. — Я дал слово разоблачить его, — кивнул он на Гришана, — этого дьявола, завлекшего вас этим пагубным соблазном! И я не буду молчать, потому что правда за мной! — И сам не понимая, что с ним творится, что он делает и что выкрикивает, выхватил свой рюкзак из кучи других рюкзаков с анашой. Все, кроме Гришана, от неожиданности повскакивали с мест, недоумевая, что же задумал этот скромный поп-перепоп Авдий Каллистратов.

— Вот, ребята, смотрите! — затряс Авдий рюкзаком высоко над головой. — Мы возьем здесь пагубу, чуму, отраву для людей. И это делаете вы, гонцы, одурманенные легкими деньгами, ты, Петр, ты, Махач, ты, Леня, ты, Коля! О Гришане и говорить нечего. Вы и сами знаете, кто он такой есть!

— Постой, постой. Авдий! А ну, милый, дай-ка сюда мешок! — двинулся к нему Петруха.

— Отойди! — оттолкнул его Авдий. — И не лезь! Я знаю, как уничтожить эту отраву людскую.

И не успели гонцы опомниться, как Авдий, рванув завязку рюкзака, стал вытряхивать из дверей поезда анашу на ветер. И зелье — а как много, оказывается, было собрано желто-зеленых соцветий и лепестков конопли — полетело вдоль железнодорожного полотна, кружась и паря, как осенние листья. То улетали на ветер деньги — сотни и тысячи рублей! На какое-то мгновение гонцы замерли, как заворуженные глядя на Авдия.

— Видали! — закричал Авдий и вышвырнул в дверь и сам рюкзак. — А теперь последуйте моему примеру! И мы покаемся вместе, и Бог возлюбит и простит нас! Давайте, Ленька, Петр! Выбрасывайте, выкидывайте проклятую анашу на ветер!

— Он спятил! Он заложит нас на станции легавым! Хватай его, бей попа! — заорал вне себя Петруха.

— Стойте, стойте! Послушайте меня! — пытаюсь что-то им объяснить, кричал Авдий, видя, как разъярились накутившиеся анаши гонцы, но было уже поздно. Гонцы бросились на него, как бешеные собаки. Петруха, Махач, Коля наперебой молотили его кулаками. Один Ленька тщетно старался растащить, разнять дерущихся.

— Да перестаньте же! — беспомощно бегал он вокруг. Но ему не удавалось их остановить — где ему было сладить сразу с троими. Завязалась жестокая рукопашная.

— Бей! Тащи! Выкидывай его из вагона! — ревел разъяренный Петруха.

— Души попа! Бросай вниз! — вторил ему Махач.

— Не надо! Не убивайте! Не надо убивать! — вопил бледный, трясущийся Ленька.

— Отстань, сволочь, зарезу! — вырвался от Леньки остервенелый Коля.

Авдий отбивался что было сил, стараясь отодвинуться подальше от открытых дверей, пробиться на середину качающегося из стороны в сторону вагона: он теперь воочию убедился в свирепости, жестокости, садизме наркоманов — а ведь давно ли они блаженно улыбались в эйфории. Авдий понимал, что схватка идет не на жизнь, а на смерть, понимал, что силы далеко не равны. Их трое, здоровенных лютующих парней, — где ему с ними справиться, ведь за него один Ленька, а он не в счет. Гришан же все это время по-прежнему сидел на своем месте, как зритель в цирке или в театре, но не скрывал своего злорадства.

— Ну и ну! Вот это да! — посмеиваясь, глумился он. Стравил-таки их, заранее вычислил, что столкнутся, и теперь пожинал плоды победы — глядел, как убивают на его глазах человека.

Авдий сознавал, что только вмешательство Гришана могло изменить его участь. Стоило ему крикнуть: «Спаси, Гришан!» — и гонцы сразу бы утихомирились. Но прибегнуть к помощи Гришана Авдий не мог ни при каких обстоятельствах. Оставалось одно — пробираться в глубину вагона, забиться в угол, а там пусть избьют, измолотят, пусть сделают с ним что угодно, но только чтобы они не выбросили его на ходу — ведь это верная смерть...

Но добраться до угла было не так-то просто. Удары наотмашь, пинки отшвыривали его прочь к зияющему проему дверей. Задержись он там лишнюю секунду, и гонцы не задумываясь выпихнут его из вагона. И Авдий поднимался снова и снова, упорно стремился прорваться в дальний угол, надеясь, что наркоманы выдохнутся или опомнятся. Первым в той яростной схватке, получив по голове, свалился Ленька. Это Коля саданул его, чтоб не мешал творить расправу над помпом, над праведником, а стало быть, над врагом гонцов — Авдием. Бешено работали кулаками гонцы — ведь речь шла о бешеных деньгах.

— Бей, бей! Под дых, под дых его! — бесновался Петруха и, схватив сзади Авдия, заломил ему руки назад, подставив под удары Махачу, а тот, точно озверевший бык, в ярости сокрушительно ударил его в живот — и, согнувшись в три погибели, харкая кровью, Авдий рухнул на пол бегущего вагона. И тогда они втроем поволокли его к двери, но он все еще сопротивлялся, обдирая ногти, судорожно цеплялся руками за доски настила, пытаясь отбиться, вырваться, а злоеший Гришан как ни в чем не бывало сидел в углу вагона на своем стульчике нога на ногу с невозмутимо-торжествующим выражением на лице и что-то насвистывал, поигрывая суковатой палкой. И была еще возможность попросить пощады, крикнуть: «Спаси, Гришан!» — и не исключено, что тот снизошел бы, проявил великодушие и остановил бы смертоубийство, но Авдий так и не разомкнул рта, и, прочертив его головой кровавый след по настилу, они поволокли его к самому проему вагона, и здесь, в дверях, произошла еще одна, последняя, схватка. Сбросить Авдия на ходу они опасались, потому что могли сорваться вместе с ним. Авдий изловчился повиснуть в дверях, вернее за дверьми, уцепившись за железную скобу поручня. Встречный ветер обрушился шквалом, прижал к дверям, но Авдию удалось нащупать

левой ногой какой-то металлический выступ и повиснуть, удерживаясь на весу, и никогда, наверное, в нем не было столько сил, столько жажды выжить, как в тот момент, когда он пытался превозмочь беду. Если бы его оставили в покое, он, возможно, сумел бы вскарабкаться, вползти назад в вагон. Но гонцы били его ногами по голове, как по футбольному мячу, поносили его последними словами, исколотили в кровь, а он уцепился мертвой хваткой за поручень. Последние минуты были особенно ужасны. Петруха, Махач и Коля совсем остервенели. Тут и Гришан не выдержал, подскочил к дверям: теперь-то уж можно не притворяться, можно полюбоваться, как расшибется насмерть Авдий Каллистратов. И Гришан стоял и ждал того неизбежного момента, когда гонцы добьют Авдия. Ничего не скажешь — Гришан отменно знал свое дело. Он убивал Авдия Каллистратова чужими руками. А завтра, если мертвого Каллистратова найдут и не поверят, что он упал или выбросился из поезда в самом худшем случае, Гришан будет чист — он лично не прикладывал рук. Скажет: ребята повздорили, подрались, и в результате несчастный случай — оступился в драке.

Последнее, что запомнил Авдий, — пинки по лицу, обувь гонцов окрасилась кровью, и встречный ветер гудел в ушах, как полыхающий огонь. Тело Авдия, налитое свинцовой тяжестью, все больше тянуло вниз, в страшную, неумолимую пустоту, а поезд мчался, преодолевая сопротивление ветра, мчался все по той же степи, и никому на свете не было дела до него, обреченного, висящего на волоске от гибели. И солнце на закате того бесконечно длинного дня, ослепляя его выкатившиеся в муке и ужасе глаза, срывалось вместе с ним в черную бездну небытия. Но как ни пинали его, Авдий не размыкал рук, и тогда Петруха нанес ему последний, решающий удар, схватив палку Гришана, которую Гришан как бы невзначай держал на виду — вот, мол, пожалуйста, бери и бей, бей по рукам, чтоб расцепились...

И Авдий сплошным комком боли полетел вниз, не чувствуя уже, как покатился по откосу, расшибаясь и обдираясь, как промчался мимо места его падения хвост эшелона, как скрылся поезд, унося его бывших попутчиков, как смолк шум колес.

Вскоре солнце угасло, наступила тьма, и на западе в сизо-свинцовом небе сгустились грозовые тучи...

А мимо того злополучного места уже мчались другие поезда, и тот, кто не стал молить о пощаде, чтобы продлить свою жизнь, лежал поверженный на дне железнодорожного кювета. А все, что он узнал в неистовом поиске истины, все, что утверждал, было теперь отброшено прочь, погублено. И стоило ли, не щадя себя, отказывать себе в шансе уцелеть? Ведь речь шла ни мало ни много — о собственной жизни, и всего-то нужно было произнести три слова: «Спаси меня, Гришан!» Но он не сказал этих слов...

Поистине нет предела парадоксам Господним... Ведь был уже однажды в истории случай — тоже чудак один галилейский возомнил о себе настолько, что не поступился парой фраз и решился жизни. И оттого, разумеется, пришел ему конец. А люди, хотя с тех пор прошла уже одна тысяча девятьсот пятьдесят лет, все не могут опомниться — все обсуждают, все спорят и сокрушаются, как и что тогда случилось и как могло такое произойти. И всякий раз им кажется, что случилось это буквально вчера — настолько свежо потрясение. И всякое поколение — а сколько их с тех пор народилось, и не счесть — заново спохватывается и заявляет, что, будь они в тот день, в тот час на Лысой горе, они ни в коем случае не допустили бы расправы над тем галилейнином. Вот ведь как им теперь кажется. Но кто мог тогда предположить, что дело так обернется, что все забудется в веках, но только не этот день...

И тогда тоже, кстати, была пятница, и тот, кто мог спастись, тоже не догадался ради своего спасения сказать в свою пользу двух слов...

## II

Жарким было то утро в Иерусалиме, и предвещало оно еще более жаркий день. На Арочной террасе Иродова дворца, под мраморной колоннадой, куда прокуратор Понтий Пилат велел поставить себе сиденье, прохладно обдувало ноги в сандалиях чуть сквозящим понижу ветерком. Высокие пирамидальные тополя в большом саду едва слышно шелестели верхушками, листва их в этом году преждевременно пожелтела.

Отсюда, с каменистой возвышенности, с Арочной террасы дворца, открывался вид на город, очертания которого расплывались в зыбучем мареве — воздух все более накалялся, — даже окрестности Иерусалима, всегда четко видимые, лишь смутно угадывались на границе с белой пустыней.

В то утро над холмом, широко распахнув крылья, точно подвешенная к небу на невидимой нити, беззвучно и плавно кружила одинокая птица, через равные промежутки времени пролетая над территорией большого сада. То ли орел, то ли коршун, кроме них ни у одной птицы не хватало бы терпения так долго и однообразно летать в жарком небе. Перехватив случайный взгляд, брошенный на птицу Иисусом Назарянином, стоящим перед ним переминаясь с ноги на ногу, прокуратор вознегодовал и даже оскорбился. И сказал желчно и жестко:

— Ты куда очи возводишь, царь Иудейский? То твоя смерть кружит!

— Она над всеми нами кружит, — тихо отозвался Иисус, как бы говоря с самим собой, и при этом невольно притронулся ладонью к заплывшему, в черном отеке глазу: у базара, когда его вели на суд синедриона, на него накинулась с побоями толпа, науськиваемая священниками и старейшинами. Иные жестоко били его, иные плевали в лицо, и понял он в тот час, как люто ненавидели его люди первосвященника Каиафы, и понял, что никакой милости ему не следует ожидать от иерусалимского судилища, и тем не менее по-человечески дивился и поражался свирепости и неверности толпы, будто бы никто из них до этого не догадывался, что он бродяга, будто бы до этого не они внимали затаив дыхание его проповедям во храмах и на площадях, будто бы это не они ликовали, когда он въезжал в городские ворота на серой ослице с молодым осликом позади, будто бы не они с надеждой провозглашали, кидая под ноги ослице цветы: «Осанна Сыну Давидову! Осанна в вышних!»

Теперь он умуро стоял в разодранной одежде перед Понтием Пилатом, ожидая, что последует дальше.

Прокуратор же был сильно не в духе, и прежде всего, как ни странно, он был раздражен на себя — на свою медлительность и необъяснимую нерешительность. Такого еще с ним не случилось ни в его бытность в действующих римских войсках, ни тем более в бытность прокуратором. Не смешно ли, в самом деле, — вместо того чтобы с ходу утвердить приговор синедриона и избавиться себя от лишних трудов, он затягивал допрос, тратя на него и время и силы. Ведь так просто, казалось бы, вызвать ожидающего его решения иерусалимского первосвященника и его прихвостней и сказать: нате, мол, берите своего подсудимого и распоряжайтесь им, как порешили. И, однако, что-то мешало Понтию Пилату поступить этим простейшим образом. Да стоит ли этот шут того, чтобы с ним возиться?..

Но подумать только, каков оказался этот чудак! Он, мол, царь Иудейский, возлюбленный Господом и дарованный Господом иудеям как прямая стезя к справедливому царству Божьему. А царство это такое, при котором не будет места власти кесаря и кесарей, их наместников и прислужнических синагог, а все-де будут равны и счастливы отныне и во веки веков. Какие только люди не домогались верховной власти, но такого умного, хитрого и коварного еще никто не знал —



ведь случись самому дорваться до кормила власти, наверняка бы правил точно так же, ибо иного хода жизни нет и не будет в мире. И самто злоумышленник отлично знает об этом, но ведет свою игру! Подкупает доверчивых людей обещанием Нового Царства. Если правду говорят, что каждый судит о другом в меру своей подозрительности, то тут был именно тот случай: прокуратор приписывал Иисусу те помыслы, которые в тайная тайных, не надеясь на их осуществление, лелеял сам. Именно это больше всего раздражало Понтия Пилата, и от этого осужденный вызывал в нем одновременно и любопытство и ненависть. Прокуратор полагал, что ему открылся замысел Иисуса Назарянина: не иначе как этот бродяга-провидец задумал затеять в землях смуту, обещать людям Новое Царство и сокрушить то, чем впоследствии хотел обладать сам. Нет, каков! Кто бы мог подумать, что этот жалкий иудей смел мечтать о том, о чем не мог мечтать, вернее не позволяя себе мечтать, сам повелитель малоазиатских провинций Римской империи Понтий Пилат. Так убеждал, так настраивал, к такому умозаключению подводил себя многоопытнейший прокуратор, допрашивая бродягу Иисуса довольно необычным способом: всякий раз ставя себя на его место,— и приходил в негодование от намерений этого неслыханного узурпатора. И от этого Понтий Пилат все больше распалялся, все больше терзался сомнениями — ему хотелось и немедленно скрепить прокураторской подписью смертный приговор, вынесенный Иисусу накануне старейшинами иерусалимского синедриона, и оттянуть этот момент, насладиться, выявив до конца, чем грозили римской власти мысли и действия этого Иисуса...

Ответ обреченного бродяги на его замечание по поводу птицы в небе покоробил прокуратора своей откровенностью и непочтительностью. Мог бы и промолчать или сказать что-нибудь заискивающее, так нет же, видите ли, нашел чем утешиться: смерть, мол, над всеми нами кружит. «Ты смотри, сам на себя накликает беду, будто и в самом деле не боится казни». — сердился Понтий Пилат.

— Что ж, вернемся к нашему разговору. Ты знаешь, несчастный, что тебя ждет? — спросил прокуратор сильным голосом, в который раз вытирая платком пот с коричневого лоснящегося лица, а заодно и с лысины и с плотной крепкой шеи. Пока Иисус собирался с ответом, прокуратор похрустел вспотевшими пальцами, выкручивая каждый палец по отдельности — была у него такая дурная привычка. — Я спрашиваю тебя, ты знаешь, что тебя ждет?

Иисус тяжко вздохнул, бледнея при одной мысли о том, что ему предстоит:

— Да, римский наместник, знаю, меня должны казнить сегодня, — с трудом выговорил он.

«„Знаю!“» — издевательски повторил прокуратор, с усмешкой, полной презрения и жалости, оглядывая стоящего перед ним незадачливого пророка с ног до головы.

Тот стоял перед ним понурясь, нескладный, длинношей и длиннолобый, с разметанными кудрями, в разодранной одежде, босой — сандалии, должно быть, потерялись в схватке, — а за ним сквозь ограду дворцовой террасы виднелись городские дома на отдаленных холмах. Город ждал того, кто стоял на допросе перед прокуратором. Гнусный город ждал жертвы. Городу требовалась сегодня в этот зной кровавое действие, его темные, как ночь, инстинкты жаждали встряски — и тогда бы уличные толпы захлебнулись ревом и плачем, как стаи шакалов, воющих и злобно лающих, когда они видят, как разъяренный лев терзает в ливийской пустыне зебру. Понтию Пилату приходилось видеть такие сцены и среди зверей и среди людей, и внутренне он ужаснулся, представив себе на миг, как будет проходить распятие на кресте. И он повторил с не лишенным сочувствия укором:

— Ты сказал — знаю! «Знаю» — не то слово. В полной мере ты узнаешь это, когда будешь там...

— Да, римский наместник, я знаю и содрогаюсь при одной мысли об этом.

— А ты не перебивай и не торопись на тот свет, успеешь,— проворчал прокуратор, которому не дали закончить мысль.

— Прости покорно, правитель, если случайно перебил тебя, я не хотел этого,— извинился Иисус.— Я вовсе не тороплюсь. Я хотел бы пожить еще.

— И ты не думаешь отречься от слов своих непотребных? — спросил в упор прокуратор.

Иисус развел руками, и глаза его были по-детски беспомощны.

— Мне не от чего отречься, правитель, те слова predeterminedены Отцом моим, я обязан был донести их людям, исполняя волю Его.

— Ты все свое твердишь,— в раздражении Понтий Пилат повысил голос. Выражение лица его с крупным горбатым носом, с жесткой линией рта, обрамленного глубокими складками, стало презрительно-холодным.— Я ведь вижу тебя насквозь, как бы ты ни прикидывался,— сказал он не допускающим возражения тоном.— Что на самом деле значит донести до людей слова Отца твоего — это значит оболванить, прибрать к рукам чернь! Подбивать чернь на беспорядки. Может быть, ты и до меня должен донести его слова — я ведь тоже человек!

— У тебя, правитель римский, нет пока надобности в этом, ибо ты не страдаешь и тебе ни к чему алкать другого устройства жизни. Для тебя власть — Бог и совесть. А ею ты обладаешь сполна. И для тебя нет ничего выше.

— Верно. Нет ничего выше власти Рима. Надеюсь, ты это хочешь сказать?

— Так думаешь ты, правитель.

— Так всегда думали умные люди,— не без снисходительности поправил его прокуратор.— Поэтому и говорится,— поучал он,— кесарь не Бог, но Бог — как кесарь. Убеди меня в обратном, если ты уверен, что это не так. Ну! — И насмешливо уставился на Иисуса.— От имени римского императора Тиверия, чьим наместником я являюсь, я могу изменить кое-что в положении вещей во времени и пространстве. Ты же пытаешься противопоставить этому какую-то верховную силу, какую-то иную истину, которую несешь якобы ты. Это очень любопытно, чрезвычайно любопытно. Иначе я не стал бы держать тебя здесь лишнее время. В городе уже ждут не дождутся, когда приговор синедриона приведут в исполнение. Итак, отвечай!

— Что мне ответить?

— Ты уверен, что кесарь менее Бога?

— Он смертный человек.

— Ясно, что смертный. Но пока он здравствует — есть ли для людей другой Бог выше кесаря?

— Есть, правитель римский, если избрать другое измерение бытия.

— Не скажу, что ты меня рассмешил,— в наигранном оскорблении морща лоб и приподнимая жесткие брови, проронил Понтий Пилат.— Но ты не можешь меня в этом убедить по той простой причине, что это даже не смешно. Не знаю, не пойму, кто и почему тебе верит.

— Мне верят те, кого толкают ко мне притеснения, вековая жажда справедливости,— тогда семена моего учения падают на удобренную страданиями и омоченную слезами почву.— пояснил Иисус.

— Хватит! — безнадежно махнул рукой прокуратор.— Бесполезная трата времени.

И оба замолчали, думая каждый о своем. На бледном челе Иисуса проступил обильный пот. Но он не утирал его ни ладонью, ни оборванным рукавом хламиды, ему было не до того — от страха к горлу подкатила тошнота, и пот заструился вниз по лицу, падая каплями на мраморные плиты у худых жилистых ног.

— И после этого ты хотел бы,— внезапно осипшим голосом про-  
должил Понтий Пилат,— чтобы я, римский прокуратор, даровал тебе  
свободу?

— Да, правитель добрый, отпусти меня.

— И что же ты станешь делать?

— Со словом Божьим пойду я по землям.

— Не ищи дураков! — вскричал прокуратор и вскочил вне себя от  
гнева.— Вот теперь я окончательно убеждаюсь, что твое место только  
на кресте, только смерть может унять тебя!

— Ты ошибаешься, правитель высокий, смерть бессильна перед  
духом,— твердо и внятно произнес Иисус.

— Что? Что ты сказал? — поразился Понтий Пилат, не веря себе  
и подступая к Иисусу; лицо его, искаженное от гнева и удивления,  
пошло темно-коричневыми пятнами.

— То, что ты слышал, правитель.

Набрав воздуха в легкие, Понтий Пилат резко вскинул руки к не-  
бу, собираясь что-то сказать, но в это время послышались гулкие шаги  
подкованных кавалерийских сапог.

— Чего тебе? — строго спросил прокуратор вооруженного легио-  
нера, идущего к нему с каким-то пергаментом.

— Велено передать,— сказал тот коротко и удалился.

То была записка Понтию Пилату от жены: «Прокуратор, супруг  
мой, не причиняй, прошу тебя, непоправимого вреда этому скитальцу,  
прозываемому, как сказывают, Христом. Все говорят, что он безобид-  
ный праведник, чудесный исцелитель всяких недугов. А то, что он  
якобы сын Божий, мессия и чуть ли не царь Иудейский, так это, мо-  
жет быть, на него наговорили. Не мне судить, так ли это. Сам знаешь,  
что за скандальный и одержимый народ эти иудеи. А что, если это  
правда? Ведь очень часто то, что на устах презренной толпы, потом  
подтверждается. И если так окажется и на этот раз, тебя же потом  
проклянут. Сказывают, что служители синагог здешних да городские  
старейшины испугались и возненавидели этого Иисуса Христа из-за  
того, что народ вроде за ним подвинулся, и из зависти священники его  
оклеветали и натравили на него невежественную толпу. Те, что вчера  
молились на него, сегодня побивали его камнями. Мне кажется, Пон-  
тий, что если ты согласишься на казнь этого юродивого, то вся худая  
слава впоследствии падет на тебя, супруг мой. Ведь нам не вечно си-  
деть в Иудее. Я хочу, чтобы ты вернулся в Рим с достойными тебя  
высокими почестями. Не делай этого, Понтий. Давеча, когда его вела  
стража, я видела, какой он красивый, ну прямо молодой бог. Кстати,  
мне сон привиделся накануне. Потом расскажу. Очень важный. Не на-  
влекай проклятия на себя и на свое потомство!»

— О боги, боги! Чем я вас прогневал? — простонал Понтий Пилат  
и в который раз пожалел, что не отправил сразу же без лишних слов и  
проволочек этого невменяемого и неистового лжепророка со стражей  
к палачам туда, за городские сады, где на взгорье должна была совер-  
шиться казнь, которой требовало иерусалимское судилище. И вот те-  
перь и жена вмешивается в его прокураторские дела, в чем ему виде-  
лась если не скрытая работа сил, стоящих за Иисусом Христом, то, во  
всяком случае, сопротивление небесных сил этому делу. Но небожи-  
телей земные дела мало интересуют, а жена — что она понимает своим  
женским умом в политике, зачем ему пробуждать вражду перво-  
священника Каиафы и иерусалимской верхушки, преданной и верной  
Риму, ради этого сомнительного бродяги Иисуса, поносящего кесарей?  
Откуда она взяла, что этот тип красив, как молодой бог? Ну, молод.  
Только и всего. А красоты никакой особой в нем нет. Вот он стоит,  
побитый в свалке, как собака. И что в нем нашла она? Прокуратор за-  
думчиво прошел несколько шагов, обдумывая содержание записки, и  
снова со вздохом сел в кресло. А меж тем у него промелькнула еще  
мысль, что уже не раз приходила ему на ум: казалось бы, сколь нич-

тожны люди — гадят, мочатся, совокупаются, рождаются, мрут, вновь рождаются и мрут, сколько низостей и злодеяний несут они в себе, и среди всего этого отврата и мерзости откуда-то вдруг — провидение, пророки, порывы духа. Взять хотя бы этого — он так уверовал в свое предназначение, что точно во сне живет, а не наяву. Но хватит, придется его отрезвить! Пора кончать!

— И все же вот что я хочу знать, — обратился прокуратор к Иисусу, все так же молчаливо стоящему на своем месте, — допустим, ты праведник, а не злоумышленник, сеющий смуту среди доверчивых людей, допустим, говоря о Царстве справедливости, ты оспариваешь право кесаря владеть миром, допустим, я поверю тебе, так вот скажи мне: что заставляет тебя идти на смерть? Открой мне, что тобою движет? Если ты вознамерился таким способом воцариться над народом израилевым, я тебя не одобряю, но я тебя пойму. Но зачем же ты вначале рубишь сук, на котором собираешься сидеть? Как же ты станешь кесарем, если ты отрицаешь власть кесаря? Сам понимаешь, сейчас в моей воле оставить тебя в живых или послать на казнь. Так что же ты молчишь? Онемел от страха?

— Да, наместник римский, я страшусь свирепой казни. И кесарем я вовсе не собираюсь быть.

— Тогда покайся на всех городских площадях, осуди себя. Признай, что ты лжепророк, лжепророк, не уверяй, что ты царь Иудейский, чтобы чернь отхлынула от тебя, чтобы не соблазнять их напрасным и преступным ожиданием. Никакого Царства справедливости быть не может. Справедливо всегда то, что есть. Есть в мире император Тиверий, и он и есть незыблемый оплот мироустройства. А Царство справедливости, речами о котором ты подбиваешь легкомысленных роптать, — пустое дело! Подумай! И не морочь голову ни себе, ни другим. А впрочем, кто ты такой, чтобы римский император тебя остерегался, — какой-то безвестный скиталец, сомнительный пророк, базарный горлопан, каких полным-полно на земле Иудеи. Но ты соблазн посеял своим учением, и этим сильно озабочен ваш первосвященник, поэтому раскрой свой обман. А сам удались в Сирию или в другие страны, и я, как римский прокуратор, попробую тебе помочь. Соглашайся, пока не поздно. Что ты опять молчишь?

— Я думаю о том, наместник римский, что оба мы столь различны, что вряд ли пойдем друг друга. Зачем же я буду кривить душой и отрекаться от ученья Господа таким образом, чтобы тебе и кесарю было выгодно, а истина страдала?

— Не темни, что выгодно для Рима — то превыше всего.

— Превыше всего истина, а истина одна. Двух истин не бывает.

— Опять лукавишь, бродяга?

— Не лукавил ни прежде, ни теперь. А ответ мой таков: первое — не пристало отречься от того, что сказано во имя истины, ибо ты сам того хотел. И второе — не пристало брать на себя грех за не содеянное тобой и бить себя в грудь, чтобы от молвы чернящей отбелиться. Коли молва лжива, она сама умрет.

— Но прежде умрешь ты, царь Иудейский! Итак, ты идешь на смерть, какой бы ни был путь к спасению?

— К спасению мне только этот путь оставлен.

— К какому спасению? — не понял прокуратор.

— К спасению мира.

— Довольно юродствовать! — потерял терпение Понтий Пилат. — Значит, ты добровольно идешь на гибель?

— Стало быть, так, ибо другого пути у меня нет.

— О боги, боги! — устало пробормотал прокуратор, проведя рукой по глубоким морщинам, избороздившим его лоб. — Жара-то какая, не к перемене ли погоды? — буркнул он себе под нос. И принял окончательное решение: «Зачем мне все это? К чему стараюсь выго-

родить того, кто не видит в том проку? Тоже чудак я!» И сказал:— В таком случае я умываю руки!

— Воля твоя, наместник,— ответил Иисус и опустил голову.

Они вновь замолчали и, должно быть, оба почувствовали, как за пределами дворцовой ограды, за пышными садами, где изнывали в зное городские улицы в низинах и на всхолмлениях иерусалимских, точно бы набухала глухая зловещая тишина, готовая вот-вот разорваться. Пока до них оттуда доносились лишь неясные звуки — гул больших базаров, где с утра смешались люди, товары, тягловые и вьючные животные. Но между этими мирами было то, что разделяло их и охраняло верхний от нижнего: за оградой прохаживались легионеры, а пониже, в рощице, стояло кавалерийское оцепление. Видно было, как лошади отмахивались хвостами от мух.

Заявив, что он умывает руки, прокуратор почувствовал некоторое облегчение, ибо теперь он мог сказать себе: «Я сделал все, что от меня зависело. Боги свидетели, я не подталкивал его к тому, чтобы он стоял на своем, предпочтя учение собственной жизни. Но поскольку он не отрекается, пусть будет так. Для нас это даже лучше. Он сам себе подписал смертный приговор...» Думая об этом, Понтий Пилат готовил тем самым и ответ жене. И еще подумал он, искоса глянув на Иисуса Назарянина, со смутной улыбкой молчаливо ждущего своей заранее предопределенной участи: «Что сейчас на уме у этого человека? Небось теперь он сам же горько сожалеет, понимает, во что ему обойдется его премудрое учение, от которого он не смеет отступить. Попал в собственный капкан. Попробуй теперь вывернись: один Бог на всех — на все земли, на весь род людской, на все времена. Одна вера. Одно Царство справедливости на всех. Куда он метит? Что и говорить, всем бы этого хотелось, на том он и решил сыграть! Но вот так жизнь и учит нас, вот так карает чрезмерную хитроумность. Вот так оборачивается покушение на трон, не предназначенный от роду. Чего захотел! Решил смутить чернь, взбунтовать против кесарей и чтобы от толпы к толпе пошла та зараза по миру. Весь исконный порядок мироустройства решил опрокинуть вверх дном. Отчаянная голова! Ничего не скажешь! Нет, такого никак нельзя оставлять в живых. С виду вон какой. избитый. смиренный, а что в нем таится — ведь вон что затеял, только великому уму такой план под силу. Кто бы мог это в нем предположить!»

В мыслях этих находил прокуратор Понтий Пилат согласие с собой. Успокаивало его и то, что теперь не придется вести неприятного разговора с первосвященником Каиафой, открыто требующим от имени синедрона утвердить решение суда по поводу Иисуса Назарянина.

— Не сомневайся, мудрый правитель, ты достигнешь согласия с собой и будешь во всем прав,— проронил Иисус, точно бы отгадывая мысли прокуратора.

Понтий Пилат возмутился.

— Ты обо мне не беспокойся,— грубо накинулся он на Иисуса,— для меня дело Рима превыше всего, ты о себе подумай, несчастный!

— Извини, высокий правитель, не стоило мне вслух говорить эти слова.

— Вот именно. И чтобы тебе не пришлось пожалеть, когда уже будет поздно, подумай еще, пока я отлучусь, и если не переменишь к моему возвращению свое решение, я произнесу последнее слово. И не мни, что ты царь Иудейский, опора мира, что без тебя земле не обойтись. Напротив, все складывается не в твою пользу. И время твое давно истекло. Только отречением ты еще мог бы спасти себя. Ты понял?

— Понял, правитель...

Понтий Пилат встал с места и пошел в покои, поправляя на плечах просторную тогу. Костистый, большеголовый, лысый, величественный, уверенный в достоинстве своем и всемогущий. Когда он шел вдоль

Арочной террасы, взгляд его снова упал на ту птицу, царски парящую в поднебесье. Он не смог определить, был ли то орел или кто другой из той же породы пернатых, но не это волновало его, а то, что птица была для него недосягаема, была неподвластна ему, — и не отпугнешь ее, равно как не призовешь и не прогонишь. Резко вскинув бровь, прокуратор метнул неприязненный взгляд ввысь: ишь ты, кружит да кружит, и дела ей ни до чего нет. И все же подумалось ему, что эта птица словно император в небе. Не случайно, видимо, императорское величие символизирует орел — голова с мощным клювом, хищный глаз, прочные, как железо, крылья. Таким и должен быть император! В выси — на виду и не доступен никому... И с той высоты править миром — и никакого равенства ни в чем и ни с кем, даже боги должны быть у императора свои, отдельные от других, безразличные к подданным, презирающие их. Вот на чем стоит сила, вот что заставляет бояться власти, вот на чем стоит порядок вещей в мире. А этот Назарянин, который упорствует в своем учении и который вознамерился уравнивать всех от императора до раба, ибо Бог, мол, един и все люди равны перед Богом, утверждает: мол, Царство справедливости грядет для всех. Он смутил умы, взбудоражил низы, вознамерился переустроить мир на свой лад. И что из этого получилось? Та же толпа потом била его и плевала в лицо ему, лжепрозорливцу, лжепророку, обманщику и прохиндею... И однако что же это за человек такой? При всей безнадёжности своего положения ведет себя так, будто не он терпит поражение, а те, кто его осуждает...

Так думал прокуратор Понтий Пилат, наместник римского императора, можно сказать, сам полуимператор, во всяком случае в этой части Средиземноморья, когда отлучился с допроса, чтобы оставить Иисуса Назарянина на несколько минут наедине с собой, — пусть тот почувствует зияющую бездну, над которой висит. Надо было сломить его дух, заставить униженно ползать, отречься от Бога единого для всех, от всеобщего равенства, чтобы потом, как гада с переломленным хребтом, вышвырнуть вон из израильских земель — пусть бродяжничают и сгинет без вести, недолго бы так протянул, свои ученики и прибили бы, изверившись в нем...

Так думал, борясь со своими сомнениями, многоопытнейший правитель Понтий Пилат, изыскивая наиболее верный, наиболее выгодный и наиболее показательный путь искоренения новоявленной крамолы. Уходя с Арочной террасы, он полагал, что осужденный наедине с собой прочувствует, что ему грозит, и к моменту возвращения прокуратора падет к его ногам. Если бы прокуратор знал, что в те короткие минуты этот странный человек думал совсем не об этом или, вернее, совсем не так, а ушел в воспоминания, ибо воспоминания — это тоже удел живых и одно из последних благ на пороге прощания с жизнью.

Едва прокуратор удалился, как из боковых ниш немедленно вышли четверо стражников и встали по краям Арочной террасы, точно бы осужденный мог отсюда бежать. И он позволил себе обратиться к ближайшему легионеру:

— Могу ли я сесть, добрый стражник?

— Садись, — ответил тот, ударяя копьём о каменный пол.

Иисус присел на мраморную приступку у стены, согбленный, с бледным, заострившимся лицом в окаймлении длинных, ниспадающих волнами темных волос. И, прикрыв глаза ладонью, ушел в себя, забылся. «Напиться бы, — думал он, — искупаться бы где-нибудь в реке». Он живо представил себе проточную воду у берегов — вода струится, лобзая землю и прибрежные травы, и ему почудился илеск воды, как будто работали весла, приближая лодку к тому месту, где сидел он, как будто кто-то хотел взять его в лодку и увезти, уплыть с ним отсюда. То была мать, это она подплывала к нему в тревоге и страхе. «Мама! — прошептал он неслышно. — Мама, если бы ты знала, как мне

тяжко! Еще прошлой ночью в Гефсимании на Масличной горе я изнывал, ужасался от тоски, навалившейся, как черная ночь, не находил себе места и, бодрствуя с учениками, все не мог успокоиться и в предчувствии страшного дошел до кровавого пота. И тогда я обратился к Господу, Отцу моему Небесному. «Отче,— сказал я. — О если бы ты благословил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». И вот она — чаша сия, до краев полная, не обходит, не минет, приближается неотвратимо, и свершится то, что и ты, наверное, предвидишь. И если это так, значит, ты знала, что будет со мною, и тогда, о боже, как же ты жила все эти годы, мама родная, родительница, давшая дыхание, с какой мыслью и с какой надеждой ты растила меня, предназначенного замыслом Божиим для этого великого и ужасного дня, самого несчастного из всех дней, ибо нет больше горя для человека, чем собственная смерть, но для матери, когда на глазах у нее погибает плод чрева ее, род ее,— горе двойное. Прости меня, мать, не я определил судьбу твою, а Отец мой Всевышний, так обратим к Нему свои взоры без ропота, и да будет воля Его!»

Вспомнив мать свою Марию, припомнил он в тот час, как в младенчестве, когда было ему лет пять, приключился с ним один случай. В ту пору семья их пребывала в Египте, куда бежала от царя Ирода, посягавшего на жизнь новорожденного дитяти — будущего Иисуса Христа, ибо сказано было волхвами, что то царь Иудейский народился. К тому времени мальчик уже подрос, и протекала там неподалеку большая полноводная река, возможно, то был Нил — велика была река, широка. Мария ходила туда с малышом полоскать белье, как и многие женщины той местности. А в тот день, когда они были у реки, причалил один старец лодку к берегу и подошел к ним, поздоровался ласково с Марией и ее малышом. «Отец! — окликнула его Мария. — Не позволишь ли покатать на твоей лодочке сыночка моего? Так он хочет этого, плачет, несмышленишь» «Да, Мария, — отвечал старец, — я для этого и привел эту лодку, чтобы ты покатила на ней маленького Иисуса». Марию не удивило, что он знал их имена, она подумала, что это кто-нибудь из окрестных жителей. Но когда решилась попросить, чтобы старец сел на весла, тот вдруг исчез, точно в воздухе растворился. Но и это не смутило Марию, уж очень хотелось мальчику покататься на лодке, уж очень он радовался и бегал вокруг, прыгая от возбуждения, очень торопил мать свою. И тогда она бросила белье на камнях прибрежных, взяла сыночка, усадила его в лодку, а сама отвязала лодку, столкнула ее с мели, вскочила в нее, усадила малыша на колени, и они поплыли по течению. Как чудесно было тихо скользить по сверкающей воде почти у самого берега — на прибрежных отмелях колыхались тростники, пестрели цветы, яркие птицы шумно порхали в кустах, напевали и посвистывали, в теплом парном воздухе гудели, роились, стрекотали насекомые. Как чудесно им было! Мария запела негромкую песню и была счастлива, а сынку ее так интересно было плыть на лодке. И это еще больше радовало Марию. Тем временем — и не так уж далеко они отплыли от места и не так уж далеко были от берега — большая коряга, лежавшая на мелководье, ожила и, взбурлив волны, грозно и стремительно поплыла к ним. То был громадный крокодил — его выпученные глаза алчно устремились на них. Мальчик испугался и закричал, Мария оцепенела и не знала, что предпринять. Ударом хвоста крокодил чуть было не опрокинул лодку. Бросив весла, Мария крепко прижала к себе дитя. «Господи! — взмолилась она. — Это он! Твой сын Иисус! Данный тобой! Не оставляй его, Господи! Спаси его!»

Женщина настолько перепугалась, что могла лишь зажмурить глаза да заклинить того, кто был Всем во Вселенной и Отцом Небесным ее ребенка. «Не оставляй нас, он еще нужен будет тебе!» — вскричала она. Лодка же, оставшись без управления, поплыла, подталкиваемая снизу крокодилом. Когда наконец Мария осмелилась открыть гла-

за, крик радости вырвался из ее груди — лодка причалила к берегу, точно бы ее кто-то привел туда, и крокодил, повернув назад, уплывал вдаль. Не помня себя Мария выскочила из лодки и побежала по берегу, плача от потрясения и смеясь от счастья. Она бежала, прижимая к себе малыша, и все твердила, целуя его и обливая слезами: «Иисус! Иисус! Ненаглядный мой сыночек! Тебя Отец узнал! Он тебя спас! Это Он тебя спас! Он тебя возлюбил, ты Его возлюбленный сын, Иисус! Ты станешь премудрым, Иисус! Ты будешь Учителем, Иисус! И ты откроешь глаза людям, Иисус! И они пойдут за тобой, Иисус, и ты не отступишься от людей никогда, никогда, никогда!» Так, причитая, ликовала «благословенная между женами».

Так причитала и ликовала она от радости, что чудом спасся Сын Божий, и невдомек ей было, что то было знамение Господне, чтобы люди знали, кто он, подрастающий Иисус, сын плотника Иосифа, скрывшегося ради спасения младенца от Ирода в Египет. Ибо, как только Мария с дитятею выскочила из лодки на берег и побежала, лодка куда-то исчезла, уплыла по реке, а женщины, стиравшие белье в реке, сбежавшиеся на ее крик, уверяли потом, что когда она бежала с малышом на руках, вокруг его головы виднелось золотистое сияние. И все обрадовались этому. И тронуты были до слез, когда маленький Иисус, прильнув к матери, крепко обнял ее за шею и, вдыхая материнский дух, сказал: «Мама, когда я вырасту, я поймаю того крокодила за хвост, чтобы он больше не пугал нас!» Все посмеялись словам детским, а потом стали припоминать, кто же мог быть хозяином лодки. Тут открылось, что никто в округе того человека не знал и никто его больше никогда не видел. Плотник Иосиф многие дни пытался разыскать загадочного лодочника, чтобы извиниться перед ним и возместить ему убыток, но так и не нашел его...

Вот такая приключилась однажды история с младенцем Иисусом в Египте, и теперь он припомнил ее на Арочной террасе, когда просил прощения у матери за причиняемое ей горе и страдания. «Я с тобой прощаюсь сейчас, мать,— говорил он ей,— не обижайся, если не успею или не смогу обратиться к тебе, когда меня будут казнить. Страшусь я смерти, и ноги мои холодеют, хотя сегодня так невыносимо жарко. Прости меня, мать, и не ропщи в мой тяжкий час на долю свою. Мужайся. А у меня иного пути к истине в человеках, которые самое тяжкое бремя Творца, нет кроме как утвердить ее через собственную смерть. Иного пути к человекам не дано. И я иду к ним. Прости и прощай, мама! А жаль, что крокодила того я так и не схватил за хвост. Говорят, они очень долго живут, два-три человеческих века, эти крокодилы. А если бы и поймал, отпустил бы с миром... Пусть себе... И еще вот подумалось, мама, если тот лодочник был ангел в облике старца, может быть, мне суждено свидеться с ним в мире ином... Припомнит ли он тот случай? Слышу шаги, идет мой палач поневоле — Понтий Пилат. Прощай, мать, заранее прощай».

Понтий Пилат вернулся на Арочную террасу тем же твердым шагом, каким и покидал ее. Стража тут же удалилась, и опять эти двое остались на террасе один на один. Выразительно глянув на Иисуса, вставшего с места при его появлении, прокуратор понял, что все идет так, как ему хотелось,— жертва сама неуклонно приближалась к последней черте. Однако и в этот раз он решил не рубить сплеча — дело и без того развивалось в нужном направлении.

— Ну что ж, как я погляжу, разговор окончен,— сказал Понтий Пилат с ходу. — Ты не передумал?

— Нет.

— Напрасно! Подумай еще!

— Нет! — покачал тот головой. — Пусть будет так, как должно быть.

— Напрасно! — повторил Понтий Пилат, хотя и не совсем уверенно. Но в душе дрогнул — его поколебала решительность Иисуса



Назарянина. И в то же время он не хотел, чтобы тот отсекся от себя и стал бы искать спасения, просить пощады. И Иисус все понял.

— Не сокрушайся,— улыбнулся он смиренно.— Я верю, слова твои чистосердечны. И понимаю тебя. Мне тоже очень хочется жить. Лишь на пороге небытия человек понимает, как дорога ему жизнь. И мать свою мне жаль — я так люблю ее, всегда любил, с самого детства, хотя и не выказывал того. Но как бы то ни было, наместник римский, запомни: ты мог бы, скажем, спасти одну душу, и на том было бы великое тебе спасибо, а я обязан спасти многих и даже тех, которые явятся на свет после нас.

— Спасти? Когда тебя уже не будет на земле?

— Да, когда меня не будет среди людей.

— Пеняй на себя, больше мы к этому разговору не вернемся,— решительно заявил Понтий Пилат, не желая более рисковать.— Но ответь мне на последний мой вопрос... — сказал он, задерживаясь возле своего кресла, и замолк, задумавшись, нахмутив мохнатые брови.— Скажи мне, ты в состоянии сейчас вести разговор? — добавил вдруг доверительно.— Если тебе не до этого, не утруждай себя, я не буду тебя задерживать. Тебя ждут на горе.

— Как тебе угодно, правитель, я в твоём распоряжении,— ответил собеседник и поднял на прокуратора прозрачно-синие глаза, паразитичные того силой и сосредоточенностью мысли — будто Иисуса и не ждало на горе то неминуемое.

— Спасибо,— так же неожиданно поблагодарил вдруг Понтий Пилат.— В таком случае ответь мне на последний вопрос, теперь уж любопытства ради. Поговорим как свободные люди — я от тебя ни в чем не завишу, да и ты теперь, как сам понимаешь, на пороге полной свободы, так что будем откровенны,— предложил он, усаживаясь на свое место.— Скажи мне, говорил ли ты ученикам, приверженцам своим, причем, как ты сам понимаешь, я в твоё ученье не верю, так вот, говорил ли ты приверженцам своим, уверял ли их, что коли тебя распнут, ты на третий день воскреснешь, а воскреснув, вернешься в один прекрасный день на землю и учинишь Страшный суд и над теми, кто сейчас живёт, и над теми, кто ещё явится на свет, над всеми душами, над всеми поколениями от сотворения? И что это будет якобы второе твоё пришествие в этот мир. Так ли это?

Иисус странно усмехнулся, как бы говоря себе: вон оно, мол, что,— и, переступая босыми ногами по мрамору, помолчал, точно бы решая для себя, стоит ему отвечать или нет.

— Это все Иуда Искариот наговорил? — спросил он насмешливо.— И тебя это очень беспокоит, римский наместник?

— Я не знаю, кто такой Иуда, но так мне передавали уважаемые люди, старейшины. Так что ж, все это, выходит, пустые слова?

— Думай как хочешь, правитель,— холодно ответил Иисус.— Никто не навязывает тебе того, что чуждо твоему уму.

— Ведь я всерьёз, я не смеюсь,— поспешил заверить прокуратор.— Просто я думаю, что другой такой возможности побеседовать у нас с тобой уже не будет. Как только тебя отсюда уведут, обратной дороги у тебя не будет. Но для себя я хочу выяснить, как можно после смерти вновь явиться на землю не рождаясь и учинять суды над всеми душами? И где этот суд будет — в небесах или ещё где? И как долго должны ждать доверившиеся тебе люди этого дня, чтобы удостоиться вечного покоя? Позволь мне высказать вначале, как я на это смогрю. Расчет твой прост, ты считаешься на то, что каждый хочет и на том свете удобной жизни. Ах этот смертный человек, и вечно-то он чего-то вожделеет вечно-то он чего-то жаждет. Так просто заманить его посулами — и он даже там, в загробной жизни, побежит за тобой, как собака. Но, допустим, пусть будет так, как учишь ты, пророк, но твоя жизнь уже на исходе, продлить ее ты можешь только беседой...

— Я мог бы и вовсе ее не продлевать.

— Но ты же не пойдешь на гору, оставив мой вопрос без ответа. В моем понятии такой уход хуже смерти.

— Продолжай.

— Так вот, допустим твое учение верно, тогда скажи: когда наступит тот день второго твоего пришествия? И если ожидание будет длиться долго, невообразимо долго, то зачем это человеку? Ведь в том, что не исполнится в течение жизни, для него мало проку. А потом, по правде говоря, и представить нельзя, чтобы можно было дожидаться такого невероятного события. Или же ждать надо, слепо веря? И что это даст? Какая в том польза?

— Сомнения твои понятны, правитель римский, ты мыслишь грубо, по-земному, как учителя твои, греки. Не обижайся на замечание мое. Пока стою я пред тобой, как бранный человек, ты вправе спорить. К тому же мы с тобой уж очень разные — как вода и огонь. И суждения наши разнятся, с разных концов мы с тобой ко всему подходим. Так вот, о том, что тебя волнует, правитель... То, что второго пришествия ждать придется бесконечно долго, это верно. В этом ты прав. Когда наступит тот день, никто не может предсказать, ибо это начертано в замыслах Того, кем мир сотворен. То, что для нас продлится тысячелетия, для него, возможно, одно мгновение. Но суть в другом. Создатель наделил нас высшим в мире благом — разумом. И дал нам волю жить по разумению. Как распорядимся мы небесным даром, в этом и будет история истории людей. Ведь ты не станешь отрицать, наместник римский, что смысл существования человека в самосовершенствовании духа своего, — выше этого нет цели в мире. В этом красота разумного бытия — изо дня в день все выше восходить по нескончаемым ступеням к сияющему совершенству духа. Тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день. А посему — как долго ждать придется того дня, в который ты не веришь, правитель, зависеть будет от самих людей.

— Вот как! — Понтий Пилат возбужденно вскочил, схватился за спинку кресла. — Постой, постой, чтобы такое от людей зависело — это же неслыханно! Я, не верующий в твое учение, постичь этого не могу. Если бы люди могли по воле своей удалять или приближать подобное явление, уж не уподобились бы они богам?

— Ты в чем-то прав, правитель римский, но прежде я хотел бы отделить молву от истины. Молва об истине — великая беда. Молва — как ил в воде, что со временем превращает глубокую воду в мелкую лужу. В жизни всегда так — любую великую мысль, родившуюся на благо людям, достигнувшую в прозрениях и страданиях, молва, передавая из уст в уста, вечно искажает во зло и себе и истине. Вот к чему я речь веду, наместник, — к тому, что те небылицы, которым ты веришь, есть молва, а истина в другом.

— Не хочешь ли открыть ту истину?

— Да, попробую. Не буду избегать разговора. К тому же я говорю об этом в последний раз. Так знай, правитель римский, промысел Божий не в том, что однажды, как гром в ясную погоду, грянет день, когда Сын Человеческий, воскреснув, спустится с небес править суд над народами, а все наоборот будет, хоть цель и останется та же. Не я, кому осталось жить на расстоянии перехода через город к Лысой горе, приду, воскреснув, а вы, люди, пришествуете жить во Христе, в высокой праведности, вы ко мне придете в неузнаваемых грядущих поколениях. И это будет мое второе пришествие. Иначе говоря, я в людях вернусь к себе через страдания мои, в людях вернусь к людям. Вот о чем речь. Я буду вашим будущим, во времени оставшись на тысячелетия позади, в том Промысел Всевышнего, в том, чтобы таким способом возвести человека на престол призвания его — призвания к добру и красоте. В том смысл моих проповедей, в том истина, а не в молве ходячей и не в небылицах всяких, опошляющих высокие идеи. Но путь

тот будет наитягчайшим среди всех для рода людского и бесконечно долгим, и этого ты, наместник римский, справедливо опасаясь. Путь этот начнется с рокового дня, с убийства Сына Божия, и в вечном покаянии да пребудут поколения, всякий раз заново содрогаясь цене той, которую я сегодня заплачу во искупление греховности людей, во их прозрение и пробуждение в них божественных начал. На то и родился я на свет, чтоб послужить людям немеркнущим примером. Чтоб люди уповали на мое имя и шли ко мне через страдания, через борьбу со злом в себе изо дня в день, через отвращение к порокам, к насилию и кровожадности, столь пагубно поражающим души, не заполненные любовью к Богу, а стало быть, к подобным себе, к людям!

— Постой, Иисус Назарянин, ты отождествляешь Бога и людей?

— В каком-то смысле да. И более того, все люди, вместе взятые, есть подобие Бога на земле. И имя есть той ипостаси Бога — Бог-Завтра, Бог бесконечности, дарованной миру от сотворения его. Наверное, ты, правитель римский, не раз ловил себя на мысли, что желания твои всегда к завтрашнему дню обращены. Сегодня ты жизнь приемлешь такой, какая есть, но непременно хочешь, чтоб завтра было иным, и если даже тебе сегодня и хорошо, все равно желаешь, чтобы завтра было еще лучше. И потому живут надежды в нас, неугасимые, как свет Божий. Бог-Завтра и есть дух бесконечности, а в целом — в нем вся суть, вся совокупность деяний и устремлений человеческих, а потому, каким быть Богу-Завтра — прекрасным или дурным, добросердечным или карающим, — зависит от самих людей. Так думать позволительно и необходимо, того желает от мыслящих существ сам Бог-Творец, и потому о завтрашней жизни на земле пусть заботятся сами люди, ведь каждый из них какая-то частица Бога-Завтра. Человек сам судья и сам творец каждого дня нашего...

— Постой, а как же Страшный суд, столь грозно провозглашаемый тобою?

— Страшный суд... А ты не думал, правитель римский, что он давно уже свершается над нами?

— Не хочешь ли ты сейчас сказать, что вся наша жизнь — Страшный суд?

— Ты не `далек от истины, правитель римский, пройти тем путем, что начинался в муках и терзаниях с проклятия Адаму, через злодеяния, чинимые из века в век одними людьми над другими людьми, порождающими зло от зла, неправду от неправды, — это, наверно, что-то значило для тех, кто пребывал и пребывает на белом свете. С тех пор как изгнаны родоначальники людей из Эдема, какая бездна зла разверзлась, каких только войн, жестокостей, убийств, гонений, несправедливостей, обид не узнали люди! А все страшные прегрешения земные против добра, против естества, совершенные от сотворения мира, — что все это как не наказание почище Страшного суда? В чем изначальное назначение истории — приблизить разумных к божественным высотам любви и сострадания? Но сколько ужасных испытаний было в истории людей, а впереди не видно конца злодеяниям, бурлящим, как волны в океане. Жизнь в таком аду не хуже ли Страшного суда?

— И ты, Иисус Назарянин, намерен остановить историю во зле?

— Историю? Ее никто не остановит, а я хочу искоренить зло в деяниях и умах людей — вот о чем моя печаль.

— Тогда не будет и истории.

— Какой истории? Той, о которой ты печешься, наместник римский? Ту историю, к сожалению, не вычеркнешь из памяти, но если бы ее не было, мы оказались бы гораздо ближе к Богу. Я тебя понимаю, наместник. Но подлинная история, история расцвета человечности, еще не начиналась на земле.

— Постой, Иисус Назарянин, оставим меня пока в стороне. Но как же ты, Иисус, намерен привести к такой цели людей и народы?

— Провозглашением Царства справедливости без власти кесарей, вот как!

— И этого достаточно?

— Да, если бы этого захотели все...

— Занятно. Ну что ж, я выслушал тебя внимательно, Иисус Назарянин. Ты прозреваешь далеко, но не слишком ли ты самонадеян, не слишком ли ты уповаешь на людскую веру, забывая о низменной природе площадей? Ты в этом очень скоро убедишься за городской стеной, однако истории тебе не повернуть никак, эту реку никому не повернуть. Меня же одно удивляет: к чему ты зажигаешь пожар, в котором прежде всех сгоришь сам? Без кесарей не может жить мир, не может существовать могущество одних и покорство других, и напрасно ты тщишься навязать иной, придуманный тобой порядок как новую историю. У кесарей есть свои боги — они чтут не твоего отвлеченного Бога-Завтра, что в бесконечности всех «завтра» лишен определенных границ и принадлежит всем на равных основаниях, как воздух, ибо все, что можно равно дать, то ничто, то малоценно, то пустое, оттого-то кесарям и дано властвовать именем своим над каждым и над всеми. А среди всех кесарей, правящих в мире, достославного Тиверия отличили боги — его держава, Римская империя, простерлась на полмира. И потому под эгидой Тиверия я властвую над Иудеей и в этом вижу смысл жизни своей, и совесть моя спокойна. Нет выше чести чем служить непобедимому Риму!

— Ты не исключение, наместник римский, чуть не каждый жаждет властвовать хотя бы над одним себе подобным. В том-то и беда. Ты скажешь, так устроен мир. Порок всегда легко оправдать. Но мало кто задумывается над тем, что это есть проклятье рода людского, что зло властолюбия, которым заражены все — от старшины базарных подметальщиков до грозных императоров, — злейшее из всех зол, и за него однажды род человеческий поплатится сполна. Погибнут народы в борьбе за владычество, за земли, до основания, до самого корня друг друга изничтожат.

Понтий Пилат нетерпеливо вскинул руку, прервав речь собеседника:

— Остановись, я не ученик твой, чтобы благоговейно внимать тебе! Остановись! На словах сокрушить можно все что угодно. Но чтобы ты ни предрекал, Иисус Назарянин, напрасны усилия твои. Мир, управляемый властями, не может быть иным. Как он на том стоял, так на том и будет стоять: кто сильнее — у того и власть, и впредь миром будут править сильные. И порядок этот неизменен, как звезды на небе. Их никому не передвинуть. Напрасно ты болеешь за род людской, напрасно готов спасти его ценою жизни своей. Людей не научат ничему ни проповеди в храмах, ни голоса с неба! Они всегда будут следовать за кесарями, как стада за пастухами, и, преклоняясь перед силой и благами, почитать будут того, кто окажется беспощадней всех и могущественней всех, и славить будут полководцев и их битвы, где кровь хлынет потоками во имя владычества одних и покорения и унижения других. В том и будет доблесть духа, воспетая, передаваемая из поколения в поколение, в честь того будут возноситься знамена и звучать трубы, кровь будет вскипать в жилах, будет приноситься клятва — ни вершка чужим не отдавать; и от имени народа будут возводиться в необходимость военные действия, воспитываться ненависть к врагам отечества: пусть собственный царь процветает, а другого задавить, поставить на колени, поработить вместе с народом его, а землю отнять, — да в этом же вся сладость жизни, весь смысл бытия с незапамятных времен, а ты, Назарянин, хочешь все это осудить, проклясть, ты славить будешь убогих и бессильных, ты благодати повсюду хо-

чешь, забывая при этом, что человек — зверь, что он не может без войн, как плоть наша не может без соли. Подумай, в чем твои ошибки и заблуждения, хотя бы в этот час, перед тем как тебе идти с конвоем на Лысую гору. А на прощание я скажу тебе: ты видишь корень зла во властолюбии великом людей, в покорении земель и народов силой, но этим ты только усугубляешь свою вину, ибо кто против силы, тот против сильных. Не иначе как намекаешь ты на нашу Римскую империю своим провозглашением Царства справедливости, хочешь воспрепятствовать растущему могуществу Рима, всемирному его владычеству над миром, да только за одно такое намерение ты трижды заслуживаешь казни!

— Зачем так щедро, правитель добрый, вполне достаточно, я думаю, и одной казни. Но все-таки продолжим наш разговор, хоть я и понимаю, как сейчас маются под знойным солнцем палачи, ожидая меня на Лысой горе, так вот, продолжим наш разговор, но теперь уже по моему последнему, предсмертному желанию. Итак, наместник римский, ты уверен, что то и есть сила, что ты считаешь силой. Но есть сила иного рода — сила добра, и постичь ее, пожалуй, труднее и сложнее, и для добродетели не меньше мужества требуется, чем для войн. Послушай же меня, наместник, так получилось, что ты последний человек, с кем у меня разговор перед Лысой горой. И я имею желание открыться тебе, но ты не думай, я тебя не о помиловании буду просить...

— Это было бы просто смешно.

— Потому и объявляю заранее, чтобы ты, наместник римский, спокоен был на этот счет. Теперь уже лишь ты один об этом будешь знать. Терзался дух мой прошлой ночью, как думалось мне поначалу, беспричинно. Нет, не душно было в Гефсимании — на загородных всхолмлениях ветерок гулял. А только места я себе не находил, томление, страх и тоска обуревали меня, и звуки тягостные вроде бы из сердца моего в небо уходили. Мои приверженцы, ученики мои, пытались бодрствовать со мной, однако облегчение не приходило. И знал я, что час предназначенный наступает, что смерть грядет неотвратимая. И ужас обуял меня... Ведь смерть каждого человека — это конец света для него.

— Отчего же так? — не без злорадства глянул Понтий Пилат на подсудимого. — А как же быть, Назарянин, с идеей загробной жизни? Ведь ты же утверждал, что жизнь со смертью не кончается.

— Опять же судишь по молве, правитель! В загробном мире беззвучно дух витает, как тень в воде, — то отраженье неуловимой мысли скользит в пространстве запредельном, но плоти туда дороги нет. Ведь то совсем иная сфера, иного, не подлежащего познанию бытия. И времени течение там иное, не подлежащее земному измерению. А речь идет о жизни измеримой, жизни на земле. Меня томило странное предощущение полной покинутости в мире, и я бродил той ночью по Гефсимании, как привидение, не находя себе покоя, как будто я единственный из мыслящих существ остался во всей вселенной, как будто я летал над землей и не увидел ни днем, ни ночью ни одного живого человека, — все было мертво, все было сплошь покрыто черным пеплом отбушевавших пожаров, земля лежала сплошь в руинах — ни лесов, ни пашен, ни кораблей в морях, и только странный, бесконечный звон чуть слышно доносился издали, как стон печальный на ветру, как плач железа из глубин земли, как погребальный колокол, а я летал как одинокая пушинка в поднебесье, томимый страхом и предчувствием дурным, и думал — вот конец света, и невыносимая тоска томила душу мою: куда же подевались люди, где же мне теперь приклонить голову? И воззрел я в душе своей: вот, Господи, тот роковой исход, которого все поколения ждали, вот Апокалипсис, вот завершение истории разумных существ — так отчего же случилось такое, как можно было так погибнуть, исчезнуть на корню, потомство в

себе истребив, и ужаснулся я в догадке страшной: вот расплата за то, что ты любил людей и в жертву им себя принес. Неужто свирепый мир людской себя убил в свирепости своей, как скорпион себя же умерщвляет своим же ядом? Неужто к этому дикому концу привела несовместимость людей с людьми, несовместимость границ имперских, несовместимость идей, несовместимость гордынь и властолюбий, несовместимость пресыщенных безраздельным господством великих кесарей и следовавших за ними в слепом повиновении и лицемерном славословии народов, вооружившихся с ног до головы, кичащихся победами в неисчислимых междоусобных битвах? Так вот чем кончилось пребывание на земле людей, унесших с собой в небытие божественный дар сознания. О Господи, взроптал я, зачем же наделил ты умом и речью, свободными для созидания руками тех, что себя в себе убили и землю превратили в могильник общего позора! Так плакал я и стenal один в безмолвном мире и проклинал удел свой и Богу говорил: то, на что Твоя рука не поднялась бы, сам человек преступно совершил... Так знай же, правитель римский, конец света не от меня, не от стихийных бедствий, а от вражды людей грядет. От той вражды и тех побед, которые ты так славил в упоении державном...

Иисус перевел дыхание и продолжил:

— Такое вот видение было мне прошлой ночью, и долго думал я над ним, не спал, все бодрствовал в молитвах и, укрепившись духом, намерен был поведать ученикам моим об этом ниспосланном мне Отцом видении, но тут толпа большая явилась в Гефсиманию, и среди них Иуда. Иуда быстро обнял меня, поцеловал холодными устами. «Радуйся, Равви»,— сказал он мне, а пришедшим до того сказал: «Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его». И они меня схватили. И теперь, как видишь, я стою перед тобой, наместник римский. Я знаю, мне сейчас на Лысую гору. Однако ты был милостив ко мне, правитель, и тем доволен я, что перед смертью удалось мне поведать о том, что пережил я вчера в Гефсимании.

— А ты уверен, что я, внимая тебе, всему поверил?

— Это дело твое, наместник, верить или не верить. Скорее всего ты мне не веришь, ведь мы с тобой — как две разные стихии. Но при этом ты выслушал меня. Ведь не можешь же ты сказать себе, что ты ничего не слышал, и не можешь запретить себе об этом думать. А я могу сказать себе, что не унес с собой в могилу то, что открылось мне в Гефсимании. Совесть моя теперь спокойна.

— Скажи, Назарянин, а ты, случайно, не предсказывал ли на базарах?

— Нет, правитель, почему ты так спросил?

— Не пойму, то ли ты играешь, то ли ты в самом деле лишен страха и не боишься мучительнейшей казни. Неужто, когда тебя не станет, тебе так важно, что ты успел сказать, а что не успел, кто тебя выслушал, а кто нет? Кому это все нужно? Не суета ли это, все та же суета сует?

— Не скажи, правитель, не суета это! Ведь мысли перед смертью возносятся прямо к Богу, для Бога важно, что думает человек перед смертью, и по ним Бог судит о людях, некогда созданных им как наивысшее творение среди всего живого, ибо последние из наипоследних мыслей всегда чисты и предельно искренни и в них одна правда и нет хитрости. Нет, правитель, извини, но напрасно ты думаешь, что я играю. В младенчестве я играл в игрушки, большие никогда. А что до того, боюсь ли я мучений, скрывать тут нечего, я тебе о том уже говорил. Боюсь, очень боюсь! И Господа моего, Отца Всеблагого, молю, чтобы силы дал достойно перенести уготованную мне участь, не низвел бы меня до скотских воплей и не срамил иным путем... Так я готов, наместник римский, не задерживай меня больше, не стоит. Мне пора...

— Да, ты сейчас отправишься на Лысую гору. Так сколько же тебе лет, Иисус Назарянин?

— Тридцать три, правитель.

— Как ты молод! На двадцать лет меня моложе,— с жалостью заметил Понтий Пилат, покачивая головой, и, призадумавшись, сказал: — Насколько мне известно, ты не женат, стало быть, детей у тебя нет, сирот после себя не оставишь, так и запишем.— И умолк, собрался было что-то еще сказать, но, передумав, промолчал. И хорошо, что промолчал. Чуть было конфузу не наделал. А женщину ты познал? — об этом намеревался спросить. И сам смутился: что за бабье любопытство, как можно, чтобы почтенный муж спрашивал о таких делах.

Глянув в этот момент на Иисуса Назарянина, уловил по его глазам, что тот догадался, о чем хотел спросить прокуратор, и наверняка не стал бы отвечать на такой вопрос. Прозрачно-синие глаза Иисуса потемнели, и он замкнулся в себе. «С виду такой кроткий, а какая в нем сила!» — подивился Понтий Пилат, нащупывая ногой соскользнувшую с ноги сандалию.

— Ну хорошо,— повернул он вопрос в другую сторону, как бы компенсируя несостоявшийся разговор по поводу женщины.— А вот сказывали, что ты вроде подкидыш, так ли это?

Иисус улыбнулся открыто и добродушно, обнажая белые ровные зубы.

— Возможно, что и так в некотором роде.

— А точнее, так или не так?

— Точно, точно, правитель добрый,— подтвердил Иисус, чувствуя, что Понтий Пилат начинает раздражаться, ибо и этот вопрос был не очень к лицу прокуратору.— Я был «подкинут» моим Отцом Небесным через Духа святого.

— Хорошо, что больше ты никому не будешь морочить голову,— устало процедил сквозь зубы прокуратор.— А все же кто мать, тебя родившая?

— Она в Галилее, Марией зовут ее. Чувствую, что она сегодня подоспелет. Всю ночь была в дороге. Это я знаю.

— Не думаю, что ее обрадует конец ее сына,— мрачно изрек Понтий Пилат, собираясь наконец завершить затянувшийся разговор с этим юродивым из Назарета.

И прокуратор выпрямился под сводами Арочной террасы во весь рост, величественный, большеголовый, с крупным лицом и с твердым взглядом, в снежно-белой тоге.

— Стало быть, уточним для порядка,— постановил он и принялся перечислять.— Отец — как бишь его? — Иосиф, мать — Мария. Сам родом из Назарета. Тридцати трех лет от роду. Не женат. Детей не оставил. Подстрекал народ к мятежам. Грозился разрушить великий храм Иерусалимский и за три дня воздвигнуть новый. Выдавал себя за пророка, за царя Иудейского. Вот вкратце и вся история твоя.

— Не будем говорить о моей истории, а вот тебе скажу: ты останешься в истории, Понтий Пилат,— негромко изрек Иисус Назарянин, взглянув прямо и серьезно в лицо прокуратора.— Навсегда останешься.

— Еще что! — небрежно отмахнулся Понтий Пилат. Ему все-таки польстило это высказывание, но вдруг, переменяв тон, торжественно изрек: — В истории останется славный император Тиверий. Да будет славно его имя. А мы лишь его верные сподвижники, не более того.

— И все-таки в истории останешься ты, Понтий Пилат,— упрямо повторил тот, кто отправлялся на Лысую гору, за стены Иерусалима...

А та птица, то ли коршун, то ли орел, что кружила с утра над Иродовым дворцом, точно поджидая кого-то, наконец покинула свое место и медленно полетела в сторону, куда повели окруженного многочисленным конным конвоем, связанного, как опасного преступника, того, с кем так долго беседовал сам прокуратор всей Иудеи Понтий Пилат.

Прокуратор же все стоял на Арочной террасе, с удивлением и ужасом следя за странной птицей, летевшей вслед за тем, кого вели на Лысую гору...

— Что бы это значило? — прошептал прокуратор в недоумении и тревоге...

### III

Гот летний дождь в степи, что так долго собирался, еще с вечера темнея и вызревая на горизонте в безмолвных всполохах молний и передвижении туч, начался лишь глубокой ночью. Его тяжелые капли, с силой барабанившие по сухой земле, хлынувшие затем потоками, ощутил на своем лице Авдий Каллистратов, приходя в сознание, — они были первым даром жизни.

Авдий лежал там же, в кювете подле железной дороги, куда скатился с откоса, когда его сбросили с поезда. Первое, что он подумал: «Где я? Кажется, дождь». Он застонал, хотел передвинуться и от дикой боли в боку и свинцовой тяжести в голове снова впал в беспмятство, но через некоторое время все-таки пришел в себя. Спасительный дождь возродил его к жизни. Дождь лил щедро и могуче, и вода, стекая с откоса, скапливалась в кювете, где лежал Авдий. Пробираясь к человеку, она вспучивалась пузырями, поднималась все выше к горлу, и это заставило Авдия превозмочь себя, попытаться действовать, чтобы выползти из этого опасного места. В первые минуты, пока тело преодолевало себя, привыкая к движению, это было особенно мучительно. Авдию с трудом верилось, что он остался жив. Ведь как жестоко его избивали в вагоне, на какой страшной скорости спихнули с поезда, но какая все это ерунда по сравнению с тем, что он жив, жив вопреки всему! Жив и может передвигаться, пусть ползком, слышит, и видит, и радуется этому спасительному дождю, что хлещет как из ведра, омывая его разбитое тело, остужая руки, ноги и гудящую горячую голову, и будет ползти, пока хватит сил, — ведь скоро рассветет, и настанет утро, и снова начнется жизнь... И тогда он придумает, что ему делать, надо лишь как-то встать на ноги...

Тем временем, прорезая дождь и тьму, один за другим с грохотом пронесли несколько ночных поездов... И им он тоже был рад, все, что говорило о жизни, радовало его как никогда...

Авдий не хотел прятаться от дождя, даже если бы и мог, он понимал, что этот живительный дождь ему необходим. Только бы руки-ноги были целы, а уж ссадины, ушибы и даже жгучую боль в правом боку он готов был перенести безропотно... Ему все-таки удалось выползти, выкарабкаться на безопасное место, на небольшой пригорочек, и теперь он лежал под дождем, собираясь с духом, чтобы жить дальше...

Так возник он вновь из небытия, и, возникнув, восстанавливал все то, что составляло суть его жизни, и дивился тому, какой удивительной ясности и объемности мысли осеняют его...

И он сказал Тому, которого уводили от Понтия Пилата на Лысую гору: «Учитель, я здесь! Что мне делать, чтобы выволить Тебя, что мне делать, Господи? Как мне спасти Тебя? О как мне страшно за Тебя теперь, когда я вновь ожил!»

Исторический синхронизм — когда человек способен жить мысленно разом в нескольких временных воплощениях, разделенных порой столетиями и тысячелетиями, — присущ в той или иной мере каждому человеку, не лишенному воображения. Но тот, для кого события минувшего так же близки, как сиюминутная действительность, тот, кто переживает бывшее как свое кровное, как свою судьбу, тот мученик, тот трагическая личность, ибо, зная наперед, чем кончилась та или иная история, что повлекла она за собой, все предвидя, он лишь страдает, не в силах повлиять на ход событий, и приносит себя в жертву торжеству справедливости, которому никогда не состояться.



И эта жажда утвердить правду минувшего — свята. Именно так рождаются идеи, так происходит духовное сращение новых поколений с предыдущими и предпредыдущими, и на том свет стоит, и жизненный опыт его постоянно увеличивается, приращивается — добро и зло передаются из поколения в поколение в нескончаемости памяти, в нескончаемости времени и пространства человеческого мира...

И потому было сказано: вчерашние не могут знать, что происходит сегодня, но сегодняшние знают, что происходило вчера, а завтра сегодняшние станут вчерашними...

И еще было сказано: сегодняшние живут во вчерашнем, но если завтрашние забудут о сегодняшнем, это беда для всех...

Авдий очень волновался, отчаивался, когда наступил тот день накануне первого дня пасхи, и душным предпраздничным вечером пытался разыскать в нижнем городе дом, где совершалась накануне тайная вечеря с учениками, где преломил Он хлеб, сказав, что это тело Его, и разлил вино, сказав, что это кровь Его, ведь уже тогда можно было предупредить о грозящей опасности, о предательстве Иуды Искариота, о необходимости срочно, безотлагательно покинуть этот страшный город, поспешить как можно скорее в путь. В поисках этого дома он метался в уходящих сумерках по кривым и запутанным улочкам, зачем-то вглядываясь в лица прохожих и проезжих, точно бы у него могли быть здесь знакомые, но ни среди поспешавших в тот час к семейным трапезам горожан, ни среди тех, кто еще заглядывал в лавки перед их закрытием, он не обнаружил никого, кому бы мог довериться. А многие прохожие так и вовсе не знали, кто это такой — Иисус Христос. Мало ли в городе было бродяг. Какой-то сердобольный горожанин стал его звать к себе на пасху. Но Авдий, поблагодарив, отказался. Он надеялся предупредить Учителя. От волнения, от света в окнах, от сильных запахов в воздухе, разносившихся от очагов с едой, от парной духоты, исходившей от обильно политых для прохлады дорог и дворов, у него разболелась голова. Его стало мутить. И тогда он кинулся за город, в Гефсиманию, надеясь застать Учителя с учениками еще там в саду в молитве и беседе. Но напрасно! И здесь в тот поздний час он никого не обнаружил. В саду было безлюдно, и под тем большим фикусовым деревом, где схватила Учителя вооруженная толпа, тоже никого уже не было. Ученики отсюда разбежались, как и предсказывал сам Учитель...

Луна плыла над дальним морем и над сушей, уже перевалило за полночь — близился роковой день, последствия которого не избудутся веками и долго еще и разное будут сказываться на истории человечества. Но в Гефсимании и прилегающих к ней всхолмлениях, поросших садами и виноградниками, в тот час было тихо, лишь птицы ночные пели по кустам, лягушки перекликались, и журчал, катился, переливаясь при луне по каменистым древним стокам, неспящий Кедрон с кедровых гор, делясь на ручьи и вновь собираясь в единый поток. Все пребывало на своих местах и существовало, как испокон века, — тихо и благостно было на земле в ту ночь, и только он, Авдий, не находил себе покоя оттого, что все свершалось, как должно было свершиться, и он не мог ничего ни остановить, ни предотвратить, хотя знал наперед, чем все кончится. Напрасно плакал он и взывал в отчаянии к Богу-Завтра. И примириться не мог со свершившимся спустя одна тысяча девятьсот пятьдесят лет от того, когда это произошло, и в поисках себя, перенесая в минувшее бытие, мысленно вернулся в то начало, от которого через все круговращения времени протянулась нить и к его судьбе. Искал ответа, то устремляясь вспять на тысячелетия, то вновь возвращаясь в сегодняшнюю реальность под степной дождь, что лил на голову и плечи, то отрешаясь, то трезво взвешивая факты.

И позволял себе в благих порывах волюнтаризм по отношению к истории — концепцию Страшного суда над миром, сложившуюся го-

раздо позже, вкладывал в уста людей, живших задолго перед этим,— уж очень не терпелось Авдию, чтобы об этом сказано было самому Понтию Пилату, поскольку не исчезла тень Пилата, всеильного наместника империи, и по сей день. (Ведь есть же потенциальные пилаты и теперь!) И в таком опережении событий Авдий Каллистратов исходил из того, что изначальные законы мира действуют всегда, хоть и обнаруживают себя гораздо позже. Так и с идеей Страшного суда — давно уже ум человеческий терзала идея грядущего возмездия за все несправедливости, что творились на земле.

Но кто же такой был Иисус, от которого идет отсчет, как от нуля, в трагическом самосознании духа? И зачем все это надо было? Неужто лишь для того, чтобы у нас была причина для вечного покаяния? И почему с тех пор, как он взшел на крест, так долго не успокоятся умы? Ведь с тех дней многое, что претендовало на бессмертие, забылось и обратилось в прах. Всегда ли помнилось при этом, что жизнь людей вседневно совершенствуется: что было сегодня ново, то наутро старо, что было лучше, завтра меркнет перед еще более прекрасным, так почему же сказанное Иисусом не устаревает и не теряет свою силу? А все, что произошло от его рождения до казни на столбе, и более того — что пошло от него, затем во времена и поколения, неужто так необходимо и неизбежно было для человечества? И в чем наконец заключался смысл этого пути в истории людей? Что постигли они? К чему пришли? И если сокровенной целью была идея человеколюбия — идея гуманизма, как утверждают ученые умы, то есть путь человека к самому себе, к бесконечному совершенству духа в самом себе как наделенном разумом существе, то как же изначально сложно, тяжело и жестоко задуман был тот путь — кем и зачем? Могли ли люди просуществовать без этого каждым посвоему толкуемого гуманизма — от христианского до вселенского, от социально-эгоистического, классового, до принципиально абстрактного? И к чему в наш век давно обветшавшая на том пути религия?

Действительно, к чему? Ведь всем уже давно все ясно, даже детям. Разве материалистическая наука не вбила осиновый кол в могилу христианского вероучения, и не только его одного, не смела их решительно и властно с пути прогресса и культуры — единственного верного пути? Теперешнему человеку, казалось бы, нет нужды исповедовать веру, ему будет вполне достаточно знать об этих умерших учениях в порядке общей исторической осведомленности, не более. Ведь все это изжило себя, все извядло и пройдено. Но к чему мы пришли, что у нас есть взамен той милосердной, жертвенной, давно отброшенной на обочину, злорадно высмеянной реалистическими мировоззрениями идеи? Что у нас есть подобное, вернее превосходящее? Ведь новое несомненно должно быть лучше старого. И оно есть, это новое! Есть! На подходе новая могучая религия — религия превосходящей военной силы. В какие еще эпохи человеку доводилось всецело в зависимости от того, развяжут войну эти силы или воздержатся? Кто же теперь боги как не они, владельцы этого оружия? Вот разве что пока еще нет церквей, где молились бы на макеты ядерных снарядов на алтаре да били поклоны генералам... Чем не религия?

Таким раздумьям о жите-бытье предавался порой Авдий Каллистратов, и в этот раз, когда в неизмеримой протяженности мышления ему дано было проникнуть в минувшее как в данность, в суть тех событий, что были до него, — так новая вода протекает мимо старых берегов, — и тогда он вернулся к истоку тех дней, к той предпасхальной ночи в пятницу, чтобы разыскать Учителя, успеть сказать ему о своей тревоге, сообщить ему о тревоге наступающих через столетия времен, сообщить, что появился на исторической арене новый Бог — Бог Голиаф, подобно чуме поразивший сознание всех до од-

ного жителей планеты своей религией, развратной и универсальной, религией превосходящей военной силы. Как отозвался бы Учитель, как ужаснулся бы: куда грядет в этом бешеном состязании за военное превосходство род людской? И если бы Он вторично решил взвалить на себя ношу грехов наших и взошел бы на крест, то и тогда навряд ли тронул бы души людей, поработанные агрессивной религией превосходящей военной силы...

Но, к огорчению своему, Учителя он не застал. Иуда уже выдал его, и Его схватили и увели, и плакал Авдий в опустевшей Гефсимании обо всем, что было, и обо всем, что будет, один во всем саду и во всем мире. Так, спеша вспять, он объявился в Гефсимании, перешагивая через пращуров своих, в ту пору еще обитавших в северных чащобных лесах и поклонявшихся еще рубленным из бревен идолам, которым даже имя его — Авдий — еще не было известно. Оно только еще со временем будет заимствовано, а ему самому предстоит еще родиться в далеком двадцатом веке...

И долго сидел Авдий, рыдая, под тем фикусовым деревом, где был опознан, схвачен и уведен Учитель, и сокрушался Авдий так, как будто что-то могло от этого измениться в судьбах мира...

Потом он встал и, опечаленный, пошел в город. Там, за стенами ночного Иерусалима, жители спокойно спали спокойным сном в ту предпасхальную ночь, еще ни о чем не подозревая, и только он один в тревоге и смятении бродил по городу и думал: где Учитель, что с ним теперь? А потом его осенило, что еще не поздно спасти Учителя, и он стал стучаться в окна, во все окна, что попадались по пути: «Вставайте, люди, беда грядет! Пока еще есть время, спасем Учителя! Я уведу его в Россию, есть островок заветный на реке нашей, на Оке...»

По разумению Авдия, на том заветном островке посреди реки Учитель мог бы находиться в полной безопасности — там бы Он предавался размышлениям над превратностями мира, и, быть может, там родилось бы новое озарение, и Он прозрел бы новый путь человечеству в даль времен и даровал бы людям божественное совершенство, дабы путь к мессианской цели, возложенной Им на себя как непреложный долг, лежал бы не через кровь, и не пришлось бы расплачиваться за него мучениями и унижениями, которые Он, безумный, готов принять ради людей, за правду, опасную гонителям и потому искореняемую столь беспощадно: ведь ради счастья будущих поколений наложил Он на себя тот губительный долг, неизбежный на избранном им пути освобождения человека от гнета собственной причастности к извечным несправедливостям, ибо в естественных вещах несправедливости не существует, она бытует лишь меж людьми и идет от людей. Однако можно ли достичь цели таким антиисторичным способом и есть ли какая-либо уверенность в том, что этот урок Учителя не будет забыт всякий раз, когда, преследуя свою корысть, человек захочет забыть Учителя, заглушить и задавить свою совесть и найдет себе множество оправданий: мол, он-де вынужден был якобы злом отвечать на зло; как отвратить венец творенья — человека от пагубных страстей, вседневно сопутствующих ему и в благоденствии, и в невзгодах, и в бедности, и в пресыщении богатством, и когда он имеет власть, и когда он никакой власти не имеет; как отвратить венец творенья — человека от неумолимой жажды господства над другими, как отвратить от постоянных сползаний к вседозволенности: ведь самодовольство и надменность влекут человека повелевать и принуждать, когда он в силе, а когда не в силе, угодливостью, лицемерием и коварством стремиться к той же цели, и в чем же тогда подлинная цель жизни, в чем ее смысл, и кто, наконец, в состоянии ответить на этот вопрос так, чтобы ни одна душа не усомнилась в истинности и чистоте его ответа.

И ты, Учитель, идешь на лютейшую казнь, дабы человек вял

добру и состраданию — тому, что в первооснове отличает разумного от неразумного, ибо тяжко пребывание человека на земле, глубоко затаились в нем истоки зла. И разве достигим таким путем абсолютный идеал — ум, окрыленный свободой мышления, возвышенная личность, изжившая в себе анахронизм зла отныне и во веки веков, как изживают заразную болезнь? О если бы это было достижимо! Боже, зачем же Ты взвалил на себя такое бремя, чтобы исправить неисправимый мир? Спаситель, остановись, ведь те, ради которых Ты пойдешь на крест, на мученическую смерть, они же потом над Тобой надсмеются. Да, да, иные будут просто хохотать, иные будут издеваться над тщетою Твоей спустя тысячелетия, когда материалистическая наука, не оставив от веры в Бога камня на камне, объявит небылицей все, что с Тобой было: «Чудак! Глупец! Кто его просил? Зачем, к чему было устраивать тот спектакль с распятием? Кого этим удивишь? Что это дало, что это изменило в человеке хотя бы на волосок, хотя бы на йоту?» Так будут думать те поколения, которым Твой подвиг будет казаться чуть ли не нелепым, которые к тому времени постигнут устройство материи до ее изначальной сущности и, преодолев земное тяготение, вступив в космические сферы, оспаривать будут вселенную друг у друга в алчке кошмарной, стремясь к галактическому господству, и хоть и бесконечно пространство, но им и вселенной будет мало, ибо в отместку за неудачу на земле они готовы будут в угоду своим амбициям саму планету развеять в прах, планету, на которой Ты пытался возвестить культ милосердия. Так Ты подумай, что для них Бог, когда они себя выше Бога считают, что им чудак, повисший на кресте, когда, уничтожив всех разом, они самую память Твою сотрут с лица земли. О бедный, о наивный мой Учитель, бежим со мной на Волгу, на Оку, на тот уединенный островок посреди реки, и там ты будешь пребывать как на звезде небесной, всем отовсюду видной, но никому не доступной. Подумай, еще не поздно, у нас есть еще ночь и утро, быть может, Ты сумеешь еще избежать жестокой участи? Опомнись, неужто путь, Тобою избранный, единственно возможный путь?

Обуреваемый такими мыслями, Авдий с глубокой мукой во взоре бродил по улицам и площадям ночного жаркого Иерусалима, пытаясь вразумить Того, кто самим Господом послан был на землю для участи ужасной и трагической, как вечный пример и укор людям... Но таково свойство человека, что этого укора никто впрямую на свой счет принимать не будет и каждый отыщет себе оправдание: мол, он тут ни при чем, мол, без него вершатся судьбы мира и пусть себе вершатся... Сколько неизбывной иронии таилось в том замысле, страдающем недооценкой человеческой натуры...

Уже в который раз прохаживаясь у городских ворот, Авдий встретил бродячую собаку о трех лапах — четвертую, подбитую, она поджимала к животу. Умно и грустно посмотрела на него собака.

— Ну что, хромец,— сказал он псу, оглядывая его.— Ты такой же бездомный, как и я. Пошли со мной.

И до самого рассвета пес бродил вместе с Авдием. Все как есть понимал тот пес. А утром вновь в заботах и хлопотах проснулся город, с утра базары и рынки наполнили груженные вьюками верблюды, пригнанные из песков бедуинами, ослы и мулы, перевозившие грузы помельче, конные повозки с поклажей, носильщики с тюками на плечах — все пришло в действие, все — страсти, товары, галдеж — завертелось в общем колесе купли-продажи... Однако многие иерусалимцы стеклись к белостенному городскому храму и оттуда взбужденной толпой двинулись к римскому прокуратору Понтию Пилату. Примкнул к ним и Авдий Каллистратов: он понял, что речь идет о судьбе Учителя. И он пошел с ними к Иродову дворцу, но вооруженная стража не пропустила их к наместнику. И они остановились у дворца в ожидании. Наро́ду все прибывало, хотя жара стояла с са-

мого утра. Разные страсти влекли сюда разных людей. Какие только разговоры ни ходили в той беспокойной толпе: одни говорили, что пророка Иисуса Назорея прокуратор помирует властью, данной ему Римом, отпустит, чтобы он убрался из Иерусалима куда подальше и никогда больше сюда не возвращался, другие говорили, что одному из приговоренных в честь пасхи даруют жизнь и что помилованным этим будет Иисус, третьи попросту верили, что его спасет сам Яхве на глазах у всех, но все — и те, и другие, и третьи — ждали, ждали, не ведая, что происходило там, за оградами и стенами дворца. И много было таких в толпе, кто посмеивался над беднягой, расплачивающимся головой за потешный свой трон, глумились над обреченным чураком и сетовали: что, мол, прокуратор тянет, рубить так рубить сплеча, чего еще нянчиться, солнце вон как припекает, и до полудня все изжарятся на Лысой горе. Этот Иисус Назорей, он-де кого хочешь заговорит, кому угодно голову задурит. Ясное дело — треплет там языком и смущает прокуратора, чего доброго наместник римский еще возьмет да отпустит его, а тогда зачем же мы здесь стоим... И Иисус Назарянин хорош — наобещал с три короба, только где оно, его Царство Новое, а теперь его самого вздернут, как собаку... Так-то оно бывает...

Слушая их речи, Авдий возмущался. «Не смейте так говорить! Неблагодарные, низменные душонки! Как можно так осквернять и опознать великую борьбу человеческого духа с самим собой. Вам гордиться надо им, люди, его мерой мерить себя!» — в отчаянии кричал Авдий Каллистратов, обливаясь слезами в толпе иерусалимской. Но никто его не слышал, никто не замечал его присутствия. Ведь ему еще предстояло родиться в далеком двадцатом веке...

\* \* \*

Дождь, что хлынул среди ночи, постепенно пошел на убыль. Ушел, как пришел, еще куда-то пролиться ливнем. И наконец и вовсе стих, лишь изредка срываясь сверху запоздавшими каплями. А время близилось к рассвету, омытому и усыпанному звездами рассвету, — небо, еще темно-агатовое в глубине, после дождя все больше светлело по краям. Прохладой веяло от влажной почвы, от вытянувшихся за ночь трав.

Но, пожалуй, никто из обитавших в степи живых существ не ощутил в тот час радости бытия столь остро и благодарно, как Авдий Каллистратов, хотя самочувствие его и оставляло желать лучшего.

Но при этом Авдию повезло: раскаленный накануне воздух не успел охладиться за ночь, и он не замерз. И хотя он промок с головы до ног, и ушибы и травмы тоже давали знать, но он, презрев боль, сосредоточился и в ясновидении своем, дававшим ему возможность ощущать себя одновременно и в прошлом и в настоящем воспринимал жизнь заново, открывал ее как дар судьбы и оттого еще больше ценил саму возможность жить и мыслить. В тот час, когда дождь кончился, Авдий сидел под железнодорожным мостом, куда с трудом, собрав последние силы, доковылял впотымах...

Под этим мостом было относительно сухо, и он забрался сюда, как бродяга, и доволен был тем, что нашлось такое место где он мог переждать дождь и предаться размышлениям. Под мостом было гулко и звонко, как под высокими сводами средневекового собора. Когда над головой проходили поезда, это походило на орудийный шквал, обрушивающийся издали и постепенно уходящий вдаль. Хорошо, проторно думалось в ту ночь Авдию, и мысль, родившись, развивалась уже сама по себе и беспредельно и беспрепятственно влекла за собой его дух. Авдий думал то о Христе и Понтии Пилате, мысленно переносился в те времена, и грохот пронесшихся над ним поездов не мешал ему ощущать себя в древней Иудее среди гомонящей толпы

на Голгофе и как бы видеть своими глазами все, что там происходило, то припоминал Москву, свое недавнее пребывание там и посещение Пушкинского музея, где пела болгарская капелла, и вспоминал своего двойника, так поразительно похожего на него болгарского певца, и перед ним вставало его лицо с разверстым ртом. Какие возвышенные звуки исторгали голоса болгарских певцов, как возносили они его душу и мысль! Отец его, дьякон Каллистратов, очень любил церковное пение и, слушая его, плакал от умиления. Однажды кто-то передал отцу текст удивительной молитвы одной современной монахини. Молодая еще в те годы женщина, бывшая воспитанница, а затем и воспитательница детдома, приняла постриг в годы войны после того, как ее возлюбленный, с которым они прожили всего полтора месяца, погиб на военном корабле, потопленном германской подлодкой. Дьякон Каллистратов, читая тот «документ души», в котором соединялись и плач и молитва, всякий раз ронял слезу. Он очень любил, когда Авдий, тогда еще мальчишка, стоя в красном углу дома у старого пианино, читал ему вслух чистым отроческим голосом молитву о потопленном корабле. И Авдий заучил ее наизусть, ту молитву монахини, бывшей детдомовки:

«Еще только светает в небе, и пока мир спит перед восходом солнца, обращаю к Тебе, Всевидящий и Всеблагий, свою насущную молитву. Прости, о Господи, что своеволие проявляю и прежде вспоминаю не о Тебе, а снова докучаю своим делом, но я живу ради того, чтобы молитву сию произносить, пока я есть на этом свете.

Ты, Сострадающий, Благословенный, Правый, прости меня, что досаждаю тебе обращениями неотступными. В мольбе моей своекорыстия нет — я не прошу и толики благ земных и не молю о продлении дней своих. Лишь о спасении душ людских взывать не перестану. Ты, Всепрощающий, не оставляй в неведении нас, не позволяй нам оправданий искать себе в сомкнутости добра и зла на свете. Прозрение ниспосли людскому роду. А о себе не смею уст разомкнуть. Я не страшусь как должное принять любой исход — гореть ли мне в геенне или вступить в царство, которому несть конца. Тот жребий наш Тебе определять, Творец Невидимый и Необъятный.

Прошу лишь об одном, нет выше просьбы у меня, рабы Твоей, инокини, повинующейся словам любви Твоим, отшельницы, в отчаянии своем презревшей земную юдоль, отвергнувшей напрочь тщеславие и суету, чтобы в помыслах своих приблизиться к духу Твоему, Господи.

Прошу лишь об одном, яви такое чудо: пусть тот корабль плывет все тем же курсом прежним изо дня в день, из ночи в ночь, покуда день и ночь сменяются определенным Тобю чередом в космическом вращении Земли. Пусть он плывет, корабль тот, при вахте неизменной, при навсегда зачехленных стволах из океана в океан, и чтобы волны бились о корму и слышался бы несмолкаемый их мощный гул и грохот. Пусть брызги океана обдадут его дождем свистящим, пусть дышит он той влагой горькой и летучей. Пусть слышит он скрип палубы, гул машин из трюма и крики чаек, с попутным ветром следующих за кораблем. И пусть корабль держит путь во светлый град на дальнем океанском берегу, хотя пристать к нему во веки не дано...

Вот и все, более ничего не прошу в молитве своей ночедневной. И Ты прости, Всеблагий и Милосердный что докучаю просьбой странной, молитвой о затонувшем корабле. Но Ты — твердыня всех надежд высоких, земных и неземных. Ты был и остаешься Вездесущим. Всемогущим и Сострадающим началом всех начал. И поэтому с мольбой к Тебе идем как в прошлом, так и ныне и в грядущих днях. И потому, когда меня не станет и некому будет просить, пусть тот корабль плывет по океану и за пределом вечности. Аминь!»

Он и сам не понимал, почему ему опять припомнилась в ту ночь молитва монахини. И когда промелькнула еще мысль о том, что если

бы встретила ему та девушка, что приезжала в Учкудук на мотоцикле. Он и ей бы прочел эту молитву, самому стало смешно. Поневоле рассмеялся Авдий, дураком непутевым себя обозвал и представил, как бы она поглядела на него, скорчившегося под мостом в самом плачевном виде, словно скиталец-вор или незадачливый разбойник. И что при этом она подумала бы о нем, а он, видишь ли, еще молитву о корабле хочет ей прочесть. Сумасшедшим посчитала бы его она и, конечно, была бы права. Но даже сейчас, рискуя унижить себя в ее глазах, он хотел бы увидеть ее...

И до самого рассвета Авдий сидел под мостом, а над его головой громыхали пронсящие по степи поезда. Больше всего, однако, ему думалось о том, где теперь гонцы, бывшие попутчики его, что с ними. Наверно, пробилась уже через Жалпак-Саз и покатила дальше. Где теперь Петруха, Ленька и другие? Где теперь неуловимый, как оборотень, Гришан? И сожалел Авдий, что допустил промах, грубую ошибку, что Гришан восторжествовал, что победило его черное дело, что все так плохо кончилось. И все равно Авдий считал, что испытания, выпавшие на его долю в эти дни, были ему необходимы. Хоть ему и не удалось перевоспитать гонцов, но материал для выступления в газете он добыл интересный, и добыл собственным трудом.

Эти соображения несколько успокаивали Авдия, но душа его болела, и прежде всего за Леньку. Вот кого можно было бы вывести на путь истинный, но не удалось.

Припомнилось Авдию теперь все, что довелось ему узнать и увидеть в Примоюнкумских степях, — и та встреча его с волками, и то, как серая волчица перепрыгнула через его голову, вместо того чтобы вонзить в него клыки. Странно было это, очень странно — и навсегда запомнил он лютый и мудрый взгляд ее синих глаз.

Но вот над железной дорогой снова взошло солнце, и жизнь пошла по новому кругу. Чудесно было в степи после ночного дождя. Еще не наступила жара, и все степные просторы, сколько было видно вокруг, дышали чистотой, и пели в небе жаворонки. Заливались порхали степные птахи между небом и землей. А по степи, передвигаясь от горизонта к горизонту, шли поезда, напоминая о жизни, бурлящей далеко отсюда.

Гармония и умиротворенность царили в то утро в степи, напитавшейся минувшей ночью благодатной влагой небес.

Как только пригрело солнце, Авдий решил просушить одежду, стал снимать ее и ужаснулся — одежда была до того изодрана, что в ней стыдно было появиться на людях. Тело же его все покрывали ссадины, кровоподтеки и огромные синяки. Хорошо, что у него не было при себе зеркала, — увидев себя в зеркале, он бы испугался страшного вида своего, но и без зеркала понимал, что с ним: к лицу невозможно было притронуться.

И все-таки у него достало мудрости внушить себе, что все могло обернуться гораздо хуже, что он остался жив, а уже одно это — великое счастье.

Когда он раздевался под мостом, обнаружилась еще одна неприятность — паспорт и те немногие деньги, что были у него в карманах, пришли в негодность. Паспорт, изодранный при падении и намоченный под дождем, превратился в комок сырой бумаги. А из денег более или менее сохранились всего две ассигнации — двадцатипятирублевка и десятка. На эти деньги Авдию предстояло добраться до Москвы и далее до Приокска.

Невеселые мысли одолели Авдия Каллистратова. После изгнания из семинарии Авдию выпало жить в довольно стесненных условиях. С согласия сестры Варвары пришлось продать старое пианино, на котором она в детстве училась играть. В комиссионном магазине дали за пианино полцены, объясняя это тем, что музыкальные инструменты ныне не дефицит, их навалом, даже старые магнитофоны и то

девать некуда, а пианино и подавно. Пришлось согласиться и с такой ценой, поскольку другого выхода не было. И вот теперь остался совсем без ничего. Лучше не придумаешь!

Начался новый день, а значит, надо было жить, и снова материя бытия брала идеалиста Каллистратова за горло.

Всю ночь он провел под мостом в раздумьях, и теперь ему надо было решать, как выбраться отсюда, а кроме того, надо было подумать и о хлебе насущном.

И тут Авдию улыбнулось счастье. Когда рассвело, выяснилось, что под мостом, под которым он укрывался, проходила проселочная дорога. Правда, судя по всему, машины здесь ходили не часто. Неизвестно, сколько еще пришлось бы ждать попутки, и Авдий решил своим ходом добираться до ближайшего разъезда, а там доехать как-то до Жалпак-Саза. Решив двинуться в путь, Авдий стал осматриваться вокруг: не найдется ли какой-либо палки, чтобы опираться на нее в пути. Правое распухшее колено, разбитое при падении с поезда, сильно болело. Оглядываясь вокруг, Авдий посмеялся: «А вдруг Гришан выкинул ту палку, которой Петруха меня добил? Теперь-то она ни к чему ему!» Палки, разумеется, он не нашел, зато заметил, что по степи в сторону моста катит какая-то машина.

Это был грузовик с самодельной фанерной будкой над кузовом. В кабине рядом с шофером сидела женщина с ребенком на руках. Машина сразу затормозила. Шофер, дюжий темнолицый казах, не без удивления разглядывал Авдия из приоткрытого окна кабины.

— Парень, тебя что, цыгане избили? — неизвестно почему спросил он.

— Нет, не цыгане. Сам выпал из поезда.

— Ты не пьяный?

— Я вообще не пью.

Шофер и женщина с ребенком сочувственно заохали, заговорили между собой по-казахски, в их речи часто повторялось слово «бичара»<sup>1</sup>.

— Давай, слушай, садись, мы в Жалпак-Саз едем. А иначе умрешь один в степи, бичара. Тут машины не часто ходят.

Едва сдерживая слезы, предательски подступившие к горлу, Авдий обрадовался, как мальчишка.

— Спасибо, брат,— сказал он, прикладывая руку к груди.— Я как раз хотел попросить, чтобы вы меня захватили, если вам по пути. Трудно мне идти, с ногой плохо. Спасибо.

Шофер вышел, помог Авдию забраться в машину.

— Давай иди сюда. Я тебя приподниму, бичара. Да ты лезь, не бойся: там шерсть. Сдавать везу из совхоза. Как раз мягко будет тебе. Только смотри не кури.

— А я вообще некурящий. Не беспокойтесь,— заверил его Авдий самым серьезным образом.— Я всю ночь был под дождем, промок весь, а здесь согреюсь, отойду...

— Ладно, ладно! Я так просто сказал. Отдыхай, бичара.

Женщина выглянула из кабины, что-то сказала шоферу.

— Жена спрашивает, ты кушать хочешь? — пояснил шофер, улыбаясь.

— Очень хочу! — честно признался Авдий.— Спасибо. Если у вас есть что-нибудь, дайте, пожалуйста, я вам буду очень благодарен.

Авдию почудилось, что бутылка кислого овечьего молока и лепешка испеченного на очаге свежего хлеба, пахучего и белого, посланы ему свыше за муки той ночи.

Поев, Авдий крепко уснул на тюках с овечьей шерстью, от которых разлило жиром и потом. А машина катила по степи, еще сохранившей свежесть после ночного ливня. И этот путь был Авдию на пользу — как выздоровление после болезни.

<sup>1</sup> Бичара — несчастный, бедняга.



Проснулся он, когда машина остановилась.

— Приехали. Тебе куда надо? — выйдя из кабины, шофер стоял уже у заднего борта, заглядывая в кузов. — Парень! Ты жив?

— Жив, жив! Спасибо, — отозвался Авдий. — Мы уже в Жалпак-Сазе, выходит?

— Да, на станции. Нам сейчас на склад живсырья, а тебе куда?

— А мне на вокзал. Спасибо еще раз, что выручили. И жене вашей спасибо большое. Слов нет, чтобы вас отблагодарить.

Слезая с кузова с помощью шофера, Авдий застонал от боли.

— Совсем плохо тебе, бичара. Ты пойдя в больницу, — посоветовал Авдию шофер. — Надо палку тебе, тогда легче ходить будет.

До здания вокзала Авдий добирался целых полчаса. Хорошо еще по пути подобрал какой-то обломок доски, приспособил его как костыль под мышкой — так ему стало легче ковылять.

А над путями, над конструкциями эстакад, прожекторов и грузовых кранов, над проходящими и уходящими составами, над привокзальной площадью, вернее сказать, над всем пристанционным городком в степи гремели по сектору команды, разносились гудки локомотивов, то и дело радиослужба оповещала о прибытии и отбытии пассажирских поездов. После пребывания в глуши Авдий сразу почувствовал кипение жизни. Кругом сновали и спешили озабоченные люди — недаром Жалпак-Саз считался одной из самых крупных узловых станций Туркестана.

Теперь Авдию предстояло решать, как уехать, на каком поезде да и вообще как дальше быть, имея на все про все тридцать пять рублей. А билет в плацкартном вагоне только до Москвы — и то если в кассе будут места — стоит тридцать рублей. А на что жить? Как быть с ногой, ушибами и ссадинами? Обратиться в местную больницу или поскорее уезжать отсюда? Углубившись в свои мысли, Авдий проковылял через станционные помещения, душные и людные. В изодранной одежде, в синяках да еще с этой нелепой доской-горбылем вместо костыля он невольно привлекал внимание — многие на него оглядывались. Уже выйдя на перрон к расписанию поездов, Авдий заметил, что за ним следит милиционер.

— А ну постой, парень! — остановил его милиционер, приближаясь. Раздраженный, строгий взгляд его не предвещал ничего хорошего. — Ты чего здесь делаешь? Кто ты такой?

— Я?

— Да, ты.

— Да вот хочу уехать. Расписание смотрю.

— А документы есть?

— Какие документы?

— Обыкновенные: паспорт, удостоверение личности, справка с места работы.

— Есть только я, это самое...

— А ну предъяви.

Авдий замялся:

— Понимаете ли, я, это самое, товарищ, товарищ...

— Товарищ лейтенант, — подсказал раздражительный милиционер.

— Так вот, товарищ лейтенант, я должен вам сказать...

— Что ты должен сказать — это мы потом узнаем. Давай документы.

Авдий не сразу достал из кармана комок сырой бесформенной бумаги, что был некогда его паспортом.

— Вот, — протянул он милиционеру. — Это мой паспорт.

— Паспорт! — милиционер презрительно глянул на Авдия. — Ты чего мне голову дуришь? И это паспорт! Бери его назад и пошли проследуем в отделение участка. Там разберемся, кто ты такой.

— Да я, товарищ лейтенант...— смущаясь своего вида, доски-костыля и быстро собирающихся вокруг случайных зевак, неуверенно заговорил Авдий,— я, понимаете ли, корреспондент газеты.

— Какой ты корреспондент!— возмутился милиционер: уж очень явно и нагло лгал задержанный.— А ну пошли, корреспондент!

Стоящие вокруг зеваки злорадно засмеялись.

— Ишь что придумал — корреспондент он!

— А может, еще министром иностранных дел назовешься?

Пришлось ковылять за раздражительным лейтенантом через зал ожидания. И теперь уже все, кто встречался на пути оглядывались на Авдия, перешептывались и посмеивались. Когда они проходили мимо одного семейства, расположившегося с вещами на большой деревянной скамейке, до слуха Авдия донеслись обрывки фраз.

Маленькая девочка. Мама, мама, смотри, кто это?

Женщина. Ой детонька, это бандит. Видишь, его поймал дядя милиционер.

Мужской голос. Да какой это бандит. Мелкий жулик, воринка, не больше.

Женский голос. Ой не скажи, Миша. Это он с виду такой жалкий. А попадись ему в темном переулке — прирежет...

Но самая ужасная неожиданность ожидала Авдия Каллистратова впереди. Войдя вслед за лейтенантом в одну из дверей многочисленных привокзальных помещений, он очутился в довольно просторной милицейской комнате с окном, выходящим на площадь. Какой-то младший милицейский чин, сидевший у телефона за столом, при появлении лейтенанта привстал.

— Все в порядке, товарищ лейтенант,— доложил он.

— Сались, Бекбулат. Вот еще один залетный,— кивнув на Авдия, сказал лейтенант.— Видишь, какой красавец! Да еще корреспондент!

Оглядевшись с порога по сторонам, Авдий чуть не вскрикнул — так ошеломило его зрелище, представшее его глазам. В левом углу около входной двери за грубо сваренной из арматурного железа решеткой, поделившей комнату от пола до потолка, сидели, точь-в-точь как звери в зверинце, гонцы — добытчики анаши: Петруха, Ленька, Махач, Коля, двое гонцов-диверсов и еще какие-то ребята — всего человек десять — двенадцать, почти вся команда за исключением Гришана. Самого среди них не было.

— Ребята, что с вами? Как же это случилось? — невольно вырвалось у Авдия.

Никто из гонцов не откликнулся. Они даже не шевельнулись. Гонцы сидели в клетке на полу впритык один к другому, очень изменившиеся, отчужденные и мрачные.

— Это не твои ли? — странно усмехнулся раздражительный лейтенант.

— Ну конечно! — заявил Авдий.— Это же мои ребята.

— Вот оно что! — удивился лейтенант, внимательно глянув на Авдия.— Он что, ваш, что ли? — спросил он гонцов.

Никто не отозвался. Все молчали, опустив глаза.

— Эй вы, я вас спрашиваю! — разозлился лейтенант.— Что молчите? Ну что ж, подождем. Вы у меня еще запляшете, как караси на сковороде, вы меня попомните, когда каждому отваяют по триста семнадцатой статье, вы еще запоете про дальние края. И не надейтесь, что малолетние, мол, что прежде не судились. Это не в счет. Да, да, не в счет. Вы пойманы с поличным! — кивнул он на знакомые Авдию рюкзаки и чемоданы с анашой, разбросанные по полу. Иные из них были открыты, иные порваны, кое-где анаша рассыпалась, и в комнате стоял тяжелый дух степной конопля. На столе возле

телефона валялись спичечные коробки и стеклянные баночки с пластилином.— Вы у меня помолчите! Обиделись, видите ли! Вы у меня с поличным попались! — повторил лейтенант, суровая, и голос его зазвонел от гнева.— Вот улики! Вот вещественные доказательства! Вот ваш дурман!— Он стал пинать рюкзаки с анашой.— Из вашей шайки только один мерзавец ускользнул от облавы. Но и он будет сидеть в этом углу за решеткой, мерзавцы вы эдакие. Встать! Кому говорю — встать! Ишь расселись. Стоять и смотреть сюда. Не отводить глаз! Кому велено не отводить глаз! Такие подонки, как вы, стреляли в меня из-под вагонов, и от меня вам пощады не дожидаться! Сволочи, сопляки, а уже начинают вооружаться! Что же дальше-то будет! Я ваш враг навек, а я умею бороться. По всем поездкам и на всех путях я буду хватать вас, как бешеных собак, вам нигде не укрыться от меня!— в ярости кричал он.— Так я вас спрашиваю, кто он, этот оборванец, выдающий себя за корреспондента? Кто он, этот тип?— И, схватив Авдия за руку, он подтащил его к решетке.— Отвечайте, пока я вас добром спрашиваю? Он ваш?

Какое-то мгновение все молчали. И, глядя в мрачные лица гонцов, Авдий никак не мог освоиться с тем, что лихие парни, которые вчера еще останавливали поезд в степи, кайфовали и сбрасывали его на ходу из вагона, теперь сидели в клетке — без брючных ремней, без обуви, босоногие (должно быть, это делалось, чтобы они не сбегали, когда их выводят по нужде), жалкие и ничтожные.

— В последний раз вас спрашиваю,— задыхаясь от возбуждения, переспросил лейтенант.— Этот тип, которого я задержал, ваш или не ваш?

— Нет, не наш,— зло ответил за всех Петруха, неохотно подняв глаза на Авдия.

— Как же не ваш, Петр? — поразился Авдий, подступив на самодельном костыле к самой решетке.— Вы что же, забыли меня? — укорил он тех, кого отделяла от него решетка.— Мне вас так жаль,— добавил он.— Как же это случилось?

— Тут не место для ваших соболезнований,— оборвал его лейтенант.— Сейчас я буду допрашивать каждого в отдельности,— пригрозил он гонцам.— И если кто соврет — а это все равно выяснится,— тому добавят статью. Ну-ка говори ты,— обратился он к Махачу.

— Нэ наш,— ответил тот, скривив мокрые губы.

— А теперь ты,— приказал лейтенант Ленке.

— Не наш,— ответил Ленка и тяжело вздохнул.

— Не наш,— буркнул рыжеголовый Коля.

И все они до одного не признали Авдия.

Поведение гонцов, как это ни странно, задело Авдия Каллистратова. То, что все они отреклись от него, односложно, коротко, наотрез, оскорбило и унизило его. Авдий почувствовал, что его бросило в жар, голова раскалывалась.

— Как же так, как же вы можете говорить, что не знаете меня?— в растерянности недоумевал он.— Да я же...

— Вот что, корреспондент «Нью-Йорк таймс».— издевательски прервал его лейтенант.— Довольно слов. «Да я», «да ты». Ты вот что, ты давай не морочь мне голову. И без тебя хватает дел. Иди-ка ты отсюда, не путайся под ногами. И не лезь к этим. Против таких, как они, есть закон и закон беспощадный — за изготовление, распространение наркотиков и торговлю ими немедленное осуждение. С такими, как они, разговор короткий. А ты, друг корреспондент, иди быстрее отсюда. Иди и не попадайся больше на глаза.

Наступило молчание. Авдий Каллистратов переминался с ноги на ногу, но не уходил.

— Ты слышал, что тебе сказал товарищ лейтенант? — подавал голос милиционер, который все это время заполнял за столом какие-то бумаги.— Иди, пока не поздно. Скажи спасибо и иди.

— А ключ у вас есть от этих дверей? — указал Авдий на замок, висящий на железной двери.

— А тебе-то что? Есть, конечно,— ответил лейтенант, не понимая толком, к чему клонит Авдий.

— Тогда откройте,— сказал Авдий.

— Еще чего! Да ты кто такой? — возмутился лейтенант.— Да я тебя!

— Вот-вот, я и хочу, чтобы меня сейчас же посадили за решетку. Мое место там!— Лицо Авдия пылало, на него снова накатило бешенство, как тогда в вагоне, когда он выбрасывал на ветер драгоценную ананшу.— Я требую, чтобы меня арестовали и судили,— выкрикивал Авдий,— как и этих несчастных, что заблудились в мире, где столько противоречий и неисчислимых зол! Я должен нести такую же ответственность, как и они. Ведь я занимался тем же, что и они. Откройте дверь и посадите меня вместе с ними! На суде они подтвердят, что я виновен так же, как и они! Мы покаемся в своих грехах, и это послужит нам очищением...

Тут милиционер отложил в сторону бумаги и вскочил.

— Да он же сумасшедший, товарищ лейтенант. Посмотрите только на него. Сразу видно, что он ненормальный.

— Я в здравом уме,— возразил Авдий.— И я должен понести равное с ними наказание! В чем же мое сумасшествие?

— Постой, постой,— заколебался лейтенант. Очевидно, за всю свою нелегкую службу в транспортной милиции он никогда еще не сталкивался с такого рода диким случаем: ведь расскажи кому об этом, не поверят.

Наступило молчание. И тут кто-то всхлипнул, потом, давясь слезами, зарыдал. Это плакал, отвернувшись к стене, Ленька. Петруха зажимал ему рот и что-то угрожающе шептал на ухо.

— Вот что, товарищ,— вдруг смягчившись, сказал Авдию лейтенант.— Пошли поговорим, я тебя выслушаю со всем вниманием, только в другом месте. Выйдем поговорим. Пошли, пошли, послушайся меня.

И они снова вышли в зал ожидания, битком набитый разным проезжим народом. Лейтенант подвел Авдия к свободной скамейке, предложил сесть и сам сел рядом.

— Очень тебя прошу, товарищ,— с неожиданной доверительностью сказал он,— не мешай нам работать. А если что и не так, не сердись. Уж очень трудная у нас работа. Да ты и сам видел. Я тебя прошу, уезжай, куда тебе надо. Ты свободен. Только больше к нам не приходи. Понял, да?

И пока Авдий собирался с мыслями, думая, как бы объяснить лейтенанту свое поведение и высказать свои соображения насчет участи задержанных гонцов, тот встал и, раздвигая толпу, ушел.

Проезжие от нечего делать снова стали искоса поглядывать на Авдия: слишком уж он выделялся даже среди этой разношерстной толпы. Избитый, с лицом в синяках, в изодранной одежде, с доской под мышкой вместо костыля, Авдий вызывал у людей и любопытство и презрение разом. К тому же его только что привел сюда милиционер.

А Авдию становилось все хуже... Жар поднимался, и голова болела невыносимо. События минувшего дня, ночной ливень, распухшая непослушная нога и, наконец, новая неожиданная встреча с гонцами, которым теперь грозило страшное возмездие за их преступле-

ние,— все это не прошло для него бесследно. Авдия стало знобить, бросило сначала в дрожь, потом снова в жар. Он сидел съежившись, вобрав голову в плечи, не в силах встать с места. Злополучный костыль валялся у его ног.

И тут перед помертвевшим взглядом Авдия все поплыло как в тумане. Расплываясь, утрачивая четкие очертания, лица и фигуры людей вытягивались, съеживались, накладывались друг на друга. Авдия мутило, мысли мешались, ему было трудно дышать. Авдий сидел сам не свой в этом душном, парном многолюдном зале среди случайных людей. «Ой, как худо мне,— думал он,— и до чего же странно устроены люди. Никто никому не нужен. Какая пустота вокруг, какая разъединенность». Авдий ожидал, что это состояние скоро пройдет, что он снова станет самим собой и тогда попытается чем-то помочь тем, кому грозило тюремное заключение. То, что они только вчера выбрасывали его на ходу из поезда, надеясь, что он разобьется насмерть, сейчас отошло на второй план. Эти преступники, мерзавцы, тупые убийцы должны были бы вызывать в нем ненависть, желание отомстить, а не сострадание. Но идеалист Авдий Каллистратов не желал усваивать уроки жизни, и никакая логика тут не помогала. Подсознательно он понимал, что поражение добытчиков анаши — это и его поражение, поражение несущей добро альтруистической идеи. Ему оказалось не по силам повлиять на добытчиков, чтобы спасти их от страшной участи. И вместе с тем он не мог не понимать, как уязвим он из-за этого своего всепрощения, к каким роковым последствиям оно может привести...

И все-таки мир не без добрых людей, отыскались они и в той толпе случайных людей на вокзале. Какая-то пожилая женщина, сидящая, повязанная платком, сидящая с вещами на скамейке напротив Авдия, очевидно, поняла, что человеку нездоровится и он нуждается в помощи.

— Гражданин,— начала было она и тут же чисто по-матерински спросила:— Сынок, тебе нехорошо? Уж не заболел ли ты?

— Похоже что заболел, но вы не беспокойтесь,— попытался улыбнуться Авдий.

— Это как же не беспокоиться? Ой батюшки, да что же это такое, уж не упал ли ты откуда? А жар у тебя сильный,— сказала она, притронувшись ко лбу Авдия.— И глаза совсем больные. Ты вот что, сынок, никуда не уходи, а я пойду узнаю, может, тут врачи какие есть или, может, тебя в больницу какую определяют. Нельзя же тебя так оставить...

— Да не беспокойтесь, не стоит,— говорил ей Авдий слабым голосом.

— Нет, нет. Ты посиди тут маленько. Я вмиг обернусь...

Поручив присматривать за вещами соседке с малыши детьми, сердобольная женщина куда-то ушла.

Сколько она отсутствовала, Авдий не помнил. Ему стало совсем худо. Теперь он понял, в чем дело: у него сильно болело горло. Невозможно было даже проглотить слюну. «Наверное, ангина»,— подумал Авдий. Он настолько ослабел, что ему хотелось лечь, растянуться прямо на полу — пусть на него наступают — и забыться, забыться, забыться...

Авдий уже было стал засыпать, как вдруг толпа в зале ожидания рядом зашевелилась, послышался гул голосов. Открыв глаза, он увидел, что из милицеской комнаты выводят гонцов. Их со всех сторон окружал наряд милиции. Раздражительный лейтенант шел впереди — люди расступались перед ним, за ним следовали гонцы в наручниках. Они шли под конвоем один за другим — Петруха, Махач, Лень-

ка, Коля, двое диверсов и другие, всего человек десять. Их выводили из вокзала.

Пересиливая себя, Авдий с трудом поднял костыль и кинулся вслед за гонцами. Ему казалось, что он передвигается очень быстро, но почему-то он так и не смог догнать подконвойных. Столпившиеся зеваки тоже мешали Авдию пробраться к гонцам. Но как гонцов увозили, он увидел: неподалеку от дверей вокзала стояла закрытая машина с зарешеченной дверцей позади — двое милиционеров подхватывали гонцов под мышки и заталкивали внутрь.

Потом в машину сел конвой, и дверца захлопнулась. В кабину рядом с водителем сел лейтенант, и машина покатила прочь от вокзальной площади. Толпа высказывала всевозможные предположения.

— Бандитов поймали. Целую шайку.

— Не иначе как те, что убивали людей по квартирам.

— Ой страх-то какой!

— Да разве ж это бандиты? Пацаны какие-то.

— Пацаны, говоришь? Теперешние пацаны кого хочешь убьют и глазом не моргнут.

— Да нет же, люди хорошие, это добытчики анаши. Ну да, те самые, что анашу провозят. Тут их ой сколько ловят на товарняках..

— Сколько ни лови, а они все прут..

— Да что же это такое..

Так закончилась горькая эпопея гонцов. И Авдий чувствовал в душе необъяснимую опустошенность...

Плохо соображая, где он прежде сидел, Авдий потащился в зал ожидания. Шел наугад, с трудом волоча ноги, и тут ему встретилась та самая седая женщина.

— Да вот он, вот! — сказала она медсестре в белом халате. — Куда же ты ушел, сынок, ведь мы тебя обыскались. Вот и медсестра пришла. У тебя небось жар, так они боятся, не заразная ли у тебя болезнь.

— Не думаю, — слабым голосом ответил Авдий.

Медсестра пощупала лоб Авдия.

— Высокая температура, — сказала она. — А расстройство есть? Понос с гнилостным запахом, — уточнила она.

— Нет.

— Ну все равно. Надо пройти в медпункт. Там доктор посмотрит еще.

— Да я готов.

— А вещи ваши где?

— Вещей у меня нет..

#### IV

В жалпак-сазской станционной больнице, куда положили Авдия Каллистратова, врач Алия Исмаиловна, хмуроватая казашка, осмотрев больного, строго сказала:

— Положение у вас достаточно сложное. Травму ноги должен посмотреть специалист. А пока будем лечить антибиотиками, чтобы заражение не распространилось. Но вы, больной, должны рассказать мне все, что с вами было. Я спрашиваю вас не из любопытства, а как врач...

Среди всевозможных встреч и разлук хоть раз в жизни случается то, что не назовешь иначе как встречей, ниспосланной Богом. Но как велик риск, что подобная встреча ни к чему не приведет, че-

ловек постигает лишь потом — и тогда ему на мгновение становится страшно при мысли, а что если бы та встреча оказалась напрасной... Ведь исход встречи зависит уже не от Бога, а от самих людей.

Нечто похожее произошло с Авдием Каллистратовым. Вечером третьего дня к нему в больницу пришла она — та, о которой он мог лишь мечтать, потому что не знал, кто она, а мечтать ведь можно обо всем на свете...

Днем после уколов и таблеток температура несколько снизилась и к вечеру уже не поднималась выше тридцати семи и трех. Но опухоль на ноге пока еще не спала, и одно ребро с правой стороны оказалось сломанным, на рентгене обнаружилась трещина. В целом же дела шли на поправку. На субъективное самочувствие Авдий не мог пожаловаться. Врач Алия Исмаиловна оказалась врачом-терапевтом в полном смысле слова, исцеляющим не только знаниями, но и самим своим обликом. Все ее назначения, сама манера разговаривать внушали пациенту спокойствие и уверенность, помогали ему сопротивляться болезни. Ее психотерапия была сдержанной и мудрой, и Авдий после всех перипетий и потрясений особенно остро ощутил, как необходимы подчас человеку людские заботы и внимание. Откровенно говоря, он даже обрадовался, что заболел и попал в руки хорошего врача, — так ему было покойно и славно в тихой и скромной станционной больнице, расположенной в маленьком парке.

Окно с белыми занавесками, выходящее на аллею, было приоткрыто. Жара еще не спала. Двое соседей по палате вышли во двор подышать и покурить, а Авдий лежал в одиночестве и то и дело измерял себе температуру. Ему очень не хотелось, чтобы температура снова поднялась. Мимо окна простучали острые каблучки, и женский голос справился о нем у дежурной сестры. Кто бы это мог быть? Голос показался Авдию знакомым. Вскоре сестра открыла дверь в палату.

— Вот он здесь лежит.

— Здравствуйте! — сказала посетительница. — Это вы Каллистратов?

— Я, — не веря своим глазам, ответил Авдий.

Это была та самая поразившая воображение Авдия девушка, которая приезжала на мотоцикле в Учкудук. Авдий так растерялся, что почти не слышал ее, о смысле ее слов он догадывался лишь потому, что давно готов был с полуслова понимать ее. Оказалось, что девушку зовут Ингой Федоровной. И пришла она сюда потому, что Алия Исмаиловна, с которой она дружит вот уже третий год — с тех пор, как приехала сюда заниматься научной работой, рассказала ей о нем и он ее очень заинтересовал: ведь они, то есть он, Авдий, и она, Инга Федоровна, занимаются в чем-то близкими вопросами, связанными с анашой, поскольку она ведет работу по изучению моюнкумской популяции, — дальше следовало какое-то сложное латинское название той самой степной конопли-анаши — и потому она пришла познакомиться с ним и узнать, не требуется ли ему какая информация... Ведь журналисту, насколько она может судить, необходимы и научные сведения.

О Боже, какая там еще научная информация, когда он, оглушенный ее неожиданным появлением, лишь каким-то чудесным образом угадывал, о чем идет речь и видел только ее глаза, и казалось ему в тот миг, что ни у кого больше нет таких глаз, — так астроном открывает неизвестную звезду среди миллиона подобных звезд, а ведь для непосвященного человека все звезды абсолютно одинаковы. Он, казалось, воспарил от одного ее взгляда...

Все это Авдий восстановил потом, оставшись наедине и немного успокоившись, а в те первые минуты он выглядел полным идиотом. Правда, Инга Федоровна могла это отнести за счет высокой температуры. Ведь только идиот может ляпнуть сразу: «Откуда вы узнали,

что я все время думал о вас?» Она в ответ лишь удивленно подняла брови, отчего сделалась еще красивей, и загадочно улыбнулась. Восприми она эту дурацкую по своей примитивности фразу как банальность или пошлость, как бы потом казнил, как проклинал бы себя Авдий. Но милостив Бог, у нее хватило такта не придавать его словам особого значения. И они с удовольствием вспоминали, как она приезжала в Учкудук, как они впервые увиделись, и посмеялись тому мимолетному, но запомнившемуся обоим случаю. А еще больше позабавил Ингу Федоровну рассказ о том, как днем позже Авдий и вместе с ним двое бывалых гонцов, Петруха и Ленька, спрятались в травах, когда над степью появился вертолет. Оказывается, она, Инга Федоровна, на том вертолете летела вместе с небольшой научной экспедицией из Ташкента: один из ташкентских НИИ занимается химико-биологическим уничтожением конопли-анаша в местах ее произрастания. Теперь Авдию стало ясно, что борьба с этим злом велась в двух направлениях: искоренение наркомании и искоренение растений, содержащих наркотики. И, как водится в мире, решить эту проблему было не так-то просто. В частности, из объяснений Инги Федоровны выходило, что найти химические вещества для уничтожения конопли не только в фазе вегетации, но и как вида, нанося удар по системе размножения, вполне возможно, но этот метод нес с собой еще большее зло — он разрушал почву: земля минимум на двести лет выходила из строя. Губить природу ради борьбы с наркоманией — это ведь тоже палка о двух концах. В задачу Инги Федоровны как раз входили исследования, направленные на поиски оптимальных способов решения этой сложной экологической проблемы. О Боже, подумал Авдий, если бы природа обладала мышлением, каким тяжелым грузом вины легла бы на нее эта чудовищная взаимосвязь между дикорастущей флорой и нравственной деградацией человека.

\* \* \*

Называя возникшие у него отношения с Ингой Федоровной «новой эпохой в своей судьбе», Авдий Каллистратов не допускал никакого романтического преувеличения. Буквально на второй день по возвращении в Приокск он написал ей большое письмо, и это при том, что почти на каждой железнодорожной станции, где поезд стоял более пяти минут, он отправлял ей открытку. Было что-то неуместное, не вмещавшееся в обычное понятие влюбленности в том напряжении чувств, в той страсти, какие испытывал Авдий с тех пор, как ему довелось встретить Ингу Федоровну на своем жизненном пути.

Он писал ей: «Что со мной творится — уму непостижимо! Я ведь считал, что я довольно сдержанный человек, что разум и эмоции находятся у меня в необходимом равновесии, а теперь я не в состоянии анализировать себя. А впрочем, к своему удивлению, я и не хочу ничего анализировать. Я весь во власти невиданного счастья, свалившегося на меня подобно горному обвалу, я видел в одном документальном фильме, как белая снежная лавина сметает все на своем пути,— и я счастлив, что эта лавина обрушилась на меня. Не было и нет на свете другого такого счастливого человека, только мне так повезло, и я, как фанатичный дикарь, пляшущий с бубном, благодарю судьбу за все испытания, которые она послала мне нынешним летом: ведь она оставила меня в живых, дав узнать то, что можно узнать лишь в водовороте жизни. Я бы сказал, что в пределах одной личности любовь — это настоящая революция духа! А коли так, то да здравствует революция духа! Сокрушающая и возрождающая одновременно!

Прости, Инга, за этот сумбур. Но я люблю тебя, у меня нет ни сил, ни слов, чтобы выразить все, что ты значишь для меня...

Теперь разреши перевести дух. Я уже побывал в редакции. Коротко рассказал что и как. Меня торопят с очерком, мой очерк ждуть.



Возможно даже, что получится серия очерков на эту злободневную тему. И если мои ожидания оправдаются, я смогу надеяться на постоянную работу в этой газете. Но пока еще рано об этом говорить. Главное, с завтрашнего дня собираюсь садиться за работу. Ведь я умышленно не вел никаких записей. Придется все последовательно восстанавливать в памяти.

Как бы то ни было, судьбы гонцов, которых — что вполне закономерно — ожидает справедливый и строгий суд за распространение наркотиков, не оставляют меня в покое. Ибо они для меня живые люди со своими горькими, изломанными судьбами. Особенно жалко мне Леньку. Пропадает парнишка. И вот тут возникает та нравственная проблема, о которой мы с тобой много говорили, Инга. Ты совершенно права, Инга, что любое злодеяние, любое преступление людское в любой точке земли касается нас всех, даже если мы находимся далеко, и не подозреваем об этом, и не хотим ничего об этом знать. И что греха таить, подчас даже посмеиваемся: смотрите, мол, до чего дошли те, которых мы привычно называем противниками нашими. Но газеты правильно делают, что пишут о преступлениях, происходящих за нашими пределами, в этом есть глубокий смысл. Ибо в мире существует некий общий баланс человеческих тягот, люди — единственные мыслящие существа во вселенной, и это их свойство — хотим мы того или нет — превыше всего, что их разделяет. И мы придем к этому, несмотря на все наши противоречия, и в этом спасение разума на земле.

Как мне отрадно, Инга, ведь я могу писать тебе о том, что меня особо волнует, ибо найду нужный отклик в твоей душе — в этом я уверен. Я боюсь надоесть тебе своими бесконечными письмами — меня тянет писать их одно за другим, без остановки, иначе я не выдержу. Я все время должен быть с тобой, хотя бы мысленно. До чего бы мне хотелось снова оказаться в Моюнкумских степях и снова увидеть тебя в первый раз на том самом мотоцикле, на котором ты появилась в Учкудуке и сразу покорила меня, поборника церковного новомыслия. Стыдно признаться, но я был настолько поражен твоим появлением, что и теперь не могу отделаться от чувства робости и восторга. Ты спустилась с небес, как богиня в современном облики...

И теперь, вспомнив об этом, не могу простить себе, что не сумел, когда мне довелось соприкоснуться с гонцами, сделать так, чтобы в балансе человеческих мучений поубавилась бы, пусть на мизерную долю, доля худа и прибавилась бы доля добра. Я рассчитывал, что они убоятся Бога, но деньги оказались для них превыше всего. И вот теперь меня мучает мысль, как помочь хотя бы тем гонцам, с которыми меня столкнула судьба, с которыми я имел какой-то опыт общения. Я имею в виду прежде всего раскаяние. Вот к чему мне хотелось указать им путь. Раскаяние — одно из великих достижений в истории человеческого духа — в наши дни дискредитировано. Оно, можно сказать, полностью ушло из нравственного мира современного человека. Но как же может человек быть человеком без раскаяния, без того потрясения и прозрения, которые достигаются через осознание вины — в действиях ли, в помыслах ли, через порывы самобичевания или самоосуждения?.. Путь к истине — повседневный путь к совершенству...

О Боже, опять я за свое! Прости меня, Инга. Это все оттого, что чувства переполняют меня, оттого, что я постоянно думаю о тебе. Мне постоянно кажется, что я не высказал и тысячной доли того, что хотелось бы высказать тебе...

Как бы мне хотелось быстрее, как можно быстрее — ведь уже целую неделю мы порознь — снова увидеть тебя...

И эта нарастающая тоска — единственное, что меня сейчас тревожит. А все остальные житейские проблемы чудесным образом утратили вдруг свое значение, и кажутся мне совсем не важными...»

\* \* \*

Стоял уже конец июля, и наступил день, когда я вышел из редакции газеты удрученный. Я был очень опечален, ибо в отношении редактора к моим степным очеркам произошла внезапная перемена. Да и мои товарищи в редакции, вдохновлявшие меня на поездку за ударным материалом, теперь тоже вели себя как-то странно, словно они были в чем-то виноваты передо мной.

А мне это было очень тяжело. Когда я чувствую, что люди испытывают какую-то вину передо мной, для меня это так мучительно, что мне хочется быстрее освободить их от угрызений совести, чтобы ничто не смущало их при виде меня. Ибо тогда я сам чувствую себя виноватым в их вине...

Уходя из редакции, я дал себе слово больше не приходить сюда и не мозолить больше никому глаза — пусть сами приглашают, когда понадобится. А если не понадобится, ничего не поделаешь. Буду знать, что ничего не вышло и не на что надеяться.

Я шел по бульвару этой самой прекрасной порой российского лета, и ничто не радовало меня. Сколько сил и стараний я приложил, чтобы написать свои степные очерки, чтобы передать в них мою гражданскую боль, я писал их как откровение и исповедь, но тут вторглись какие-то соображения о престиже страны (подумать только, чего ради мы создаем тайны от самих себя?), которые грозят похоронить мои с таким трудом добытые очерки. Передать не могу, до чего мне было обидно. И что самое странное — редактор позволил себе сказать:

— А впрочем, надо подумать, может быть, стоит изложить все это в докладной записке в вышестоящие инстанции. Для принятия соответствующих мер.

Да, так и сказал.

А я не утерпел и возразил ему:

— До каких пор мы будем уверять, что даже катастрофы у нас самые лучшие?

— При чем тут катастрофы? — нахмурился редактор.

— А при том, что наркомания — это социальная катастрофа.

С тем я и ушел. И единственное, что облегчало мое существование, — это были письма Инги, которые я перечитывал всякий раз, как только у меня щемило сердце при воспоминании о ней. Есть безусловно есть на свете телепатия — иначе чем объяснить, что ее письма предвосхищали то, о чем я думал, то, о чем болела моя душа, то, что больше всего волновало и тревожило меня. Эти письма все больше питали мои надежды и вселяли в меня уверенность: нет, судьба не обманула меня и тем более не насмеялась надо мной, ведь современным молодым женщинам нравятся вовсе не такие, как я, неудачник, семинарист, с архаичным церковным представлением о нравственных ценностях. Ведь как проигрывал я на фоне суперменствующих молодых. И однако в письмах Инги я находил столько доверия, не побоюсь сказать, уважения и, самое главное, недвусмысленного ответного чувства, что это окрыляло меня и возвышало в собственных глазах. Какое счастье, что встретились мне именно она, моя Инга! И не в том ли магия любви — в обоюдном стремлении друг к другу...

Нас пока еще не касались никакие житейские проблемы. И тем больше радовало меня то, что они существуют и что их надо решать. Мне необходимо было найти постоянное рабочее занятие, приносящее постоянный заработок. Пока еще я жил на продажу отцовских старинных книг, что очень тяготило меня. Я подумывал о том, чтобы уехать к Инге в Азию, обосноваться там, устроиться на работу и быть рядом с ней. Я готов был поступить подсобным рабочим в ее экспедицию и делать все, чтобы она успешно вела свои исследования. Ведь

исследования эти были отныне небезразличны для меня. В них соединились наши общие интересы: я пытался искоренить наркоманию путем нравственных усилий, она пыталась решить эту задачу с другой стороны — научным путем. И очень подкупал меня ее энтузиазм. Ведь нельзя было сказать, что ее работа числилась среди модных, особо престижных направлений или заведомо сулила быструю служебную карьеру. Строго говоря, Инга была едва ли не единственным человеком, занимающимся вопросом уничтожения дикорастущей коноплянаши всерьез, как научной проблемой. Немаловажную роль в выборе направления ее работы, мне кажется, сыграло и то, что она была местной, джамбульской жительницей и училась она опять же в Ташкенте, и все это, вместе взятое, не могло, конечно, не повлиять на характер ее интересов.

У Инги были и свои сложности в жизни. С прежним мужем, военным летчиком, они не жили уже почти три года. Разошлись, когда у них родился сын. Сейчас, кажется, летчик собирался жениться на другой. Потому-то им и необходимо было встретиться в последний раз, чтобы поставить точки над «и» прежде всего относительно их сына. Игорек находится у бабушки с дедом в Джамбуле, в докторской семье, но Инга очень хотела, чтобы малыш постоянно жил с ней. И когда она написала мне в письме, что надеется осенью взять сыночка с собой в Жалпак-Саз — ей обещали место в детсаду железнодорожников, я очень порадовался за нее и ответил, что она может во всем полностью полагаться на меня.

И тогда она написала мне, что ей очень хотелось бы осенью в ее отпуск поехать вместе со мной в Джамбул навестить малыша и ее родителей. Надо ли говорить, как тронул меня этот ее план совместной поездки. И я ответил ей, что готов в любую минуту приехать к ней и быть в ее распоряжении, и что вообще во всей своей жизни я хотел бы исходить из наших общих, и прежде всего ее, интересов, и что счастье свое я вижу в том, чтобы быть ей полезным и нужным.

Все шло к тому, что осенью нам предстояло определить свою судьбу. Я жил этим. И очень, очень волновался, думая о том, как мы поедем в Джамбул к Игорьку и Ингиным родителям. Ведь от этой поездки очень многое зависело. Но на нее требовались какие-то денежные средства. Один проезд чего стоил. В этом смысле я рассчитывал на серию своих моюнкумских очерков, но, увы, тут все сорвалось, и не по моей вине. Тогда я подрядился временно работать ночным корректором в областной типографии, и это давало мне небольшой заработок...

И вот наступил день, когда я получил письмо от Инги, где она спрашивала, смог бы я приехать в Жалпак-Саз в последние дни октября — тогда на ноябрьские праздники мы бы вместе отправились в Джамбул...

Я бежал на городской телеграф как сумасшедший, чтобы послать ей телеграмму.. Надо было поскорей продать книги и на эти деньги отправиться в путь.

## V

Обер-Кандалов обнаружил Авдия Каллистратова на вокзале, когда высматривал себе команду для поездки на облаву в Моюнкумы.

Кто бы ни поручил это дело Оберу-Кандалову, он глядел в корень: Кандалов — бывалый человек подвизавшийся в должности коменданта при железнодорожной пожарной охране в прошлом военный, причем из штрафбата (а это что-то да значит!), подходил для экстренной операции в степи как нельзя лучше. Кстати, у Кандалова при этом были свои тонкие соображения. Он рассчитывал, что, ока-

зав услугу облуправлению с выполнением плана мясосдачи, таким образом реабилитирует себя и при ходатайстве нужных областных инстанций восстановится в партии. Вель исключили его не за какие-то там хищения или грубые злоупотребления, а всего-навсего за такое редкое и, главное, абсолютно не наносящее никакого ущерба государству дело, как мужеложество в штафбатовских казармах, к которому он принуждал, используя служебное положение. Ну был такой грех, ну принуждал он, сверхурочный старшина, иных идеологически сомнительных личностей, особенно сектантов разных да наркоманов, так чего их жалеть? И сколько можно за это бить? Хватит того уже, что от него ушла жена, потому он и стал пить горькую, хотя и прежде не был трезвенником. А ведь если разобраться, он очень нужный человек. Вот поручили серьезное дело, так он в момент сколотил группу. Пошел глубокой ночью на вокзал, пригляделся к народу, наметанным глазом обнаружил, кто задавлен нуждой и согласится отправиться с ним в Моюнкумы, чтобы хорошо и быстро подзаработать. Так он набрел и на Авдия Каллистратова.

Авдия заставила принять предложение Кандалова не только нужда: произошло нечто столь непредвиденное и тревожное для него — он не застал Ингу Федоровну в Жалпак-Сазе, хотя прибыл по ее письму, — что он впал в уныние, хотя и не ясно было, стоило ли так переживать. Летел самолетом, а для этого надо было приехать в Москву, в Москве целый день доставал билет, из Алма-Аты ехал поездом. Домчался, можно сказать, за пару дней, а когда наконец добрался до домика во дворе лаборатории близ больницы, то нашел его запертым, а в скважине замка записку от Инги Федоровны. В этой записке она просила получить от нее письмо до востребования на вокзальной почте. Авдий, естественно, бросился на почту. Письмо ему сразу выдали. Он с замирающим сердцем зашел в скверик и здесь, сидя на скамейке, прочел:

«Авдий, родной мой, прости. Если бы я знала, что выйдет такая неувязка, я дала бы тебе знать, чтобы ты пока не выезжал. Боюсь, что моя телеграмма тебя не застала и ты уже в пути. Дело в том, что в Джембул прибыл неожиданно мой бывший муж. С тем чтобы затеять судебное дело по поводу нашего Игорька. Я вынуждена срочно выехать в Джембул. Возможно, я чем-то спровоцировала его на этот приезд: я ему открыто написала, что собираюсь начать новую жизнь с человеком, который мне глубоко интересен. Я должна была поставить его в известность, поскольку у нас сын.

Прости еще раз, мой любимый, что так получилось. Возможно, оно и к лучшему: все равно рано или поздно пришлось бы решать этот вопрос. Так уж лучше с самого начала покончить с этим.

Когда ты приедешь, дверь будет заперта. Ключ я оставляю нашей лаборантке Сауле Алимбаевой. Она прелестный человек. Ты ведь знаешь, где наша лаборатория. Возьми пожалуйста, у нее ключ и живи у меня. Чувствуй себя как дома и подожди меня. Жаль, что Алия Исмаиловна сейчас уехала в отпуск, с ней тебе было бы интересно пообщаться. Ведь она к тебе относится с большим уважением. Думаю, за неделю я обернусь. Постараюсь сделать все, чтобы отныне нам ничего не мешало. Я очень хочу, чтобы ты увидел Игорька. Думаю, вы подружитесь, и очень хочу, чтобы мы жили все вместе, а перед этим, как и собирались, съездили к моим родителям и ты бы познакомился с ними, с Федором Кузьмичом и Вероникой Андреевной. Не огорчайся, Авдий, любимый мой, и не грусти. Я постараюсь сделать все, как лучше.

Твоя Инга.

PS. Если приедешь в нерабочее время, адрес Алимбаевой: ул. Абая, 41. Мужа ее зовут Даурбек Иксанович.

Письмо, которое Авдий прочитал залпом, повергло его в раздумье. Он был ошеломлен: дела принимали новый оборот, которого он никак не ожидал. Авдий не пошел за ключом, а остался в зале ожидания, решив вначале поразмыслить. Потом, поместив чемодан, чтобы не мешал, в камеру хранения, пошел в сквер, посидел там, побродил возле знакомой больницы и, найдя уединенную тропинку между станцией и городком, стал ходить по ней взад-вперед...

В степи стояла поздняя осень. Было уже прохладно. Размытые, рыхлые облака, как барашки в океанской дали, белели в выцветшем за лето октябрьском небе, деревья наполовину облетели, и под ногами валялись жухлые багряно-коричневые листья. Огороды тоже уже убраны и оголились. На улицах Жалпак-Саза было пустынно, уныло. В воздухе, слабо поблескивая, летала паутина, неожиданно прикасаясь к лицу. Все это наводило на Авдия грусть. А на станции, подавляющей своей индустриальной мощью огромное степное пространство, стоял грохот, лязг, шла жизнь, не останавливающаяся ни на минуту, подобно пульсу. Все так же на бесчисленных путях маневрировали поезда, сновали люди, хрипели на всю округу по радио диспетчера.

И опять Авдию вспомнились те летние дни, вспомнился конец эпопеи гонцов. И в который раз в этой связи возвращался Авдий Каллистратов к размышлениям о раскаянии. И чем больше думал, тем больше убеждался, что раскаяние — понятие, возрастающее по мере жизненного опыта, величина совести, величина благоприобретенная, воспитывающаяся, культивирующаяся человеческим разумом. Никому, кроме человека, не дано раскаиваться. Раскаяние — это вечная и неизбывная забота человеческого духа о самом себе. Из этого вытекает, что любое наказание — за проступок ли, за преступление — должно вызвать в душе наказуемого раскаяние, иначе это равносильно наказанию зверя.

С этими мыслями Авдий вернулся на вокзал. И вспомнился ему тот раздражительный лейтенант и захотелось поинтересоваться, припомнит ли тот его, и узнать, как сложилась судьба гонцов, добытчиков анаши — Петрухи, Ленки и других. К этому побуждала Авдия и еще одна причина: он всеми силами старался отвлечься от того, что томило и беспокоило его, как сгущающаяся гроза на горизонте, — от мыслей об Инге Федоровне. Всю свою жизнь и свое будущее теперь он пропускал сквозь эту призму — его жизнь определялась состоянием дел в далеком Джамбуле. Нет, раз он бессилен что-либо предпринять, нельзя думать об этом, надо бежать, бежать от этих мыслей. Но, к сожалению, раздражительного лейтенанта Авдию обнаружить не удалось. Когда Авдий постучал в дверь милицейской комнаты, к нему подошел какой-то милиционер.

— Вам чего?

— Да я, понимаете ли, одного лейтенанта хотел увидеть, — начал объяснять Авдий, предчувствуя, что из этой затеи ничего не выйдет.

— А как фамилия его? Лейтенантов у нас много.

— К сожалению, фамилия его мне не известна, но если бы увидел, я бы сразу его узнал.

— А зачем он вам?

— Как бы вам объяснить — поговорить, побеседовать хотел...

Милиционер с интересом оглядел его:

— Ну, посмотри, может, и найдешь своего лейтенанта.

Но в комнате за столом у телефона на этот раз сидел не с кем-то разговаривал незнакомый человек. Авдий извинился и вышел. Выходя, глянул мельком на железную клетку, где сидели прежде пойманные преступники. На этот раз она была пуста.

И опять, как он ни старался того избежать, Авдий вернулся к не-

отступно томящим его мыслям. Что с Ингой? Он все еще не шел за оставленным Ингой ключом: знал, что, оказавшись один на один с терзающими душу мыслями в пустом доме Инги, он еще сильнее почувствует свое одиночество. Он мог ждать и на вокзале, если бы знал, что с Ингой и когда она вернется. Авдий пытался представить себе, что происходит сейчас там, в Джамбуле, как тяжело приходится его любимой женщине, а он ничем не может ей помочь. А что, если ее родители, чтобы не лишать ребенка отца, будут настаивать, чтобы она наладила отношения с мужем. Да, дело вполне могло принять и такой оборот, и тогда ему ничего не оставалось бы кроме как вернуться восвояси. Авдий зримо представил себе блестящего военного летчика, эффектного, в форме и погонах, какого-нибудь майора, не меньше, и понимал, что на его фоне он, Авдий, сильно бы проигрывал. Авдий был уверен, что для Инги всякие там звания и внешний блеск роли не играют, но кто знает, а вдруг для родителей Инги имеет значение, кого видеть в зятях — военного летчика, отца Игорька, или странного человека без определенных занятий?

Вечерело. С наступлением темноты Авдий еще больше мрачнел. На битком набитом людьми вокзале царила полутьма, было душно, накурено, и уныние Авдия достигло крайней степени. Ему казалось, что он в темном и мрачном лесу. Совсем один. Осенний ветер гудит в верхушках деревьев, скоро начнется снегопад, и снег засыплет лес и его. Авдия, с головой, и все потонет в снегу, все забудется... Авдию хотелось умереть, и если бы он в тот час узнал, что Инга не вернется или вернется не одна, а с тем чтобы, забрав вещи и книги, уехать со своим военным летчиком, он не раздумывая бы вышел и лег под первый поезд...

Именно в тот тягостный час, уже поздно вечером, Авдия Каллистратова обнаружил на вокзале Жалпак-Саза Обер-Кандалов, подбиравший подходящую команду для моюнкумской «сафары». Видимо, Обер-Кандалов был не лишен проницательности, во всяком случае он безошибочно понял, что Авдий в душевном разброде и не находит себе места. И действительно, когда Обер-Кандалов предложил Авдию махнуть на пару дней в Моюнкумскую саванну подзаработать на выгодной шашке, тот сразу же согласился. Он готов был на все, лишь бы не сидеть в одиночестве и не ждать у моря погоды. К тому же ему подумалось, что, пока он вернется из Моюнкумов с заработанными деньгами, возможно, появится и Инга Федоровна и все прояснится: или он (о счастье!) останется навсегда с любимой, или ему придется уехать и найти в себе силы выжить... Но такого исхода он страшился...

И в тот же вечер Обер-Кандалов отвез Авдия в распоряжение пожарной охраны, где тот и переночевал на свободной койке...

А утром следующего дня всей командой отправились с колонной машин на облаву в Моюнкумскую саванну. На веселое дело ехали...

\* \* \*

И теперь они творили над Авдием Каллистратовым суд. Пятеро заядлых алкоголиков — Обер-Кандалов, Мишаш, Кепа, Гамлет-Галкин и Абориген-Узюкбай. Если точнее, то Гамлет-Галкин и Абориген-Узюкбай только при сем присутствовали и пытались, правда робко и жалко, как-то смягчить свирепость тех троих, вершивших суд.

А дело было в том, что на Авдия к вечеру накатило опять такое же безумие, как тогда в вагоне, и это послужило поводом для расправы. Облава на моюнкумских сайгаков на него так страшно подействовала, что он стал требовать, чтобы немедленно прекратили эту бойню, призывал озверевших охотников покаяться, обратиться к

Богу, агитировал Гамлета-Галкина и Узюкбая присоединиться к нему, и тогда они втроем покинут Обер-Кандалова и его приспешников, будут бить тревогу, и каждый из них проникнется мыслью о Боге, о Всеблаготворце и будет уповать на Его безграничное милосердие, будет молить прощения за то зло, которое они, люди, причинили живой природе, потому что только искреннее раскаяние может облегчить их.

Авдий кричал, воздевал руки и призывал немедленно присоединиться к нему, чтобы очиститься от зла и покаяться.

В своем неистовстве он был нелеп и смешон, он вопил и метался, точно в предчувствии конца света,— ему казалось, что все летит в тартарары, низвергается в огненную пропасть.

Он хотел обратиться к Богу тех, кто прибыл сюда за длинным рублем... Хотел остановить колоссальную машину истребления, разогнавшуюся на просторах моюнкумской саванны,— эту всесокрушающую механизированную силу...

Хотел одолеть неодолимое...

И тогда по совету Мишаша его скрутили веревками и бросили в кузов грузовика прямо на туши битых сайгаков.

— Лежи там, бля, и подыхай. Нюхни сайгачьего духу! — крикнул ему Мишаш, хрипя от натуги.— Зови теперь своего Бога! Может, Он, бля, тебя услышит и спустится к тебе с неба...

Стояла ночь, и луна вошла над Моюнкумской саванной, где прокатилась кровавая облава и где все живые твари и даже волки увидели своими глазами крушение мира...

Крушители же, за исключением Авдия Каллистратова, на беду свою очутившегося в тот день в Моюнкумах, единодушно торжествовали...

И за это его собирались судить...

\* \* \*

Стащив Авдия с кузова, Мишаш и Кепа приволокли его к Оберу и силой заставили встать перед ним на колени. Обер-Кандалов сидел на пустом ящике, раскинув полы корящегося плаща и широко растопырив ноги в кирзовых сапогах. Освещенный светом подфарников, он казался неестественно громадным, насупленным, до крайности зловецким. Сбоку, возле костерка, все еще пахнущего подгорелым шашлыком из свежей сайгачатины, стояли, поживаясь, Гамлет-Галкин и Абориген-Узюкбай. Они уже были изрядно под хмельком и оттого в ожидании оберовского суда над Авдием нелепо улыбались, о чем-то шушукаясь, подгалкивая друг друга и перемигиваясь.

— Ну что? — изрек наконец Обер, презрительно взглянув на Авдия, стоящего перед ним на коленях.— Ты подумал?

— Развяжите руки,— сказал Авдий.

— Руки? А почему они у тебя связаны, ты об этом подумал? Ведь руки связывают только мятежникам, заговорщикам, бунтарям, нарушителям порядка и дисциплины! Нарушителям порядка, слышал? Нарушителям порядка!

Авдий молчал.

— Ну ладно, попробуем развязать тебе руки, посмотрим, как ты поведешь себя.— смилостивился Обер.— А ну развяжите ему руки,— приказал он,— они ему сейчас будут нужны.

— И на хрена, бля, развязывать,— недовольно бурчал Мишаш, разматывая веревку за спиной Авдия.— Таких надо, как щенят, топить сразу. Таких надо в три погибели гнуть, в землю вгонять.

Только теперь, когда его развязали, Авдий почувствовал, как затекли у него плечи и руки.

— Ну что, просьбу твою мы выполнили,— сказал Обер-Кандалов.— У тебя есть еще шанс. А для начала на, выпей!— И он протянул Авдию стакан водки.

— Нет, пить я не буду,— наотрез отказался Авдий.

— Да подавись ты, шваль!— Резким движением Обер выплеснул содержимое стакана прямо в лицо Авдию. Тот, от неожиданности чуть не захлебнувшись, вскочил. Но Мишаш и Кепа снова навалились, придавили Авдия к земле.

— Врешь, бля, будешь пить!— рычал Мишаш.— Я ж говорил, таких топить надо! А ну, Обер, налей-ка еще водки. Я ему в глотку залью, а не будет пить, прибью, как собаку.

Края стакана, хрустнувшего в руке Мишаша, порезали Авдию лицо. Захлебнувшись водкой и собственной кровью, Авдий вывернулся, стал отбиваться руками и ногами от Мишаша и Кепы.

— Ребята, не надо, бог с ним, пусть не пьет, сами выпьем!— жалобно скулил Гамлет-Галкин, бегая вокруг дерущихся. Абориген-Узюкбай юркнул за угол машины и испуганно выглядывал оттуда, не зная, как быть: то ли остаться на месте— водки вон сколько еще не допили,— то ли бежать от беды подальше... И только Обер-Кандалов, восседая на своем ящике, как на троне, точно за цирковым представлением следил.

Гамлет-Галкин подскочил к Оберу:

— Останови их, Обер, дорогой, ведь убьют— под суд пойдем!

— Под суд!— высокомерно хмыкнул Обер.— Какой еще тебе суд в Моюнкумах? Я здесь суд! Поди потом докажи как и что. Да, может, его волки задрали. Кто видел, кто докажет?

Авдий потерял сознание, упал им под ноги, и они принялись пинать его сапогами. Последняя мысль Авдия была об Инге: что будет с ней, ведь никто и никогда не сможет любить ее так, как он.

Он уже не слышал ничего, в глазах у него помутилось, и ему почему-то привиделась серая волчица. Та самая, которая тем жарким летом перепрыгнула через него в конопляной степи...

— Спаси меня, волчица,— вдруг вырвалось у Авдия.

Он точно бы интуитивно почувствовал, что волки, Акбара и Ташчайнар, сейчас приближаются к своему логову, занятому в ту ночь людьми. Зверей тянуло к привычному ночлегу, вот почему они возвратились, надеясь, вероятно, что люди уже покинули их лощину и отправились куда-нибудь подальше...

Но громада грузовика по-прежнему устрашающе темнела все на том же месте—оттуда доносились крики, возня, звук тупых ударов...

И снова волкам пришлось повернуть в степь. Измученные, неприкаянные, они удалялись вслепую, куда глаза глядят... Не было им жизни от людей ни днем ни ночью... И медленно брели они, и луна освещала их темные силуэты с поджатыми хвостами...

А суд, вернее самосуд, продолжался... Пьяные в дым облавщики не замечали, что подсудимый Авдий Каллистратов, когда его в очередной раз сбивали кулаками, почти не пытался встать.

— А ну, вставай, поповская морда,— понуждали его крепкими пинками и матом то Мишаш, то Кепа, но Авдий лишь тихо стонал. Рассвирепевший Обер-Кандалов схватил обвисшего, как мешок, Авдия, поднял над землей и, держа за шиворот, стал выговаривать, еще больше стервенев от своих слов:

— Так ты нас, сволочь, Богом решил утратить, страху на нас



нагнать, глаза нам Богом колоть захотел, гад ты эдакий! Нас Богом не запугаешь — не на тех нарвался сука. А сам-то ты кто? Мы здесь задание государственное выполняем, а ты против плана, сука, против области, значит, ты — сволочь, враг народа, враг народа и государства. А таким врагам, вредителям и диверсантам нет места на земле! Это еще Сталин сказал: «Кто не с нами, тот против нас». Врагов народа надо изничтожать под корень! Никаких поблажек! Если враг не сдается, его уничтожают к такой-то матери. А в армии за такую агитацию дают вышку — и разец! Чтоб чисто было на нашей земле от всякой нечисти. А ты, крыса церковная, чем занимался? Саботажем! Срывал задание! Под монастырь хотел нас подвести. Да я тебя придушу, выродок, как врага народа, и мне только спасибо скажут, потому как ты агент империализма, гад! Думаешь, Сталина нет, так управы на тебя не найдется? Ты, тварь поповская, становись сейчас на колени. Я сейчас твоя власть — отрекись от Бога своего, а иначе конец тебе, сволочь эдакая!

Авдий не удержался на коленях, упал. Его подняли.

— Отвечай, гад,— орал Обер-Кандалов.— Отрекись от Бога! Скажи, что Бога нет!

— Есть Бог! — слабо простонал Авдий.

— Вот оно как! — как ошпаренный заорал Мишаш.— Я ж говорил, бля, ты ему одно, а он тебе в отместку другое!

Задохнувшись от злости, Обер-Кандалов снова затряс Авдия за шиворот.

— Знай, боголюбец, мы сейчас тебе устроим такой концерт, век не забудешь! А ну тащите его вон на то дерево, подвесим его, подвесим гада! — кричал Обер-Кандалов.— А под ногами костерок разведем. Пусть подпалится!

И Авдия дружно поволокли к корявому саксаулу, раскинувшегося на краю лощины.

— Веревки тащи! — приказал Обер-Кандалов Кепе.

Тот кинулся к кабине.

— Эй вы там! Узюкбай, хозяин страна, мать твою перетак, и ты, как тебя там, артист дерьмовый, вы чего в стороне стоите, а? А ну набегай, наваливайся! А нет, и нюхнуть водки не дам! — припугнул Обер-Кандалов жалких пьянчуг, и те сломя голову бросились подвешивать несчастного Авдия.

Хулиганская затея вдруг обрела зловеший смысл. Дурной фарс грозил обернуться судом линча.

— Одно, бля, плохо — креста и гвоздей не хватает в этой поганой степи! Вот, бля, беда,— сокрушался Мишаш, с треском обламывая сучья саксаула.— То-то было бы дело! Распять бы его!

— А ни хрена, мы его веревками прикрутим! Не хуже чем на гвоздях висеть будет! — нашел выход из положения Обер-Кандалов.— Растянем за руки и за ноги, как лягушку, да так прикрутим, что не дрыгнется! Пусть повисит до утра, пусть подумает, есть Бог или нет! Я с ним такое воспитательное мероприятие проведу, до смерти запомнит. зараза поповская, где раки зимуют! Я и не таких в армии дрессировал! А ну навались, ребята, а ну хватай его! Поднимай вон на ту ветку, да повыше! Крути руку сюда, ногу туда!

Все произошло мгновенно, поскольку Авдий уже не мог сопротивляться. Привязанный к корявому саксаулу, прикрученный веревками по рукам и ногам, он повис, как освежеванная шкура, вывешенная для просушки. Авдий еще слышал брань и голоса, но уже как бы издали. Страдания отнимали все его силы. В животе, с того боку, где печень, нестерпимо жгло, в пояснице точно бы что-то лопнуло или оборвалось — такая была там боль. Силы медленно покидали Авдия. И то, что пьяные мучители тщетно пытались развести огонь у него

под ногами, его уже не беспокоило. Все было ему безразлично. С костром, однако, ничего не получилось: отсыревшие от выпавшего накануне снега трава и сучья не желали гореть... А плеснуть бензина никому не пришлось в голову. С них хватило и того, что Авдий Каллистратов висел, как пугало на огороде. И вид его, напоминающий не то повешенного, не то распятого, очень всех оживил и взбудоражил. Особенно вдохновился Обер-Кандалов. Ему мерещились картины куда более действенные и захватывающие — что там один повешенный в степи!

— Так будет со всяким — зарубите это на носу! — грозил он, окидывая взглядом прикрученного к саксаулу Авдия. — Я бы каждого, кто не с нами, вздернул, да так, чтобы сразу язык набок. Всех бы перевешал, всех, кто против нас, и одной вереницей весь земной шар, как обручем, обхватил, и тогда б уж никто ни единому нашему слову не воспротивился, и все ходили бы по струнке... А ну пошли, комиссары, тяпнем еще разок, где наша не пропадала...

Поддакивая Оберу, они шумно двинулись к машине, а Обер затянул, видимо, одному ему известную песню:

Мы натянем гагифе, сбоку кобура,  
Раз-два, раз-два...

Разгоряченные «друзжки комиссары» подхватили: «Раз-два, раз-два» — и, пустив по кругу еще пару поллитровок, распили их из горла.

Через некоторое время машина, вспыхнув фарами, завелась, развернулась и медленно поползла прочь по степи. И сомкнулась тьма. И все стихло вокруг. И остался Авдий, привязанный к дереву, один во всем мире. В груди жгло, отбитое нутро терзала нестерпимая, помрачающая ум боль... И уходило сознание, как оседающий под воду островок при половодье.

«Мой островок на Оке... Кто же спасет тебя, Учитель?» — вспыхнула искрой и угасла его последняя мысль...

То подступали конечные воды жизни...

И привиделась его угасающему взору большая вода, бесконечная сплошная водная поверхность без конца и без края. Вода бесшумно бурлила, и по ней катили бесшумные белые волны, как поземка по полю, неизвестно откуда и неизвестно куда. Но на самом едва видимом краю того беззвучного моря смутно угадывалась над водой фигура человека, и Авдий узнал этого человека — то был отец его, дьякон Каллистратов. И вдруг послышался Авдию его собственный отроческий голос — голос читал вслух отцу его любимую молитву о затопленном корабле, как тогда дома в детстве, стоя возле старого пианино, но только теперь расстояние между ними было огромное, и отроческий голос звонко и вдохновенно разносился над мировым пространством:

«Еще только светает в небе, и пока мир спит...

...Ты, Сострадающий, Благословенный, Правый, прости меня, что досаждаю тебе обращениями неотступными. В мольбе моей своекорыстия нет — я не прошу и толики благ земных и не молю о продлении дней своих. Лишь о спасении душ людских взывать не перестану. Ты, Всепрощающий, не оставляй в неведении нас, не позволяй нам оправданий искать себе в сомкнутости добра и зла на свете. Прозрение ниспосли людскому роду. А о себе не смею уст разомкнуть. Я не страшусь как должное принять любой исход — гореть ли мне в геенне или вступить в царство, которому несть конца. Тот жребий наш Тебе определять, Творец Невидимый и Необъятный...

Прошу лишь об одном, нет выше просьбы у меня...

Прошу лишь об одном, яви такое чудо: пусть тот корабль плывет все тем же курсом прежним изо дня в день, из ночи в ночь, покуда

день и ночь сменяются определенным Тобою чередом в космическом вращении Земли. Пусть плывет он, корабль тот, при вахте неизменной, при навсегда зачехленных стволах из океана в океан, и чтобы волны билась о корму и слышался бы несмолкаемый их мощный гул и грохот. Пусть брызги океана обдают его дождем свистящим, пусть дышит он той влагой горькой и летучей. Пусть слышит он скрип палубы, гул машин из трюма и крики чаек, с попутным ветром следующих за кораблем. И пусть корабль держит путь во светлый град на дальнем океанском берегу, хотя пристать к нему во веки не дано... Аминь».

Голос его постепенно утихал, все больше удалялся... И слышал Авдий свой плач над океаном...

И всю ночь в тиши над необъятной Моюнкумской саванной в полную силу лился яркий, ослепляющий лунный свет, высвечивая застывшую на саксауле распятую человеческую фигуру. Фигура чем-то напоминала большую птицу с раскинутыми крылами, устремившуюся ввысь, но подбитую и брошенную на ветки.

А в полутора километрах от этого места стоял в степи тот самый военного образца грузовик, крытый брезентом, в котором, учинив свое черное дело, спали вповалку на тушах сайгаков, в сивушной, изрыгнутой во сне блевотине обер-кандаловцы. И колыхался в воздухе густой надсадный храп. Они отъехали поодаль, чтобы оставить Авдия на ночь в одиночестве,—хотели проучить его: пусть почувствует, что он без них, тогда уж наверняка отречется от Бога и преклонится перед силой...

Такое наказание Авдию изобрел бывший артист Гамлет-Галкин после того, как еще и еще приложился к горлу, когда пил водку как безвкусную мертвую воду. Эту идею Гамлет-Галкин высказал, желая угодить Оберу-Кандалову,— пусть, мол, боголюбец натерпится страху. Пусть подумает: мол, вздернули-прикрутили и уехали насовсем. Ему бы вдогонку кинуться, но не тут-то было!

Утром, когда уже начало рассветать, волки осторожно приблизились к месту своего бывшего логова. Впереди шла Акбара, за ночь ее бока опали, провалились, за ней угрюмо прихрамывал башкастый Ташчайнар. На старом месте было пусто, люди за ночь куда-то исчезли. Но звери ступали по этой земле, если применимо к ней такое сравнение, как по минному полю, с чрезвычайной осторожностью. На каждом шагу они натыкались на нечто враждебное, чуждое: угасший костер, пустые банки, битое стекло, резкий запах резины и железа, застрявший в колеях, оставленных грузовиком, и везде все еще источавшие сивушное зловоние распитые бутылки. Собираясь навсегда покинуть это загаженное место, волки пошли краем лощины, как вдруг Акбара резко отпрянула и замерла на месте как вкопанная— человек! В двух шагах от нее на саксауле, раскинув руки и свесив набок голову, висел человек. Акбара кинулась в кусты, следом за ней Ташчайнар. Человек на дереве не шевелился. Ветерок по-свистывал в сучьях, шевелил волосы на его белом лбу. Акбара прижалась к земле, напряглась подобно пружине, изготавилась к прыжку. Перед ней был человек, существо, страшней которого нет, виновник их волчьих бед, непримиримый враг. Наливаясь чудовищной злобой, Акбара в ярости слегка подалась назад, чтобы взметнуться и броситься в рывке на человека, вонзить клыки в его горло. И в ту решающую секунду волчица вдруг узнала этого человека. Но где она его видела? Да это же тот самый чудака, с которым она уже встречалась летом, когда они всем выводком отправились дышать пахучими травами. И припомнились Акбаре в то мгновение и летний день, и то, как играли ее волчата с этим человеком, и то, как пощадила она его и перепрыгнула через него, когда он со страху присел на землю, закрывая руками голову. Припомнилось ошеломленное

выражение его испуганных глаз и то, как он, голокожий и беззащитный, кинулся прочь...

Теперь этот человек странно висел на низкорослом саксауле, точно птица, застрявшая в ветках, и непонятно было волчице, жив он или мертв. Человек не шевелился, не издавал ни звука, голова его свесилась набок, и из угла рта сочилась тонкая струйка крови. Ташчайнар собрался было броситься на висевшего человека, но Акбара оттолкнула его. И, приблизившись, пристально вгляделась в черты распятого и тихо заскулила: ведь все те, летошние ее волчата погибли. И вся жизнь в Моюнкумах пошла прахом. И не перед кем было ей лить слезы... Этот человек ничем не мог ей помочь, конец его был уже близок, но тепло жизни еще сохранялось в нем. Человек с трудом приоткрыл веки и тихо прошептал, обращаясь к поскулившей волчице:

— Ты пришла...— И голова его безвольно упала вниз.

То были его последние слова.

В эту минуту слышался шум мотора — в степи показался грузовик военного образца. Машина наезжала, вырастая в размерах и тускло поблескивая обтекаемыми стеклами кабины. Это возвращались на место преступления обер-кандаловцы...

И волки не задерживаясь потрусили дальше и пошли и пошли, все больше прибавляя ходу. Уходили не оглядываясь — моюнкумские волки покидали Моюнкумы, великую саванну, навсегда...

\* \* \*

Целый год жизни Акбара и Ташчайнар провели в приалдашских камышах. Там родился у них самый большой выводок — пятеро волчат, вот какой был помет! Волчата уже подрастали, когда зверей опять постигло несчастье — загорелись камыши. В этих местах строились подъездные пути к открытой горнорудной разработке — возникла необходимость выжечь камыши. И на многих сотнях и тысячах гектаров вокруг озера Алдаш подверглись уничтожению древние камыши. После войны в этих местах были открыты крупные залежи редкого сырья. И вот в свой черед разворачивался в степи еще один гигантский безымянный почтовый ящик. А что в таком случае камыши, когда гибель самого озера, пусть и уникального, никого не остановит, если речь идет о дефицитном сырье. Ради этого можно выпотрошить земной шар, как тыкву.

Вначале над камышовыми джунглями летали на бреющем полете самолеты, разбрызгивая с воздуха какую-то горючую смесь, чтобы камыши в нужный миг враз занялись пламенем.

Пожару дали старт посреди ночи. Обработанные воспламеняющимся веществом, камыши вспыхивали как порох, во много раз сильнее и мощнее, чем густой лес. Пламя выбрасывалось до небес, и дым застилал степь так, как туман застилает землю в зимнюю пору.

Едва только потянуло гарью и запылал в разных концах огонь, как волки заметались в камышах, пытаясь спасти волчат. Перетаскивали их в зубах то в одно, то в другое место. И началось светопреобразование в приалдашских зарослях. Птицы летали над озером тучами, оглашая степь на много верст вокруг пронзительными криками. Все, что веками жило в камышах начиная от кабанов и кончая змеями, впало в панику — в камышовых чащобах заметались все твари. Та же судьба постигла и волков: огонь обступил их со всех сторон, спастись можно было только вплавь. И, бросив троих волчат в огне, Акбара и Ташчайнар, держа двух других в зубах, попытались спасти их вплавь через залив. Когда наконец волки выбрались на противополо-

ложный берег, оказалось, что оба щенка, как ни старались волки держать их повыше, захлебнулись.

И опять Акбаре и Ташчайнару пришлось уходить в новые края. На этот раз их путь лежал в горы. Инстинкт подсказывал волкам, что горы теперь единственное место на земле, где они смогут выжить.

Волки шли долго, оставив позади дымящиеся, застилающие горизонт пожары, содеянные людьми. Шли через Курдайское нагорье, несколько раз им пришлось пересекать ночью большие автотрассы, по которым мчались машины с горящими фарами, и ничего страшнее этих стремительно бегущих огней не было в их походе. После Курдая волчья пара перешла в Ак-Тюзские горы, но и тут им показалось небезопасно, и они решили уйти еще дальше. Преодолев Ак-Тюзский перевал, волки попали в Прииссыккульскую котловину. Дальше идти было некуда. Впереди лежало море...

И здесь Акбара и Ташчайнар еще раз заново начали свою жизнь...

И опять народились волчата — на этот раз появилось на свет четыре детеныша.

То была последняя, отчаянная попытка продолжить свой род.

И там, на Иссык-Куле, завершилась страшной трагедией эта история волков...

*Конец второй части*



---

---

## ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ

★

\* \* \*

Вот этот мир. Его уже любили,  
теряли, проклинали, берегли.  
Его леса и выси голубые,  
поля и города его земли.

Вот этот мир... Как переходный возраст,  
вот этот век, и в нем — вот этот миг.  
«Вот этот мир,— шепчу, глотая воздух  
тот дымный, сладкий тот,— вот этот мир!..»

\* \* \*

Всем нужно того же, чего и тебе,  
и ты, только ты этой дружной толпе  
не нужен — но есть подозренье,  
что где-то в такую же очередь, в ряд  
другие такие же люди стоят  
и ждут твоего появления.

Всем нужно того же... К дыханью виском  
в автобусе том же, омнибусе том  
все едут туда же — туда же! —  
и тоже выходят, и все же хотят  
не шило на мыло — детсад на детсад  
сменить, чтобы ехалось глаже.

Хотят у окошка сидеть и сам-друг  
глядеть увлеченно в продышанный круг —  
и все же места уступают  
и старым и малым... Еще нужно всем,  
чтоб все были рядом. Но этих проблем  
до старости не замечают.

\* \* \*

Так многое произошло,  
хоть я и тридцати не прожил.  
И стало сном, картинкой, прошлым —  
как вычитанное село,

где бревна изб тверды, светлы  
и широки, я жил как будто  
в таком, куда входило утро,  
как будто в горницу сваты...

И город, где с рожденья жил,  
весь в уголок груди вместился,  
хоть так поднялся, так разлился —  
поля цементом затопил.

### Декабрь в Сокольниках

Люблю физкультурные залы,  
кирпичные каланчи,  
блины на морозе, базары,  
катание на печи.

Стеклянные павильоны —  
аквариумы городов, —  
где жителей миллионы  
рты открывают без слов.

Вон в том разноцветном с буфетом,  
где кофе дают с молоком —  
как снег под ногами цветом, —  
сам Ханс Кристиан за стеклом!

Такое узоров свеченье  
и в лампах так много свечей,  
как будто нам всем день рожденья  
справлять. Позабыли — чей.



---

---

## ВАЛЕРИЙ РУБИН

★

### СЕВЕР

\*.\*

Светились в окнах занавески,  
в любом окне таился мир...  
У всех была жена, невеста,  
а у меня была Сибирь.

Меня встречали, изучая,  
на скатерть ставили ирис...  
Отодвигая чашку чая,  
я предлагал Новосибирск.

Я рисовал затишье станций,  
я вел по тропам, по следам...  
Костры вставали, как повстанцы,  
по комариным берегам.

Раскинув руки, точно крылья  
(чтоб показать Сибирь большой!),  
вы обернитесь, говорил я,  
она за нашей спиной,

что нам за нею лишь спокойно...  
Сибирь несет и в этот час  
не только ширь и воздух вольный,  
но и понятие о нас.

#### Собаки на Севере

На Севере собаки как родня...  
Приезжим, правда, их привычки странны:  
в столовые заходят среди дня,  
заглядывают даже в рестораны.



Немало их и в аэропорту...  
Когда вокруг нелетная погода,  
у справочного, с косточкой во рту,  
спокойно ждут подхода самолета.

Они вписались в общий колорит  
и обязательно поднимут ухо,  
когда динамик вдруг заговорит,  
опять задержки сообщая глухо.

В мороз, понятно, тянет их к теплу,  
в кино и то им обеспечен допуск...  
Частенько их встречают на углу,  
садящихся на рейсовый автобус.

Меня, когда приехал я сюда,  
одна загадка долго удивляла:  
зачем у школы столько их всегда,  
лохматых, белых, рыжего подпада?

Загадка эта объяснилась вдруг.  
Когда звонки из школы прозвенели,  
у каждой оказался рядом друг  
и половина завтрака в портфеле.

И смех и лай... И в шуточной борьбе  
и пес и парень держат вдруг экзамен:  
кто перетянет свой портфель к себе,  
тот, стало быть, на Севере хозяин.

Съезжают лапы, валенки по льду...  
Грозны собаки и огромны даже,  
однако я охотно подойду  
к любой из них и от души поглажу.

Обнявши шею, словно воротник,  
я вдруг подумаю: как хороша природа,  
что дикий Север и не так уж дик,  
причина дикости совсем иного рода.

И что мы строим, роем в мерзлоте,  
понятно и в четверолапом мире,  
а одичать мы сможем и в Москве  
и просто так — на собственной квартире.

### Утро

И дождь и ветер крупно...  
Твоя пора, рассвет!  
Развешивают утро  
расклейщики газет.

Из люков, из пекарен,  
нагруженным в лотки,  
его со всех окраин  
везут грузовики.

Пора! Труби, повестка!  
В остатки темноты  
нырнули из подъезда  
последние следы.

И вот уже светает,  
и дворник на углу  
вчерашний день сметает,  
сгоняет под метлу.

Блестят и тают лужи,  
струятся, как стекло...  
Нам утро **было** нужно,  
и **вот оно** пришло!



---

---

ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

★

## КАМЕШКИ НА ЛАДОНИ

\* \* \*

«Слово о полку Игореве»...  
С тех пор как я понял, что передо мной подлинная поэзия, отпала необходимость сомневаться в подлинности произведения.

Я не могу сказать, что постоянно читаю и перечитываю «Слово о полку Игореве», но я постоянно живу с образами, навеянными им,— с образом Ярославны на городской стене, с образом заречных далей, видимых с городской стены, с образом острошлемой дружины, с образом холмов, за которыми осталась Русь... Тут точка соприкосновения (как и в моей душе) славянской бревенчатой оседлости с волей степных кочевий. Кончак и сами половцы никогда не вызывали у меня неприязни, а тем более ненависти. Когда я впервые увидел настоящие степи, я понял, что видел их раньше, что знал их всегда.

Как один взрыв посредством детонации вызывает другие взрывы, так детонируют и произведения искусства. Все стихи Блока о поле Куликовом исторически навеяны Куликовской битвой, а литературно, преемственно — «Словом о полку Игореве».

Кого только не прочили в авторы «Слова...» — и разных князей, и Ярославу, и даже самого Игоря. Но ведь поэзия тогда была не письменной, а устно-песенной, гуслевой. Тогда было четкое разделение — кому землю пахать, кому мечом махать, кому песни петь, кому пером скрипеть. Перьями скрипели монахи, летописцы в монастырях. Они были тогда единственные писатели-профессионалы. Отчего же не предположить, что именно у писателя-профессионала обнаружился и вспыхнул ослепительной вспышкой могучий поэтический талант. Плюс активное национальное самосознание. Ведь обладал же чуть позже активным гражданским и национальным самосознанием другой монах — Сергей Радонежский. И разве первые же строфы «Слова...» не говорят о том, что за дело взялся писатель-профессионал, то бишь летописец? «Не лучше ли нам было бы, братие...» Братией, как известно, называют монахи свое монастырское сообщество. Автор противопоставляет себя и свой труд песнярам-гусярам. В изложении это может выглядеть так:

«Где уж нам угнаться за поэтами, за каким-нибудь там Бояном. У них воображение ширяет сизым орлом по поднебесью, рыщет серым волком по земле, летает белкой по дереву, он, Боян, как положит персты на струны, так словно соколов выпустит на стаю лебедей. А мы уж по-нашему, по-старинному, скромненько, не мудрствуя лукаво... Где уж нам состязаться с Бояном... Нам не песни петь, а перышком скрипеть...»

И наскрипел своим перышком великую песню...

\* \* \*

В Ургенче за узбекским национальным семейным столом, где мы и пили, и ели, и слушали узбекские песни, у меня в голове зародился странный вопрос: вот проходят века, сменяются поколения, изменяются внешние условия жизни. Почему же они из поколения в поколение остаются узбеками?

Конечно, гены. Но на первом ли месте? Разве мы не знаем вполне обрусевших иностранцев: Даль — из датчан, Брюллов — из немцев, предки Лермонтова — выходцы из Шотландии, да и Пушкин писал, хотя и в шутку: «...под небом Африки моей». С другой стороны, дети русских эмигрантов во Франции (особенно в третьем поколении) офранцузиваются и фактически перестают быть русскими. Где же те силы, которые питают национальный дух и делают русского русским, узбека узбеком, а немца немцем? Природа? Среда обитания? Вообще среда? Язык? Предания? История? Религия? Литература и вообще искусство? И что тут стоит на первом месте? Или, может быть, просто воспитание при действии всех выше названных сил?

\* \* \*

У человека перед животными (и птицами) множество преимуществ. Способность к анализу и синтезу, к отвлеченному мышлению, к искусству и прочая и прочая. Но у животных и птиц все же есть одно замечательное преимущество перед людьми: они никогда не делают глупостей.

\* \* \*

Как цветок расцветает на черной земле (чтобы не сказать — на навозе), так стихотворение может родиться из прозаического, а то и не очень приглядного факта. У нашего великого поэта Пушкина можно найти множество тому подтверждений. Факт был прозаический, а импульс в душе он породил — чистейший цветок. Вот только два примера. Описание Бахчисарайского фонтана:

«В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К\*\* поэтически описывала мне его, называя *La fontaine des Larmes* (фонтаном слез.— В. С.). Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на набережии, в котором он истлевет...»

А какие из этого вышли стихи?

Фонтан любви, фонтан живой!  
Принес я в дар тебе две розы.  
Люблю немолчный говор твой  
И поэтические слезы.

Твоя серебряная пыль  
Меня кропит росой холодной:  
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!  
Журчи, журчи свою мне быль...

Второй пример — посещение калмыцкого жилища во время путешествия в Арзрум. Напомним:

«На днях посетил я калмыцкую кибитку... Все семейство собиралось завтракать; котел варился посередине, и дым выходил в отверстие, сделанное вверху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» — «\*\*\*». — «Сколько тебе лет?» — «Десять и восемь». — «Что ты шьешь?» — «Портка». — «Кому?» — «Себя». Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был

и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи».

Такова проза жизни. А стихи?

Прощай, любезная калмычка!  
Чуть-чуть, назло моих затей,  
Меня похвальная привычка  
Не увлекла среди степей  
Вслед за кибиткою твоей.

. . . . .  
Друзья! Не все ль одно и то же:  
Забыться праздною душой  
В блестящей зале, в модной ложе  
Или в кибитке кочевой?

Надо ли как третий пример сопоставлять известные строки Пушкина из письма Вяземскому об Анне Петровне Керн и известнейшее стихотворение, посвященное ей же («Я помню чудное мгновенье...»).

\* \* \*

Сейчас пошло веяние на новую транскрипцию некоторых английских слов. Может быть, эта транскрипция более точная, но очень уж противная.

Посудите сами, целые поколения жили, читая про Шерлока Холмса с доктором Ватсоном, а Шекспира называли Вильямом Шекспиром. Но вот теперь всюду — Уатсон, Уильям Шекспир. Скажи где-нибудь «викенд», поморщатся знатоки: экое невежество, надо ведь говорить — «уикэнд». Неужели дойдет дело до того, что станем говорить «уиски» вместо «виски»? Согласитесь, можно ли «уиски» пить с таким же удовольствием, как виски!

\* \* \*

Я пришел в кабинет к своему знакомому — председателю облисполкома Тихону Степановичу. Все заводы и фабрики, все совхозы и колхозы, лесхозы и леспромхозы, дороги и водоемы, все задачи и все проблемы, больницы и школы, институты и строительные управления, комбикорма и сельхозтехника — все-все ниточками своими протягивается так или иначе к этому кабинету.

— Ну, посиди, посиди часик у меня, подожди, потом я освобожусь — и поедем ко мне обедать.

Я просидел в этом кабинете около двух часов, и вот эти два часа прошли в непрерывных, деловых, конкретных, четких, распорядительных, советующих, ставящих проблемы и решающих проблемы телефонных разговорах. То звонили к нему и что-нибудь просили, требовали, спрашивали, как быть. То звонил он и просил, требовал и говорил, как быть. Один звонок вызывал сразу длинную цепочку дополнительных звонков — дело касалось совхоза имени Ленина. Тотчас нажималась клавиша и отдавалось распоряжение быстро найти директора совхоза имени Ленина. Директора в конце концов находили где-нибудь в мастерских или даже в поле (теперь ведь рации), и голос секретарши возвещал: «Директор совхоза на проводе». Но и пока его искали, мы тоже не сидели сложа руки, а тоже все разговаривали по телефону, а телефонных аппаратов тут пять, если не семь...

После двухчасового пребывания в кабинете руководителя (а уж у меня, постороннего человека, в голове началась каша от всех этих вопросов и проблем) я спросил хозяина кабинета:

— А как же губернаторы, бывало, когда не было телефонов, руководили своими губерниями?

Тихон Степанович посмотрел на меня растерянно, как видно, сам впервые задумавшись над таким вопросом, и чистосердечно ответил:

— Невозможно вообразить.

\* \* \*

Во время юбилея одного хорошего писателя собрались у него дома (на другой день после большого торжественного вечера в драмателе), шли разговоры вокруг этого юбилея. Естественно, на юбилее было произнесено много самых громких, высоких, лестных слов, которые применительно к конкретному случаю не были таким уж преувеличением. Вот и зашел разговор о славе, об испытании славой. Не помню уж, кто стал развивать теорию:

— Ведь вот есть народное выражение «прошел огонь, воду и медные трубы». А что такое — медные трубы? Это и есть слава, фанфары, испытание славой. Выдержать огонь и воду — это еще не штука, а вот выдержать медные трубы... Это значит человек — кремень, все прошел, и никакие испытания ему больше не страшны.

— Не усложняете ли вы, друзья? — вмешался я в разговор. — Уж очень сложная модель получается с этими медными трубами. Едва ли народ-творец, создавая поговорку, имел в виду ваши фанфары.

— А что же он имел в виду? Что же это за символика такая: огонь, воду и медные трубы?

— По-моему, это просто-напросто устройство и схема самогонного аппарата...

\* \* \*

На юбилейном вечере одного национального писателя (столетие со дня рождения) я и еще один москвич сидели в президиуме вместе с местными писателями. Положение наше было забавным. Дело в том, что все ораторы говорили на своем языке, не было произнесено ни одного слова по-русски. А продолжалось все это часа три.

Москвич, мой сосед по президиуму, стал шептать мне:

— Скучно, тяжело слушать три часа речи и ничего не понимать.

— А ты думаешь, если бы мы все понимали, нам было бы веселее?

\* \* \*

В Париже я однажды сидел в парикмахерской, меня стригли. При помощи двух-трех слов мы все же переговаривались с парикмахером. Узнав, что я русский, из Москвы, парикмахер допытывался, кто я по профессии.

— Дипломат?

— Нет.

— Торговля?

— Нет.

— Медицина?

— Нет.

Наконец я решил признаться, что я писатель и даже поэт.

— О! Поэт! — воскликнул парикмахер обрадованно. — Ев-ту-шен-ко!

Конечно, меня лично он не принял за Евтушенко, но вот, значит, русская поэзия замыкалась у него на этом имени.

— Да вы читали Евтушенко хоть одно стихотворение?

— О нет, нет, конечно, я ничего не читал, но — Ев-ту-шен-ко!

\* \* \*

Оказывается, Владимир Набоков, русский писатель-эмигрант, романист, но более того своеобразный поэт, до самой смерти жил в гостинице (в швейцарском городке Монтрё), занимая просторные дорогие апартаменты. Видимо, он рассчитывал, что денег ему до конца жизни хватит, хотя там, в Швейцарии, самое дорогое, что есть, так это гостиницы, в то время как не было ничего проще ему купить дом с газоном и садиком вокруг и — возвышенность на холме, и тишина, и все, короче говоря, земные блага. Обслуживание? Да за те деньги, что он валил за гостиницу, он мог нанять целый штат услуги.

Так что же это? Каприз? Прихоть? Снобизм? Я думаю, нет. Но вот его возможные рассуждения: «Да, я эмигрант. У меня нет родины, нет России, нет своего кровного дома. Ну так я буду жить в гостинице, как бы временно, не пуская корней в чужую землю, не прикипая к чужой земле душой, жить приедем, проезжим. Если нет родины, не хочу и дома».

Конечно, не каждый мог бы себе позволить это. Между прочим, тут выразилось, быть может, и презрение к деньгам, которые он заработал на чужбине, к чужим деньгам.

\* \* \*

Изменилось представление о возрасте. У Тургенева где-то написано (воспроизвожу по памяти): «В гостиную вошел согбенный старик сорока семи лет». Похожее место есть у Лермонтова. Положим, что и тот и другой написали это в молодости, когда им было по двадцать с небольшим и когда сорокасемилетний человек мог показаться им стариком. Но вот вчера на улице впереди меня идут две девушки лет двадцати, разговаривают: «Ну, вышел он... сорок четыре года. Молодой мужчина...»

\* \* \*

Можно представить себе Иисуса Христа (в данном случае не имеет значения, миф это или нет) идущим по дороге, разговаривающим с учениками, исцеляющим больного, сидящим за столом на свадьбе в Кане Галилейской или во время тайной вечери, когда Мария Магдалина омывала ему ноги, возлагающим руки на головы детей, изгоняющим торговцев из храма, проповедующим, слушающим, умирающим на кресте, но нельзя представить себе его смеющимся. Неужели он никогда не смеялся?

\* \* \*

Перечитывая скромный, но трогательный роман Данилевского «Княжна Тараканова», я попал на страницы, при чтении которых меня озарила вспышка догадки. Я теперь убежден, что при чтении именно этих страниц у Михаила Афанасьевича Булгакова (а он конечно уж читывал Данилевского) сверкнула первая искра замысла его удивительнейшего романа.

Напомним. Будущий Павел I, но пока еще только наследник престола, путешествовал по Европе под именем графа Северного. И вот в Венеции:

«Граф Северный... гулял по площади в маске, в стороне от других, беседуя с каким-то высоким, тоже в маске, иностранцем, который ему был представлен в тот вечер Глюком в театральной ложе.

Светил яркий полный месяц, горели разноцветные огни...

— Кто это? — спросила одна дама своего мужа, указывая, как внимательно слушал граф Северный шедшего рядом с ним незнакомца.

— Да разве ты не узнаешь? Друг Глюка, наш знаменитый маг и вызыватель духов...»

Павел своему собеседнику говорит:

«— Вы — чародей, живущий, по вашим словам, несчетное число лет... Вы, как уверяют, имеете общение не только со всеми живущими, но и с загробной жизнью... Хотелось бы вас спросить об одном явлении...»

— Приказывайте, слушаю, — ответил незнакомец.

— ...объясните мне одну загадочную вещь, странную встречу...

— К вашим услугам, — ответил, вежливо кланяясь, незнакомец».

Далее Павел рассказывает магу (словечко, кстати сказать, в изобилии фигурирующее в романе Булгакова), «как он в лунную ночь (опять лунная ночь! — В. С.) шел с адъютантом по улице и как вдруг почувствовал, что слева между ними и стеной дома молча двигалась

какая-то рослая, в плаще и старомодном треуголе, фигура, как он ощущал эту фигуру по ледяному холоду, охватившему его левый бок, и с каким страхом следил за шагами призрака, стучавшими о плиты тротуара, подобно камню, стучащему о камень...».

Тень эта предрекла Павлу короткую жизнь, но не договорила какой-то фразы. Павел продолжает рассказывать магу и чародею:

«...Я не понимал, кто это, но поднял глаза и обмер: передо мной, ярко освещенный лунным блеском, стоял во весь рост мой прадед, Петр Великий...»

...— Как вы думаете, сеньор? — спросил, помолчав, граф Северный.— Была ли это греза, или я действительно видел в то время тень моего прадеда?

— Это был он,— ответил собеседник.

— Что же значили его слова? И почему он их не договорил?

— Вы хотите это знать?

— Да.

— Ему помешали.

— Кто? — спросил Павел...»

Дальше — внимание, внимание, внимание!

«— Призрак исчез при моем приближении,— ответил собеседник.— Я в то время шел от вашего банкира Сатерланда; вы меня не заметили, но я видел вас обоих и невольно спугнул великую тень...»

— Вы шутите... разве вы посещали Петербург? Что-то об этом не слышал.

— Имел удовольствие... но на короткое время... меня тогда приняли недружелюбно. Как иностранец и любознательный человек, я ожидал внимания; но ваш первый министр обидел меня, предложив мне удалиться...

— Приношу извинение за грубость нашего министра...»

Но у Павла был к магу и чародею, незнакомцу и иностранцу (все это уже более или менее лексика романа Булгакова) еще один вопрос.

«— Одна особа... просила меня разведать здесь, в Италии, в Испании, вообще у моряков, жив ли один флотский? Он был на корабле, который пять лет назад погиб без следа.

— Русский корабль?

— Да.

— Был унесен и разбит бурей в океане, невдали от Африки?

— Да.

— «Северный Орел»?

— Он самый... вы почему знаете?

— На то меня зовут чародеем... Завтра на этой шхуне... я покидаю Венецию. Но прежде чем уйти в море и ответить на ваш новый вопрос, мне бы хотелось, простите, знать... будет ли граф Северный, взойдя на престол, более ко мне снисходителен, чем министры его родительницы? Позволит ли он мне в то время снова навестить его страну?

— За будущее трудно ручаться, по вашим же словам... Впрочем, я убежден, что в новый приезд вы в России во всяком случае найдете более вежливый и достойный чужестранца прием.

Собеседник отвесил низкий поклон.

— Итак, вам хочется знать о судьбе моряка? — произнес он.

— Да,— ответил Павел, готовясь опять услышать что-либо фигурское, иносказательное, пустое...

— Моряк спасся на обломке корабля у острова Tenerif и некоторое время жил среди бедных прибрежных монахов.

— А теперь? Говорите же, молю вас...

— Год спустя его убили пираты, грабившие прибрежные села и монастырь, где он жил.

— Откуда вы все это знаете?»



Опять — внимание, внимание и еще раз внимание!

«— Я также в то время жил на Тенерифе,— ответил собеседник,— списывал в монастырском архиве одну нужную мне древнюю... рукопись.

«Да что же это наконец? Фокусник он или действительно всеильный маг? — в мучительном сомнении раздумывал Павел.— По виду — ловкий отгадчик, смелый шарлатан, не более.. Но откуда все это сокровенное — берега Африки, имя погибшего корабля... Неужели выдала Катерина Ивановна? Но он ее не видел, она нездорова, все время не выходит из комнат, никого не принимает и нигде не была...»

— Я провожу ваше высочество до палаццо,— сказал искательно и как-то низменно-мещански изгибаясь собеседник,— дозволите ли?

Павел чуть взглянул на мишурно-балаганный, ставший жалким в лучах рассвета, бархатный с блестками наряд мага и, сняв маску, не говоря более ни слова, угрюмо и величаво пошел назад по опустелой набережной».

Да, именно из этих страниц, как из зерна, попавшего, само собой разумеется, на очень благодатную почву, выросло дерево романа Булгакова. Образ иностранца, мага, то вроде бы шута и фокусника, то всеильного чародея — предопределен.

Вспомним, когда Иван Бездомный удивляется про Пилата: «Да откуда вы все это знаете?» — маг, иностранец, отвечает: «Дело в том, что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каиафой разговаривал, только тайно, инкогнито...»

И еще раз во время спора о Канте:

«Ведь говорил я ему (Канту.— В. С.) тогда за завтраком: „Вы, профессор, воля ваша...“»

И когда у иностранца спросил Берлиоз (кстати, случайно ли здесь фамилия именно композитора: ведь Павла с магом познакомил Глюк), зачем иностранец приехал в Москву, тот ответил:

«...Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокожника Герберта Аврилакского, десятого века. Так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я единственный в мире специалист».

И тогда Берлиоз удивляется:

«Откуда же сумасшедший знает о существовании киевского дяди?»

Искра замысла состояла в том, что этот маг, незнакомец, иностранец (терминология одновременно и Данилевского и Булгакова), вновь посетил Россию не в Петербурге и не во времена Павла I, а в Москве в 1929 году. И с чем он столкнулся. И что из этого произошло. Остальное — дело необузданной фантазии Михаила Афанасьевича. Ведь толчок уже дан.

Впрочем, обузданной фантазии, ибо она заключена в строгую и безупречную форму его романа.

\* \* \*

У монголов традиционная обувь — сабоги с носками, загнутыми вверх. Оказывается, это для того, чтобы бережнее ступать по земле, не ковырять, не ранить, не портить землю. Каков путь от этих загнутых носков до бульдозеров, экскаваторов, взрывных работ!

\* \* \*

До Лермонтова не было в русской поэзии случая (а возможно, и в мировой), чтобы человек посмотрел на землю сверху, с космической высоты. До тех пор смотрели все снизу на облака, на звезды, на птиц. Крестик колокольни казался недостижимо высоким. Пушкин, правда, посмотрел на Кавказ сверху, но все же с высоты лишь са-

мого Кавказа: «Кавказ подо мною, один в вышине...» Но разве же это высота?

И над вершинами Кавказа  
Изгнанник рая пролетал:  
Под ним Казбек, как грань алмаза,  
Снегами вечными сиял,  
И, глубоко внизу чернея,  
Как трещина, жилище змея,  
Вился излучистый Дарьял...

Можно спросить у наших космонавтов: с какой высоты Казбек покажется алмазным сверкающим камешком?

\* \* \*

Человек, говорят, получает большую часть информации о внешнем мире до трехлетнего возраста. Наверное, так и есть. Но дело еще и в том, что это все подлинная, бесспорная информация. Темно — светло, сладко — горько, тепло — холодно, ласка — боль, снег — дождь, мама — папа, солнце, одуванчик, земля, вода, облака, пол, окно, каша, сон, кошка, веник и так далее.

Всю остальную жизнь он будет вместе с тем получать информацию, стремящуюся подчас сбить его с толку и ввести в заблуждение. О белом подчас ему будут внушать, что оно черное, о горьком — что оно сладкое, о зле — что оно добро, о фальшивом — что оно подлинное...

\* \* \*

Конечно, жалко, что сказано не мной. Но если собирают спичечные коробки, марки и разные этикетки, то почему не положить в копилку чужие, но гениальные выражения?

Например, кто-то сказал, что пуля Мартынова срезала верхушку с дерева русской поэзии, после чего оно пошло расти в сучья (!!!). А кто-то другой сказал про глаза немолодой уже женщины, что они, глаза, как в бокале вчерашнее шампанское.

\* \* \*

В человеческой истории есть ряд людей, слава к которым (печальная слава) пришла не сама по себе, а потому, что они соприкоснулись с великими личностями. «Назовут меня, сразу же назовут и тебя» — так сформулировал это М. Булгаков в своем удивительном романе.

Таковы в древности Понтий Пилат и Брут, а в нашей истории Дантес и Мартынов.

\* \* \*

Один литературовед остроумно и тонко предположил, что название своего главного романа Лев Толстой взял из «Бориса Годунова»:

...В часы,  
Свободные от подвигов духовных,  
Описывай не мудрствуя лукаво  
Все то, чему свидетель в жизни будешь:  
Войну и мир...

\* \* \*

Когда фамилия становится именем, она начинает обладать некоей магией, так что мы уже не думаем о фамилии. Разве мы когда-нибудь вспоминали, что Толстой (несмотря на облагораживающе-смешенное ударение) все же не более чем толстый? Разве когда-нибудь мы задумывались, что фамилия нашего великого поэта происходит от будничной пушки, из которой палят? Блок воскликнул даже: «Веселое имя — Пушкин!» Так что же веселого в палящей пушке? Но имя это — дополним — не только веселое. Оно светлое, скорбное, грустное, яркое, утонченно-изысканное, простое, народное, мудрое, романтическое, страдальческое, великое, оно — Пушкин.

\* \* \*

Сидишь пишешь прозу. Написал несколько страниц. Время еще есть. Можно написать еще две-три странички. Можно. Но я останавливаю «станок». Я знаю, что завтра с утра я эти две-три странички напишу лучше.

\* \* \*

В ЦДЛ парикмахер Соломон. Ему, наверное, уж к восьмидесяти. Одиннадцати лет его где-то в Курске (или Брянске) отдали в мальчики парикмахеру, и с тех пор он связан с этой профессией. За жизнь он сформулировал два афоризма.

1. Если вы садитесь в кресло, а мастер спрашивает: «Как вас подстричь?» — уходите, это не мастер.

2. Лучше ходить заросшему и лохматому, чем плохо подстриженному.

\* \* \*

В областном городе, в солидном учреждении на лестнице по серому цементу нарисована бордовая ковровая дорожка (суриком). Вот так оно и получается: там, где быть бы ковровой дорожке, просто покрашено суриком.

\* \* \*

В Бурятии, на берегу Байкала, в колхозе угощали омулевой ухой. Председатель колхоза (а ездили мы туда осматривать обломки знаменитого Посольского монастыря), подвыпив вместе с нами и равноценно захмелев, восклицал время от времени: «Главное для меня — это погрузочно-разгрузочные работы!» Поговорим-поговорим о чем-нибудь другом, а он опять возьмет и проникновенно воскликнет: «Нет, главное для меня — это погрузочно-разгрузочные работы!»

\* \* \*

Свойственно ли животным чувство скуки? Не тогда, когда животное может обрадоваться встрече с тем или иным человеком, главным образом с хозяином (и значит, можно сказать, что оно по этому человеку, по хозяину, скучало), а просто чувство скуки, когда животное предоставлено само себе? Скучают ли кошка, собака, лошадь, не говоря уж о диких животных, находясь в одиночестве? Но опять же в естественных условиях, а не в клетке, скажем, где животное может тосковать по свободе.

\* \* \*

Сейчас, с развитием сувенирной индустрии, большой упор на декоративные шариковые ручки. Каких только нет! И в виде сигареты, и в виде большого (восьмидюймового) гвоздя, и в виде отбойного молотка и так далее. Есть декоративные шариковые ручки-гиганты. Думаешь: вот купить такую — и пиши целый год. Потом вспоминаешь, что у всех в них внутри (даже если она величиной с бутылку) одни и те же маленькие стержни за восемь копеек.

\* \* \*

В кулуарах какого-то большого писательского собрания произошла моментальная пикировка между Фазу Алиевой и Васей Федоровым. Фазу шла вся увешанная умопомрачительными (и многочисленными) дагестанскими украшениями: серыги, ожерелья, браслеты, кольца. Почти как новогодняя елка.

— Да, — игриво сказал, пришурившись, Вася, — это все великолепно, но подозреваю, что очень долго их в случае чего придется снимать.

— Когда я хочу, я снимаю их мгновенно, — не менее шуточно парировала Фазу.

\* \* \*

А по-моему, Колумб, притом что он действительно доплыл до Америки, совершил величайшую в истории человечества мистификацию. Нет, конечно, до Америки он доплыл, это — факт. Но теперь достоверно известно, что он так упорно и настойчиво пускался в свои плаванья, потому что располагал какими-то древнейшими картами, на которых Америка была уже обозначена.

\* \* \*

Ахмедхан Абу-Бакар рассказал мне, что в старину дагестанец-мусульманин, хотя бы у него было и четыре жены, никогда, ни разу в жизни по своим религиозным законам и правилам не видел обнаженного женского тела. Супружеская жизнь происходила в полной темноте. Каково же им стало, когда всюду — на картинах, в кино, на пляжах — начали им показывать голых женщин.

\* \* \*

Известно, что икону иногда вставляли в киот, то есть в раму со стеклом.

И вот я спрашиваю у одной бабки:

— Говорят, у вас на чердаке есть старые иконы. Не покажете мне?

— Иконы? Да куда же они годятся? Они же без стекол...

\* \* \*

Мой друг — писатель из небольшой автономной республики. Как и все мы, утром он разворачивает газету, местную. Его жена сама газет не читает, но, хлопоча на кухне или пробегая мимо, задает всегда один и тот же вопрос: «Ну что, кого сняли?»

\* \* \*

Вообще-то я люблю кошек, считаю их умными и даже предпочитаю собакам. Но однажды поймал себя вот на чем. Одной собаке, подбежавшей ко мне во время прогулки, я стал говорить:

— Добренький песик, добренький.

А ведь кошку таким человеческим качеством не наделишь.

\* \* \*

Наверно, многим еще памятно, как в Азербайджане, в Баку, семья Берберовых держала в квартире льва и как он однажды начал там всех грызть направо-налево. Тогда объясняли по-разному: жара, да еще появилась у них пума, а у пумы течка и так далее. Но недавно человек, занимающийся психологией животных, объяснил это мне по-своему.

Дело в том, что самого Берберова, главу семьи и хозяина дома, лев признавал за старшего, за вожака «стай», прайда. И вот Берберов умер. «Стая» осталась без вожака. Тогда лев посчитал себя наиболее достойным его преемником (вокруг дети да женщины), и когда почувствовал, что ему не подчиняются, а, напротив, пытаются им командовать, он их начал грызть, чтобы утвердить свое старшинство и господство.

\* \* \*

У Маяковского есть известная строфа:

Он был монтером Ванею,  
Но в духе парижан  
Себе присвоил звание  
Электротехник Жан.

Так-то оно так. Только «электротехник» нисколько не более французское словообразование (пожалуй, даже более русское), нежели французское словечко «монтер».

\* \* \*

Перед поездкой в Швейцарию (впрочем, это могло быть перед поездкой во Францию, ФРГ, США...) домашние забросали заказами. Разные там кофточки, пиджачки, брючки, туфельки.. При этом приговаривали:

— Там же это все валяется под ногами.

— Да, может быть. Но деньги не валяются под ногами. Вот что там не валяется под ногами, так это — деньги.

\* \* \*

По-русски капающая вода — капля. Поэтому мы говорим «кап, кап, кап». По-французски капля — гут. Они, вероятно, говорят про капающую воду «гут, гут, гут». По-английски капля — дроб. Наверное, они говорят «дроб, дроб, дроб». Если бы поинтересоваться другими языками, нашлось бы еще множество вариантов.

Кстати, один татарский писатель (из Казани) давал мне читать небольшой забавный рассказ. Там были перечислены десятки транскрипций с других языков петушиного крика: «ку-ка-ре-ку», «рики-ти-ту-ту» и так далее.

До сих пор жалею, что не переписал себе этот маленький рассказ.

\* \* \*

Володя Карпеко рассказал мне занятный эпизод. Ему позвонили вдруг из крупного Дворца культуры и попросили их выручить. Там должен был состояться вечер сверхпопулярного поэта, но поэт прийти не смог — заболел или уехал куда-то за границу. Но народ уже собрался, и вот из Дворца культуры попросили Володю Карпеко выручить их и выступить вместо сверхпопулярного поэта.

Не знаю уж, почему он согласился на это.

Естественно, что публика, пришедшая на своего любимца, встретила Карпеко шиканьем и свистом. Гул недовольства. Карпеко тем не менее открыл сборник стихотворений и стал читать. Гул неодобрения становился все сильнее, вот-вот его прогонят со сцены. Выкрик:

— Как вы смели своим поэтическим лепетом заменить поэзию великого поэта!

— А я вам и читаю вашего великого поэта. У меня в руках сборник его стихов. Своего я пока еще не читал...

Публика затихла и потом уж слушала самого Карпеко.

\* \* \*

Курьез и нелепость.

Во Владимире в ресторане при гостинице «Владимир» на стене изображены гербы городов земли владимирской: Мурома, Юрьева-Польского, Суздаля, Меленков и так далее. Ну а в центре стены, разумеется, герб самого Владимира. Как известно, это лев, стоящий на задних лапах и держащий (хотелось сказать — в руках) в передних лапах крест, который выше самого льва. Таков уж древний герб древнего города Владимира. Но могли ли допустить изображение креста? Не могли. И вот лев держит в лапах нелепую, непонятную палку вроде какой-то мешалки.

\* \* \*

Американец российского происхождения жалуется. Мать пела ему в детстве какую-то замечательную русскую песню. И вот он всю жизнь хочет узнать, что же это была за песня, мучается оттого, что не может вспомнить и не у кого теперь спросить. Он запомнил одно только первое слово песни.

Разговор происходил в Москве. Тотчас все за столом (а разговор происходил за столом) зашумели: какое же это первое слово? С характерным акцентом тот выговорил:

— Ви-хо-жу...

Тотчас и спели для американца эту песню — «Выхожу один я на дорогу...».

\* \* \*

Золото одно, а не-золота много. Свинец — не-золото, глина — не-золото, медь — не-золото. Точно так же много разных степеней и оттенков, вариантов и состояний нелюбви.

Вероятно, то же самое можно сказать, сопоставляя зло и добро.

\* \* \*

В Монголии, где каждый монгол с трехлетнего возраста уже на коне, где земля первозданна и пустынна, так что можно часами, днями ехать и не встретить никаких признаков обитания человека, где целые поколения рождаются, живут и умирают в кочевых юртах, появляется все больше и больше мотоциклов. Так что если на площади аймачного центра собрали народ ради митинга, то по краю площади десятки привязанных лошадей, но и десятки же мотоциклов. Не может быть, чтобы мотоциклы не меняли и не изменили психологию монголов. Увеличилась скорость передвижения, сократились расстояния, возникает новый ритм жизни. До места, до которого нужно было ехать три дня, теперь доедешь за несколько часов, а это соблазняет съездить еще куда-нибудь или возвратиться назад, а потом снова ехать туда же: ведь расстояние преодолевается легко, быстро. Вместо степенности и медлительности во всех движениях и во всех жизненных проявлениях может появиться суетливость, вместо того, что было действительно необходимо и жизненно важно, может появиться ничемность, легковесность. Туда-сюда, туда-сюда. Нет, я положительно уверен, что мотоцикл изменит психологию монголов.

\* \* \*

Тенденциозность Некрасова как поэта.

Вот едет он по российским просторам из Карабихи в Петербург. Вокруг родная земля. Поздняя осень. Грачи улетели. Может быть, уже и осенний дождичек. Поля опустели. То есть весь хлеб уже убран, в скирдах, в овинах или даже уже и обмолочен, в амбарах и закромах. Может быть, в иных домах часть зерна уже смолота на муку (в те времена что не речка, то и мельница) и, значит, разговелись уже хлебом из свежей муки.

И вот поэт едет под осенним дождичком и видит все это. Ну так порадоваться бы, что хлеб успели убрать, не осталось в зиму, под снег ни колоса. Однако поэт тенденциозен, и картина благополучия ему не нужна, не находит отклика в его сердце.

Но что это? Стоп. Одна полоска не сжата. Одна на всех окрестных полях, одна, быть может, во всей России! Мокнет под осенним дождичком, гнется под осенним ветром.

Тотчас муза заговорила, тотчас полились строки: «Поздняя осень, грачи улетели. Лес обнажился, поля опустели. Только не сжата полоска одна...»

\* \* \*

Грандиозные, умопомрачительные ландшафты Монголии. Полное впечатление, что мы — астронавты, прилетевшие на какую-то другую планету, и вот осматриваемся, не обнаруживая пока никаких признаков обитания на ней, если не считать крупных коршунов, медленно плавающих в ярко-синем, в густо-синем, в чисто-синем небе. Степные плоскости, окаймленные там и сям силуэтами холмов и гор, расчленены разноцветными тенями от этих гор, а горы сами, тоже в зависимости от их освещения, то сиреневые, то красные, то синие, то едва ли не черные. И все это с размахом от далекого горизонта до далекого горизонта. Ландшафт, и никаких признаков человека. Со мной сотрудник посольства Борис Емельянович Низовцев, хорошо

знающий эту землю. То, что он говорит, удивляет меня. Обычно, когда смотришь на какой-нибудь ландшафт в неблагоприятное время года (зимой, поздней осенью, ранней весной) говорят: «Это что! Посмотрели бы вы, какая красота здесь летом!» Так вот, Борис Емельянович говорит: «Это что! Посмотрели бы вы на эту землю зимой! Мороз за пятьдесят. Воздух звенит. И степь, и холмы, и горы — все белоснежное, но все изрезано разноцветными тенями: синими, красными, лиловыми, почти что черными. Фантастика, сказка. Нет, вам надо поглядеть на эту землю зимой!»

\* \* \*

Иногда в родственных языках первоначальное значение слова сохраняется первозданнее, нежели в русском языке. Например, если спросить в Болгарии, как пройти туда-то и туда-то, болгарин скажет «направо». Но это не значит, что надо идти направо. Надо идти прямо. В самом деле, говорим же мы, что «наше дело правое», то есть правильное, прямое. А «направо» в Болгарии будет «надясно» — от десницы, правой руки.

Или — в Польше. Вozил меня по стране с серией выступлений польский поэт Мариан Гжещчак. Его задачей было представлять меня слушателям и немного рассказывать обо мне. Каждое его выступление начиналось сообщением о том, что я родился в селе Алепине в семье «хлопской», то есть холопской. Буквально — крестьянской.

Ну, знаю, знаю я, что действительно родился в крестьянской семье, но каждый раз, когда говорилось «хлопской», меня в глубине души передергивало. Одно дело — семья крестьянская, а другое — холопская.

\* \* \*

Телевизор — это кишка, введенная в желудок (через пищевод), с воронкой на наружном конце для принудительного питания.

\* \* \*

Ухаживал я за молодой женщиной, учительницей, между прочим, московской школы. Ужинаем в ресторане, оживленно беседуем. К случаю я ввернул:

— Ну, знаете, вам для полноты образа не хватает только нимба над головой.

В лице собеседницы почувствовалось борение чувств: хочет о чем-то спросить и стесняется. Наконец преодолела себя, решила:

— А что такое нимб?

\* \* \*

Приезжали колонизаторы на вновь открытые земли, выманивали бусами и побрякушками-безделушками золото, серебро, слоновую кость. Иду по набережной в Сан-Франциско. Индейцы, приехавшие из резервации, разложили бусы и побрякушки-безделушки (так называемые сувениры), выманивают у туристов доллары.

\* \* \*

Иногда, чтобы поднять какую-нибудь отстающую отрасль и впрыснуть в нее жизнь, делают капиталовложения. Но это как если бы, когда у автомобиля спустит колесо, взять и накачать его. Через десять минут колесо спустит снова. Надо сначала либо поменять колесо, либо заклеить дырку.

\* \* \*

Выбрал Толстой Сонечку Берс, восемнадцатилетнюю девицу, и она сразу же согласилась стать его женой.

Конечно, жизнь с таким человеком была не из самых легких, конечно, она нарожала ему кучу детей, конечно, она переписала (но не написала) несколько раз «Войну и мир». И вот все это уже давало

ей возможность сказать про Толстого по иному поводу: «Дурь и прихоть». Ну, например, когда он сел вдруг за изучение греческого языка. Справедливо ли?

\* \* \*

Разные ритмы жизни.

Во Франции в деревне Домреми сохранился дом Жанны д'Арк и церковка около него. Я был в этой церкви. Она очень древняя. Там на каменной доске начертаны в последовательности имена всех настоятелей этой церкви начиная с тринадцатого века. Я был удивлен краткости списка за семьсот лет. Оказывается, семьсот лет — это не так уж много человеческих поколений. Во всяком случае, настоятелей сменилось там меньше, чем председателей в нашем колхозе за пятьдесят лет.

\* \* \*

Известно, что самыми большими специалистами по части российских самозванцев были раньше польские короли и магнаты. Это естественно. Они стремились к независимости, ко всяческому возможному ослаблению Российской империи. Тут и два Дмитрия-самозванца, тут и княжна Тараканова...

Но почему-то все проходят мимо любопытных фактов в истории Пугачева.

Конечно, на бунт, на восстание хватило бы и самого Емельяна, как хватило Степана Разина или Булавина. Но что за фантазия у простого неграмотного мужика провозглашать себя императором?

Между тем в «Истории Пугачевского бунта» у Пушкина читаем:

1) «Сей бродяга был Емельян Пугачев, донской казак и раскольник, пришедший с ложным письменным видом из-за польской границы...»;

2) «...оставшись у Кожевникова, объявил ему, что он император Петр III, что слухи о смерти его были ложны, что он, при помощи караульного офицера, ушел в Киев, где скрывался около года; что потом был в Цареграде и тайно находился в русском войске во время последней турецкой войны...» (то есть какая подробно разработанная версия!);

3) «...он уверял, что... у него на границе заготовлено двести тысяч рублей; обещал он каждому по двенадцать рублей в месяц жалованья»;

4) распоряжение Рейнсдорпа: «У польских конфедератов, содержащихся в Оренбурге, отобрать оружие и отправить их... под строжайшим присмотром...»;

5) и наконец, когда генерал-аншеф Александр Ильич Бибииков начал успешно громить Пугачева, то вдруг внезапно скончался на сорок четвертом году жизни.

У Пушкина читаем в конце пятой главы:

«Молва приписывала смерть его действию яда, будто бы данного ему одним из конфедератов» (!).

Я ничего не говорю, но все-таки, не правда ли, есть о чем подумать.

\* \* \*

В начале пятидесятых годов Н. был очень известным и активным журналистом. Он освещал в репортажах и очерках одну, как тогда называли, «великую стройку коммунизма». В конце концов по его сценарию был сделан большой документальный кинофильм об этой стройке.

Журналистская активность всегда связана с бесчисленными звонками из редакций.

Однажды Н., засев за работу, приказал своим домашним:

— Откуда бы ни звонили и кто бы ни звонил — меня нет дома. И вообще нет в Москве.

Вечером жена ему сообщила:



— Несколько раз спрашивал один и тот же голос. Он оставил свой номер и просил обязательно позвонить.

Н. позвонил и спросил, в чем дело.

— Очень жаль,— сказали ему,— что вас не оказалось в Москве. У Иосифа Виссарионовича был просмотр фильма, и мы думали, что вам как автору сценария было бы интересно присутствовать...

С тех пор Н. всегда подходил к телефону, но есть вещи, которые не повторяются.

\* \* \*

В двадцатом веке осуществилось как бы географическое единство мира. Мир стал маленьким и доступным. Расстояния на земном шаре измеряются лишь часами. Но при этом не осуществилось единого сообщества людей на земле. И в этом одно из главных противоречий современного состояния человечества. Географические расстояния предельно сократились, а общественные, социальные, национальные, государственные, политические расстояния остаются в лучшем случае прежними.

\* \* \*

Много раз приходилось выступать на коллективных поэтических вечерах, когда на сцене усаживаются десять, а то и больше выступающих.

Все мы коллеги, если не друзья, называем друг друга по именам: Женя, Вася, Юля, Сережа, Миша.. Все доброжелательны друг к другу.

Друзья-то друзья, но вот вдруг начинается легкое летучее препирательство, этакая торговля, кому, когда, вслед за кем выступать.

Дело в том, что у аудитории, у течения вечера есть свои закономерности. Внимание аудитории можно было бы даже изобразить графически: за пиками следуют спады, ямы, провалы. Например, когда выступает первый, публика еще не сосредоточилась, не собралась, первого выступавшего она может как бы пропустить мимо ушей. Или другой случай. Если у выступавшего был бурный успех, аплодисменты и прочее, то можно смело сказать, что публика выплеснула на него свои эмоции и следующему их не достанется, следующий оказывается в слабой позиции, в точке резкого спада внимания аудитории. Напротив, если выступал слабый и нудный поэт, то это выгодный фон, после него самый благоприятный момент для выхода.

И вот начинается перед началом вечера легкое препирательство: кому когда выступать? Каждый старается поставить себя в наиболее выгодные, выигрышные условия. За счет кого, чего? За счет других выступающих, разумеется. Пусть они оказываются в слабых позициях, а не я.

А как же доброжелательство, дружба?

\* \* \*

В дореволюционной России елка наряжалась не к Новому году, а к рождеству. Одни мои московские друзья сохраняют эту традицию. Кроме всего прочего это оказалось очень удобным даже и в бытовом отношении. Все мы знаем, что творится с елками перед Новым годом, каково достать елку, в каких очередях надо за ней отстоять, сколько нужно помыкаться, прежде чем станешь обладателем новогодней елки.

И вот граждане, проведив Новый год, начинают елки постепенно выбрасывать. Рождество, как известно, 7 января. Моим друзьям остается только зайти в любой двор и выбрать елку по своему вкусу.

\* \* \*

Привозят нас, делегацию московских писателей, в гости в какой-нибудь район (совхоз, колхоз). И что же начинается в первую оче-

редь? Секретарь райкома (председатель, директор) начинает вроде бы даже отчитываться: продукции произведено столько-то, дохода получено столько-то, накоплений столько-то, надои такие-то, центнеров столько-то, телевизоров столько-то... Прилично ли перед гостями с первых же слов эдак-то вот хвалиться? Это все равно что в дом пришли гости, хозяин им в первую очередь: зарплата у меня такая-то, премиальных я получил столько-то, две почетные грамоты, член месткома, дочь моя пятерок получила столько-то... Но привыкли, как будто так и надо.

\* \* \*

Говорим все время о бывшей России как стране сплошной неграмотности, темноты и невежества. Как будто грамотность только в том, чтобы знать буквы алфавита и уметь что-нибудь прочитать и что-нибудь нацарапать на бумаге. Ведь было полно умельцев, мастеров своего дела. Разве столяр-краснодеревщик, изучивший все тонкости дерева, разве чеканщик по серебру, разве плотник, умевший срубить Кижы, разве пчеловод, изучивший все повадки пчел, разве иконописец, овладевший мастерством живописи, разве травник (травница), проникший в тайны трав, разве даже печник или горшечник, один из них складывающий печи с прекрасной тягой и прекрасно удерживающие тепло, а другой обжигающий горшки со звоном почти что фарфора,— разве все они были безграмотны в своем деле, если они были мастера высокого класса? А буквы алфавита? Тьфу. Любой дебил выучит их за неделю.

\* \* \*

В детском садике проводится опыт. У всех детей манная каша сладкая, а у одного мало того что несладкая — соленая-пресоленая. Каждого по очереди спрашивают: какая кашка? Сладкая, сладкая, сладкая... Доходит очередь до того, у кого соленая. Он, поддавшись потоку, «террору среды» (когда все говорят, как же сказать не то, что все?), тоже выдавливает из себя: «Сладкая». Ну как же! Такая-то — великая певица, такой-то — великий танцор, такой-то — великий юморист. Как же сказать иначе? Засмеют. Заплюют.

Но, оказывается, даже в детском садике находятся подопытные мальчики, которые умеют преодолеть «террор среды» и на соленое не говорят, что оно сладкое, но так прямо и отвечают: соленое. Это — я.

\* \* \*

Говорят, если изолировать двух муравьев, то они даже отказываются от пищи. Они, видимо, понимают, что все равно не смогут продолжить вида и обречены на вымирание. Но если изолировать достаточное количество их, то они снова становятся деятельными.

\* \* \*

Впереди меня идут две пожилые женщины. Одна из них рассказывает другой, как она со своей семьей переехала в другую квартиру, в которой до этого жили другие люди:

— Не знаем, как и привести в порядок эту квартиру после них. В ванной — зеркало во всю стену. Ну прямо вся стена из одного зеркала. На черта оно? Придется на месте это зеркало разбивать и — в мусоропровод. Ты только подумай: в ванной во всю стену зеркало! На черта оно?

\* \* \*

У меня был вечер в ядерном центре в Дубне. После вечера хозяева устроили ужин. Банкетнику (человек на тридцать) оказал честь руководителем этого ядерного центра, крупнейший ученый современности, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии математик Николай Николаевич Боголюбов. За столом мы оказались рядом. Естественно, шли разговоры.

— Как же так? — спрашиваю я. — Еще совсем недавно в школе нас учили, что атом есть мельчайшая, последняя и неделимая частица материи. А вы ее теперь делите.

— Да еще как! — отвечает ученый. — Да, думали, что это последняя и неделимая. Заглянули, а там — каша. Стали считать, что протон (я могу напутать в названиях частиц. — В. С.) неделимая частица материи, заглянули, а там — каша. Ну, остается нейтрино. Настолько мала, что любая материя для этой частицы практически прозрачна. Сквозь земной шар она пролетает, ни за что не задевая. То есть через атомы летит, ни за что не задевая. Ну, как метеорит через Солнечную систему. И вот заглядываем, а там — каша. И если нейтрино при определенных условиях взорвется, из него может народиться галактика.

Нетрудно догадаться, какое молчание наступило за столом.

— Да, — продолжал ученый, — наш мозг не готов к восприятию этой идеи, как и многих других, до которых (парадоксально!) он сам же додумывается.

Все молчали.

Тогда, чтобы все перевести на шутку, я спросил:

— Так кто же все-таки бог по специальности-то?

— И математик... — поддержав мою шутку, серьезно ответил Николай Николаевич Боголюбов.

\* \* \*

Наша литература в силу целого ряда обстоятельств либо обходила некоторые явления действительности, исторические моменты, либо освещала их с одной какой-нибудь стороны. А между тем время шло. Информация об этих явлениях и моментах постепенно становится достоянием нас, живущих на земле в это время, и получилось, что мы, люди, знаем о действительности больше, чем знает о ней наша литература. А главное, знаем о ней немножечко по-другому. Вот почему книгу, которая, в общем-то, впервые трогает тот или иной пласт, читать подчас не очень интересно. Я знаю об этом пласте больше, чем эта книга, она только еще трогает его, а я уже все об этом давно знаю.

\* \* \*

Одна журналистка, автор интересных воспоминаний, написала о себе, что она не скала, а река. То есть что она течет от события к событию, от человека к человеку, от любви к любви и так далее и тому подобное.

Я бы про себя сказал, что я, оглядываясь назад на свою жизнь, вижу себя даже и не рекой, а плотом, который плывет по прихоти текущей воды.

Но почему-то и каким-то образом этот практически неуправляемый плот всегда несло по оптимальному, во всяком случае, по благоприятному курсу.

\* \* \*

Сама жизнь Пушкина с особенным происхождением по материнской линии от Ганнибалов, с лицейской юностью, с друзьями (Жуковский, Карамзин и другие), с ранним литературным успехом и ранними ссылками, с путешествием в Арзрум, с Ариной Родионовной, с его любимыми женщинами, с женитьбой на первой красавице России, с болдинской осенью и, наконец, с трагическим концом — вся эта жизнь Пушкина есть уже как бы законченное художественное произведение, если избегать пошловатого слова «роман». Если бы писать роман об этом человеке, не нужно было бы ничего ни убавлять, ни прибавлять — настолько все тут цельно, страстно, остро-конфликтно, романтично, ярко и трагедийно...

\* \* \*

Прозу Пушкина я люблю нисколько не меньше его стихов. «Дубровский», «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Путешествие в Арзрум»... Наслаждаешься самим процессом чтения, ибо все уж давно знаешь едва ли не наизусть, но что приводит в истинный восторг — так это лаконизм пушкинской прозы. Так и видно, что писатель заботился не о количестве страниц, а только о выразительности. Так и видно, что писателю платили тогда не за объем рукописи, а за произведение как таковое. «Дубровский». Страшно подумать, что это сто страницек в книге маленького формата. «Капитанская дочка» — шестьдесят восемь страниц. А сколько там всего! Какая насыщенность событиями, чувствами, психологией, характерами... Я думаю, у среднего современного писателя и «Дубровский» и «Капитанская дочка» превратились бы в пухлые тяжелые «кирпичи» по пятьсот — шестьсот страниц каждая книга.

\* \* \*

Для того чтобы на земле возникла и была возможна жизнь, потребовалось множество совпадений, которые современная наука называет случайными. Случайно в атмосфере оказался ионный барьер, который предохраняет все живое от космических излучений. Случайно химические элементы соединились в белковую молекулу, случайно ультрафиолет не проникает через верхние слои атмосферы. Сама атмосфера возникла случайно, потому что случайно на земле возник фотосинтез с выделением кислорода. Случайно на земле поддерживается благоприятная для жизни температура, случайно на земле оказалась вода, на основе которой и построена вся жизнь... Если заняться, то можно из ученых книг выписать сотни таких совпадений. Но не слишком ли много случайностей и совпадений, нацеленных в одну точку?

\* \* \*

Обратите внимание, что из двух непроницаемых бездн, проблеском между которыми является человеческая жизнь, люди заглядывают все время в ту, которая ждет, а не в ту, которая осталась позади. Одни — рационально отрицая, другие — смутно надеясь, третьи — твердо веруя, что их там, впереди, ждет какое-то продолжение, но все люди, все философские концепции, религии всех времен и народов, кроме разве буддистов, обращают свой взор к той бездне, в которой человек исчезнет, а не к той, из которой он появился.

\* \* \*

В литературоведении много говорится о демонизме Лермонтова, о байронизме, о его озлобленности по отношению к жизни, о его презрении если не к людям, то к окружающей среде и прочему. При этом исследователей удивляла некая двойственность личности Лермонтова, когда наряду с видимым озлоблением и, как мы теперь сказали бы, крайним индивидуализмом вдруг проступали черты человечности, мягкости, нежности и добра. А между тем ничего удивительного во всем этом нет. Дело в том, что ранний, юношеский (хотелось бы сказать — мальчишеский) демонизм и байронизм были только позой, душа же его на самом деле была — верх чистоты, доброты, мягкости и ранимости. И вот происходил естественный и закономерный процесс. С годами шелуха позы, постороннего литературного влияния осыпалась, а подлинная душа все более высветлялась, выступала на передний план, диктовала все более человеческие, добрые, спокойно-мудрые, все более подлинно народные слова.

\* \* \*

Известно, что Гоголь был очень религиозным человеком, православным христианином. Он крещен в церкви в Сорочинцах, в «Из-

бренных местах...» у него есть глава о литургии, он был связан с оптинскими старцами, в последние годы жизни религиозная экзальтация приняла у него даже несколько болезненный характер. Известно также, что он как-то, я бы даже сказал, декларативно любил Русь и тысячу раз торопился признаться ей в любви, но нетрудно заметить в богатой духовной жизни Гоголя, в самой сокровенной сути ее некую раздвоенность и — вот именно — болезненность. Что-то все время жгло его изнутри, что-то ему все время мешало, можно сказать, несколько преувеличив, что он жил словно на иголках.

Да и по тексту: с одной стороны, «О, Русь, птица-тройка», с другой — одни хари да рожи. Чего стоят имена русских и малороссийских людей во всех почти произведениях Гоголя. Все эти башмачкины, довгочхуны, товстогубы, пошлепкины, держиморды, люлюковы, ухвертовы, яичницы, хевакины, собакевичи, кирдяги, козолупы, бородавки, сквозники-дмухановские... Что стоит описание русского губернского бала и сравнение его с мухами, слетевшимися на сахар, да и многое, многое другое.

И вот при очень внимательном и многократном прочтении гоголевских текстов можно вдруг прийти к мысли, что его всю жизнь мучила одна глубокая тайная любовь, его тайна тайн и святая святых — любовь к католической Польше. Происхождение ли здесь причиной (все-таки Яновские как-никак), исторические ли очень сложные связи Польши и Украины — не знаю, но едва ли я ошибаюсь...

Все, что я тут напишу, совершенно недоказуемо и, как говорится, гипотетично, но если мысль зародилась, пусть самая спорная, то отчего бы ее не высказать? От величайшего русского писателя не убудет.

Возьмем произведение, где две сферы — Русь и Польша, православное христианство и католицизм — сталкиваются наиболее остро и беспощадно, возьмем поистине эпическое полотно Гоголя, возьмем «Тараса Бульбу».

Конечно, Гоголь с большой симпатией описывает запорожское православное войско, равно как и нравы Запорожской Сечи, равно как и отдельных запорожцев. Но все же сколько бы мы ни искали тут духовности и духовной красоты, объективно мы ее не найдем. Умом и объективным повествованием Гоголь — с запорожцами. Но именно объективное-то повествование и наводит в конце концов на роковую раздвоенность гоголевской души, на потайной ларец, хранящийся на ее дне.

Православность и духовность запорожцев получают как-то на словах, вернее, в них приходится верить на слово. Да, они воют за православную веру, против «бусурменов» и нехристей. Но, может быть, сами они молятся, ведут себя по-христиански? О нет, они только едят, пьют и гуляют.

«Первый, кто попался им навстречу, это был запорожец, спавший на самой середине дороги, раскинув руки и ноги... Закинутый гордо чуб его захватывал на пол-аршина земли. Шаровары алого дорожного сукна были запачканы дегтем для показания полного к ним презрения... И Фома, с подбитым глазом, мерял без счету каждому пристававшему по крупнейшей кружке... В воздухе далече отдавались гопаки и тропакки, выбиваемые звонкими подковами сапогов... Это было какое-то непрерывное пиршество... Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на свое прошедшее и беззаботно предавался воле и товариществу таких же, как сам, гуляк, не имевших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души своей... Охотники... до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и реалов во всякое время могли найти здесь работу... Поднялась гульня, какой еще не видывали дотоле Остап и Андрий. Винные шинки были разбиты; мед, горелка и пиво забирались просто, без денег; шинкари

были уже рады и тому, что сами остались целы. Вся ночь прошла в криках и песнях, славивших подвиги. И взошедший месяц долго еще видел толпы музыкантов, проходивших по улицам с бандурами, турбанами, круглыми балалайками... Наконец хмель и утомление стали одолевать крепкие головы. И видно было, как то там, то в другом месте падал на землю козак. Как товарищ, обнявши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валился вместе с ним. Там гурьбою улегалась целая куча; там выбирал иной, как бы получше ему улечься, и лег прямо на деревянную колоду. Последний, который был покрепче, еще выводил какие-то бессвязные речи; наконец и того подкосила хмельная сила, и тот повалился — и заснула вся Сечь».

Но вот Сечь двинулась защищать православие.

«Войско... облегло весь город и от нечего делать занялось опустошением окрестностей, выжигая окружные деревни, скирды необранного хлеба и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутые серпом, где, как нарочно, колебались тучные колосья, плод необыкновенного урожая, наградившего в ту пору щедро всех земледельцев. С ужасом видели с города, как истреблялись средства их существования. А между тем запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и на Сечи, курениями, курили свои люльки, менялись добытым оружием, играли в чехарду, в чет и нечет и посматривали с убийственным хладнокровием на город... Скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительною трезвостью... Кошевой велел удвоить даже порцию вина... Возле телег, под телегами и подале от телег — везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях...»

Как известно, в это время, пробравшись из осажденного города подземным ходом, пришла к Андрию татарка, служанка молодой польки, и повела Андрия тем же подземным ходом в город к полякам.

И тут у Гоголя находятся не только другие слова и другие краски, но меняется сама тональность, сама музыка повествования. Что же противопоставлено опившемуся и объевшемуся, развалившемуся на траве и храпящему войску христову?

«Они очутились под высокими темными сводами монастырской церкви. У одного из алтарей, уставленного высокими подсвечниками и свечами, стоял на коленях священник и тихо молился. Около него с обеих сторон стояли также на коленях два молодые клирошанина в лиловых мантиях с белыми кружевными шемизетками сверху их и с кадилами в руках. Он молился о ниспослании чуда: о спасении города, о подкреплении падающего духа, о ниспослании терпения... Несколько женщин, похожих на привидения, стояли на коленях, опершись и совершенно положив изнеможенные головы на спинки стоявших перед ними стульев и темных деревянных лавок; несколько мужчин, прислонясь у колонн и пиластр, на которых возлежали боковые своды, печально стояли тоже на коленях. Окно с цветными стеклами, бывшее над алтарем, озарилось розовым румянцем утра, и упали от него на пол голубые, желтые и других цветов кружки света, осветившие внезапно темную церковь. Весь алтарь в своем далеком углублении показался вдруг в сиянии; кафельный дым остановился в воздухе радужно освещенным облаком. Андрий не без изумления глядел из своего темного угла на чудо, произведенное светом. В это время величественный рев органа наполнил вдруг всю церковь; он становился гуще и гуще, разрастался, перешел в тяжелые рокоты грома и потом вдруг, обратившись в небесную музыку, понесся высоко под сводами своими поющими звуками, напоминавшими тонкие девичьи голоса, и потом опять обратился он в густой рев и гром и затих. И долго еще громовые рокоты носились, дрожа под сводами, и дивился Андрий с полуоткрытым ртом величественной музыке».

«На верху лестницы они нашли богато убранного, всего с ног до головы вооруженного воина, державшего в руке молитвенник. Он было возвел на них истомленные очи, но татарка сказала ему одно слово, и он опустил их вновь... В комнате горели две свечи; лампада теплилась перед образом; под ним стоял высокий столик, по обычаю католическому, со ступеньками для преклонения коленей во время молитвы... Эта была красавица — женщина во всей развившейся красоте своей. Полное чувство выражалось в ее поднятых глазах... Еще слезы не успели в них высохнуть и облекли их блистающею влагою, прохладившею душу. Грудь, шея и плечи заключились в те прекрасные границы, которые назначены вполне развившейся красоте...»

«В это время вошла в комнату татарка. Она уже успела нарезать... принесенный рыцарем (кстати, сразу рыцарем обернулся разгульный запорожец. — В. С.) хлеб, несла его на золотом блюде и поставила перед своею панною. Красавица взглянула на нее, на хлеб и возвела очи на Андрия — и много было в очах тех... Его душе вдруг стало легко; казалось, все развязалось у него. Душевные движения и чувства, которые дотоле как будто кто-то удерживал тяжкою уздою, теперь почувствовали себя освобожденными... (то есть душа нашла сама себя и свое место. — В. С.). Она взяла хлеб и поднесла его ко рту. С неизъяснимым наслаждением глядел Андрий, как она ломала его блистающими пальцами своими и ела...»

«Вижу, что ты иное творенье бога, нежели все мы, и далеки пред тобою все другие боярские жены и дочери-девы. Мы не годимся быть твоими рабами, только небесные ангелы могут служить тебе...»

«На миг остолбенев, как прекрасная статуя, смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала, и с чудною женскою стремительностью, на какую бывает только способна одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное сердечное движение, кинулась она к нему на шею, обхватив его снегоподобными чудными руками...»  
Вот такие слова, такие краски, такая музыка.

\* \* \*

В отличие от Лермонтова с его юношеской саркастичностью и позой Пушкин был добр и весел с самого начала, с самых ранних стихотворений. Возьмем одну из эпиграмм Лермонтова, написанную в альбом женщине: «Три грации имелись в древнем мире. Родились вы — все три, а не четыре». Пушкин никогда бы женщину такой эпиграммой обидеть не смог. Аракчеева, Каченовского, Булгарина — пожалуйста. Но женщину... Вероятно, он написал бы в подобном случае: «Родились вы — и стало их четыре».

\* \* \*

Пушкин народен в самом глубоком и всеобъемлющем значении этого слова. Народ (если не путать его с населением той или иной страны) есть единый общественный, исторический, духовный организм.

В живом организме у разных его составных частей разные функции. Левая рука делает одно, правая рука (подчас) делает другое. Глаза смотрят, губы улыбаются, уши слышат, ноги шагают, голова думает. Но сердце у организма одно, душа одна. Точно так же и у народа — одна душа, одна поэзия, одна песня, один язык, одна судьба. Пушкин и был выразителем народной души, а вовсе не какой-то одной части народа. Тем самым он и сейчас способствует единению народа, самосознанию народа, всему тому, без чего народ не может существовать как народ, превращаясь в аморфное и безликое население.



---

---

ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ

★

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

\* \* \*

Нестареющих красок  
Звучание свежее  
Душу радует,  
Слух покоряет и взор.  
Вновь спешат перекликнуться  
С Белою Вежею  
Золотые Ворота,  
Серебряный бор.

Это — Черное море  
И Брама Зеленая,  
Это — Желтые Воды  
И Синий Шихан.  
В словолитне столетий  
Под вечною кроною —  
Звон исконных названий,  
Искусный чекан.

В многоцветный ковер  
Нашей памяти  
Вотканы  
Ранний солнечный блик  
И закатный огонь,  
Красный конь,  
Вознесенный  
Петровым-Водкиным,  
И весенний  
Есенинский  
Розовый конь.

\* \* \*

...Следовать духу времени.

А Пушкин из письма издателю «Московского  
вестника», 1827 год.

Современник —.. сущий бывающий в наше время,  
сверстный нам...

В Даль, «Толковый словарь».

«Современник» — точное заглавье.  
Зачинатель, основав журнал,  
На странице титульной восславил  
Свой девиз — он цену слову знал.



Малый срок отпущен был поэту,  
Но первоиздателя стило  
Приняли друзья как эстафету,  
А название силу обрело.

Приобщенное к российским далям,  
Совершая многотрудный путь,  
Слово, истолкованное Далем,  
Сохранило пушкинскую суть.

Современник — это значит сущий,  
Сверстный нам, необходимый нам,  
Истину и новизну несущий  
И отцам ровесник и сынам.

Емкое понятие — современник,  
Всех времен связующая нить.  
Выше почестей, дороже денег  
Право современником прослыть.

Даже не прослыть, а просто быть им,  
Жить, минуту каждую ценя,  
Став причастным и к большим событиям,  
И к заботам рядового дня.

Пушкиным завещанное слово —  
Ускоритель замыслов и дел.  
Миг текущий — вечности основа,  
Если не впустую пролетел.

И ничто не брэнно в этой смене  
Напряженных суток и годов.  
Мир бессмертен, ибо современник  
С будущим аукнуться готов.

\* \* \*

Я покидаю должность старика...  
М. Светлов.

Старею вместе с веком, но живу.  
Еще я на ходу и на плаву.  
Еще могу довериться волне,  
Порой скольжу по утренней лыжне  
И — неостепенившийся чудак. —  
Как в юности, болею за «Спартак».

По-прежнему, работою влеком,  
Я чувствую себя учеником.  
Приблизившись к седому рубежу,  
Я неизменно лирике служу,  
В душе надеясь — рядом не итог,  
А новый неожиданный виток.

О, не сочтите это похвальбой.  
Годам и я подвластен, как любой.  
Да и смешно изображать юнца.  
От возраста не отвернешь лица.  
Но милая светловская строка  
Мне улыбается издалека.

Пока волчок вращается, он жив.  
Он рушится, вращенье прекратив.  
А потому хотелось бы и впредь  
Не из окна восходы лицезреть,  
А собираться в странствия опять,  
Ходить и ездить, плавать и летать.

Хотелось бы, пока еще могу,  
Не оставаться у людей в долгу,  
Под чью-то ношу подставлять плечо,  
Дышать в пути легко и горячо,  
Живые строфы заносить в тетрадь  
И пенсию собесу возвращать.

### Узелок на память

Никаких не допускай уступок,  
Даже в малом будь самим собой.  
Побеждает именно  
П о с т у п о к,  
Зорко управляющий судьбой.

Целеустремлен и беспокоен  
Каждый пробуждающийся день.  
Разные слова, единый корень —  
П о с т у п ь,  
Н а с т у п л е н и е,  
С т у п е н ь.

Принимая веское решение,  
С вечным риском сочетая труд,  
Помни:  
Настоящее движение  
Люди п о с т у п а т е л ь н ы м зовут.

\* \* \*

Я живу в Ялте, вероятно, это так называется, потому что езжу читать во все имеющиеся стороны.

*В. Маяковский, из письма, 1927 год.*

Дворовый флигель в Ялте на Морской.  
Ему давно пора бы на покой.  
Такие сносят запросто, а он  
В разряд строений памятных внесен.  
Покрыт волнистой кровлей старожил,  
Он до сих пор свое не отслужил.  
Здесь и поныне действующий клуб,  
Он горожанам и приезжим люб.

Одноэтажный домик на Морской  
Не зря украшен мраморной доской.  
Здесь, хоть ему и не по росту зал,  
Однажды Маяковский выступал.  
Тогда спортивных не было дворцов,  
А он являлся и на скромный зов.  
Под углым кровом — мест наперечет.  
Но клубу соработников — почет!

Светить повсюду, быть среди людей,  
Светить всегда — работы нет святых.

Дворовый флигель в Ялте на Морской  
Среди курортной суеты мирской.  
Здесь крутят фильмы, крутят, как тогда,  
В далекие двадцатые года.  
Но чудится мне в зале и сейчас  
Рокочущий необоримый бас.  
И сквозь экран, сквозь киноленту лет  
Выходит на просцениум поэт,  
Раздвинув стены, подняв потолок  
Патетикой высокогорных строк,  
Да так, что виден далеко окрест  
Чтеца всепобеждающего жест.

Столетие на финишной прямой.  
А за углом — немолкнущий прибой.  
Все тот же флигель. Строгая доска.  
Скупая надпись каждому близка.  
Дневной сеанс на улице Морской  
Опять в душе рождает непокой.



---

---

ВЛАДИМИР ГОРДЕЙЧЕВ

★

ПОРА ВЕСОМЫХ СЛОВ

\* \* \*

Дням убывать, а песням петься.  
Преображение творя,  
стал приглашать в себя вглядеться  
пассив родного словаря.  
Вдруг просвежась, как из-под снега,  
взойдет впервые не мертво  
словцо приглядчивое — «нега»,  
что было чуждым до того.  
Или, как бы на солнце греясь,  
глядишь в девчоночье лицо,  
и архаичнейшее — «прелесть» —  
само рождается словцо.  
Среди звучаний и значений  
искать, однако, не устань  
алмазу родственных значений  
огнем играющую грань.  
Как бы на звезды небосвода  
неколебимые глядим  
вблизи пословичных народа  
и поговорочных глубин.

\* \* \*

Делиться мыслями о времени —  
не то что, bravo избочась,  
впадая в пафос неумеренный,  
оповещать, который час.  
Картинной позой обесмыслена,  
несоразмерна словесам  
той циферблатной жизни истина,  
какую каждый знает сам.  
Куда вернее мысль о времени,  
когда становимся под кладь,  
чтоб, ощущая тяжесть бремени,  
по пустякам не толковать.

Немногословны все работники,  
в ком честен времени развес,  
и труд на ленинском субботнике —  
вот красноречья образец.  
Не слова вокруг да около,  
но, если родина велит,  
нас помышление высокое  
в работе воодушевит.  
Ведь плеск над нами стяга красного  
сам по себе уже не скуп.  
И непотребность слова праздного  
да не сорвется с наших губ.



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ



## ЦЕНА ЛЮБВИ

— **А** докажите ценность любви! — сказала моя собеседница, симпатичная студентка двадцати двух лет.

Это весьма нестандартное предложение прозвучало и в обстановке нестандартной, о которой стоит рассказать подробнее.

В огромной Москве, помимо прочих форм общения, множество самых разнообразных компаний. Люди собираются вместе по сотне причин. Кто праздник отметить, кто в картишки перекинуться, кто коллективно помолчать у телека, кто поболтать под магнитофон, кто просто провести вечер на людях, в тепле и уюте, кто с благородной целью свести под одной крышей десяток не слишком удачливых мужчин и женщин — авось кому и повезет.

Но компания, в которой я тогда находился, резко отличалась от помянутых выше. Телека не было, музыки не было, праздника не было, уют, если и был, не замечался, ибо собрались не ради него. Представьте: обычная московская квартира, не новая и не богатая. Человек пятнадцать: два психолога, социолог, физик, инженеры, преподаватели, музыкант, художник, переводчица, студенты. Что их объединяет? А вот что. Приблизительно раз в месяц они встречаются и целый вечер обсуждают ту или иную проблему. Диапазон почти безграничен: от новых теорий вселенной до психологических аспектов общения. Кто-то наиболее информированный делает сообщение по теме, а затем вопросы, реплики, дискуссия. Вот такой симпозиум, только без президиума и стенографисток.

Зачем все это нужно музыканту или переводчице? Если вдуматься, нужно. Всесветно признано, что крупнейшие открытия делаются сегодня на стыке наук: биологии и химии, лингвистики и кибернетики и так далее. Это естественно — природа не позаботилась о том, чтобы строго и точно поделить себя между учеными советами отраслевых институтов. Правда, мои собеседники на великие открытия не покушались. Но как теоретики и экспериментаторы ищут истину на стыке наук, так мы, простые смертные, хотим того или нет, живем на стыке проблем. Достижения ядерной физики неожиданно и мощно влияют на нравственность молодежи, мир в семье вдруг рушится под воздействием рок-групп, названия которых растерянные родители не могут запомнить, а статья о гиподинамии заставляет задуматься человека, уже скопившего деньги на «Жигули». Кто угадает, на каком ухабе подбросит завтра судьба нашу сугубо частную жизнь, какие знания понадобятся срочно в поворотный момент? Так что вполне можно утверждать, что компания, к которой я на вечер присоединился, проводила время не только интересно, но и с пользой.

В это интеллигентное и любознательное общество я был приглашен не наблюдать, а работать. Тема: современная семья. Мне доверено сделать сообщение.

Польщенный и чуть-чуть испуганный непривычной ролью докладчика, я минут за двадцать изложил в общих чертах все, что думаю о современной семье. Диагноз тревожен. Исход не ясен. Разводов множество. Выходы не очевидны и далеко не стопроцентны. Вполне возможно, что сейчас на наших глазах столь привычная форма человеческого общежития клонится к закату.

Я был предупрежден, что аудитория квалифицированная и недоверчивая, поэтому аргументы выбирал посильней и выражения тоже, преследуя задачу сугубо прикладную — расшевелить слушателей. Но реакции не наблюдалось — вполне вежливая тишина. Потом, когда я закончил, кто-то спокойно сказал, обращаясь к одному из сидевших за столом — полноватому мужчине в спортивной курточке:

— Ну да, ты примерно так и излагал. Только выводы другие.

Тот согласился:

— Картина, в общем, совпадает. Вот прогноз... Действительно семья распадается. Но как социолог я оцениваю этот факт по-иному.

— Как?

Он улыбнулся:

— А ничего страшного. Вполне естественный процесс. Семья никуда не девается, она просто меняет форму. В Штатах, например, разводов не намного меньше, чем у нас, а по статистике восемьдесят с лишним процентов людей живут в браке.

— В каком?

— Во втором, в третьем... В одном из. С кем-то разошлись, с кем-то сошлись, но в каждый момент времени большинство живет парами, в семье. Практически мы идем к тому же.

— То есть меняются партнеры, а семья остается?

— Ну да.

Видимо, эта сторона проблемы в компании уже обсуждалась, теперь шел ликбез специально для меня.

— Это понятно,— сказал я,— когда касается двоих, нет проблем. Хотят — встретились, хотят — разошлись. Но дети — с ними-то как?

Этот вопрос особого интереса не вызвал. Мужчина в куртке пожал плечами.

— Видимо, с матерью.

— А если она кочует из брака в брак?

Мужчина вновь пожал плечами, но не ответил, замялся. Зато молодая черноволосая женщина засмеялась и проговорила азартно:

— Кочуют вместе с ней!

— Разрастаясь в количестве?

— А что делать,— сказала она беззаботно, возможно, просто потому, что обсуждаемая ситуация от ее реальности была достаточно далека.

— А вы уверены, что им легко будет то и дело привыкать к новым папам?

Мужчина в курточке мягко возразил:

— Сейчас это, конечно, создает некоторые психологические сложности, потому что рядом есть традиционные семьи. А когда детям будет не с чем сравнивать, когда все будут жить так, это станет восприниматься как норма.

Кто-то заметил, что детей будет, видимо, воспитывать государство и проблема вообще отпадет. Были высказаны и еще кое-какие идеи: о молодежных кооперативах и так далее.

В общем-то, подобные соображения я слышал и раньше, они меня не удивили. Удивило и озадачило другое: мои симпатичные и развитые собеседники относились к возможному краху столь привычной нам формы семьи так бесстрастно, будто речь шла... ну, допустим, о смене сезона. Да, осень, да, прохладно, да, дождливо. Зато виноград сладок и арбузы дешевы. Надень плащ и живи в свое удовольствие.

У меня шевельнулось сомнение: а может, мои тревоги преувеличены? Может, это просто гипноз сильных выражений: гибель, распад, крах? Сами произносим слова и сами пугаемся. Возьмите любую газету: чуть не ежедневно специалисты предрекают многочисленные напасти, бьют во все колокола — а рядовой человек живет как и жил и под колокольный этот грохот спокойно радуется малостям бытия.

Засоряются реки? А пляжи полны, к мазутным пятнам на воде привыкли, прекрасно оттираются песком. Вырубаются леса? Зато оборудуются новые зоны отдыха. Человечество вычерпывает из глубин последние канистры нефти? Плевать — атом выручит! Уровень шума в городах для человека невыносим? А человек не только выносит, но еще и сам врывает на полную все свои транзисторы, от души выплясывая под смертоносные децибелы...

Так, может, и распад привычной нам формы общежития вовсе не трагедия? Ведь как-то живем. Не та, так другая — какая-нибудь семья да будет. Повывелась белорыбица? Подумаешь — будем есть бельдюгу и пристипому!

Наверное, вид у меня был достаточно растерянный, потому что кто-то успокоительным тоном спросил:

— А что вас, собственно, пугает в распаде семьи? Не нужно формулировок, просто поясните примером.

Я ответил, что дело не в прочности загсовского штампа, меня куда больше тревожит утрата очень дорогих человеческих отношений. Дружбы, любви, привязанности, взаимной заботы. Вот уже лет десять я провожу свое сугубо частное и вовсе не научное исследование, а именно — спрашиваю знакомых молодых людей об их жизненных планах. Ответы, в общем, однотипны. Образование. Утверждение себя в профессии. Семья. Ребенок, иногда двое. Квартира. Машина. Приличный уровень жизни. В общем, как правило, все разумно, реалистично, без фантастических запросов. Но — и это меня тревожит — любовь, за редчайшим исключением, в жизненные планы не входит. То есть от нее, конечно, не отказываются, но между серьезными делами, отнюдь не отождествляя с семьей, так, чтобы ни один пункт плана не пострадал. Выпадет — хорошо, не выпадет — не трагедия. Что-то вроде выигрыша в спортлото.

На этот раз ответом мне была задумчивая (наконец-то!) пауза. Потом кто-то произнес:

— Да, пожалуй, так оно и есть. В основные планы любовь не входит.

Тут энергично вступила в полемику моя молодая соседка, студентка с целеустремленным лицом современной деловой женщины.

— Ну и что? — сказала она. — Да, любовь значит для нас все меньше. Но ведь мы отказываемся от нее не просто так, а во имя других ценностей. Свобода, например, материальная независимость, творчество, познание жизни, еще многое другое.

Я возразил:

— Но все это, вместе взятое, все-таки не любовь.

Вот тут-то она и сказала:

— Ну и что? А докажите ценность любви!

Есть такое понятие: внутренний голос. Так вот в тот момент я явственно услышал целых два противоречащих друг другу внутренних голоса. Писатель во мне вскрикнул от восторга: вот это фраза, вот это формула! — а человек ужаснулся: бог ты мой, до чего же мы докатились...

Не помню, как я тогда отговорился. Доказать ценность любви, в общем-то, не сумел.

Меньше всего хочу обвинять в чем-то мою симпатичную собеседницу. Наоборот, я ей благодарен: она выразила словами то, что, как говорится, давно уже носится в воздухе. Нравится нам это или нет,

но то, что еще лет двадцать назад казалось аксиомой, сегодня потребовало доказательств. Ибо на невидимой бирже человеческих стремлений акции любви ощутимо упали.

Вот вам элементарный тест. Если бы предложили выбор: любовь или профессия, любовь или квартира, любовь или карьера, любовь или достаток, — что бы вы ответили? Я вовсе не утверждаю, что вы отказались бы от любви. Но ведь заколебались? Да, даже самому себе приходится доказывать ценность любви.

Тенденция видна даже в мелочах. И в том, что эстрадные сладкопевцы все меньше налегают на лирику, а тексты их любовных стений все абстрактней и невыразительней. И в том, что традиционно прекрасная тема первой любви почти полностью ушла из поэзии. И в самой нашей лексике: раньше обязывающе говорили — любят друг друга, теперь уклончиво замечают — живут. А самих любящих (как, впрочем, и не любящих) все чаще именуют демократичным термином партнеры.

Преувеличиваю? Принимаю частности за явление?

Не буду спорить, может быть, и так: никакой статистики у меня нет, только личные наблюдения и личная тревога. Но одно знаю твердо: частности, о которых благодушно молчат, могут быстро стать явлением.

Самое обидное, что и мы, литераторы, порой делаем все от нас зависящее, чтобы поставить любовь на место. Если критик ругает книгу за мелкотемье, можно не спрашивать, про что она, — все прочие темы одна другой крупней. Если редактор требует вдвое урезать «койку», только для непосвященного фраза звучит абсурдно, а бывалый автор мгновенно поймет, куда нацелен авторитетный карандаш. Возьмите годичную подшивку любого журнала — какая редколлегия постаралась доказать ценность любви? В современной нашей прозе неземная страсть, как коверный в цирке, развлекает публику между серьезными «номерами».

В классической литературе ее место было иным.

Правда, можно услышать, что тут другое дело, ибо великие и любовь изображали не приземленную, а исключительно великую. Но это совсем не так: они честно описывали и анализировали реальную жизнь со всеми ее противоречиями, от «Станционного смотрителя» до «Душечки» и «Ариадны». Великим был не масштаб предмета, а масштаб таланта.

Среди уроков гениев есть удивительные и даже загадочные.

Вот Франция, начало сороковых, маленький городок в провинции, Иван Алексеевич Бунин. В мире война, а ему за семьдесят; по разным причинам жизнь может оборваться в любой момент. Время писать завещание. А он пишет «Темные аллеи» — сорок рассказов о любви, книгу, поразительную по искренности и силе.

Но почему именно — о любви? Приятно вернуться в молодость, прикоснуться к дорогим воспоминаниям?

Наверное, было и это. Но для Бунина мотив все же мелковат. Я думаю, он писал не о самом приятном, а о самом важном, чему научила его долгая, бурная и трудная жизнь.

Он жил в эпоху войн и революций, привычный уклад то и дело разваливался, перестраивался и рушился вновь. Была возможность и понять и проверить, что же именно даже в лютый шторм удерживает человека на плаву. И теперь Бунин бросал спасательный круг незнакомому потомку, который когда-нибудь, возможно, будет нуждаться в помощи.

Думаю, многим тысячам людей успела помочь бунинская книжка о любви за эти десятилетия, ибо топит нас в жизни разное, а спасает одно.



И еще загадка бунинской книги. Сорок любовных историй — и ни единой о счастливой супружеской любви! Ну, пусть бы просто о счастливой. Нет! Только случайности, мимолетности, драмы и печали, только начала без будущего. Едва успеют герои взяться за руки, прижаться кожей к коже — а уже рвет их друг от друга либо смертельная болезнь, либо выстрел ревнивца, либо чья-то недобрая воля, либо собственное легкомыслие, либо трагическая нелепость, либо вообще нечто не названное: налетело, опрокинуло — и только обломки на воде.

Для современного критика-моралиста бунинская книга уязвима со всех сторон: и по части нравственности и по части оптимизма. Мелкотемье, сплошь мелкотемье.

А ведь сам он был счастлив в супружестве!

Чем же объяснить столь странную позицию классика, столь одностороннюю сюжетную ориентацию?

Трагическая эпоха диктовала трагические коллизии? Может, и диктовала. Но большие писатели не школьники и под диктовку не пишут, они — полноправные соавторы эпохи. Думаю, все проще: счастливую, длиной в жизнь любовь защищать не надо по той причине, что оппонентов не найдется. Такая любовь безоговорочно хороша, жаль только, встречается не часто. А Бунин написал о ценности того, что выпадает едва ли не каждому, — выпадает, да ценить не умеем. Сколько злобных, ехидных, грязных слов придумано для неудачливой, незаконной, незащищенной любви!

Бунин перед уходом успел ее защитить.

Грамм золота — все равно золото. Короткая любовь — все равно любовь.

Любовь часто называют слабостью («проявила слабость»), а умение переступить через нее — гордостью. Меня всегда интересовали люди, лишенные этой слабости, научившиеся надежно и безболезненно давить в себе любовь. С тревогой, даже некоторым страхом я следил за их судьбой — этим продуманным и холодноватым экспериментом на себе.

Правда, страх мой был не столько за них, сколько за остальное человечество, чьи слабости мне так понятны и дороги. Мне казалось, что у этих не зависящих от эмоций огромная фора на беговой дорожке жизни, и со временем именно они будут диктовать любящим и потому слабым правила игры. Теперь за человечество не боюсь: на множестве примеров убедился, что, как это ни парадоксально, на стайерской дистанции преимущество именно у слабых!

Когда-то я познакомился с парнем, казавшимся совершенно неуязвимым. Он был высок, светловолос, худощав, с небольшими трезвыми глазами. Уж не знаю, от кого досталось ему романтическое имя Рафаэль. Он был довольно способный, с неглубоким, но хватким умом. А главной его силой была как раз вот эта сквозившая в алюминиевых глазах трезвость.

В двадцать три года Рафаэль был полностью свободен от всех видов любви: к женщине, к другу, даже к родителям, — хотя вполне приемлемо ладил со всеми. Он неплохо окончил институт, хотя техническую свою профессию не любил. И работал неплохо, хотя работу не любил. И писал вполне «публикабельные» стихи, хотя поэзию не любил. И не без успеха пробовал себя в журналистике, хотя журналистику не любил.

Быстро оглядевшись во взрослой жизни, он остановился именно на журналистике, точно просчитав, что техническое образование плюс гуманитарные наклонности — отличный шанс продвинуться. В любой редакции есть много работы, которая не дает популярности, не привлекает читателя, но, как выражаются на планерках, «тоже нужна». Рафаэль решил стать специалистом именно в этой «тоже нужной» сфере, где конкуренция перьев не слишком велика. Правда,

и тут есть свои короли, способные сделать любой материал популярным и даже сенсационным. Но короли не любят административной работы. Рафаэль ее тоже не любил — но он не любил и творческую, и ему легко было из двух нелюбимых дорог выбрать ту, которая больше сулила.

При этом он вовсе не был человеком-машиной: легко приживался в новой компании, в меру интересовался девушками, имел много приятелей. Были люди, которых он высоко ценил, хотя именно ценил. И за добро он умел платить добром, хотя именно платить, как деловой человек, дорожащий репутацией фирмы. Меня поражало, как трезво, без иллюзий планировал он свое будущее.

— Годам к двадцати восьми, — говорил он, — сделаю карьеру. Не очень большую, но уж буду обеими ногами на эскалаторе. Дальше самому трудно, придется жениться.

— На ком?

— Пока не знаю. Уровень — примерно дочка замминистра.

— Тогда уж лучше министра, — возражал я без иронии, невольно втягиваясь в его логику.

— Нет, — отвечал он тоже без иронии, — на это не потяну.

— А потом?

Мечтателем он не был, поэтому равнодушно пожимал плечами.

— Там посмотрим. Зарываться не буду, но свое возьму.

К двадцати семи он заведовал отделом в скучноватой, хотя вполне солидной журналистской конторе, ему подчинялось около десятка человек. Уже были наработаны ценные связи и имелись вполне конкретные перспективы. Были люди, взявшие его в команду, — он их поддерживал, они его тянули. Словом, все шло, как намечалось, и удивляло только одно: о своих достижениях Рафаэль рассказывал не с радостью, не с гордостью, а с вызовом. Вызов-то — кому?

Потом мы не виделись года четыре. А когда встретились, я едва узнал его. Куда девались подтянутость, энергия, напор? Располнел, обрюзг, глаза — как захватанный стакан алкоголика. И — устойчивый запах спиртного.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Ничего.

Поговорили — и верно, ничего не случилось. Служба та же, ставка та же. Все то же, только энергия ушла.

— Но ты же собирался...

— А зачем?

— И на дочке замминистра?

— А зачем?

— Сам же говорил: карьеру надо к тридцати пяти...

И снова в голосе озлобленность и вызов:

— А зачем?

Сколько крепких мужиков, которым хватало и силы и воли, сшибал с ног этот детский вопрос! А в самом деле — зачем?

Карьера? Но ведь эта постоянная ответственность, труд, непрекращающаяся нервозность. А — зачем? Во имя нелюбимой работы? Или нелюбимого человечества?

Деньги? А — зачем? Чтобы тратить их на нелюбимых женщин?

Страшноватое это словечко — «зачем»...

А любящие таких вопросов никогда не задают.

Знакомая баскетболистка, чемпионка всех мыслимых соревнований, заслуженная и награжденная, как-то сказала мне:

— Так здорово, когда есть, для кого играть!

Мне кажется, алкоголиками и наркоманами становятся не жертвы несчастной любви, а как раз те, кто не умеет любить. К рюмке или к сигарете со зловещим зельем они тянутся не с горя, а от пустоты, чтобы хоть раз ощутить то ощущение крылатости, которое любовь

дает бесплатно и без ущерба для здоровья. К кому бы эта любовь ни была: к женщине, к детям, к родителям, к человечеству. Да хоть к собаке.

Разобраться в проблеме тем сложнее, что сам предмет разговора очерчен неясно. Поди разбери, где любовь, где не любовь: недаром от нее под разными предлогами то и дело отлучают те или иные человеческие отношения.

Давно заметил: чем меньше человек способен любить, тем охотней прилагает он к слову «любовь» определение «настоящая».

Сын влюбился в женщину с ребенком? Сына надо спасать, это любовь не настоящая, а настоящая придет потом. Подруга влюблена, а я нет? Тем хуже для подруги, ибо она просто «гуляет» с соседским парнем, а вот я если уж когда-нибудь влюблюсь, так только по-настоящему.

И так далее.

Я неоднократно допытывался: а чем отличается любовь настоящая от просто любви? Похоже, вот чем — качеством. Просто любят кого попало, и исход отношений не угадать. А настоящая любовь всегда к стопроцентно достойному человеку, всегда стопроцентно взаимна и всегда увенчивается стопроцентно благополучным концом.

Лично я был бы безусловным сторонником настоящей любви, если бы кто-нибудь мог стопроцентно гарантировать эту тройную стопроцентность. Хотя и в таком варианте было бы свое «но»: уж очень трусовата и корыстна эта самая «настоящая» любовь. За каждую израсходованную эмоцию она требует немедленной, а то и предварительной оплаты — достоинством, взаимностью, благополучным финалом и так далее. Деньги вперед!

Как правило, даже в самых счастливых альянсах абсолютного равенства нет: каждый любит в меру своей одаренности. Так вот, с точки зрения «настоящей» любви, сильнее любит дурак: он отдает больше, чем получает, и, значит, его обманывают. Зато сильнее любимый всегда в барыше.

Эта установка на выгоду при окончательном расчете таит в себе немало беды. И не для беззаветно любящих: они-то как раз получают чего хотят, ибо хотят побольше отдать. А вот коммерсантам худо: постоянно считают, что затратили и что поимели, и каждый раз выходит, что им недодало. Супруг недодал. Дети недодали. Друзья недодали. Страна недодала. Так и живут себе в убыток...

А все-таки что это такое — любовь? На мой взгляд, суть понятия уложится в короткую фразу: «Хочу, чтобы тебе было хорошо». И никаких дополнительных условий. «Нам хорошо» — это уже равноправная, но сделка.

Способность любить, как смелость или порядочность, чаще проявляется либо во всем, либо нигде. Или есть, или нет.

Дефицит любви коварно возникает в самых неожиданных местах. Мы ужасаемся: да как такое может случиться? Увы, может. И будет. Это «мелкая тема» мстит за унижения...

Подмосковье. Поздняя электричка. Две женщины и мужчина tearing газету.

— Вот нелюдь! — рубит пожилая.

— Н-да, вариант, — бормочет мужчина, углубляясь в текст.

А молодая женщина молчит.

Пробираюсь поближе, через полное плечо пожилой заглядываю в газету. Письмо в редакцию, заголовок «Не пойму вашей морали». Читательница с Украины рассказывает о ситуации, в которой оказалась:

«С одной стороны, понимала, что воспитывать нежеланного ребенка не смогу, а мои обращения к врачам оказались безуспешными.

И вот тогда мне посоветовали обратиться в горздравотдел, где вежливо объяснили, что уже в роддоме я смогу от ребенка отказаться. Его усыновят те, для которых он составит счастье. Вскоре у меня родился мальчик, и я письменно от него отреклась. Позже узнала, что его взяла на воспитание семья военнослужащего. Казалось бы, все обошлось благополучно. Но тут-то все и началось. Об этой истории узнали мои сослуживцы, и даже ближайшие подруги отвернулись. А вскоре меня и вовсе уволили с работы с жуткой характеристикой, хотя до этой истории я была на хорошем счету.

Вот я и хочу у вас спросить: кому я сделала плохо, кто пострадал от моего поступка? И что это за мораль, которая направлена на то, чтобы растоптать жизнь женщины?»

— Еще в газету пишет! — возмущалась пожилая. — Уволили ее! За это не увольнять, а убивать надо!

— Н-да, — бормочет мужчина, то ли поддерживая, то ли сдерживая ее. — Может, и не убивать, но... Не та мать, что родила, а та, что вырастила...

А я думаю, что тут он, пожалуй, вместе с пословицей малость перегибает. Девять месяцев носить и рожать в муках — тоже труд, и немалый. Хоть частично, да мать.

— Может, у нее обстоятельства так сложились, — словно нехотя отзывается их молодая спутница.

— Обстоятельства?! — вскидывается пожилая.

А я слушаю ее возмущенные выкрики, сочувствую ее гневу, но не могу избавиться от тревожного ощущения, что и в письме полуматери есть какая-то своя правота, что этой «морали» действительно не хватает логики.

В самом деле, в чем тут вина? Родила, а воспитывать не захотела?

Но такое обязательство она, заметим, и не брала. Ну, родила. Так ведь ей за это орден не дали и зарплату не прибавили. Единственное, что бы она получила, это право два ближайших десятилетия недосыпать, недоедать и недогуливать. А во имя чего? Чтобы через двадцать лет подросток чадо сделало ручкой?

Когда-то все было более или менее ясно: в семье растет работник, потом за заботу заплатит работой. Теперь такой связи нет: работник по-прежнему растет в семье, но работает потом не на семью, а на общество в целом. И страшит человека от болезни и старости опять-таки общество. И родная или чужая рука в тяжелый момент подаст стакан воды, опять-таки неясно.

Словом, материальная польза от выросших детей проблематична.

Так почему же от полуматери отвернулись подруги? Почему уволили с работы с жуткой характеристикой? На каком основании так непреклонна мораль: ты родила — ты и расти?

Нет логики.

Все недосыпы, недогулы и прочие жертвы с лихвой оплачивает лишь одно: любовь к маленькому человечку. А если ее нет?

Так за что же окружающие карают нашу полумать? За то, что нет у нее этой любви? Выходит, что так. Но ведь вокруг нее полно людей, которые не любят кто мужа, кто жену, кто родителей, кто вообще никого. Так почему же именно на нее одну обрушились громы небесные? Почему им всем не любить можно, а ей нельзя? Кто докажет ей исключительную ценность и строгую обязательность именно ее любви?

У подруг и сослуживцев автора письма эмоций хватает, а логики нет. У полуматери логика есть...

В вагоне поздней электрички пожилая женщина тычет пальцем в грудь оппонентки:

— Вот у нас в доме кошка окотилась, а двоих котятков съела. Так ее мальчишки камнями гоняли, пока совсем не сбежала. Дети и то понимают. А эта чем не кошка?

— Ну и чего ее теперь — камнями гонять?

Это молодая. Голос негромкий, но металл позванивает.

Пожилая женщина злится, повышает голос. Но злость не логика.

— Платили бы на ребенка как надо — не бросила бы, — упрямо говорит молодая. Видно, тоже с характером — уперлась.

— Ладно, — уступает вдруг пожилая, — ладно. Пусть! Не виновата. А вот скажи: ты бы с нею задрюжила?

— Ну, дружить, может, и не стала бы, — равнодушно бросает молодая.

— А брата на такой женила бы?

— Брата не женила бы, — отвечает та подчеркнуто скучным тоном: дескать, это-то при чем?

— А в бригаду бы взяла?

— В бригаду и после заключения берем.

— А эту взяла бы?

После маленькой паузы:

— Взяла бы. Все равно же ей где-то работать надо.

— Ага! — ловит пожилая. — Задумалась! То-то!

Характерный разговор, характерная задумчивость. Людей, доказавших свою неспособность любить, опасаемся, а то и просто боимся. А ведь в быту, в работе они даже удобны: спокойны, малоконфликтны и достаточно предсказуемы.

Но в том-то и дело, что в спутники мы обычно выбираем человека не для обычного, а для трудного дня. Рано или поздно возникает ситуация, когда каждый из нас вынужден жертвовать либо собой, либо другим человеком. Пусть не жизнью — это случай исключительный. Ну, скажем, удобствами, карьерой, заработком, нервами, выгодой, покоем. Вот тут-то человек, не способный любить, и дает подножку ближнему — не для того, чтобы сделать ему плохо, а просто чтобы не сделать плохо себе. Ибо самопожертвование даже в малом держится на любви — к человечеству, к родине, к близкому, к знакомому, даже к случайному человеку.

Может, ценность любви, в частности, в том, что она делает нас людьми в глазах людей?

...Перечитал письмо полуматери, и стало жутковато. До чего же неравная расстановка сил!

С одной стороны, бесхлопотная жизнь, молодость с ее радостями и развлечениями, рост профессионального опыта и, соответственно, зарплаты, перспектива нормального, как у всех, замужества, свой дом, своя семья, постепенное накопление разнообразных бытовых благ. А с другой? С другой — беспомощное существо, не умеющее пока даже головку держать. Ну что может новорожденный противопоставить перечисленным выше весомым житейским достижениям? Что реально он способен дать матери?

Да только одно — возможность себя любить.

Мало? Совсем немало — много. Но много только для той, кому не надо доказывать ценность любви.

Дефицит души прорезается не только в таких вот крайних случаях. Возьмите хоть кривую разводов. Опять-таки оговорюсь: меня тревожит не канцелярская сторона дела, а то, с какой легкостью мы порой лишаем близких людей заботы и защиты.

Когда-то мы горой стояли за любой брак — блюли отчетность. Сегодня, бывает, относимся к семье как к неперспективной деревне: сломать, расселить по новым поселкам, и пусть благословляют прогресс.

На читательской конференции в Киеве я получил вот такую записку: «Вы признаете, что наша семья все чаще распадается, и призываете ее укреплять. Но нет ли здесь противоречия? Стоит ли укреплять то, что все равно разваливается? Неужели вы считаете, что наша семья идеальна, или хотя бы уверены, что она вечна?»

Так вопрос ставится все чаще, и просто отмахнуться от него нельзя. Нынче семья уже не аксиома, ее необходимость приходится доказывать. Идеальна? Да какой там идеал! И свары, и ссоры, и скандалы, и подавление личности, и цепь непрочных компромиссов, и выгодные браки, и выгодные разводы. Чего только не бывает! Вечна? Увы, на нашей планете нет ничего вечного, и сама она скорей всего не вечна. Было время — семья сложилась, будет время — отомрет. Возможно, уже отмирает. И не исключено, что все, что мы можем сделать, это задержать процесс распада.

Так вот, нужно ли это делать? Стоит ли, как спрашивает автор записки, укреплять то, что все равно разваливается?

Абсолютно уверен — стоит! Почему? Попробую пояснить сравнением.

Все мы живем во временных жилищах. Наши дома постепенно ветшают, разрушаются, а, скажем, деревенские избы — те вообще довольно быстро гниют. Человек ладит новенький сруб, сыну достается еще крепкий дом, а у внука уже заботы и заботы.

Ничего не поделаешь: время от времени приходится покидать обветшавшее обиталище.

Умный делает это так: поблизости или поодаль строит новый дом, а уж потом приходит туда из старого. Дурак поступает решительней: с телячьим восторгом доламывает тронутые порчей стены, заваливает крышу, а уж потом начинает соображать, где преклонить голову и укрыться от снега и дождя. Причем в решении этой проблемы ему везет крайне редко.

Так вот мы с вами новый дом пока что не построили. Хороша наша семья или не очень, но в этом жилище нам предстоит зимовать не год, не два, не три и не четыре. Здесь дети вырастут. Здесь внуки народятся. И в этих конкретных условиях перед каждым из нас стоит вполне конкретная историческая задача — не оказаться дураком...

Когда в Западной Сибири ударили фонтаны большой нефти, их маслянистые капли растекались радужными пятнами по северным рекам. Туда же попали и мрачные ошметки мазута. А рыбе для продолжения рода нужна лишь чистая вода. И серебристая семга, краса и гордость северных рек, заметалась: вековечный инстинкт вступил в противоречие с сегодняшним рыбьим разумом. Целые стаи ушли с привычных нерестилищ. Семгу стали встречать в реках и речушках, куда прежде она никогда не заходила: хоть рыба и не человек, но если нельзя где глубже, приходится искать, где лучше...

Порой мне кажется, что сегодня любовь, как северная семга, полусознательно-полуинстинктивно нашаривает новые экологические ниши. Стремительно растущая цивилизация в чем-то помогает, от чего-то освобождает, от чего-то оберегает, но при этом теснит и теснит. Как и прославленной красной рыбе, никто не хочет любви зла — наоборот! Но разные жизненные надобности, энергично шуруя локтями, выходят на первый план, отодвигают — и все сокращается среда обитания, превращаясь в среду выживания.

Как уцелеть любви среди все возрастающего количества конкурирующих соблазнов?

Сами того не замечая, мы ставим на себе бесчисленное количество экспериментов, ищем новые формы отношений, достаточно гибкие и жизнеспособные. В большинстве своем эти эксперименты порождены реальностью, не оставляющей иного выхода, — скажем, неполная семья. Но случаются и иные.

Об одном из них, романтическом и достаточно наивном, я хочу рассказать.

Как-то была у меня встреча со студентами журфака МГУ. Разговор получился долгий, шумный и откровенный. Заспорили, обстановка накалилась, и в запале полемике я сказал ребятам примерно следующее:

— Вы — будущее журналистики. Значит, просто обязаны пойти дальше нашего поколения, сделать то, на что мы не способны, понять то, чего мы не понимаем. А что получается? Разговариваем уже три часа, а вы меня ничем не удивили!

Прямо скажем, претензия эта была не слишком корректной: они пришли слушать, а не говорить и задача удивить перед ними, в общем, не стояла. Тем более когда сидишь в зале, в тесноте, не так-то просто ни с того ни с сего встать и удивить.

Короче, мой риторический упрек был встречен неопределенными улыбками и затерялся в гуще дискуссии.

Но когда подошло к финалу, когда ребята просто окружили меня уже без всякого порядка, сквозь эту толкучку протиснулась русая девушка с фотоаппаратом. С почти равнодушной уверенностью, не суетясь, не прося ни позы, ни улыбки, взобравшись на стол, она отщелкала полпленки, после чего, отодвинув кого-то плечом, сказала:

— Мы хотели бы с вами встретиться отдельно.

Тут я разглядел ее получше. Волосы до воротничка, светлые, спокойные глаза, тяжеловатые движения и не совсем стандартная экипировка: естественно, джинсы и распахнутая курточка (как бы униформа той поры), но при этом широкий флотский ремень с тяжелой пряжкой, при этом лыжные ботинки с грубым рантом, при этом в распахе курточки обычная матросская тельняшка. Все это обмундирование сидело на ней органично, как на трудном подростке послевоенной эпохи.

— Кто — мы? — спросил я.

— Вот мы, — уточнила она, — мы четверо.

Она небрежно показала большим пальцем куда-то за спину, и я увидел, что и в самом деле она как бы острее небольшой обособленной группки.

— Ладно, — сказал я, — позвоните и приходите в гости.

— Напишите, пожалуйста, телефон.

Я зашарил по карманам — как всегда, когда нужно, бумаги не было ни клочка.

— Напишите вот здесь, — буднично сказала девушка и протянула футляр от фотоаппарата, новенький, гладкой кожи, с мягким маминоым нутром. Жест, прямо скажу, был королевский.

Я заколебался — с детства боюсь хороших вещей.

— Вот здесь, — невозмутимо повторила девушка, и я осквернил нежную фланель чернильными каракулями.

Через день она позвонила, через два все четверо сидели у меня. Познакомились: Оля (в той же тельняшке, куртку сняла), Жанна, Ваня, Гена. Я вопросительно смотрел на ребят.

— Видите ли... — сказал Гена и замялся.

— Давай, — подтолкнула Оля.

— В общем, — проговорил худенький Гена, самый молодой из них, — вот вы тогда сказали... — Он смущенно улыбнулся и закончил: — В общем, мы хотим вас удивить.

— Давайте! — подхватил я с не совсем искренним энтузиазмом: я хозяин, они гости, ребята симпатичные, надо бы удивиться.

Гена посмотрел на своих.

— Ну, кто будет говорить?

— Говори ты, — отозвалась хорошенькая Жанна. У нее были широкие скулы, узковатые восточные глаза и неправдоподобно нежная кожа.

Честно говоря, мне было жалко ребят. После такой подготовки, после телефона на подкладке футляра, после тельняшки и лыжных ботинок с рантом, после торжественного прихода вчетвером — ну что они смогут сказать?

— Мы — семья, — сказал Гена и снова улыбнулся.

— Вы — и?.. — попытался уточнить я, поочередно указывая глазами на девушек.

— Нет, — качнул головой Гена, — мы четверо.

— То есть двое и двое?

Он опять улыбнулся — теперь моему непониманию — и объяснил:

— Мы все четверо — одна семья.

Делать удивленное лицо мне не пришлось, само сделалось.

— Пойдите, братцы, — пробормотал я, — давайте-ка по порядку. У кого с кем из вас роман?

— Ни у кого ни с кем.

— И не было?

— И не было.

— Просто собираетесь пожениться, да? — предположил я уже в полном недоумении.

— Нет.

— Тогда почему вы — семья?

— Семья, — сказал худенький Гена.

Теперь они улыбались уже вчетвером.

Не хотел бы я в тот момент увидеть себя в зеркале...

Ваня — он был чуть постарше, но солидный, с чеховской бородакой — решил меня пожалеть:

— Мы хотим всю жизнь прожить вместе. Вчетвером.

— Как братья и сестры, что ли?

— В общем, да.

— А почему называете — семья?

— Ну а братья и сестры — разве не семья?

— А-а... Ну да, — кивнул я. Состояние было как при сотрясении мозга. — Стойте. Но ведь вы молодые. Так сказать, возраст любви... Неужели ни у кого ничего?

— Да нормально, — успокоила Оля, — у всех все.

— На стороне, что ли?

Это пошлейшее «на стороне» в данном случае прозвучало совсем уж нелепо.

— Естественно, — мягко ответил Ваня.

— А если кто-нибудь серьезно влюбится? Захочет... — слово «жениться» вовремя застряло у меня в горле, я наспех заменил его эвфемизмом, — не расставаться?

— Пускай.

— А как же...

— Ну и что? — сказала Оля скучным тоном. — Приведет покажет. Если понравится, возьмем в семью.

— А не понравится?

— Тогда у них будет просто роман.

— А если ребенок?

— Будет наш ребенок, — сказала Жанна, — все дети будут наши.

— И давно у вас такая идея?

— У нас не идея, — возразил Гена, — у нас семья. Уже третий год семья.

— И не ссорились?

— Все четверо? Конечно, нет. Двое повздорят, остальные помирят.

Я ухватился за сомнение, лежавшее на поверхности:

— А распределение? Ведь через год вас раскидают по разным местам. Что тогда?



— Будем проситься вместе.

— А не согласятся?

— Мы уже думали,— сказал Ваня,— отработаем по два года и съедемся. Семья есть семья.

— Хорошо,— кивнул я, подчиняясь этой странной логике,— пусть семья. Но куда вы съедетесь-то? Где будете жить?

— Купим избу под Москвой. Когда-нибудь потом выстроим кооператив.

— А как возникла эта идея — жить семьей?

— Сперва было вроде игры,— объяснил Гена,— отец, мать, дети. А потом как-то постепенно дошло, что мы и в самом деле семья. Никто не будет понимать нас лучше, чем мы друг друга.

— Но ведь можно... — неуверенно начал я.

— Нельзя,— мрачно проговорила Оля,— начнется ревность, обиды, скандалы, все прочее. Мы так не хотим.

— Да,— кивнула Гена,— лучше жить семьей, но оставаться друзьями.

— Ясно,— сказал я,— давайте-ка, братцы, пить чай.

А что мне еще оставалось сказать?

Ставить чайник и ждать, пока он закипит, занятие великолепное хотя бы потому, что на это нужно время. Я уже оправился от шока и помаленьку начал думать.

А в самом деле, думал я, почему бы и нет? Почему нельзя-то? Ну с чего мы взяли, что семья — это обязательно он и она с детьми? Да, в эпоху малометражных квартир, шума городского, разобщенности, усталости и телевизоров сложилось именно так. Но кто сказал, что и в будущем человек должен жить так и только так? Кстати, в нашей стране веками существовали иные семьи, большие, разветвленные. Не факт, что так жить нужно. Но раз существовали, значит, так жить можно? И разве большая традиционная семья держалась только на браке да кровном родстве?

Родители и дети — ладно. Ну, бабушки и дедушки. А остальные? Многочисленные братья и сестры, дяди и тети, зять, невестка, золовка, шурин, свояк, сват, крестный... Люди охотно роднились, добровольно брали на себя пусть не тяжкую, но все же ответственность за весьма дальнего родича. Могли и любить друг друга и не слишком жаловать, но бросить в трудную минуту даже незнакомого родственника никогда и нигде не считалось доблестью.

Но неужели пятилетнее студенческое братство, неужели тесная, проверенная дружба имеют меньше прав и обязанностей, чем случайное и весьма отдаленное родство, скрепленное разве что собутельничеством за чьим-то свадебным столом? Неужели связи между, допустим, свояками крепче и справедливей, чем между этими четырьмя ребятами?

Сводный брат справедливо считается братом: гены разные, но росли-то вместе! Однако и с соседом по парте росли вместе, и связано с ним не меньше, чем с любым родственником. И однокурсница, с которой не было ничего, кроме щедрой и сладкой студенческой дружбы, иногда на всю жизнь становится практически сестрой, первой советчицей и помощницей, человеком, с которым связывает взаимная ответственность покрепче родственной. Мы, к сожалению, привыкли к разнообразным семейным изменам и предательствам, но попробуйте представить предательство фронтового друга. Дико, немислимо...

Названный брат, названная сестра — когда-то существовали такие понятия. Теперь почти исчезли. Не жалко ли?

Я думал: а ведь, пожалуй, вот такой необычной, как у этих ребят, большой семье будут не страшны многие беды семей нынешних. Причем беды, в которых сами супруги не столь уж и виноваты. Просто слишком много обязанностей лежит на нашей семье.

Как в любом, даже самом крохотном, государстве должно быть все положенное — от почты до армии, так и в любой семье из трех человек все равно существует незримое штатное расписание со множеством должностей. Добытчик нужен? Прежде всего, без денег не проживешь. Повар? А как же! Педагог-воспитатель? Естественно, раз ребенок. Экономка? Иначе никаких денег не хватит. Умелец? Так ведь не бегать с каждой мелочью по мастерским. Массовик-затейник, или по-современному диск-жокей? Без него нельзя — заскучают. Человек с сильным характером? А кто иначе будет решать? Человек с мягким характером? А кто иначе будет мирить?.. Список можно продолжать и продолжать. А всей-то рабсилы на обширный штат он да она.

Нет, четверо лучше, чем двое, в большой семье легче наладится разделение труда... В обычной семье, думал я, любая крупная ссора сразу ставит людей на грань развода — ведь живут нос к носу, куда распозлзтись, отлежаться, успокоиться. А в большой семье даже большая ссора всего-навсего с одним из пятерых или семерых, и расходиться вовсе не обязательно.

Наконец, такой странной семье не страшны никакие демографические парадоксы, тут можно не подсчитывать процент женихов и невест: ведь в такой семье может быть любое соотношение мужчин и женщин. Безмужние матери, возможно, сохранятся и здесь, а вот безотцовщины не будет!

Я вдруг вспомнил: а ведь нечто подобное я уже встречал. Ну конечно — степь, водохранилище, небольшой городок, огромная стройка, сестры Тунгусовы. Совсем как у Чехова — три сестры.

Две из них были врачами, третья кончала институт, тот же, что и старшие. Их дом (обычная квартира в панельной пятиэтажке) в городке был известен и даже знаменит. У сестер Тунгусовых собирались по праздникам, по субботам, по случаю приезда в город интересных людей и просто так, во имя роскоши человеческого общения. И все было по высшему классу: дом скромный, стол скромный, обиход роскошный...

Культурные события городка не обходились без сестер: на выставках, спектаклях, капустниках они были если не участницами и организаторами, то уж желанными гостями точно. С ними советовались начинающие режиссеры, их тройственные портреты писали местные художники, с ними городской архитектор обговаривал свои планы. Замечательная была семья!

Из трех замужем тогда была лишь младшая. Муж ее, рослый красивый парень, легко вошел в уже сложившуюся компанию и без ревности относился к тому, что квартира, где теперь обитал и он, по-прежнему именовалась домом сестер Тунгусовых.

Помню, я долго допытывался у младшей, не сложно ли ей, теперь замужней, вместе с сестрами. Она пожимала плечами и доказывала, что, наоборот, так лучше: всегда помогут, подменят, поддержат.

— И не ссоритесь?

— Нет.

— Но бывают же конфликтные ситуации?

— Конечно, — сказала младшая Тунгусова, — но ссориться вовсе не обязательно. Когда люди любят друг друга, они не ссорятся, а спокойно выясняют отношения...

Эту формулу я запомнил, она мне очень нравится, хотя сам я, увы, следовал ей не всегда...

Но ведь если, думал я теперь у себя на кухне, не совсем обычной, но прекрасной семьей могут жить сестры, то почему не могут друзья? Конечно, подобная семья вовсе не заменит нашу обычную парную, но, может, в чем-то дополнит ее?

Чайник закипел — кончилась и моя пауза на размышление...

— Ладно, ребята, — сказал я, — удивили. А избу присматривали?

— Я ездила,— отозвалась Оля,— найдем.

— Ну и сколько она стоит?

— Полторы-две тысячи.

— А деньги где возьмете?

— Пока неясно,— сказал Гена,— с этим у нас сложности.

— Раз так, братцы,— сказал я,— вступаю в ваше предприятие. Зимой выйдет книжка — гонорар на избу. Буду приезжать в гости. Возьмете в компанию?

Шутками скрепили соглашение.

Сколько же лет прошло с тех пор? Десять? Двенадцать?

Потратиться на избу мне, к сожалению, не пришлось. Через полтора года ребята окончили университет. Все их «семейные» планы были в силе. Но решали не они, а комиссия по распределению, которая желание работать вместе не учла. Да и на каком основании стала бы учитывать? Так и разметались ребята кто куда, как в бурю кораблики.

И через два года не смогли они собраться все вместе. Прежде всего потому, что всех уже не было — трагически в уличной катастрофе погиб Ваня. Да и два года разлуки немалый срок для любой семьи. Девушки вышли замуж, работают, рожают детей. Обе счастливы — то ли мужья попались хорошие, то ли сказалась выучка той еще студенческой семьи. Гена живет в Москве, и у него все сложилось, доволен и семьей и работой.

Время от времени мы с ним встречаемся, вспоминаем романтическое прошлое с той их удивительной идеей. Вроде бы не о чем жалеть, и без того все вышло удачно, а жалко. Переписываются, встречаются, дружат семьями, а той семьи все же нет, распалась семья. Плывут кораблики, с волнами справляются, но каждый сам по себе.

Я вот думаю: случись какая беда, успеют ли друг к другу на помощь? Слишком малы кораблики, слишком разбросаны в море житейском.

Ладно, будем надеяться, никакая беда моих знакомых не подстержет, никакая помощь не понадобится.

А еще я пытаюсь понять: что же тогда у ребят было? Инфантилизм, возвышенная игра, наивное желание подольше задержаться в веселом и справедливом студенчестве? Или — прозрение, пророчество действием, самобеглая коляска полуграмотного умельца, потешный полк юного Петра? Прорыв в будущее, для которого на этот раз просто не хватило энергии и уверенности?

Сумел ли я хоть частично доказать ценность любви? Не знаю — задача оказалась сложнее, чем я предполагал. Так, может, стоит воспользоваться правом, предоставленным мне собеседниками в компании, с которой начался разговор, — плюнуть на логику и просто привести пример: рассказать о человеке, которому не надо доказывать ценность любви?

Этот человек прислал мне письмо, которое приведу полностью:

«Пишу вам впервые, никогда не писала незнакомому человеку. Но очень надо посоветоваться.

Мне семнадцать лет, в этом году я заканчиваю десять классов. Полгода назад я познакомилась с парнем, ему двадцать девять лет. У него есть (была) жена и маленькая дочка. Но жена ушла от него, дочку оставила с ним. Ему очень трудно, днем на работе, а ночью приходится делать дела по хозяйству. И я решила, приходила к нему, помогала чем могла. Забирала Леночку из яслей, готовила, стирала. Вообще все, что могла.

Но деревня гудела, как муравейник, мне стало стыдно появляться на улице, а в школе учителя меня просто возненавидели. Дома с родителями постоянно были конфликты, но я ничего и слушать не хотела.

Тогда мама сказала: или он с дочкой — или мы, родители. Я испугалась уйти из дому и перестала к нему ходить.

Но тут с ним стало очень плохо. Я никогда не думала, что он будет пить, раньше он и в рот не брал, а тут стал приходить домой выпивши, за девочкой не следил, он потерял интерес к жизни. Он начал жить без цели.

Я не выдержала и опять вернулась к ним. Но он об этом и слышать не хочет. Нет, он любит меня, но говорит, чтобы я не приходила, не хочет, чтобы я мучилась из-за него. Но я твердо решила: что бы ни было, как бы ни пришлось жить, я их не брошу.

Пить он не стал, меня уже не гонит. Но он стал молчать, замкнулся в себе, постоянно думает о чем-то. Но все равно я не уйду, я верну его к жизни, хотя бы постараюсь. Закончу школу, и мы втроем уедем, обязательно уедем.

Только вот меня постоянно мучает вопрос: может, я не права, может, как говорит мама, он и без меня разобрался бы в своей жизни, а я только калечу себе жизнь, а ему все равно не помогу?

Посоветуйте, пожалуйста, как мне быть.

Надежда К.

Удмуртская АССР».

Издаেকে, из начала века к нам долетела дурашливая песенка, начинающаяся вопросом, который и я хотел бы сейчас задать: «Девочка Надя, чего тебе надо?» Та Надя из песенки отвечала четко и в рифму: «Ничего не надо, кроме шоколада».

Ну а наша Надя из письма? Нашей Наде шоколад явно не светит. Никакого расчета на сладкую жизнь впереди. Нашей Наде плохо. Дома плохо, в школе плохо, любимый то гонит, то молчит. Девочка пытается хоть как-то наладить свою и чужую жизнь — деревня смотрит на нее в сто пар недобрых глаз, каждый как амбразура.

При этом удовольствия, или, как теперь выражаются, кейфа, в Надиной любви, прямо скажем, мало. На необоримую страсть в письме и намека нет: тогда бы написала, что не может без него жить. Нет, тут иное — жить может, да не может видеть, как он мучается. Надин кейф — забрать чужую дочку из яслей, сварить, подмести, постирать. Вот такая у девушки любовь — носом в корыто.

«Докажите ценность любви!» — азартно предложила мне московская студентка. Не знаю, можно ли доказать ценность Надиной любви, но высчитать ее можно, и довольно точно.

Значит, так.

1. Родительский дом (выгнали).
2. Симпатия учителей (утрачена).
3. Репутация в округе (лучше не вспоминать).
4. Родная деревня (придется уехать).
5. Ясное будущее под защитой старших (лучше не загадывать!).

Вот ведь как дорого заплатила девочка Надя за свою, носом в корыто, любовь!

Говорят, что нынешняя молодежь сплошь прагматики, без выгоды не сделают и шага. Не буду спорить, пусть прагматики. Пусть и наша Надя прагматик. Вот только хорошо бы отыскать, в чем ее выгода. Ведь не за так взвалила она на слабенькие плечики обломки чужой семьи!

Нет, не за так. Была корысть. Я даже догадываюсь, какого рода. Хлопот ей мало — вот в чем дело. Мало ей хлопот! Ведь раньше за одну себя голова болела. А теперь — за троих. Выгода, да еще какая. Думаете — шучу? Нет, ирония тут ни при чем. Просто я давно знаю, а девочка Надя, видимо, вовремя сообразила, что в подкладке почти всяких хлопот лежит радость. Любимый человек мрачно молчит — Наде больно. Ну а если вдруг оживет, встанет на ноги, улыбнется? Кому радость? Ей, Наде. Дочка Леночка когда-нибудь притащит из школы первую пятерку — к кому кинется с порога с великой вестью?

Видите, не так уж девочка проста, своего не упустит. Раньше могла рассчитывать на одну радость, а теперь сразу на три. Чем не выгода?

А еще я думаю вот о чем: почему девочка Надя прислала мне письмо без обратного адреса? Почему отрезала пути для конкретной помощи? Даже имени ни одного не назвала, кроме Леночки, а Леночек в Удмуртии тысячи. Почему?

Я так полагаю — из любви. Ведь не чужие люди портят ей жизнь! Мать гонит из дому, а Надя ее любит. Учителя травят, а она обижается, но любит. И бурлящую сплетнями деревню любит — это ее родина, другой нет. Вот и не хочет Надя всех их, жестоких, но любимых, позорить всесветно, предпочитая в одиночку противостоять таким несправедливым напастям.

И еще тревожит меня один вопрос: а я сам вот так, как Надя, смог бы? Все, что имею, бросить в костер, чтобы близкому человеку стало хоть чуточку теплей?

Не знаю. Не уверен. Боюсь, не смог бы.

Так что, пожалуй, у Надиного письма есть и дополнительная, ею не продуманная, но мне-то понятная цель: напомнить мне, что я тоже человек и что душа, горящая вполнакала, постепенно становится дряблой, как мышцы у бездельника.

Мы собираемся вечерами, пьем чай, в порядке самообразования спорим на интересные темы, разя чужие аргументы своими доводами, а тем временем где-то в Удмуртии девочка Надя ведет свой упорный, свой неравный бой — доказывает ценность любви. В общем-то, за всех нас бьется.

Хоть бы победила.



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР



## ЧЕРТ ВО ФРАНЦИИ

Лион Фейхтвангер (1884—1958) писал о себе очень мало. Как человек он рас­творился в своих художественных произведениях. Кроме нескольких небольших авто­биографических заметок (три из них опубликованы в собрании его сочинений — М. ГИХЛ. 1963—1968) он оставил о себе только эту глубоко личную, глубоко человече­скую книгу, которая предлагается вниманию читателей журнала с некоторыми сокра­щениями.

Книга имеет подзаголовок «Пережитое». Это действительно воспоминания о пе­режитом писателем за два месяца, проведенных во французских лагерях для интерни­рованных в 1940 году. В ней в форме дневника (без датировки записей) последователь­но описываются события лагерной жизни, даются зарисовки собратьев по заключению, говорится о стойкости человека и о человеческих слабостях, товариществе и трусости, о готовности к самопожертвованию людей, оказавшихся в экстремальных условиях. В книге — размышления писателя о литературном творчестве, о природе фашизма, о сущности человеческого характера, о войне.

Вызывает глубокое негодование сам факт заключения в концентрационных лаге­рях для «враждебно настроенных иностранцев» таких людей, как Фейхтвангер, убеж­денных и активных противников фашизма, тысяч политических эмигрантов из Герма­нии, из захваченных немцами Австрии, Чехословакии, жителей Саарской области, бо­ровшихся за присоединение своей земли к Франции. В этом акте безусловно был злой умысел. Фейхтвангер пишет: «Нас интернировали только для того, чтобы заморочить обывателям головы, направить бдительность народа по ложному следу, отвлечь от тех, кто в действительности нес вину за непрерывные военные поражения».

Чужовищная скученность в концентрационных лагерях, вопиющие нарушения элементарнейших санитарных норм, неудобоваримая пища, неизбежность круглые сутки быть на виду у сотен людей, мелочи лагерной жизни, повседневно, ежедневно унижающие достоинство человека, — все это действовало угнетающе. Но к этому еще можно было привыкнуть. Невозможно было привыкнуть к постоянной, неотвязной мысли: вот сейчас появятся фашистские войска, с ними гестапо — и неизбежная му­чительная смерть.

Книга была написана в 1941 году. Издана сначала на английском языке — «Черт во Франции. Моя встреча с ним летом 1940». В 1942 году в Мексике книга вышла на немецком языке под названием «Недобрая Франция. Пережитое» в издательстве немецких антифашистских писателей. Автор предисловия — писатель Людвиг Ренн, который вместе с Фейхтвангером был в лагере под Ле-Милем.

В ГДР эта книга Л. Фейхтвангера издавалась дважды. Последнее немецкое изда­ние книги (Берлин. «Ауфбауферлаг». 1982) содержит послесловие Ганса Дальке и вос­поминания жены писателя Марты Фейхтвангер.

Бертольт Брехт, прочитав рукопись книги, сделал в дневнике (декабрь 1941 года) запись: «Вероятно, это его лучшая книга». «И если это не так, — комментирует запись Брехта Дальке в своем послесловии, — то это наверняка очень важный, достоверный и поэтому в своем роде неповторимый литературный документ».

Э то произошло следующим образом. Нас, политических беженцев из Германии, Австрии и Чехословакии, живших на юго-востоке Франции, во время войны заперли в большом заброшенном кирпичном заводе местечка Ле-Миль у Экса в Провансе. Нас было более тысячи, иногда это количество доходило до трех тысяч, много среди нас было евреев.

Нас собрали на кирпичном заводе, и кирпич стал символом этого времени. Кирпичные стены и колючая проволока отгораживали отведенное нам пространство от прекрасного зеленого ландшафта, повсюду лежали груды битого кирпича, кирпичи служили нам и сиденьями и столами, с помощью кирпичей мы отделяли одну жалкую постель от другой. Кирпичная пыль наполняла наши легкие, воспаляла наши глаза. Вдоль стен помещения, отнимая у нас полезные объемы, лишая нас скудного света, тянулись стеллажи, предназначавшиеся в свое время для хранения кирпича, а если нам становилось холодно, то любой из нас мог залезть в одну из огромных пустых печей, в которых ранее обжигали кирпич, и согреться — если сила фантазии позволяла ему ассоциировать понятие «печь» с теплом.

Нам надлежало перетаскивать кирпич с места на место, складывать его то здесь, то там в штабеля. Мы возили его в тачках, а затем по команде сержанта перебрасывали по цепочке друг другу и укладывали в определенном порядке. Трудной работа не была. Злила, возмущала ее абсолютная бессмысленность: нас просто хотели чем-то занять. Мы знали: завтра, послезавтра или самое позднее на третий день эти уложенные нами штабеля кирпича мы должны будем развалить и где-нибудь складывать вновь.

...Когда из окна моей комнаты в нью-йоркском отеле я смотрю на центральный парк, на небоскребы, окружающие его справа и слева, на огромный мирный, активно живущий город, я часто спрашиваю себя: действительно ли я нахожусь здесь и как попал я сюда? Девять лет назад я жил в своем доме в Берлине, в Грюневальде, окруженный моими книгами, небольшой мирный сосняк полого спускался от моего сада к маленькому, спокойному озеру, чувствовал себя я прекрасно, у меня и в мыслях не было покинуть этот дом. Шесть лет назад я жил в моем белом тихом доме в Санари, на юге Франции, окруженный моими книгами, оливковые деревья спускались к очень синему морю, чувствовал я себя прекрасно, у меня и в мыслях не было покинуть этот дом.

Все началось однажды вечером в середине мая после захода солнца. В маленькой комнатке моего дома в Санари на первом этаже было сумеречно, но еще не настолько темно, чтобы следовало зажечь свет.

Я был один, лежал на оттоманке и слушал сообщения по радио. И в Бельгии и в Нидерландах дела шли неважно. Я обдумывал скудные известия, лежа на оттоманке с закрытыми глазами, и краем уха слушал объявления в конце передачи. И вдруг я услышал, что постоянно проживающие в Париже и его окрестностях немецкие граждане, а также граждане, рожденные в Германии и не имеющие французского подданства, в возрасте от семнадцати до пятидесяти пяти лет, как мужчины, так и женщины, должны в такие-то и такие-то дни находиться там-то и там-то для интернирования.

Я не шевельнулся, остался лежать. Я приказал себе: не паникуй, обдумай все спокойно. Я сказал себе: весьма и весьма вероятно, что это мероприятие, касающееся лишь Парижа, останется локальным и уж наверняка не распространится на юг страны, которому война не угрожает. Но внутренний голос говорил мне, что эти разумные соображения — бессмыслица. С самого начала войны всегда происходило самое скверное, чего боялись, а не то хорошее, на что надеялись. Радиоприемник давно уже говорил о другом. Я продолжал лежать с закрытыми глазами на оттоманке. Потом встал и с удивлением обнаружил, что наступила глубокая ночь. Внезапно я почувствовал страшную усталость. Я вышел в сад, прошелся между клумбами, поднялся на небольшую террасу, вновь спустился в сад, обдумывая услышанное.

Какая мерзость. Вот уж девять месяцев сижу я в этой мышеловке, во Франции, и не могу раздобыть разрешение на выезд. А теперь мне придется вторично испытать все прелести концентрационного лагеря.

Пейзаж вокруг моего дома красив и полон глубокой умиротворенности. Горы, море, островки, чрезвычайно живописный берег, маслины, фиговые пальмы,

пинии, несколько разбросанных в отдалении домов. Стояла ничем не нарушаемая тишина, веял легкий ветерок.

Я вернулся в дом и разыскал жену. Она была на кухне. Кивнув мне, она спросила: «Хочешь выпить стакан грейпфрутового сока?» «Спасибо,— ответил я,— возможно, попозже». Я сел на кухонный табурет, посмотрел на жену и подумал: «Сказать ей это сейчас? Наверно, она уже слышала это сегодня в местечке, если я ей не скажу, это сделает Леонтина. Пожалуй, лучше сказать».

И я рассказал ей.

Она молча смотрела на меня. Потом произнесла: «Надо немедленно написать или лучше телеграфировать в Париж». «Конечно,— согласился я,— утром, как можно раньше. Хорошо хоть, что теперь нет морозов». Французские концентрационные лагеря не отапливались, и зимой случалось, что интернированные отмораживали себе пальцы то рук, то ног.

Мы уже поужинали, но я вдруг почувствовал голод. «Дай мне что-нибудь поесть»,— сказал я.

Пока я ел, кто-то постучал в одну дверь, потом — в другую. В такой поздний час к нам обычно никто не приходил. «Кто там?» — спросили мы. Это были наши соседи, немецкий художник с женой. Мы встречались редко, не очень симпатизировали друг другу, сейчас же их появление показалось нам естественным.

«Вы слышали?» — поинтересовался он. Мы стали обсуждать известие со всех сторон. Никакого смысла держать нас под замком здесь, на юге, из чисто военных соображений мы не видели. То, что мы противники нацистского режима, было установлено многократными тщательными расследованиями. Но разве те, кто в Париже попал за колючую проволоку концентрационных лагерей, оказались там потому, что представляли опасность для Франции? Вероятно, с ними поступают так, желая показать населению, что власти проявляют бдительность. А если причина в этом, почему здешние власти должны вести себя иначе, чем власти Парижа? Единственное слабое утешение, что при французской разболтанности соответствующее распоряжение в эти места, вдали от Парижа, поступит не так-то скоро.

Как прошел следующий день, подробно сказать не могу. В те дни я вел дневник, но этих записей у меня сейчас нет под рукой, не знаю, будут ли они у меня когда-нибудь вообще.

Возможно, даже хорошо, что приходится полностью полагаться на память. Конечно, память подводит. Моя память, как, впрочем, память большинства людей, часто отказывает. Причем это касается тех фактов и обстоятельств, которые я очень хотел бы сохранить, тогда как то, что мне безразлично, память удерживает цепко. Важное она оттесняет назад, несущественное выдвигает на передний план. Я не могу объяснить законы, которым подвластна память, они несомненно как-то связаны с моим подсознанием.

Да, я думаю, для писателя такой произвол памяти — положительное свойство. Он, этот произвол, понуждает писателя к некоей безусловной честности, составляющей предпосылку любого творчества, он понуждает писателя изображать только те видения, которые действительно являются его видениями. В особых случаях отсутствие дневника, объективных наблюдений, заставляет меня рассказывать лишь о том, что внутренне мне особенно близко. Возможно, при этом иногда и будет недоставать объективно важного, но мое повествование сохранит субъективную честность, поэтическую правдивость, не будет загромождаться мелкими бытовыми подробностями. Хочу я того или нет, утратив свои записи, я буду вынужден дать общую картину, а не грубо скопированную действительность.

Не слишком ли я самонадеян, утверждая, что рад этому? Не слишком ли я самонадеян, возводя в принцип убеждение, что фотографически точная фиксация дает не так уж много для понимания самой сути событий? Я, однако, считаю, что от остроты переживания, вызванного неким событием, зависит оценка и самого события. Да, я глубоко убежден, что в описании человеком своих переживаний его личность не менее, а даже более важна, чем само событие.

Большинство людей не очень склонны к переживаниям. Они находятся под сильным воздействием чужих оценок. Они полагают, что к одним событиям надо



относиться как к существенным и важным, к другим — как к ничтожным, несущественным, так как «компетентные» люди в подобных случаях воспринимают их именно так. Не только поведение, даже чувства большинства людей зависят от традиций, обычаев, условностей. Средний человек каталогизирует переживания в соответствии с общепринятыми нормами, иначе поступать он не может. Печать, радио, кино помогают еще глубже вбить в мозги эти немногие нормы, тем самым сужая возможности собственного, глубоко личного видения, восприятия, ощущения, оценки. У среднего человека способность к переживанию невелика, шкала его чувств мала. События, даже если он в самом центре их, обтекают его, не проникая и не обогащая его душу. Как ни пытайся влить жидкость в малый сосуд, он способен вместить лишь строго определенное количество.

У человека, наделенного известной долей фантазии, то преимущество перед другими, что предполагаемая действительность по интенсивности почти всегда не соответствует его ожиданиям. Подлинное переживание дурного почти всегда сопровождается меньшими страданиями, меньшей болью, нежели страх ожидания, так же, впрочем, как и само ощущение счастья у такого человека почти всегда вызывает меньше положительных эмоций, чем радостное ожидание и предвкушение его.

Живя семь лет на берегу Средиземного моря, я наслаждался, всей полнотой чувств ощущая красоту природы и радость жизни. Если, например, я, возвращаясь из Парижа ночным поездом, утром вновь видел голубой берег, горы, море, пинии и оливы, карабкающиеся по отвесным кручам, когда я вновь почувствовал в себе эту открытую доброжелательную приязнь человека Средиземноморья, то удовлетворенно вздыхал и радовался, что избрал себе место под этим небом. Когда же затем я въезжал на небольшой холм у моего освещенного солнцем дома, снова видел сад в его глубоком покое и большую светлую рабочую комнату, а потом море из ее окон и прихотливый абрис берега, островки и бесконечную даль за ними, когда я вновь созерцал мои любимые книги, я всем своим существом чувствовал: здесь я на месте, это мой мир. Когда, хорошо поработав день за письменным столом, я выходил в тишь вечернего сада, не нарушаемую ничем, кроме монотонного гула от вечного движения моря да разве еще редкого крика птиц, я испытывал глубокую умиротворенность и чувствовал себя счастливым.

Но теперь, когда приходилось считаться с тем, что меня вот-вот вторично интернируют, пейзаж утратил для меня свои краски, я потерял вкус к жизни. И хотя ничего еще не было решено, внутренне я сознавал — решение уже принято, и мучительное ожидание того, что должно наступить, лишило меня способности продолжать наслаждаться тем, что меня еще окружало. Правда, я продолжал работать. Десятилетиями тренировки я развил в себе способность при любых обстоятельствах, что бы ни случилось во время работы, сосредоточиваться на ней. Вообще, когда я что-нибудь писал, вся моя жизнь — не только в часы собственно работы — была заполнена этим произведением, я автоматически относил к нему все, чем жил в это время, что видел, слышал, читал. Теперь же мои мысли о книге покидали меня, едва я прерывал работу над ней, и тотчас же возникало ожидание неизбежного. Я часто наблюдал моих кошек за едой. Присев у миски, они с жадностью лакали, но при этом все время оставались настороже, их никогда не покидало прирожденное чувство ожидания опасности с любой стороны. И, пожалуй, во всех нас очень глубоко таится такое чувство постоянного ощущения опасности, мы лишь оттеснили его, отвыкли от чувства страха. А тогда, в дни ожидания, я чувствовал себя, как мои кошки. Стоило какой-нибудь тележке въехать на наш холм, стоило кому-либо прийти к нам, я всякий раз думал: вот пришли за тобой, сейчас тебя заберут.

Моя секретарша сетовала: «Ах, почему мы вовремя не уехали в Америку». Я ненавижу подобные рассуждения, разговоры о том, что следовало бы сделать, они ни к чему не ведут. И все-таки в нашем случае подобная реакция, пожалуй, была понятна.

Правда, с самого начала войны я уже собрался было покинуть страну, французское правительство не разрешило мне этого. Но ведь войну-то я предвидел задолго до того, как она разразилась. В марте 1938 года, сразу после аннексии

Австрии, я очень серьезно носился с мыслью переселиться в страну, обеспечивающую большую безопасность, чем Франция. И сейчас, сетау на то, что я не реализовал тогда свои намерения, моя секретарша была совершенно права.

Что, собственно, удерживало меня во Франции? Вот некоторые причины. С 1933 года я публично заявлял, что Гитлер — это война, что без войны от нацистов не избавиться. Имел ли я право — в какой бы партии я ни находился — теперь, когда эта война стала реальностью, пытаться укрыться от нее где-нибудь в безопасном местечке? Нет, мне следовало остаться. Я всерьез считал, что смогу помочь. Ведь в Германии у меня были миллионы читателей; еще и теперь многие, несмотря на опасность, прислушивались к моим словам, многие продолжали писать мне из Германии, ждали от меня совета. Я верил, что как раз во время этой войны смогу быть полезным врагам Гитлера.

Удерживало меня здесь и писательское любопытство. Всю жизнь я следовал основному правилу: не искать переживаний, но и не избегать их. К этому следует добавить еще одно — сложностью переселения в другие края мне не хотелось прерывать работу над романом «Изгнание».

Впрочем, едва началась война, я понял всю ошибочность моего поведения. Французы не только ничего не хотели слышать о сотрудничестве с нами, немецкими антифашистами, они сразу же изолировали нас. Английские протесты уже через несколько дней помогли мне освободиться от концентрационного лагеря, и французское правительство извинилось передо мной, представив мое интернирование как ошибку мелких чиновников. Но визу на выезд, которую я потребовал после этого скверного происшествия, мне так и не дали.

Должен сделать здесь одно, точнее, два признания. Первое. Теперь, размышляя о том, что все же удержало меня тогда во Франции, я прихожу к мысли, что, вероятно, были и другие более глубоко заложенные в моей натуре причины, помимо тех, о которых я только что говорил. Удерживала меня здесь устроенность моей жизни, красота места, мой прекрасно ухоженный дом, моя с любовью собранная библиотека, хорошо мне знакомая, во всех мелочах отвечающая моим методам работы, сотни деталей существования, ставшие любимыми привычки, от которых было бы крайне трудно отказаться.

Второе признание. Я очень теряюсь перед властями. Чиновник — лицо, уполномоченное государством, представляет многие миллионы людей; как же я, индивидум, смею выступать против него? Возможно, эта робость унаследована мной от предков, которые в немецком гетто испытывали страх перед любым человеком, облеченным какой-то пусть самой ничтожной властью. Вероятно, такая робость сыграла свою роль и удержала меня от активных хлопот по получению визы на выезд в Америку. Я счел достаточной гостевую визу; хлопоты об иммиграционной визе представлялись мне крайне сложной задачей. Однажды в Париже я было сделал попытку и, находясь вблизи американского посольства, храбро вошел в него, чтобы навести справки о процедуре получения такой визы. У меня имелись рекомендации к консулу, время от времени в обществе я встречал и посла, но странное чувство — смесь высокомерия и робости — удерживало меня от непосредственного обращения к этим господам. Я подошел к безликому столу с надписью «Информация», равнодушная девушка равнодушно и быстро мне объяснила, что, получив иммиграционную визу, я тем самым аннулирую гостевую. По существу, это разъяснение меня очень устраивало, и, радостно вздохнув, я покинул посольство. Мне казалось обременительным предпринимать дальнейшие шаги; справка, данная равнодушной девушкой, была знаком судьбы, знаком, говорящим о том, что мне следует удовлетвориться гостевым посещением Америки, переселяться же в Америку мне нет нужды.

Я охотно именую себя фаталистом, чтобы получить возможность облечь свою лень в приличные одежды. Впрочем, мой фатализм не так уж и примитивен. Он скорее логическое следствие обретенного мной печального опыта: разум не всегда хороший советчик. У меня нередко получалось так (да мне приходилось наблюдать это и у других), что великолепно задуманные предприятия приводят к прямо противоположным последствиям. Например, предусмотрительно предпринятые мной финансовые меры, на которых настаивали и жена и секретарша, вследствие гротескных поворотов судьбы привели к совершенно неожиданным и весьма для меня неприятным результатам. Я депонировал деньги

в тех странах, которые перед войной представлялись наиболее надежными, — в Швеции, Голландии, Канаде, именно там их заморозили или конфисковали. Мой друг Брехт избрал для местожительства безопасную Швецию. Когда разразилась война, казалось, события подтверждают, что его выбор верен, на деле же именно эта страна стала для него ловушкой. Моя секретарша, рожденная в Германии, была счастлива, получив швейцарское гражданство, единственным следствием этого оказалось, что французы тем не менее сочли ее немкой и посадили в концентрационный лагерь, американцы же, решив, что швейцарский паспорт гарантирует безопасность в Европе, отказали ей во въездной визе.

Под грузом такого опыта мне, пожалуй, действительно следует отдать свой челн течению событий и не пытаться очень уж настойчиво управлять им. Меня мало трогает чей-нибудь мимолетный упрек: «Видишь, я всегда говорил, что тебе следует поступить так-то и так-то, почему же ты не прислушался к этому совету?» Я знаю, во времена, подобные нашим, за и против того или иного решения можно привести равное количество доводов, и выбор решения в таких условиях скорее подчиняется воле случая, чем соображениям разума.

Поэтому я пожал плечами, когда моя секретарша с огорчением сказала: «Ах, почему мы вовремя не уехали в Америку?» Я ни в чем не раскаивался также, когда наконец пришло подтверждение, что мне действительно следует вновь отправляться в лагерь.

Это подтвердила моя горничная Леонтина. Она пришла возбужденная, с важным видом сообщив, что у мэри висит объявление и что мне надлежит вновь отправиться в лагерь Ле-Миль. Распоряжение распространялось на всех не имеющих французского гражданства немцев, родившихся в Германии, которым к 1 января текущего года не исполнилось пятьдесят шесть лет. Мне на моем веку часто приходилось слышать скверные новости, и я в таких случаях привык, не давая воли своим чувствам, холодно и спокойно обдумывать их. И это сообщение не очень взволновало меня, поскольку я ждал его. Я подумал, что мне вот-вот исполнится пятьдесят шесть, меня, возможно, избавят от интернирования. Я очень хорошо помню, что когда Леонтина сообщала нам новость, я подсчитывал, сколько дней недостает мне до полных пятидесяти шести лет. Это было 18 или 19 мая, а пятьдесят шесть мне исполнилось 7 июля. Очень хорошо помню также, что я сразу заметил и мысленно принял к сведению, как изменилось поведение Леонтины, как сложное смешение чувств к нам отразилось на выражении ее лица, на выборе слов, на интонации, на жестах. Леонтина, красивая, полноватая, примерно тридцатилетняя особа, вот уже шесть лет вместе с мужем служила у нас, я уверен, оба они были преданы нам и, вероятно, преданы и сейчас. На лице Леонтины отражалось непритворное сожаление и вместе с тем на нем была и ясно выраженная радость, что именно она принесла сенсационную новость, поступало и любопытство, как я эту новость приму, беспокойство за себя, что будет с ней самой, если моя жена и я отправимся в лагерь, и, наконец, несмотря на преданность нам, маленькое злорадство — я, ее патрон, почувствую горечь войны, причем в большей, чем она, степени.

На сборы мне давалось сорок восемь часов.

Можно было взять с собой багаж весом не более тридцати килограммов. Опыт, приобретенный при первом интернировании, говорил: багаж прежде всего должен годиться для переноски. Следовало учитывать, что время от времени его придется самому переносить на дальние расстояния, двигаясь в колонне; со мной такое уже случалось. Начались горячие обсуждения, что взять с собой. Прежде всего потребуется одеяло, обязательно нужен также маленький складной стул — в лагере стульев нет. Что касается одежды и белья — лучше взять с собой самое крепкое, самое простое из имеющегося у нас: в условиях лагеря одежда очень быстро изнашивается. При выборе книг формат и вес имели значение едва ли не большее, чем содержание, — для лагеря предпочтительны портативные издания на тонкой бумаге. Я остановил свой выбор на миниатюрном томике Бальзака с шестью романами.

Назавтра мне сообщили из мэрии по телефону, где получить документ для отправки в лагерь. Нам, нефранцузам, было запрещено покидать наше постоян-

ное место жительства без особого удостоверения: даже для поездки в концентрационный лагерь требовалось специальное письменное разрешение.

Служащий мэрии, человек, с которым мне за годы жизни в Санари очень часто приходилось иметь дело, был и на этот раз подчеркнуто любезен со мной. Но, подобно большинству местных жителей, он испытывал по отношению к нам некое сложное чувство, в котором было всего понемногу — и любопытства, и искреннего сожаления, и страха принимать глубокое участие в людях, которых правительство изолирует и которые, следовательно, в чем-то подозрительны. Деловито оформил он пропуск. Если раньше, чтобы получить документ, необходимый, например, для поездки к зубному врачу, жившему в восьми милях от нашего местечка, иногда приходилось ждать две-три недели, то на этот раз для выполнения требуемых формальностей сержант с ближайшего жандармского поста явился по телефонному звонку немедленно.

Из Санари в мэрию пришли еще три немца. Мы ждали в помещении первого этажа, которое обычно использовалось для временного содержания арестованных нарушителей — до прихода за ними жандармов. Тут же располагался ветеринар, приезжавший раз в неделю лечить мелких домашних животных. Теперь мы ждали здесь свои документы. Мы, кому надлежало отправиться в Ле-Миль, были вчетвером: художник Р., мой сосед, его сын, которому как раз исполнилось семнадцать лет (следовательно, его тоже полагалось интернировать), и, наконец, писатель К., немец, воевавший в Испании на стороне Республики.

Мы стояли и ждали. Все нам представлялось иначе, когда мы приехали во Францию. «Свобода, Равенство, Братство» — эти слова огромными буквами были начертаны над входом в мэрию, когда несколько лет назад мы приехали сюда, нас чествовали, газеты писали сердечные, преисполненные уважения приветственные статьи, власти объявили, что Франция сочтет для себя за честь оказать нам гостеприимство, президент республики принял меня; теперь же нас изолировали от французских граждан. Мы отнеслись к происшедшему со своеобразным горьким равнодушием, эти годы убедили нас во всем непостоянстве человеческого поведения, мы не жаловались на судьбу, а по-деловому обсуждали наше ближайшее будущее, как лучше добраться до Ле-Миля, сколько денег взять с собой и другие подобные вопросы.

Наконец явился жандарм. По дороге он задержал какого-то бродягу. Бродяга был пьян, жандарм тоже, его, сообщил он нам, в этот день освободили от дежурства. Бродяга и жандарм хлопали друг друга по плечу, жандарм и каждого из нас похлопал по плечу, заявив, что против нас ничего не имеет. В помещении сильно пахло вином.

Бланки, как и все служебные бумаги во Франции, были обстоятельны, следовало записать имя отца, имя матери и множество других мелочей, французы этого никогда не упустят. У пьяного жандарма при заполнении бланков дело не клеилось. Из наших документов он понял, что среди нас есть отец и сын. Он спросил меня, пятидесятипятилетнего, не сын ли я тридцативосьмилетнему художнику Р., жандарм не мог уловить элементарнейших взаимосвязей, он вообще лыка не вязал, измучился с нами. Наконец в помощь жандарму мы позвали секретаря.

На следующий день мы на такси поехали в лагерь.

В пути нас остановили жандармы, потребовали предъявить наши пропуска. Секретарь и пьяный жандарм на этих бланках на вопрос «цель поездки» ответили: «Выполнение правительственного задания». Теперь при проверке документов жандармы, посмотрев на нас, переглянулись, поняли, о каком задании шла речь, растерянно пробормотали: «Ага», — приветствовали нас со смущением и пожелали удачи.

Миновав город Экс, местечко Ле-Миль, мы поехали вдоль длинной невысокой стены кирпичного завода и остановились на пыльной проселочной дороге у больших ворот. Сразу за воротами виднелось небольшое караульное помещение. Возле него бродили несколько людей в военной форме. Я рассчитался с шофером, попросив его передать привет моей жене.

Часы на главном здании завода показывали две минуты шестого. Я мысленно отметил, что, следовательно, первые минуты после пяти вечера 21 мая были последними, которые я провел во Франции на свободе.

Маленькое местечко Ле-Миль безобразно, но ландшафт вокруг него живописен и приятен: холмистая местность в голубых и зеленых тонах, маленькие ручейки, старые поместья, оливковые рощи, виноградники, множество лужаек, котловых, вообще-то, в этих местах не очень много, стройный, высокий акведук, видный издали. И вот на фоне такого прекрасного пейзажа наш неопишимо уродливый кирпичный завод.

Основное строение, большое и низкое, окружено голыми белыми дворами. Несколько небольших вспомогательных построек использовались теперь как канцелярия, караульное помещение, лазарет, кухня, гараж. Все занимаемое заводом пространство было обнесено с двух сторон кирпичной стеной, с двух других ограничивалось естественными откосами, все четыре стороны весьма основательно защищались колючей проволокой и большим количеством караульных постов. На колючей проволоке заднего двора интернированные обычно развешивали свое белье, которое пестро полоскалось на ветру перед ходящими с лентой взад и вперед солдатами караула, и я, созерцая живописный холмистый нежно-зеленый пейзаж, близкий и недосягаемый, испытывал странное чувство.

Если же смотреть со двора через большие ворота основного строения внутрь, то не было видно ничего, кроме гигантской черной дыры. Каждый раз, переступая порог этого строения, следовало привыкать к темноте. Входя в помещение, мы все постоянно спотыкались. Темные коридоры вдоль ниш для печей по обжигу кирпича особенно узки были на переходе к нарам с соломенной подстилкой. Наше жилье очень напоминало катакомбы.

Примитивная деревянная лесенка, узкая, грязная и ветхая, вела на второй этаж. Помещение там, правда, было просторнее, но окна почти полностью забиты досками, свободные же от досок стекла покрывал слой темно-синей краски — защита на случай воздушной тревоги, чтобы свет из помещения не проникал наружу. Таким образом, и на втором этаже всегда царил полумрак, о чтении здесь нечего было и думать. Вечером включали свет, несколько слабых лампочек скорее подчеркивали, чем рассеивали темноту.

Большую часть дневного времени дворы, не защищенные никакой растительностью, лежали в ярких лучах солнца, в эти часы внутри здания казалось вдвое темнее. Все помещения были покрыты кирпичной пылью. Плотная, утоптанная, она делала пол неровным, повсюду в огромных количествах лежали битый кирпич и пыль, пыль, пыль. Здесь нам и предстояло проводить основную часть нашего времени. Здесь мы ели и спали, здесь мы находились, когда шел дождь или — что часто случалось в этой местности — сильный ветер поднимал во дворе гигантские тучи пыли. И даже при тихой, солнечной погоде многие укрывались внутри помещения, так как дворы не имели тени, а летнее солнце Прованса долго не вытерпишь.

Помещение второго этажа было заужено идущими вдоль стен брусчатыми стеллажами, предназначенными для сушки кирпича; прерываясь на отдельных участках, эти стеллажи образовывали ниши, слишком узкие, чтобы их использовать для спальных мест. На стеллажи можно было класть вещи, но при этом требовалась осторожность, мелкие вещи проваливались между рейками. Для чемоданов же или других более крупных предметов расстояние между полками было слишком мало.

Нам дали немного соломы и предоставили самим себе. Никаких скамеек, никаких столов, вокруг только битый кирпич. Из него мы пытались делать сиденья, столы, но они все время разваливались.

На следующий день (нас здесь собралось около семисот) начальство лагеря впервые провело нечто вроде проверки, во время которой нас разбили на группы.

Человек, занимавшийся распределением, был сержантом, а может быть, имел и более высокое звание, я очень слабо разбираюсь в воинских знаках различия. Солдаты нашей охраны не были арабами, но носили красные фески. Стоя в своих ярких головных уборах со сверкающими штыками на откосах, похожих на земляные укрепления — перед ними пронзительно-белый двор, за ними мягкий зеленый ландшафт, — они выглядели очень живописно. Но совсем не по-солдатски. Нет, солдатами они не были, эти крестьяне и мелкие деревенские ремесленники, на которых только что напялили форму. И сержант, проводивший проверку, рослый человек со взъерошенными усами, мясистым лицом и могучим го-

лосом, при всей своей внешней воинственности был добродушным парнем, совсем не солдафоном. Немцев, австрийцев и бывших иностранных легионеров он отделил друг от друга, образовав три группы.

Странное дело, бывшие иностранные легионеры в подобных случаях всегда подвергаются интернированию. Среди них были такие, которые двадцать или тридцать лет служили во французских войсках. Многие участвовали в боевых действиях на стороне Франции, иные в этих боях за Францию потеряли руку или ногу, почти все имели военные награды. И вот теперь они топчутся здесь, в лагере, грудь покрыта орденами и медалями, рукав у культи болтается, протез стучит по грязной земле кирпичного завода. Иной из них выглядит так лихо, что я, пожалуй, не хотел бы встретиться с ним ночью один на один. Многие уже ни слова не знали по-немецки, говорили только на французском. Даже солдат лагерной охраны возмущало, что людям с такими заслугами перед Францией она платит столь черной неблагодарностью.

Нас, разбив на группы, вновь отвели на второй этаж. Если в первый день мы сами выбирали место, где расположиться со своей охапкой соломы, то теперь каждой группе отвели определенный участок помещения. Моя группа получила не очень-то хороший участок. Нам предстояло занять середину зала — пространство, наиболее удаленное от окон и поэтому самое темное. Рядом с нашими спальными местами стеллажей не было, что лишало нас некоторых удобств. Кроме того, лежали мы или стояли, мы всегда кому-то мешали, всегда оказывались у кого-то на пути, и тем, хотели они того или нет, приходилось топтать по нашей соломе. Отведенное нам место было очень мало: измерив его, мы установили, что каждому из нас выделена полоска в семьдесят семь сантиметров шириной. Проходов ни между постелями, ни между их рядами не было.

Наша группа стала устраиваться на новом месте. На мою долю не хватило соломы, я стоял совершенно беспомощный. «Идите сюда», — позвал меня один из моей группы, сделавшись отныне моим соседом. Рабочий, механик, невысокий, добродушный, очень вспыльчивый человек примерно сорока пяти лет, он говорил на таком трудном саарском диалекте, что иной раз я едва понимал его.

Ловкий, доброжелательный и услужливый, он оказался очень приятным соседом. Из моего чемодана он тотчас соорудил разделительную стенку так, чтобы мы не стучались головами. Кроме того, мне удалось выкроить место для ботинок, ночью я мог держать в них часы и очки, чтобы они не сломались или не затерялись в соломе. Мой сосед и в последующем оказывал мне кое-какие услуги. Он работал в здешних мастерских вместе с французскими рабочими, еду ему давали лучше, чем нам, вечерами он приносил мне поесть кое-что повкуснее, ча-стенно даже вино; в придачу ко всему этому он делился новостями, услышанными им от товарищей-французов. Здесь, в лагере, едва ли можно было пожелать лучшего соседа.

Вчера я с удобством разместил свои вещи на стеллаже. Теперь, лишившись места возле него, я по неписаным законам потерял и право им пользоваться. Правда, новые владельцы прежнего моего места уступили мне часть занимавшегося мной раньше стеллажа. Подобно большинству моих товарищей по группе, они тоже были пролетариями. Ко мне они относились с дружеским вниманием. И хотя такое запрещалось, они вырвали из стеллажа несколько брусков, соорудив мне в нише близ окна нечто вроде скамейки и столика. Так я получил возможность есть, писать и читать, сидя рядом с моей постелью. Весьма скоро это соломенное ложе и нишу возле него с сиденьем и подобием стола, сделанными из брусков, я стал считать моим естественным окружением, более того, частицей моего я. С четырьмя рабочими из моей и соседней групп я общался особенно охотно. Все они родом из Саара. Вообще среди нас было много саарцев. Во время плебисцита, который определил бы, станет ли Саар немецкой или французской землей, они скомпрометировали себя агитацией в пользу Франции. Франция обещала взять их под свою защиту. Теперь она упрятала их в концентрационные лагеря.

Из четырех саарских рабочих, с которыми я подружился, один был кочегар, другой — столяр, затем мой сосед по соломе — механик и еще один механик, место которого было недалеко от моего. На французском все они говорили как на родном языке, у троих из них жены были француженки. Мне они помогали с

удовольствием, всегда готовы были поболтать. От них я многое узнал о жизни рабочих Саара и юга Франции.

Неподалеку от меня расположился веселый портной-саксонец, всегда голодный и всегда готовый услужить по кухонной части в расчете при этом кое-что перехватить, затем — парикмахер, маленький, словно карлик, очень неравнодушный к деньгам человек, вечно держащийся настороже, и, наконец, приветливый, общительный трактирщик из Тулона. И эти люди относились ко мне неплохо, но в отличие от рабочих не высказывали своих политических мнений, стараясь произвести на окружающих впечатление, что они — немцы, живущие за границей, немцы, которые хотя и не сочувствуют нацистам, но покинули Германию с разрешения властей и с абсолютно надежными документами.

Старшим нашей группы был трактирщик из Тулона. Должность старшего не давала никаких привилегий, но обременяла массой обязанностей. И тем не менее в каждой группе были желающие занять это место. Некоторые оказались непригодными для такой должности, и через какое-то время их сместили. Это оби дело их. Вообще удивительно, как сильна у иных людей потребность что-то организовывать, стремление показать свою значительность, весомость.

Приказ об интернировании Париж распространил на беженцев из Австрии и Чехии, поэтому в последующие дни в концентрационный лагерь стали поступать новые сотни людей. Многих доставляли сюда полицейским транспортом, их обычно привозили в наручниках по двое. Интернированию подлежали только люди моложе пятидесяти шести лет, но власти не очень строго придерживались этого. В наручниках доставили, например, некоего уважаемого господина из Марселя, рождения 1882 года. Когда он с помощью паспорта пытался доказать жандарму, что возраст его уже за пределами оговоренными положением об интернировании, страж закона ответил, что явился не затем, чтобы уточнить возраст, а для того, чтобы арестовать его.

Вскоре кирпичный завод оказался весьма тесным для такого количества людей, в нашем помещении был занят каждый угол. Среди нас находилась теперь разношерстная публика, люди всех возрастов и самого разного общественного положения. Моя память сохранила мало имен, но лица и особенности многих из них я запомнил.

Был один промышленник из Саара, спокойный, порядочный человек. Постоянно с портативной пишущей машинкой на коленях, он печатал какие-то письма, счета, сметы. Он изыскивал тысячи возможностей добывать последние новости, газеты, продукты питания, щедро оделял ими других и создал вокруг себя известный уют.

Был еще один, очень самоуверенный господин, всегда окруженный небольшой группкой людей. Зубной техник из Монте-Карло, он, как выяснилось позже, был нацистом. С самого начала он показался мне очень властным. Возможно, впрочем, эту черту характера я примыслил ему лишь потому, что случай сделал его владельцем участка, расположенного несколько в стороне от других. Очень болезненно придерживавшийся порядка, он тщательно оградил свой участок кирпичами. И вот по вечерам и утрам он возлежал, окруженный кирпичным обрамлением, словно на катафалке. Весьма внушительная картина, ничего не скажешь. Примерно двадцатым от моего было место писателя Газенклевера, одного из основоположников немецкого экспрессионизма.

Официальная версия гласила: изолировали нас по соображениям военнотехнического порядка. Среди нас, уроженцев Центральной Европы, предположительно могут быть друзья нацистов, члены «пятой колонны», поэтому правительство Франции желает еще раз провести самое тщательное просеивание. Лишь очень немногие из нас считали, что это истинная причина нашего интернирования. Нас, беженцев из Германии, десятки раз отфильтровывали, с самого начала войны мы находились под постоянным строгим полицейским надзором, мы не смели покинуть своего места жительства. Нет, господа из высших сфер знали точно, что шпионов, саботажников, друзей нацистов, главарей «пятой колонны» следует искать не среди нас, а где-нибудь в другом месте, они, эти главарь, занимали высшие посты, были сильны и влиятельны. Нас интернировали, чтобы заморочить

обывателям головы, направить бдительность народа по ложному пути, отвлечь от тех, кто в действительности нес вину за непрерывные военные поражения.

Я не думаю, что, интернируя нас, руководствовались желанием причинить нам зло, и если интернирование сделало многих из нас навсегда несчастными, если иным из нас оно нанесло материальный и духовный ущерб, а то и стоило жизни, произошло это скорее всего не по злобе французского правительства, а из простого нежелания думать. Если в Европе кто-нибудь живет хорошо, о нем говорят: живет, как бог во Франции. Эта поговорка возникла, вероятно, потому, что во Франции жили и давали жить другим, что жить во Франции было легко и свободно. Но если богу во Франции жилось хорошо, то как раз вследствие этого присущего французам легкого отношения к жизни черту там жилось тоже неплохо. Очень часто французы говорят: *je m'en foue* — плевать я хотел. И вот свою небрежность, свою манеру вести дела спустя рукава, свое отношение к жизни они очень метко обозначили жеманфуизмом — наплевательством. Я не думаю также, что черт, с которым нам начиная с 1940 года пришлось иметь дело, был особенно уж продувной бестией, которому доставляли удовольствие его садистские шутки. Скорее, я полагаю, это был черт небрежности, непродуманности, косности, лени, рутины, именно тот черт, которого французы точно именуют наплевательством.

Париж, вместо того чтобы смягчить предписания об интернировании, уже сточал их. Так, возрастная граница с пятидесяти шести лет была теперь повышена до шестидесяти пяти. Горькая шутка утверждала, что высшая инстанция из злобного жеманфуизма узаконила описку какого-то писаря.

Непрекращающимся потоком в наш лагерь вливались новые люди. Полу-подвальные помещения первого и второго этажей были заняты до последнего темного угла. Всюду можно было споткнуться о кирпич, наступить на соломенную подстилку, на лежащего человека. Люди сидели и лежали друг возле друга, друг на друге, битый кирпич стал предметом вожделения интернированных, каждый стремился стать обладателем четырех-пяти кирпичей, чтобы соорудить себе какое-то подобие сиденья.

Среди вновь прибывших в лагерь пожилых людей были люди культурные, с поразительно богатым багажом знаний. Здесь оказалось несколько уроженцев Вены, воспринимавших события философически. Однажды они уже влипли в подобную неприятность, оказались втянутыми во французскую военную бюрократическую машину; пытаться как-нибудь увязать действия этой машины с основами разума или человечности было невозможно. Если случается землетрясение, стоит ли проповедовать стенам рушащихся зданий основы разума? Эти люди предпочитали сидеть на своих складных стульчиках или на столбиках кирпича и спокойно беседовать о книгах, о музыке или же о других красотах и приятностях прежней своей жизни. В их хорошо темперированных разговорах о Малере, Шницлере или Герхарте Гауптмане, о достоинствах той или иной красавицы того или иного ресторана был мягкий отблеск прежних Вены, Парижа, Канна. Я находил удовольствие в общении с этими господами в изношенных, грязных костюмах, мы бродили по пыльному, ярко-белому от палящего солнца двору, где нас постоянно толкали соллагерники, или сидели на битом кирпиче, остерегаясь, чтобы колючая проволока ограждения не порвала одежду или кожу, вспоминая давние события, спорили о том, внес ли Джеймс Джойс новый элемент в литературное творчество или это «новое» существовало и до него, например в некоторых рассказах Шницлера.

...В нашем Санари с самого начала войны размещались колониальные войска, их часто меняли. Но каждая новая часть прибывала со своей полицией, и каждый раз эта полиция задавала нескольким иностранцам из проживающих в Санари одни и те же дурацкие вопросы. Спрашивали, когда и где родились отец и мать, когда и где поженились, интересовались другими подобными датами, записанными уже сотни раз, занесенными в сотни реестров. Кроме того, в Санари находился специальный чиновник для постоянного наблюдения за нами. В Санари к началу войны жило около четырех тысяч человек, причем среди многих других иностранцев примерно двадцать пять — тридцать немцев, австрийцев, чехов. Человек, которого власти уполномочили следить за нами, служивший раньше клерком маленького местного отделения банка, был тогда очень



доброжелательно настроен ко всем нам, клиентам банка. Теперь же, когда всех иностранцев в этом местечке передали в его руки, он почувствовал себя значительным лицом и решил, что один его вид должен держать их в страхе, особенно женщин. И ему подчас было неловко задавать некоторые вопросы, но он все же их задавал, поскольку, объяснял он, вышестоящие власти требуют донесений по всей форме и без таких ответов на вопросы не обойтись.

Он спрашивал меня, например, почему моя секретарша работала на пишущей машинке ночью, население, говорил он, может подумать, что в этом доме готовятся секретные донесения нацистам. Обычно моя жена, выезжая по своим делам в соседнее местечко, прихватывала с собой попутчиками солдат, если они усилили ее об этом. Почему она поступает так, спрашивал наш клерк, население может решить, что она хочет выведать у солдат военные тайны. Когда же она после этого стала отказывать солдатам в их просьбе, он спрашивал, почему она поступает так, — это проявление недружелюбия по отношению к французской армии, население может счесть такое поведение провоцирующим. От меня требовали доказательств, что я писатель. Я выкладывал на стол французские издания моих книг. Полицию это не удовлетворяло. Я предъявлял статьи, напечатанные обо мне и моих произведениях в ведущих французских газетах. И этого ей казалось мало. Я получил денежный перевод от моего американского издателя. Полиция проводила длительные расследования, выясняя, откуда эти деньги, как и на что я их потратил. Население считает, говорили мне, что деньги пришли от Гитлера или от какого-нибудь связанного с ним лица.

Разум непрерывно восстает против глупой обстоятельности, с которой управляется мир. Ах эти всеобщие предписания, эти *mesures générales*. В подавляющем большинстве случаев они не причиняют ни малейшего вреда тем, против кого направлены, но ранят невинных. Какое множество бессмысленных поступков совершаем мы под нажимом бюрократических предписаний. Большую часть своей жизни и сил я потратил на опровержение различных уловок и доказательств того, что я родился именно в Мюнхене и именно в 1884 году. Примечательно, что серьезная проверка правильности моих показаний производилась крайне редко, в большинстве случаев требовалось лишь предъявить написанную бумагу с печатью взамен другой бумажки с печатью и оплатить требуемые предписаниями гербовые и другие сборы. Я смог бы — а пишу я очень медленно — написать еще две книги, если бы отдал литературному труду время, потраченное на бессмысленное хождение по различным инстанциям, на бесполезное ожидание приема у разных должностных лиц.

Живя в Германии, я считал бюрократию типично немецким пороком, уродливой формой склонности к порядку и организованности. Но позже я убедился, что в других странах с так называемой организованностью дело обстоит много хуже. В свободной Франции я столкнулся с еще более развитой бюрократией, смягченной ленью и небрежностью чиновников, и, наконец, в Америке совершенно заблудился в бескрайних джунглях бюрократии...

Получать газеты нам запрещалось, письма нам выдавали редко, первые четыре недели их вообще не было, мы оказались отрезанными от внешнего мира. Это порождало тысячи слухов как о нашем собственном, так и об общем политическом и военном положении. Слухи возникали с утра — в очередях к умывальникам или к отхожему месту — и обретали силу по мере движения солнца к зениту. К трем часам дня эти слухи становились фактами, к четырем часам — вяли и блекли, к шести — умирали. В половине седьмого один клял другого за то, что тот распространял слухи, а себя за то, что поверил и поделился ими с кем-то еще. На следующий день все начиналось сначала.

Человек, узнавший новость раньше других, чувствовал свою значительность. Именно по этой причине так глубоко уважали обоих переводчиков. Переводчики были выбраны из нашей среды, из интернированных. Работа их была трудной. Они являлись посредниками между администрацией лагеря и нами. Им надлежало передавать нам приказы коменданта. К ним обращались, когда у кого-нибудь возникала необходимость встретиться с комендантом, они выдавали почту руководителям групп, и, если что-нибудь не ладилось, офицер орал на них, а мы, интернированные, ругали их. Но (и это, пожалуй, служило компенсацией за их тяжкий труд) все постоянно спрашивали их о непрерывно меняю-

шейся обстановке в мире и о лагерных новостях. Верилось, что, постоянно находясь возле коменданта лагеря, они первыми должны знать все интересное. Конечно, они ничего не знали, и когда люди значительно говорили мне, что то-то и то-то они услышали от переводчика, а тот услышал это от самого коменданта, то я всегда вспоминал великолепный анекдот из времен первой мировой войны анекдот о некоем Пьере, шофере маршала Фоша. Этого Пьера непрерывно атаковали его товарищи: «Пьер, когда кончится война? Ты наверняка должен знать это» Пьер успокаивал их: «Как услышу что-нибудь, сразу скажу». Однажды он сказал друзьям: «Сегодня мы поговорили с маршалом о конце войны». — «И что он сказал?» — «Он спросил меня: „Пьер, как ты думаешь, когда кончится эта чертова война?“»

Но переводчики всерьез вжились в роль этого Пьера; и даже те, кто слышал что-либо от переводчиков, полагали себя маленькими Пьерами. Иные из этих маленьких Пьеров считали, что их престижу будет нанесен урон, если не они первые узнают новость, и поэтому даже когда им сообщали что-нибудь новенькое, но такое, о чем им слышать не приходилось, они тотчас заявляли, будто давно знали об этом.

Мне почти всегда удавалось склонить моих собеседников к рассказам о том, чем они занимались в своей прошлой жизни: адвоката — о судебных процессах, которые он вел, врача — о медицине и врачебной практике, торговца земельными участками — о ценах на землю. Большею частью того, что мне известно о людях, об их взаимоотношениях, я обязан моему искусству слушателя, искусству, которому меня в свое время научили мудрые наставники. Благодаря этому искусству я узнал в лагере многое — о торговле дровами во Франции, о корме для рыб, продажу которого монополизировал один из заключенных лагеря, о ловле губок в Греции, о воздействии поточной линии на психику рабочего, о технике задувки доменной печи, о человеческой душе.

В нашем лагере было немало художников, был здесь Макс Эрнст, один из ведущих сюрреалистов Франции, был известный художник, автор на мой вкус несколько броских портретов, были художники разных направлений и разной степени мастерства. Были писатели, ученые, врачи, адвокаты, инженеры, учителя. Были католические священнослужители из Австрии, из Баварии, груболицые, в сутанах, они выглядели ряжеными. Были люди, много пережившие в германских концентрационных лагерях, да и просто в самой Германии, которую нацисты превратили в гигантскую тюрьму. Их всех я слушал всегда с огромным интересом и сочувствием, и общение с ними во многом обогатило меня.

Мне все время хочется рассказать об очень многих, очень разных характерах и душах, с которыми мне пришлось встретиться в лагере. Хотя условия жизни у всех нас были одинаковы, а из-за пыли и грязи мы внешне становились все более похожими друг на друга, сущность каждого все же удавалось распознать очень отчетливо. Постоянно тесно общаясь друг с другом, наблюдая за соседями в любой ситуации, мы, хотели того или нет, видели, как любой из нас ходил, спал, ел, мылся, одевался, совершал свои естественные отправления. Никто не мог утаить ни одной из своих привычек. И очень скоро сокровенная суть человека полностью раскрывалась, причем для этого не требовалось долго выпрашивать человека о его взглядах на жизнь. Каждый из нас ежедневно подвергался самым разным испытаниям, мудрый мирился с ними, вспылчивый бил вдребезги свои кирпичи, сварливый, неуживчивый ругал своего соседа, доброжелательный помогал, жадный мошенничал.

Был здесь австриец-врач, образованный человек, за своей, я бы сказал, суровой шутильностью он скрывал гнетущие его заботы. Был и другой австриец, очень молодой, доктор Л., человек, достойный самого глубокого уважения, всегда готовый помочь, проповедовавший нетерпеливым хладнокровие, но если пригласиться, видно было, до какой степени его самого истерзала нервозность. Среди многих писателей был здесь один воевавший в Испании, убежденный марксист, утверждавший, что все события, сотрясающие сейчас мир, в том числе и выпавшие на нашу долю испытания, неизбежны, необходимы и служат, может и неясно, прогрессу; и этого писателя, несмотря на такую его убежденность в целесообразности происходящего, постоянно одолевали припадки мрачного от-

чаяния, приступы того, что во Франции именуют *cafard*. Был здесь изнеженный жизнерадостный молодой художник с тонким вкусом, который цеплялся за любой призрак надежды, который верил любому слуху, даже такому, какому не верит никто. Был здесь пожилой архитектор, упрямый и желчный, по природе своей нигилист и пессимист во всем, что касалось оценки ситуации, в которой мы оказались. От любого аргумента, способного нас обнадежить, он не оставлял камня на камне, но едва появлялся самый ничтожный шанс сделать что-либо, способное несколько улучшить наше положение, он всегда готов был этим заняться.

Со всеми этими людьми я проводил дни и ночи, разговаривал с ними.

Естественно, велись и политические споры. Рабочие и жители сельских мест в этих спорах проявляли подчас большое понимание, пытались оценить вопрос со стороны, с дистанции. Я не переставал, однако, удивляться тому, что большинство интернированных грандиозные события, захватившие нас, объясняли мелкими, случайными обстоятельствами: интересы частного порядка мешали им увидеть проблему в целом, они страшились неприятностей, связанных с отстраненным анализом причин, не говоря уж о том, чтобы детально изучить их.

Всю ночь напролет темное, холодное помещение заполнялось самыми разными шумами, шорохами, храпом. Люди отрывисто кашляли, задыхались, стонали, кричали во сне, громко пускали ветры. То тут, то там кто-то украдкой пытался успокоить своего друга, сказать теплые слова утешения, то тут, то там негромко призывали какого-нибудь врача из лагерников.

Иные страдающие бессонницей пробирались вниз, в катакомбы, где возле нужника горела тусклая лампочка. Иногда там собиралось до трехсот человек. В случае проверки каждый мог сказать: иду в уборную! Эти еженощные сборища самых разных людей в рваных ночных одеяниях (многие из них пожилые и старые, с гротескными ночными колпаками на голове) были страшны, жалки и смешны одновременно. Возбужденные люди шепотом обсуждали дела, уже много раз обсуждавшиеся в течение дня. Если они начинали говорить слишком громко, из прилегающих переходов, где лежали иностранные легионеры, неслись проклятия и угрозы.

Я делал все возможное, чтобы ночью спать. Весь день очень много ходил, редко присаживался. И тем не менее часто приходилось довольствоваться тремя-четырьмя часами сна, более пяти-шести часов я не спал даже в самые удачные, самые счастливые ночи. Остальное время бодрствовал: люди вокруг меня стонали и храпели, я же ощущал бессильную горечь, жалкое, недостойное положение терзало меня. Разум не приносил успокоения. Я говорил себе: «Теперь, как раз теперь, когда ты — запертый, изолированный от людей, презираемый, подозреваемый в пособничестве варварам — лежишь вот так, люди во всем мире читают твои книги о варварстве нацистов, полняя свои сердца ненавистью к этому варварству». Абсурдность подобного состояния, тупость французских властей приводили меня в бешенство. Здесь логика была бессильна, бесполезно объяснять себе, что здесь ничего не сделаешь, что противостоять системе бессмысленно.

Я пытался отвлечься от этих мыслей. Заставлял свою голову работать, старался переводить сохранившиеся в моей памяти латинские, греческие, древнееврейские стихи на немецкий, делал то, что предыдущие поколения именовали тренировкой ума и остроумия. Напрягал память, вспоминал, когда именно сделал то или иное. Мне пятьдесят шесть, и я еще до интернирования иногда спрашивал себя: не в последний ли раз ты это делаешь? Перечитывая любимую книгу, я спрашивал себя: не в последний ли это раз? То же чувство испытывал я, смотря картину, надевая костюм, слушая музыку, встречая того или иного человека. По существу, ежедневно, сам того не подозревая, я с чем-то прощался.

Теперь, лежа в бессонные ночи в грязи на охапке соломы в Ле-Миле, я спрашивал себя: когда в последний раз я купался в море, когда встречался с той или иной женщиной в последний раз, когда перечитывал в последний раз Шекспира?

Как-то товарищ по лагерю сказал мне, что несколько лет назад смотрел одну из моих пьес. Он хорошо помнил ее и усердно расспрашивал меня о некоторых подробностях. Я же не смог ответить на его вопросы: оказалось, что об

этой пьесе я знал теперь намного меньше, чем он, даже начисто забыл последовательность совершающихся в ней событий. Мною овладело беспокойство, и в бессонные ночи я стал проверять, насколько надежна моя память.

В юности мне приходилось учить наизусть много полезного и очень много бесполезного, память моя была хорошо натренирована. И вот теперь, проверяя себя, я лучше, чем когда-либо прежде, понял, как удивительно произвольно работает моя память. Она с поразительным упорством противится тому, чтобы поделиться со мной важными сведениями, крайне необходимыми именно сейчас, и немедленно по собственной инициативе выкладывает то, о чем я и знать не хочу.

Всю свою жизнь я не устаю удивляться феномену памяти, этой удивительной функции человеческого духа. Если я (впрочем, это относится и к другим) могу точно вспомнить все относящееся к встрече с безразличным мне человеком, все самые мелкие подробности этой встречи, то дорогие мне лица начисто забылись. Никто пока еще не нашел обоснованного психологического объяснения этим «почему?» и «как?».

В бессонные ночи Ле-Миля память вела себя особенно странно. Все мы в лагере по себе замечали, что она ослабела. Мы относили это к действию брома, который подмешивали нам в пищу, чтобы притупить чувственность.

Прежде, в мирные времена, меня мало беспокоило, если память иной раз давала осечку. Теперь, в тяжелые бессонные ночи, я приходил из-за этого в бессильную ярость, усиливавшуюся оттого, что под рукой не было никаких книг, никаких справочников, способных восполнить пробелы памяти, и что для этого приходилось обращаться к случайным знаниям товарищей по лагерю.

Посещать нас запрещалось. Так как наши родственники не имели французского гражданства, они и без этого запрета не смогли бы приехать сюда: чтобы покинуть место своего жительства, требовалось специальное разрешение, которое выдавалось лишь в редких случаях. Писем мы почти не получали. Наша переписка шла через Париж, там проходила цензура, неделями лежала в различных инстанциях. Интернированные в своем большинстве и понятия не имели, где их жены и дети. Судя по тому, что происходило на севере Франции, можно было предполагать, что наши близкие и здесь, на юге, оказались в концентрационных лагерях.

Для очень многих интернированных интернирование их жен означало полную потерю средств к существованию. У семьи было какое-то небольшое дело, в отсутствие мужа о нем заботилась жена. Если же в лагерь забирали и ее, пропало все. Один занимался огородничеством, пришло время собирать урожай. Что будет с его овощами? Другой держал кроликов или имел птицеферму. Кто будет заботиться о кроликах, о птице, если изолировали жену? Ведь они наверняка не имели ничего общего с «пятой колонной», эти огородники, кролиководы. Декрет об интернировании со всей очевидностью показал свою полную бессмысленность.

Жены многих были больны, их здоровье под тяжестью эмигрантских невзгод подорвано. Выдержат ли они, интернированные, трудности лагерной жизни? А что будет с детьми? Солдаты охраны говорили: в Марселе в лагерь взяли и детей. Их вместе с матерями в ожидании последующей переброски через Пиренеи поместили в одном из пригородных отелей, покинутом владельцами.

Был в лагере человек, сын которого болел диабетом. Если за рационом ребенка тщательно не следить, он погибнет. Отец мальчика, аптекарь, испытывал ужас перед французскими больницами, он рассказывал потрясающие истории о неряшливости, о грязи, царящих там, он хорошо знал это, так как годами был связан с лечебными учреждениями. Страх за ребенка едва не свел его с ума. Скрыв от посторонних болезнь сына, чтобы их не разлучили, мать не сможет обеспечить правильный уход за ним. Если же ребенка возьмут в больницу, он наверняка погибнет, в этом отец был твердо убежден.

Лучше было женатым на француженках. Этих женщин не только не изолировали, они освобождались от необходимости выполнять бесчисленные мучительные особые распоряжения, им разрешалось свободное перемещение по стране, у них имелась возможность пытаться увидеть своих мужей. Мужчины не могли нахвалиться верностью и привязанностью своих жен-француженок, они

надеялись, что жены предпримут все, чтобы увидеться с ними. Так оно и было. Те приехали в Ле-Миль, приехали издалека, приехали почти все. Но свидания вдруг запретили, за нарушение приказа охране пригрозили таким суровым наказанием, что она остерегалась способствовать свиданиям жен с мужьями.

И вот женщины, подчас после утомительного пути, часами, днями стояли перед запертыми воротами, перед изгородью из колючей проволоки, бродили возле лагеря взад и вперед по знойной проселочной дороге, надеясь увидеть мужей, переброситься с ними несколькими фразами. Иногда женщины принимал офицер лагеря, иногда — после тщательной цензуры — разрешалось передать письмо, если лагерное начальство сочтет его безобидным. Очень часто, четыре-пять раз в день, мы слышали чей-нибудь торопливый, настойчиво зовущий голос: «Х., ваша жена здесь». И этот Х. пытался высмотреть свою жену из какого-нибудь окна или становился на высокий, все время разваливающийся штабель кирпича, чтобы глянуть поверх стены, или же просил товарищей приподнять его. Происходило это примерно в двадцати — тридцати метрах от стены, и если им везло и муж видел жену, а жена — мужа, то он кричал ей что-то, а она не понимала, и он кричал еще раз, и она кричала ему в ответ, а потом появлялась охрана и отгоняла жену от забора, а мужа выпроваживала прочь. Жалкое, печальное зрелище.

Однажды доброжелательный постовой тайком провел пятилетнего ребенка такой женщины к отцу в лагерь. Отец был марсельцем, очень солидным человеком. Теперь же подобно всем нам он бродил по лагерю грязным и оборванным. Очень ухоженный, чисто одетый малыш был поражен. Он просил отца вернуться наконец домой, мама ждет их за стеной на дороге. Отец сочинил вымышленную историю, будто он находится здесь как офицер и должен наблюдать за нами, арестованными. Мы подыграли ему и стали отдавать ему честь. Мальчика это немного успокоило.

Чтение газет запрещалось. Солдаты за соответствующую мзду проносили в лагерь две-три газеты. Люди с коммерческой жилкой из среды интернированных раздобывали такой экземпляр и переуступали его другим — десять, двадцать, тридцать раз. Случалось, что на газете, которую такой коммерсант купил за франк-полтора, он зарабатывал тридцать — сорок франков. В уголке собиралась кучка людей, многие стояли на стреме, чтобы своевременно сообщить о появлении офицера, хозяин газеты, дающий ее «напрокат», смотрел на часы, чтобы клиент не превысил обусловленных соглашением двух минут, к неудовольствию хозяина, клиент читал газету вслух.

Хотя различие между богатыми и бедными в лагере и было, сколь-нибудь заметных проявлений классового расслоения там почти не замечалось. Люди в лагере группировались на основе критериев, отличных от имущественного ценза. Группировались на основе своеобразных юридических формальных понятий, в зависимости от видов на освобождение, на какие по своим документам мог рассчитывать тот или иной интернированный, по шансам освободиться, которыми мы, по мнению знатоков, располагали при пресловутой чистке лагеря.

Наиболее бесперспективными в этом смысле были обладатели немецких паспортов, чуть больше шансов оказывалось у владельцев австрийских паспортов. В лучшем положении те, кто при немецком или австрийском паспорте имел заокеанскую визу. Еще ступенью выше — женатые на француженках, выше их — отцы тех сыновей, что служили во французской армии. Очень перспективными были далее жители Саара, поскольку Франция особенно торжественно обещала им защиту. На самом же верху этой своеобразной иерархической лестницы находились иностранные легионеры и мы — обладатели паспортов без гражданства: Франция признала нас как политических эмигрантов и противников Гитлера. Яростно споря, группы сравнивали и взвешивали свои шансы. Вновь и вновь, несмотря на то, что были учены-переучены, мы говорили друг другу, что завтра уж наверняка начнется пресловутая чистка и под освобождение подпадет та или иная группа. И представители этой привилегированной группы презрительно поглядывали на несчастных обладателей обыкновенных немецких или австрийских паспортов.

Тот, кто прожил всю свою жизнь в стране, никогда не испытавшей ни катаклизмов внутренних волнений, ни войн, ни оккупации, тот не знает, какую

роль в судьбе человека могут играть любые бумажки, удостоверяющие его личность, и печать на такой бумажке. Как правило, это пустяковый клочок, ерундовая печать, равнодушно прилепнутая каким-то ничтожным чиновником. Но сколько десятков тысяч, миллионов людей охотятся за подобной печатью! Сколько коварства, денег, нервов, жизненных сил тратится великим множеством людей, чтобы раздобыть такой клочок бумаги. Сколько мошенников живет тем, чтобы законным или незаконным путем раздобыть такую бумажку с печатью. Сколько счастья и несчастья сулит подобная бумажка своему законному или незаконному обладателю.

В битве за получение нужных бумажек большую роль играют юристы, поскольку принято считать, что они хорошие гиды в лабиринте правительственных предписаний. И в нашем лагере с юристами очень считались. Они многозначительно разъясняли нам, что наше интернирование незаконно и противоречит международным гарантиям, которые Франция дала на конференции в Эвиане. На основании этого международного соглашения группа интернированных составила протест против содержания нас в лагере. Когда мне принесли этот документ для подписи, я не мог удержаться от смеха. Как могли люди, находящиеся в здравом уме и твердой памяти, в такие времена звать к международным гарантиям? Но человек всегда должен цепляться за какую-то надежду.

Тщеславие побуждало некоторых наших юристов к деятельности. Подавались и другие прошения. То и дело несколько человек из какой-либо группы, представители Саара, например, или отцы французских сыновей, собирались вместе, во всех подробностях обсуждали концепцию какого-нибудь очередного ходатайства и наконец торжественно представляли его коменданту. Комендант вежливо выслушивал их, обещал передать ходатайство по инстанции и после их ухода бросал его в корзину для бумаг.

Отношения с солдатами охраны были у нас хорошими. Они скучали и охотно вступали с нами в разговоры. Рассказывали, что прочли в газетах, что слышали по радио. К сожалению, они понимали нас лишь в редких случаях. Впрочем, настроены они были скептически, правительству не верили, считали, что война — сплошной обман и ведется лишь для того, чтобы несколько богачей стали еще богаче. Они чувствовали себя не солдатами, а бедняками, так же, как и мы, попавшими в дурацкий переплет. Это были крестьяне с ограниченным кругозором. мелкие сельские ремесленники, на которых напялили мундир. Они ни о чем так страстно не мечтали, как о возвращении к своим женам, детям, курам, пашням.

Особенно хорошо сложились отношения у интернированных рабочих и крестьян с рабочими и крестьянами в солдатской форме. Частенько можно было наблюдать кого-нибудь из наших лагерников стоящим по эту сторону ограды с колючей проволокой, болтающим с караульным солдатом, находящимся по ту сторону забора, подобно тому как иной раз говорят друг с другом крестьяне-соседи, стоя у забора, разделяющего их участки. Не требовалось особенно долго прислушиваться к их беседе, чтобы понять, что у этих двоих, у немца и француза, одни и те же заботы.

Черт во Франции был дружески настроенным, благовоспитанным чертом. Дьявольская его сущность проявлялась лишь в вежливом безразличии к страданиям зависящих от него людей, в его наплевательстве, в его халатности, в бюрократической медлительности. Этот черт, черт Франции, был мягким, моллюскообразным чертом, если его хватали, он не сопротивлялся, отступал, выскальзывал, чтобы появиться с другой стороны. Он был Великой Кривой из «Пер Гюнта»...

В начале этой книги я рассказал о маленькой комнатке первого этажа моего дома в Санари, комнатке, где стоял радиоприемник. С этим радиоприемником у меня связаны особые ассоциации. Приемник связывал меня с Германией, с моей родиной, с Мюнхеном — городом, в котором я родился. Странно звучали из этого приемника голоса людей, которых я давно уже не видел, но еще не забыл. голоса актеров, когда-то игравших в моих пьесах, а теперь монотонно бубнящих нацистские лозунги. Приемник сообщал о местах, нам хорошо известных, и о проходящих там ныне отвратительных манифестациях. Здесь, защищенный Францией, я лежал на моей оттоманке и с двойственным чувством слушал, как какой-нибудь министр или другой функционер мечет на меня громы.

Незадолго до того, как мне пришлось променять мой милый дом на концентрационный лагерь, этот радиоприемник сообщил мне ужасную новость — о бельгийской катастрофе. Нацисты подали это сообщение варварски эффектно. Сначала диктор прочел обычные известия о победах, потом сказал: «Оставайтесь у радиоприемников, через пять минут будет передаваться чрезвычайное сообщение». Мы ждали с неприятным чувством. Через пять минут было сказано: «Передаем чрезвычайное сообщение верховного командования. Только что немецкие войска вошли в бельгийский город Лёвен». И затем зазвучали такты сентиментально-игривой песенки: «Дай мне твою ручку, прелестнейшую ручку, мы едем, едем, едем, мы едем в Энгелянд». (По своей тупой архаичности, по своей средневековой ганзейской грубоватости и сентиментальности это едва ли не самая живая песня на свете.) Едва кончилась эта псевдонародная песенка, как мы услышали вновь: «Оставайтесь у приемников, через несколько минут мы передадим чрезвычайное сообщение». И через пять минут опять вульгарная песня и новое сообщение: «Немецкие войска только что вступили в столицу Бельгии Брюссель». И в третий раз диктор пригласил слушателей остаться у приемников: «Сейчас будут переданы новые чрезвычайные сообщения». И вновь: «...мы едем, едем, едем, мы едем в Энгелянд». А потом: «Немецкие войска только что заняли укрепленный приморский город Антверпен» И вслед за тем: «Германия, Германия превыше всего», а далее хулиганская нацистская песня «Хорст Вессель».

Это была одна из мрачных прелюдий к тому, что нам предстояло услышать потом в лагере. Мы узнали о падении Амьена и Арраса, о продвижении немцев в Северной Франции, о взятии Булони, Кале. Мы слышали, что бельгийский король приказал своей армии сложить оружие. Мы слышали о речи, в которой французский премьер-министр обвинял многих своих генералов либо в неспособности, либо в предательстве и сместил их с постов. Обо всем этом мы узнавали лишь в самых общих чертах, неопределенно. Те немногие газеты, которые удавалось раздобыть, попадали к нам с запозданием, цензурованные сообщения не больно-то помогали прояснить ситуацию. Мы жадно ловили то немногое, что нам удавалось услышать, мы комментировали каждое слово, мы изучали тайком раздобытую карту страны, среди нас имелось немало стратегов, которые поясняли — что, каким образом, почему.

Во всяком случае, было известно: наци продвигались, наци угрожали Парижу. А что произойдет с нами, когда они возьмут Париж? Было невыносимо сидеть здесь, в лагере, беспомощными, связанными по рукам и ногам, не имея никакой возможности предпринять что-либо против надвигающейся беды, даже не зная о ней ничего определенного.

О возрастающем успехе нацистов можно было судить по поведению тех среди нас, которые им симпатизировали. Они были в ничтожном меньшинстве, до сих пор держались тихо, теперь же почуяли бодрящий ветерок. Тут-то они и заговорили, торжествуя заявив, что Париж ни при каких обстоятельствах не удержится, а с падением его будет покончено и с Францией. Один из нацистов прятал у себя в соломе маленький радиоприемник, он издевательски давал нам слушать нацистские победные реляции. Положение представлялось нам крайне тяжелым, бесперспективным, а бесчисленные слухи заставляли видеть наше будущее в еще более мрачных тонах.

Сам я был глубоко убежден, что события во Франции, что бы ни случилось с Парижем, исхода войны не решат. Я не сомневался, что каких бы временных успехов гитлеровцы ни добились, войну им не выиграть никогда. Как в первой войне немцы не смогли удержаться против всего объединившегося против них мира, так (и об этом я знал, если можно так выразиться, с математической точностью) и в нынешней войне им тоже не удержаться. Я все время твердил об этом своим товарищам. Я верил в это и убеждал в этом их. Но на следующий день пессимисты вновь появлялись, и мне вновь приходилось их убеждать.

Но, пожалуй, больше, чем события на севере страны, всех нас занимал вопрос: что предпримет Италия, вступит ли она в войну? Ближайшие итальянские аэродромы находились от нас в получасе полета. Что будет с нами, если Италия объявит войну?

До сих пор все эти девять месяцев войны юг страны не очень-то много ви-

дел войну, мало ее чувствовал. Теперь же внезапно все поняли, кожей ощутили, что она задевает их непосредственно. Офицеры ходили с замкнутыми, удрученными лицами, солдаты сделались мрачными и боязливыми, не зная, как защититься от надвигающейся беды.

Мы, интернированные, стали копать блиндажи, предназначенные для нашей защиты от нападения с воздуха. Руководил этими работами младший лейтенант, до призыва в армию — секретарь городского муниципалитета. О порученной ему работе он не имел ни малейшего представления. Нам предстояло в твердом грунте двора вырубать глубокие, идущие зигзагом блиндажи. Но так как места во дворе было не очень-то много, большую часть блиндажей копали возле дома. Сведущие люди, оказавшиеся среди нас, говорили, что эта идея безнадежно дилетантская. В таком блиндаже при бомбежке особенно опасно. Попади бомба в дом, блиндажи наверняка засыплет. Очень осторожно мы сказали об этом офицеру — секретарю муниципалитета. Он резко оборвал нас: есть приказ рыть блиндажи для защиты от нападения сверху.

Лагерное начальство требовало, чтобы эти работы были выполнены как можно быстрее. Нас разбили на смены, порядок царил образцовый. Блиндажам надлежало быть глубокими, а земля тверда, легкой эту работу не назовешь. И тем не менее большинству она нравилась, после длительного безделья мы радовались ей. Все мы работали с удовольствием. Снимали пиджаки, рубашки, груболицые католические священники сбрасывали сутаны, и с обнаженными покрасневшими торсами мы трудились — кто отрывал грунт лопатами, кто убирал его носилками, тачками в сторону.

Через два дня после начала земляных работ район Ле-Миля подвергся первой бомбежке. Но бомбили не итальянцы, а немцы.

Комендант лагеря разделял, видимо, мнение наших сведущих людей. Он отправил нас не в блиндажи, а в дом. Большие ворота заперли как на ночь, а окна закрыли дощатыми щитами. Бомбежка была сильная. В каких-нибудь двух милях от лагеря находился аэродром, бомбы падали очень близко от нас. Мучительное, давящее напряжение испытывали мы, две тысячи беззащитных людей, запертых в темном помещении. Те из нас, кто имел опыт, по свисту летящей бомбы, по звуку взрыва определяли, какая упала бомба и как далеко от нас. Более четырех часов нас продержали взаперти, все полуденное время, без обеда. Мы были раздражены, особенно юристы. То, что нас разместили рядом с аэродромом, утверждали они, — грубейшее нарушение международного права.

...На следующий день в лагерь прибыл офицер инспектировать наши блиндажи. Он приказал их засыпать. Изнурительная работа, бессмысленное рытье блиндажей, бессмысленная засыпка их — своеобразный символ нашего бессмысленного нахождения здесь, в Ле-Миле, где жизнь интернированных постоянно под угрозой. Все, что осталось от этой затеи, — неровный, покрытый рытвинами и буграми двор.

Бомбежки были и позже. Мы уже знали, что весь север Франции в руках немцев. Мы читали об отчаянном обращении французского правительства к Америке, в котором говорилось, что, если не будет оказана немедленная помощь, Франция погибнет.

Шли великолепные дни июня, не очень жаркие, не очень ветреные. Маленькими группками мы стояли в наших пыльных дворах и горячо обсуждали последние события. Повсюду были навалены кучи земли — вещественное свидетельство наших попыток защититься от бомб. Когда немцы возьмут Париж? Он уже объявлен открытым городом, следовательно, боев за него не будет. Нацисты стояли в семидесяти милях от Парижа, в сорока восьми... Нашим бравым солдатам из охраны неожиданно пришлось заниматься строевой подготовкой. Они маршировали в полной боевой выкладке. Установленные вокруг лагеря пулеметы были приведены в боевую готовность. Мы отпускали по этому поводу горькие шутки. Наши солдаты зло заявляли, что, если появятся итальянцы, они разойдутся по домам.

Они-то могут разойтись по домам, а что произойдет с нами? С севера шли немцы, с востока — итальянцы, а мы, запертые в лагере, были беспомощны. Даже если и удастся бежать из лагеря, мы окажемся во враждебной стране, гонимые и преследуемые со всех сторон страшным врагом. Горько усмехаясь, мы де-



ляли мрачные расчеты, прикидывали, каковы шансы на то, чтобы уцелеть в такой передраге. При этом учитывали военные сообщения, психологическое состояние населения страны, наши собственные физические и технические возможности. И пришли к заключению: сегодня вероятность смертельного исхода — шестьдесят процентов, вероятность спасения — сорок процентов. Нет, это слишком оптимистично, вероятность спасти процентов тридцать, не более. Впрочем, эти вероятности для каждого лагерника различны. Тот, кто открыто действовал против нацистов, кого нацистские газеты заклеили как врага национал-социализма, кто был осужден их судами, у того, естественно, шансов на спасение было очень мало.

Торговля газетными новостями процветала. По всем углам стояли люди, изучая зачитанную до дыр газету, выкладывали свои франки и шли к другой группе, где была другая газета. Если появлялся офицер, газету прятали и вновь вытаскивали, едва он проходил мимо.

И находящиеся среди нас нацисты требовали и получали деньги за сообщения тех сведений, которые они услышали по своим приемникам. Франция дожидала свои дни.

Италия объявила войну. Немцы перешли Сену. Франция распалась.

На наш кирпичный завод каждый день прибывали новые транспорты. В большей своей части это были люди из концентрационных лагерей севера страны, теперь их перевозили на юг. Впрочем, прибывали к нам не только интернированные, были и машины с беженцами — голландцами, люксембуржцами, бельгийцами. Смертельно усталые, они сидели во дворах. Затем их вели есть, их пожитки валялись в беспорядке, в пыли на солнце, жалкие пожитки, нищенская собственность.

Говорить с новоприбывшими нам запрещалось. Но суровой дисциплины в нашем лагере никогда не было, а сейчас тем более, запрет этот мы нарушали.

Сообщения новеньких были чудовищны. Прибывшие из бельгийского концентрационного лагеря рассказывали, как их перевозили через страну в запломбированных вагонах. Никто не заботился об этом эшелоне, никто не давал им ни воды, ни еды. Солдаты бельгийской охраны обобрали их, несколько человек умерли в вагонах от истощения, трупы продолжали свой скорбный путь вместе с живыми. Все говорили, что миллионы французов-беженцев с севера буквально затопили юг страны. Все железнодорожные пути, все дороги забиты. Люди дерутся за средства передвижения. Нет никакой организованности.

Мы, «старожилы» Ле-Миля, пользовались у лагерного начальства некоторыми преимуществами. Офицеры говорили нам, что о нас они, по крайней мере, знают, кто мы такие, знают, что мы антифашисты, лояльны к французам и попали в лагерь, по существу, лишь порядка ради. В потоке же новоприбывших были и шпионы и другие подозрительные личности. Новая ситуация никому не нравилась. С новоприбывшими у офицеров и солдат было много хлопот, нам же приходилось тесниться и делиться с ними водой, они мешали нам на каждом шагу. Гротескным было то, что мы считали себя лагерной аристократией, что мы, «старожилы», «коренные жители», с презрением взирали на новеньких, чужаков.

Новые интернированные рассказывали о случаях возмутительного бюрократического отношения к некоторым из них. Был молодой немец из семьи известного писателя-эмигранта. Он был чешским гражданином, жил в Швейцарии и в соответствии с вызовом чешского консула приехал во Францию, чтобы вступить в Париже в чешский легион и воевать против Гитлера. У него имелись не только все необходимые документы, но и теплое рекомендательное письмо французского посланника в Берне. На французской границе, хотя он и показал все свои бумаги, его арестовали и интернировали. А потом его стали переводить из лагеря в лагерь, войти в контакт с кем-нибудь из людей, находящихся на свободе, ему так и не удалось. Был среди новичков и молодой инженер из Югославии. Пламенный антифашист, он, несмотря на обеспеченность и хорошую работу, отправился во Францию, чтобы вступить добровольцем в действующую армию. При нем было очень милое рекомендательное письмо французского посланника. На границе его арестовали, интернировали, и теперь он кочует из лагеря в лагерь.

Многие из новоприбывших оказались во французской военной форме. Добровольцами они вступили во французскую армию, стали солдатами трудового фрон-

та. На спинах их курток черным были намалеваны гигантские буквы «ТЕ», начальные буквы слов «travailleur étranger» — иностранные рабочие.

По всему югу Франции распространялись слухи, царила паника. Удержатся ли французы у Луары? Пал ли Верден? Известно было одно: оставаться здесь, в Ле-Миле, уже опасно. Нацисты шагали по Франции, вот-вот они будут в долине реки Роны, здесь, у нас. Если где-нибудь на юге и было безопасно, так это на юго-западе, в Пиренеях. Шансы выбраться живыми из ловушки все уменьшались. Вероятность выжить по нашим подсчетам упала до двадцати — пятнадцати процентов.

Следовало что-то предпринимать. Нельзя было сидеть сложа руки и ждать, когда нацисты возьмут лагерь. Возможно, французы и хотели нас спасти, но мы опасались легкомыслия служащих, их чертовой халатности, их склонности полагаться на самотек, их нерадивости, о чем я уже говорил. Опыта у нас на этот счет было предостаточно, французских бюрократов мы знали хорошо. Служащие, которым мы непосредственно подчинялись, не решатся предпринять что-либо на свой собственный страх и риск, будут ждать указаний вышестоящих инстанций, вышестоящие инстанции поступают точно так же, то есть будут ждать указаний сверху, а тут, глядишь, и нацисты нагрянут. Если мы сами себе не поможем, нам не поможет никто.

При непрерывной текучести контингента, при постоянной смене охраны лагеря дисциплина все больше падала. Мы делали что хотели, читали все, что удавалось достать. Запрещалось находиться в той части двора, которая примыкала к помещению коменданта. Именно здесь мы стали собираться сотнями, чтобы показать коменданту наше беспокойство, наше возмущение бездеятельностью лагерных властей. Мы спорили, кричали, жестикулировали. Охрана вяло пыталась рассеять нас, мы не обращали на нее никакого внимания.

Мы решили пойти к коменданту, высказать ему наши серьезные опасения. Среди нас было несколько известных политических деятелей и некогда знаменитых адвокатов. Юристы и сейчас были готовы кому угодно доказать, что все чинимое над нами — незаконно. Они горячо убеждали нас, что на нашей стороне международное право, что мы можем требовать, чтобы нас удалили из опасной зоны, что Международный комитет Красного Креста должен защищать нас, и всякое такое в этом роде. Много разговоров было и о той конференции в Эвиане, и о международных соглашениях, касающихся политических эмигрантов.

И вот некоторые из нас, усевшись на кучи битого кирпича и трухлявых жердей, набросали петицию, образовали комитет и отшлифовали подготовленное и написанное. Делегации надлежало пойти к коменданту и вручить ему наши требования. Даже теперь, когда дело касалось жизни и смерти, среди нас нашлись тщеславные люди. Они горячились, оспаривали и требования, которые следовало предъявить лагерному начальству, и сам состав делегации. Были тут люди из Саарской области, из Австрии, из Чехии, были известные политические эмигранты, экспатрианты, женатые на француженках, обладатели виз на выезд за океан; все они хотели, и не без оснований, иметь своих представителей в этой делегации. Так кто и кого должен был представлять и что, собственно, следовало требовать?

Наконец пришли к согласию. Решили требовать, чтобы военные власти как можно быстрее удалили из района, который вот-вот захватят наступающие немцы, тех, для кого этот захват особенно опасен. Делегация должна состоять из десяти человек. Настаивали, чтобы возглавил ее я, так как только мое имя что-то говорило лагерному начальству. Я не считал себя особенно подходящим для этой роли, но отвести свою кандидатуру мне было трудно.

И, оставив остальных шуметь у окон комендатуры, мы, делегаты, направились к коменданту. Тот сказал, что примет только меня.

Я вошел в маленькую приемную. Там находились офицеры лагеря — восемь человек. Они сидели. Стула мне не предложили. Оборванный, в грязной обуви, чувствуя себя крайне неловко, я стоял в маленьком, жалком, скудно убранном помещении среди восьми молчащих господ в мундирах. «Что вам угодно?» — спросил комендант.

Ситуация мне очень не нравилась. Я считал не очень-то приличным, что французские господа, имеющие власть и сидящие здесь, не предложили мне сесть.

Снаружи мои товарищи, две-три тысячи человек, ждали результатов встречи с комендантом, надеялись на меня.

И мне пришла в голову недурная мысль. Я сказал: «Господин капитан, я представляю несколько тысяч человек по очень важному для нас вопросу. Боюсь, в настоящей ситуации мой французский язык недостаточно хорош. Я был бы вам признателен, если бы вы разрешили пригласить сюда одного из моих товарищей». «Пожалуйста, — сказал капитан. — Кого?» Я подумал и назвал господина С., пожилого, осторожного человека. Его позвали.

В ожидании прошло еще несколько минут. Несколько неприятных минут. Все молчали. Неловко стоял я перед комендантом возле маленького непримечательного письменного стола и, вероятно, выглядел не очень-то представительно.

Появился господин С. Капитан повторил: «Что вам угодно?» И тут заговорил я. Я сказал о той опасности, которая нависла над нами. Многих из нас нацисты ищут, преследуют, иные приговорены фашистскими судами к смертной казни, некоторых нацисты постоянно в газетах и по радио объявляют государственными преступниками. Если мы попадем в руки нацистов, то погибнем. Мы могли бы, пожалуй, спастись или нас можно было бы спасти, если бы мы не оказались вынужденными беспомощно сидеть здесь, в лагере, обреченные на бездеятельное ожидание. Я говорил обстоятельно, подчеркнув, что те, кто доставил нас в этот лагерь, обязаны и освободить нас отсюда.

Едва я кончил, начал говорить осторожный господин С. Он смягчил мое выступление, пояснив, что, само собой разумеется, мы понимаем: господам в генеральном штабе все известно, — и нисколько не сомневаемся, что меры к нашему спасению предпринимаются. И только чтобы рассеять столь понятное беспокойство наших товарищей, мы были бы крайне обязаны капитану, если бы он смог сообщить что-нибудь утешительное для передачи нашим товарищам.

«Что я, по-вашему, должен делать?» — спросил слегка раздраженно капитан. «Можно было бы, — сказал я, — вернуть нам наши документы и деньги, чтобы при чрезвычайных обстоятельствах, если они возникнут, каждый из нас имел возможность позаботиться о себе сам». «Тогда может случиться такое, — сказал капитан, — что половина лагеря разбежится. Если в этих местах станет бродить еще несколько тысяч людей, снабжение населения очень усложнится, возникнут трудности с транспортом. Могу заверить вас, есть указание, имеется директива, как поступить при чрезвычайных обстоятельствах. Скажите это своим товарищам и успокойте их».

Это было крайне неопределенное заверение. Едва ли оно сможет успокоить, если мы вернемся с ним. Мы стояли в нерешительности, подыскивая слова. Капитан сам заметил, что его заверения не стоят и выеденного яйца. «Даю вам слово офицера, — сказал он, — что меры для вашего спасения приняты. В нужное время вас вывезут. Но это не так просто, как вы себе, вероятно, представляете. Транспортные средства все до последнего вагона заняты. Железнодорожные пути забиты. И нам необходимо знать, сколько человек следует эвакуировать из лагеря. Нам надо проверить, кто здесь действительно в опасности, а кто нет. На это тоже потребуется время».

Мы ужаснулись. Новая проверка. Нет, мы не должны допустить ее. Таким образом проверками, знаменитыми *triage*, нас дурачили предостаточно. *Triage* привела нас в этот лагерь. Если французская бюрократическая машина желает нас сейчас проверять, можно считать — мы пропали. И хотя чуть ли не вся Франция уже захвачена нацистами, в высоких инстанциях до сих пор достаточного критерия лояльности нет. Я сказал: «Извините, господин капитан, нет ли простого способа установить, кто находится в опасности, а кто нет? Тот, кто не боится нацистов, наверняка не захочет подвергаться трудностям эвакуации, он предпочтет остаться в Ле-Миле и станет дожидаться их. Проведите среди нас опрос, господин капитан, и сразу станет ясно, кто хочет остаться, а кто — эвакуироваться».

Капитан задумался. Мои аргументы показались ему убедительными. «Я обдумую это», — пообещал он.

Было ясно, что наши слова произвели на капитана впечатление. Но результаты переговоров с комендантом разочаровали наших товарищей. О какой директиве на случай чрезвычайной угрозы говорил капитан? Наши солдаты охраны поговаривали, будто Лион уже захвачен нацистами, ведь они недавно находились

всего в тридцати милях от него. Не был ли это как раз тот случай чрезвычайной опасности? Беспокойство росло. Всюду собирались новые группы, всюду спорили, всюду составлялись и обсуждались самые фантастичные планы спасения, люди говорили речи. Был среди нас прекрасный оратор, адвокат и парламентарий одной из юго-западных земель Германии доктор Ф. Этот бородач лет сорока имел очень представительную внешность. Его доставили сюда с двумя сотнями людей из лагеря в центре Франции. От него исходили сияние и сила, он завоевал себе не только доверие своих двухсот товарищей по первому лагерю, но и доверие, даже дружбу молодого французского офицера, сопровождавшего к нам эти двести человек. Дошло до того, что офицер, увлеченный красноречием адвоката, поклялся при любых обстоятельствах спасти вверенных ему людей. Он достал удостоверения, свидетельствующие, что предъявитель документа отпущен из лагеря. Каждое удостоверение было подписано, снабжено печатью, оставалось вписать в него только имя владельца.

Доктор Ф. не был удовлетворен результатами нашей встречи с капитаном. Он собрал своих товарищей по прежнему лагерю, к ним присоединились и другие, и произнес великолепную речь. Подробностей я не знаю, знаю одно: это была действительно прекрасная, эффектная речь.

Я весьма скептически отношусь к ораторам и к речам, но это не мешает мне каждый раз увлекаться хорошей речью. Увлекаюсь я, правда, с оговоркой. Я точно знаю, что доверять оратору опасно, и поэтому для себя решил ни в коем случае не выносить о любой речи окончательное мнение, пока не прочту ее напечатанный текст.

Доктор Ф. заявил, что с лагерным начальством следует говорить по-другому, намного решительнее, необходимо угрожать ему. Лагерному начальству следует дать короткий срок, двадцать четыре часа, и заявить, что если оно за это время не эвакуирует нас, мы уйдем из лагеря сами. Если же французские солдаты будут стрелять в нас, чему он, адвокат Ф., не верит, лучше умереть от пули француза, чем подохнуть в застенках гестапо.

После сигнала отбоя и после того, как в помещениях был погашен свет, половина лагеря собралась в катакомбах. Люди делились своими тревогами, обменивались последними слухами. Среди нас оказались два офицера лагерной охраны. И хотя ночью было запрещено находиться в катакомбах, они не заставили нас вернуться к нашим соломенным подстилкам, напротив, говорили с нами, заверяли, что понимают наше тяжелое положение, пытались нас успокоить. Но чувствовалось, что им самим тоже не по себе.

Катакомбы гудели всю ночь, люди шептались, спорили. Вновь и вновь прорывалось озлобление на медлительность и легкомыслие французов. Власти все не могли понять, как мобильны нацисты, как быстро они действуют. Мы же знали, что уже к завтрашней ночи враг может оказаться здесь.

Один австриец-журналист с садистским, терзающим его самого и нас наслаждением рисовал нам картину прихода нацистов в лагерь. Немецкие и французские офицеры будут взаимно корректны и вежливы. Соблюдая все формальности, они произведут передачу лагеря из рук в руки. И на первых порах новые хозяева не выкажут своего отношения к нам. Они потребуют лишь списки, сделают переключку, проверят, все ли мы присутствуем. Даже на фамилиях, которые им так приятно будет услышать, например на моей, они при переключке не задержатся, разве что, прочитав ее, проверяющий едва заметно многообещающе улыбнется и назовет следующую...

Те, над кем нависла опасность, нисколько не сомневались: если нацисты захватят Ле-Миль, придется покончить с собой. Но как это сделать? Веревку достать трудно. Но и раздобыв ее, как ею воспользоваться? Где найти место, чтобы без помех наложить на себя руки? Уговаривали придворного австрийского парикмахера, контрабандиста, того, который мог достать все, раздобыть яд. Тот категорически отказался. «Другие,— сказал он,— пообещают, возьмут деньги и всучат какой-нибудь белый порошок. Но если потом вам потребуется им воспользоваться, обман обнаружится. Зубной порошок! Я человек порядочный, если помочь не могу — не обещаю».

Спать в эту ночь смогли немногие.

На следующее утро руководителям групп действительно поручили составить списки желающих перевестись в другой лагерь. Да, эти списки следовало передать в контору до двух часов дня. Поспешность была хорошим знаком и обнадежила нас. Но скоро выяснилось, что составление списков дело совсем не простое. Многие не могли решить, оставаться им или уезжать. Нет, не потому, что среди нас было много нацистов. Старые и больные считали, что не выдержат лишений, связанных с переездом, и, что бы ни случилось, предпочитали остаться: будь что будет. Были среди нас и бедолаги, никогда не интересовавшиеся политикой, поглощенные лишь заботами о жалком куске хлеба для себя и своей семьи. Они недоумевали, действительно ли нацисты будут настроены против них. Не навредят ли они сами себе? Не покажется ли нацистам такое поведение подозрительным — что их боятся? Не исключено, что тогда их родственников нацисты возьмут в заложники, конфискуют остатки имущества. Как им поступить? Не зная, что предпринять, они делились своими сомнениями друг с другом и со мной.

Мы же, те, для кого приход нацистов в Ле-Миль означал смерть, с надеждой ждали эвакуации. Ничего иного нам не оставалось. Бежать на свой страх и риск было бессмыслицей. Некоторые в последние ночи предпринимали такие попытки, далеко уйти им не удалось, французские жандармы перехватили их у моста через Ронну либо еще раньше. Итак, мы ждали.

А лагерники-нацисты продолжали наглеть, их оказалось больше, чем мы предполагали. Да, по мере того как гитлеровские войска приближались, число фашистов среди нас росло. Они зло посмеивались над французской охраной и во дворе приветствовали друг друга на фашистский манер. И то, что они почувствовали себя так уверенно, подтверждало — их покровители рядом. Эвакуируют ли нас своевременно и произойдет ли эвакуация вообще?

Скверные признаки все множились. Во дворах появилось много военного снаряжения, солдаты устанавливали дополнительные пулеметы, кроме солдат к лагерю прикомандировали жандармов, они маячили здесь и там, враждебные, не вступая с нами в разговоры. Неужели все эти меры предпринимаются для нашей защиты? Едва ли. Почти наверняка лагерное начальство готовится подавить возможные эксцессы, на которые могла нас толкнуть безнадежность положения. Наше недоверие и тревога возрастали. Мы снова попросили капитана принять нас. Нам пришлось некоторое время ждать. На этот раз нас было пятеро. Капитан заверил, что делает все возможное для нашего спасения. Генеральный штаб решил эвакуировать тех, кому грозит опасность. Следовательно, надо решить чисто технические вопросы, связанные с эвакуацией. Списки еще не утверждены. К сожалению, эвакуироваться хотят очень многие, больше, чем ожидала комендатура. Это затруднит необходимые приготовления.

Мы напряженно слушали его, наши лица большого доверия не выражали. Один из нас некстати спросил, нельзя ли, по крайней мере, получить наши документы и деньги. Такое проявление недоверия разозлило капитана, он ошетинился и резко возразил: этот вопрос он решит сам. И вообще, как нас спасти, решат французские власти. Никогда, высокомерно заявил он, Франция не нарушала законов гостеприимства.

Во время нашего разговора его вызвали к телефону: звонили из генерального штаба. Он пошел в соседнюю комнату, офицер хотел закрыть за ним дверь. Но капитан (этим гуманным жестом он искупил то, что подчас был несправедлив к нам) сказал: «Оставьте дверь открытой. Пусть господа слушают, о чем я говорю». Мы напряженно вслушивались в каждое слово. Разговор шел о том, доставлять ли нас в Марсель на грузовиках или подать железнодорожные вагоны непосредственно в Ле-Миль. Значит, это правда. Из Марселя действительно собирались послать сюда состав.

Этот разговор показался нам обнадеживающим. наших же товарищей, несколько часов назад спокойных, теперь не так-то просто было вывести из состояния депрессии. Они больше не верили в эвакуацию. Некоторые считали даже, что телефонный разговор, который капитан вел при нас, был лишь ловкой инсценировкой.

Получасом позже, когда я шел по двору, меня остановил капитан. Он дружески, как с хорошим знакомым, заговорил со мной. Теперь, сказал он, у него на руках почти все списки. Хотя эвакуироваться две тысячи, примерно вдвое боль-

шее число, чем то, которое предполагалось в Марселе. Он же полагает, что транспорт сможет отправиться завтра, в крайнем случае послезавтра. Пока же он предпримет все меры, чтобы успокоить людей. Очень многие прибыли сюда с документами, подтверждающими их лояльность к Франции. Если после эвакуации людей эти документы попадут в руки нацистов, это явится поводом для репрессий против остальных членов семьи. Документы будут возвращены их владельцам, и те вольны поступать с бумагами как сочтут нужным. Я же обязан сделать все, настоятельно просил он меня, чтобы успокоить людей. Своими бесконечными расспросами и делегациями они лишь отнимают у него драгоценное время, которое он с большей пользой смог бы употребить в наших же интересах.

Человечные, разумные соображения капитана сразу же сделались всем известны. Мы встали в очередь, чтобы получить бумаги, на которые вначале возлагали столько надежд. Документы, на составление которых в свое время было потрачено немало сил, мы порвали и сожгли...

Ночь, последовавшая за этим днем, для большинства была мучительна. Она и внешне отличалась от предыдущих. Из-за драки, которую вчера в темноте учинили нацисты, приказано было зажечь большее, чем ранее, число лампочек, кроме того, в помещении разместили пост французских солдат. На втором этаже в эту ночь больше, чем обычно, было приглушенных разговоров, страхов, возбуждения. Возникало чисто физическое чувство, что каждый лежащий на соломе прислушивается к шепоту окружающих, что во тьме причудливо множатся надежды и опасения дня и что каждый взвешивает свои собственные шансы: спасется ли он? повезет ли? захватят ли нас нацисты?

Я солгал бы, утверждая, что страх в эту ночь обошел меня стороной. И в то же время мое спокойствие, так поражавшее моих товарищей, ни в коей степени не было наигранным.

В начале книги я уже писал о моем фатализме. Остановлюсь здесь на этой черте моего характера, так как без учета веры, или суеверия, трудно понять мое поведение в ситуациях, о которых я намерен рассказать.

В большинстве случаев события, происходящие вокруг нас, обусловлены очень многими причинами, но видим мы одно или несколько звеньев цепочки, всю ее нам никогда не увидеть. Поэтому мы поступаем правильно, не пытаюсь установить истинную причину, а, напротив, как ни бунтует против этого наш высокомерный разум, предпочитаем основную роль во всей нашей жизни приписать случаю. Эйнштейн разочарованно признался, что для объяснения событий во вселенной наука не может предложить ничего лучшего, чем теорию игр. Но, с другой стороны, человеческий дух замечателен тем, что непременно требует объяснения этой необъяснимой игре: жизнь, судьба. Объяснение, что наша жизнь управляется случаем, то есть неизвестными нам законами, нас не устраивает. А поскольку мы не в состоянии дать объяснения, которые согласовывались бы с разумом, то ищем их по ту сторону разума — в суеверии, в мистике, в религии. Среди нас нет ни одного человека (как бы здравомыслящ он ни был), который, пусть даже подсознательно, не находился бы в плену тысяч суеверных представлений. И как раз в самые решающие моменты жизни нами управляет не разум, а таинственные представления, унаследованные от наших пращуров.

Иногда я люблю копаться в себе, открывать потаенные представления, способные определять мои действия. Затем я пытаюсь застигнуть это потаенное врасплох, когда оно устремляется к порогу сознания. Своего суеверия я не стыжусь. признаю его и не считаю из-за этого себя глупее тех, кто начисто его отвергает.

Итак, хорошо понимая, что это бессмыслица, и сам подсмеиваясь над собой, я все же думаю, что уловил линию, тайный закон, которому следует моя жизнь. Вот он: хотя в повседневной жизни я непрерывно сталкиваюсь с тысячами неприятностей, постоянно ощущаю их уколы, они, эти мелкие неприятности, лишь дань судьбе, зато в больших, определяющих делах мне выпадала удача.

Да, всю жизнь со мной случались и случаются мелкие, подчас вздорные, неприятности. Так, мне, человеку, любящему порядок и организованность, приходится уже длительное время жить без документов, удостоверяющих мою личность, именно мне, который особенно боится подобных вещей, приходится посто-

янно воевать с властями из-за различных удостоверений, пропусков, разрешений. Нечто сходное происходит и с моими денежными делами. За последние два десятка лет я заработал литературным трудом достаточно, чтобы жить так, как мне хочется, но куда бы ни поступили мои деньги, на них либо тотчас же накладывается арест, либо их конфискуют. Этому же закону подвержено и мое здоровье. Я физически вынослив и хорошо противостоя тяжелым болезням, хотя страдаю простудами и выгляжу, как правило, неважно, у меня плохая дициция, мне стоит больших усилий говорить разборчиво, пищеварение также не на должном уровне и весьма часто в решающие моменты меня подводит... Я написал книги, которые хотел написать, и работа над ними, как подчас ни клял ее, доставляла мне такое удовольствие, которое я ни на что на свете никогда не променял бы. Все эти обстоятельства позволяют мне думать, что определяющая линия моей судьбы именно такова, как я сказал о ней раньше: я счастлив в основном, определяющем жизнь, а в малосущественном мне не везет.

Я должен написать еще несколько книг. Точнее, из книг, которые занимают мои мысли и которые грезятся мне, я выбрал несколько, те, что должен написать, написать во что бы то ни стало. И я просто представить себе не могу, чтобы что-то могло всерьез помешать этому или что я умру прежде, чем напишу эти четырнадцать книг. Бог или судьба этого не допустят.

Ощущение, что ничего серьезного со мной не случится, возможно, и является первопричиной моего хладнокровия, которое так удивляет окружающих; и если в ту скверную ночь я мучился от страха меньше других, то только потому, что эта мысль меня поддерживала.

Я говорил уже, что чувства уверенности мне на всю ночь не хватило. Я прекрасно помню ее, эту ночь, помню многие подробности. Я лежал на соломе, прислушивался к ночным звукам, чувствовал близость других, думал о многом. Мой чуткий разум предостерегал меня от легкомыслия, я обстоятельно сопоставлял все известные мне факты, которые могли породить еще больший страх. Нацисты действительно были чертовски близко от лагеря. И даже если составы подадут и нас эвакуируют, это спасение на считанные дни. Ведь в их руках окажется вся Франция. А где будем мы к этому времени? Очутимся ли уже по ту сторону границы? Подобное казалось совершенно невероятным.

Чтобы подбодрить себя, я снова стал думать о тех четырнадцати книгах, которые хотел написать и которые еще напишу. Но эта обнадеживающая мысль оказалась битой другой, тоже проникнутой духом суеверия. Некоторые немецкие мистики в свое время определили, что для представителей немецкого искусства девятка — это роковое число. Бетховен, Брамс<sup>1</sup>, Малер — каждый из них написал девять симфоний, Вагнер — девять выдержавших испытание временем опер, Шиллер, Геббель, Грильпарцер — по девять драм, переживших своего автора. Весьма умные люди подсчитали: из произведений Гёте только девять — настоящие и надолго переживут его, а также то, что скончался он не от старости, а потому прежде всего, что завершил «Фауста». И, вероятно, третья часть моей трилогии «Иосиф» — это как раз то произведение, которое, как я думаю, переживет меня. А это моя девятая книга. И я испугался.

Вот такие мрачные и одновременно гротескные мысли о моей смерти периодически сменялись в усталом мозгу. Я стал подводить итоги. Пытался определить, чего я в своей жизни достиг, а в чем мне было отказано. Удалась ли моя жизнь? Мудро я поступал или глупо, была ли моя жизнь счастливой или несчастной? Что в ней действительно стоящего?

Я пришел к выводу, что мои пятьдесят пять лет были, по существу, хорошими, полноценными, плодотворными годами. От плохого, что принесли эти годы, мне тоже отречься не следует: дурное и хорошее в равной степени обогатили меня. Не будь дурного в качестве фона, я в полной мере не сумел бы оценить и хорошее. С настойчивостью педанта я пытался понять, насколько правильны были планы, исполнением которых я заполнил свою жизнь, может, следовало писать не те книги, что я написал, а другие, и не потратил ли я впустую время на женщин и другие удовольствия...

Итоги меня удовлетворили. Получалось, что в основном в моей жизни все

<sup>1</sup> Брамс написал четыре симфонии.

было полно смысла, даже нелепости. Я думал о некоторых, казалось бы, совершенно безрассудных своих поступках и радовался этим воспоминаниям, посмеивался, лежа на соломе.

Наступил день. Ворота распахнулись. Напряжение возросло: что с транспортом? пришел ли обещанный состав?

Из одной точки лагерного двора можно было увидеть железнодорожный откос с отрезком полотна. Дальновзорким казалось, что на путях стоят вагоны. Вагоны действительно стояли. Но, как объяснили постовые, их было немного и предназначались они не для нас.

Мы потеряли надежду. Затем нам сообщили, что эвакуация по техническим причинам будет производиться группами, и двадцати пяти группам (№ 26—50) людей, эвакуируемых по спискам, предлагалось к двум часам дня собраться со своим багажом в западной части двора.

И вот четыре сотни эвакуируемых, входящие в состав групп с двадцать шестой по пятидесятую, счастливо возбужденные, собрались к двум часам во дворе. Они стояли и ждали, а мы, остальные, ждали вместе с ними, волнуясь почти так же, как они.

Прошло десять минут, четверть часа, полчаса и еще полчаса. Потом людей распустили. Состав сегодня не пришел.

Разочарование, глубочайшая депрессия. Иные были возбуждены до полуобморочного состояния. Нас считают идиотами. Нас заставляют сидеть здесь до прихода гитлеровцев. Если и делают что-нибудь, то только для того, чтобы удержаться от побегов. Нас хотят выдать нацистам, чтобы выслужиться перед ними.

Я хотел остаться один, несколько минут мне нужно было побыть наедине. В одном из уголков лагеря имелось складское помещение, в нем было темно, стоял спертый, затхлый воздух. Может быть, там можно посидеть на каменном полу, прикрыть глаза, подремать?

Возле этого строения на каменной платформе стояли несколько человек. «Пожалуйста, подойдите к нам,— позвал меня один из них.— Подбодрите нас, мы подавлены. Вы же — оптимист». «Да,— сказал второй, писатель Вальтер Газенклевер,— да, дорогой Фейхтвангер, нам сегодня нужно мужество. Как вы оцениваете наши шансы на успех?» Мы стояли на солнце, веял не очень сильный и не очень слабый ветерок, в июне в этих местах всегда прекрасная погода. Но за последние дни я так часто подбадривал малодушных, мне требовалось так много сил, чтобы не только самому держаться, но еще и вселять надежду в других; в глазах еще стояли те счастливицы, ожидавшие перемены своей участи и внезапно потерявшие надежду на это. Я был совершенно убит. «Каковы шансы? — переспросил я.— Пять из ста». И мой голос, вероятно, выдал, в сколь усталом, опустошенном и безрадостном состоянии я пребывал.

Мне не следовало так говорить, не следовало говорить «пять из ста». Я и не думал так, эта оценка не соответствовала ни объективной обстановке, ни моему личному мнению. Я считался здесь оптимистом, и если вместо того, чтобы подбадривать других, я высказался так пессимистически, то это было преступным легкомыслием. Мне следовало учитывать, какое впечатление произведет на других мой ответ. «В самом деле только пять? — спросил задумчиво Газенклевер.— Боюсь, вы правы», — сам же ответил он на свой вопрос.

Затем стали говорить, как покончить с собой, если нацисты действительно неожиданно нагрянут. Газенклевер предложил новый способ. Следует, сказал он, дать какому-нибудь охраннику-гитлеровцу все свои наличные и сказать: «Сейчас я, приятель, попытаюсь бежать, целься как следует».

Наступил полдень. По целому ряду признаков чувствовалось, что транспорт нам все же предоставят, и, следовательно, подавленность наша безосновательна. Сначала нам раздали почту, хотя обычно по этим дням ее не было. Не очень-то богатая почта, лишь немногие узнали о судьбе своих близких (судя по этим сообщениям, почти у всех жены находились в большом лагере Гурс в Пиренеях). Потом от занятых на кухне лагерников стало известно, что получено много консервов, сыра, хлеба и других продуктов, очевидно, для эвакуируемых. Нам сообщили далее, что желающие могут получить свои деньги, которые при интернировании остались в комендатуре. В последний раз у маленького окошка вытянулась нескончаемая очередь за деньгами.



И напоследок произошло самое главное. Объявлением, прикрепленным к главным воротам нашего помещения, комендант уведомлял нас, что завтра, 22 июня, в одиннадцать часов дня к станции Ле-Миль подадут эшелон. И мы стояли и читали это объявление. Оно было напечатано на машинке, и величественная подпись коменданта «Горюшон», исполненная синими чернилами, закругленным орнаментальным почерком, вселяла в нас потерянную надежду.

Объявили приказ коменданта: 22 июня подъем в три утра, в пять быть готовыми к отъезду, багаж ограничить самым необходимым.

Начались приготовления. Многие взяли в лагерь последнее, что у них уцелело. Что брать с собой, что бросить здесь? Люди отбирали вещи, упаковывали, увязывали узлы, передумывали, вновь развязывали, опять откладывали, паковали заново. Что самое необходимое? Пожитки проверялись вновь и вновь. Одни дарили остающимся то, что им предстояло бросить, другие — продавали.

Многие приходили ко мне и досаждали вопросами. Были среди них и те, кто еще и сейчас не решил — ехать или оставаться. Были и такие, которые сомневались, возьмут ли их с собой. Мест было мало, это-то мы все знали. Если на всех мест не хватит, не станут ли власти производить отбор? И не оставят ли их тогда? Бедняги, они обращались ко мне. Достаточно ли, что они в списках? Наверняка ли всех, кто включен в списки, возьмут? Не имея доступа к коменданту, они просили меня пойти к нему и объяснить, сколь опасно для них оставаться здесь. Пятьдесят, сто раз мне приходилось давать одни и те же успокаивающие заверения.

И в эту ночь большинство из нас скверно спали. Глухие сомнения точили самых уверенных, слабая надежда теплилась у самых безнадежных маловеров.

В эту короткую ночь Ле-Миля я спал хорошо, и когда прозвучал сигнал «подъем!», пробудился от глубокого сна. Все были возбуждены. Деятельная жизнь кипела кругом. Проведена была последняя проверка вещей, которые следовало взять с собой. Каждый приготовил свой багаж, каждый собирался в дорогу.

За ночь между теми, кто должен был уезжать, и теми, кому предстояло остаться, возникли напряженные отношения. Люди так долго находились вместе, варились в одном котле, питались одними и теми же надеждами и страхами, одни и те же условия объединяли их; теперь их дороги расходились, возможно, навсегда. Для многих было неприятной неожиданностью, что остаются те, кого они считали своими ближайшими друзьями, от которых определенно ожидали, что они вместе покинут лагерь. Да, удивительное двойственное чувство разделяло остающихся и тех, кто собирался уезжать. Было три часа утра. Сигнал подъема относился лишь к отъезжающим, остальные могли продолжать спать. Но они тоже встали, они путались среди нас, пытались быть нам чем-нибудь полезными; помогали укладываться, тащили наши вещи по узкой ветхой лестнице, от чистого сердца делали нам подарки. Они хорошо знали: тем, кто уезжал, казалось, что остающимся нечего опасаться нацистов и, следовательно, те являлись «предателями». На самом же деле среди остающихся симпатизирующих нацистам было мало. Те, что оставались, поступали так, ибо чувствовали себя слишком старыми и физически не способными выдержать трудности пути, или же это были те несчастные, которые запутались во всех «за» и «против» и наконец, махнув рукой на все сомнения, решили, что, оставшись, получат больше шансов спасти свою жизнь и жизни своих родственников. Их угнетало, что мы не одобряем их решения. Они старались показать нам и самим себе, что иначе поступить не могут, и когда, соглашаясь, мы говорили «ладно», это не утешало их и они снова упрямо убеждали нас в своей правоте, повторяя прежние аргументы. Вновь и вновь оказывали нам мелкие услуги, демонстрируя, что преданы именно нам, а не тем, другим. Но и это не помогало. Большинство из нас смотрели на них со смешанным чувством легкого презрения и сострадания. Мы были убеждены, что бедняги сделали ошибочный выбор и с приходом нацистов горько пожалеют об этом.

...Ко мне подошел очень взволнованный молодой врач-австриец, спавший рядом с Газенклевером. «Пойдемте, — сказал он, — пойдемте скорее, я боюсь, что-то случилось. Мне не поднять Газенклевера. Он не просыпается».

Мы поспешили в помещение. Возле Газенклевера уже собралось несколько человек, в их числе два врача — среди интернированных было много врачей.

«Он, наверно, принял снотворное, — пояснили они. — Ему нужно немедленно промыть желудок». Мы стояли вокруг неподвижно лежащего человека. В Газенклевере всегда ощущалась какая-то активность, порывистость, его умное, живое, язвительное лицо в последние годы постоянно нервно подергивалось, я с большим трудом мог представить себе его спящим. И вот он лежал неподвижный, как камень, и его невозможно было разбудить.

Вчера вечером, прежде чем в помещении погасили свет, он проходил мимо меня, когда я беседовал со своим соседом-механиком. «Можно поговорить с вами, Фейхтвангер?» — спросил меня Газенклевер. «Конечно, — ответил я, — через несколько минут освобожусь». (Мне не хотелось прерывать разговор с механиком.) «Нет, нет, — возразил он, — не беспокойтесь, это пустяк. Спокойной ночи». Подавленный, вспомнил я сейчас наш вчерашний разговор в солнечный полдень возле складского строения. «Пять шансов из ста», — сказал я тогда. «Действительно только пять?» — спросил Газенклевер. И вот теперь он лежал, и его невозможно было разбудить. Потерял ли он веру в нашу эвакуацию? Или просто больше не хотел бороться с бесконечными отвратительными трудностями этого жалкого, унижительного существования?

Достали носилки, Газенклевера понесли в барак-лазарет, чтобы там промыть ему желудок. Носильщики с трудом добрались до деревянной лестницы, забитой людьми, спешащими во двор со своим скарбом. Один из отнесенных, провожая взглядом печальную процессию, с ожесточением бросил: «Дали бы ему спокойно сдохнуть». Но поступить так значило бы войти в противоречие с законами гуманности и французского гостеприимства.

Я пошел к Газенклеверу в барак-лазарет, размещавшийся в жалком каменном строении. Больные лежали на ветхих походных кроватях, стояла ужасная вонь. Там в каком-то подобии выгородки лежал умирающий Газенклевер. Лицо его было ярко-красным, шея распухла, большой синий язык вывалился наружу, мне сказали, что это как-то связано с промыванием желудка. От Газенклевера исходил тяжелый запах. Возле него были два врача — немец и француз. Врачи считали, что Газенклевер потерял сознание: он ничего не чувствует, ничего не слышит. Француз полагал — надежда еще есть, немец — что скоро все кончится.

Я пошел к коменданту. Он нетерпеливо выслушал меня, у него было много других забот. «Да, да, — произнес он, — я уже знаю, этот писатель». Я сказал: «Мы не можем оставить его здесь. Не можем допустить, чтобы он попал в руки нацистов. Нам надо взять его с собой». Комендант ответил: «Это решать не вам и не мне, транспортабелен ли он, скажет врач».

Я вернулся к своей группе. За это время произошло нечто значительное. Состав прибыл. Он вдруг оказался здесь, можно было его видеть. С того самого места, с которого мы вчера видели смутные очертания нескольких вагонов, сегодня мы также отчетливо видели длинную цепочку вагонов. На этот раз — вагонов нашего эшелона. Люди из охраны уже побывали там, говорили с солдатами, сопровождавшими этот состав, с нашей новой охраной. Мы все напряженно вглядывались вдаль, пытаясь разглядеть вагоны. Да, это был состав, так давно ожидаемый нами.

...Я снова пошел в барак-лазарет и спросил врача-француза, транспортабелен ли Газенклевер. Тот сказал, что военный врач, который должен дать окончательный ответ, еще не пришел. Он же считает, что больной нетранспортабелен.

Я опять пошел к коменданту. «Врач полагает, — сказал я подавленно, — его нельзя везти». «Я же говорил вам это», — ответил комендант, похлопав хлыстом по голенищу. «Что же делать, господин капитан? — спросил я. — Оставить его здесь мы не можем». «Что вы, собственно, от нас хотите? — спросил комендант. — Даю вам слово французского офицера: в руки нацистов он не попадет. Если ничего иного сделать не удастся, сунем ему в карман документы умершего французского солдата».

Затем около десяти часов началось движение к эшелону. Была дана команда «вперед!», и первая группа двинулась. Нас вели группами примерно по двести человек к станции, расположенной неподалеку. Раньше с этой станции отправляли кирпич.

Вдруг я увидел наш состав. Это был длинный состав, то, что он был длинный, я понял, пока тащил свою поклажу вдоль вагонов. Сначала следовали пассажирские вагоны, их было немного, древние, давно уже списанные. Затем — товарные вагоны: первый, второй, десятый, двадцатый... Я сбился со счета. На них надписи: «Восемь лошадей или сорок человек». Они выглядели чудовищно разбитыми. И все же это был поезд, он стоял на рельсах, рельсы уходили далеко из области, захваченной нацистскими войсками, вели в безопасность.

Вагон ужасно высок, лесенки нет. Но некоторые наиболее ловкие взобрались в вагон, каждый помогал другому, подняли и кинули в вагон поклажу. Сильные руки протянулись оттуда и ко мне, крепкие плечи поддерживали меня сзади, снизу, и вот я уже в вагоне.

Четыре стены и более ничего. Два люка — один в углу у правой стенки вагона, другой — по диагонали — у левой. Светло в вагоне не было. Но солнце светило в широкую раздвижную дверь, и все вместе не выглядело так уж ужасающе неприятно. В вагоне, который был потрепан, пуст, но вместителен, нас собралось человек тридцать. Итак, мы были в нашем поезде, через полчаса, через час состав тронется и вывезет нас из опасной зоны, из района, который вот-вот займет враг. Горькой каплей к нашей радости примешивалась мысль о Газенклевере.

Вагоны заполнялись. Мы с тревогой следили за тем, как они заполнялись. Сколько нас было в нашем вагоне? Тридцать пять человек. Солдаты охраны тоже наверняка поедут с нами. Предположим, что нас будет сорок два.

Уже сержанты кричат снаружи: «Сколько вас?» «Сорок пять», — ответили мы и предосторожности ради задвинули дверь. Так мы лишились солнца, и наш вагон внезапно стал темной клеткой. «Сколько вас?» — снова закричали снаружи и приказали открыть дверь; в вагон влез сержант и пересчитал нас. «Еще десятых сюда», — распорядился он. Мы отчаянно запротестовали. Напрасно! Десять человек уже карабкались в вагон. Они были крайне растеряны. Мы противились, мы соглашались принять лишь семерых или восьмерых, мы защищались, уверяли, что больше просто не поместить. «В этом вагоне слишком много багажа, — заявил сердитый потный офицер. — Выбросить багаж», — приказал он. Все запротестовали. Действительно, при нас оставалось только самое необходимое. У многих это было последнее имущество. Они взяли с собой то, чем владели: два костюма, две пары ботинок. Но ничего не помогло, им пришлось расстаться со своим добром. «Выбросить багаж! — кричал офицер. — Ради этого дерьма вы оставите своих товарищей здесь подыхать?»

Под вопли, стоны, крики, ругань багаж стали выбрасывать. Из-за каждого места поднимался спор, выбрасывать его или оставлять. И вот наконец мы стояли, тесно прижавшись друг к другу, а все еще некоторые из тех, кто не мог попасть в вагоны, бродили вдоль состава. Затем свои места в вагоне заняли два солдата-алжирца, арабы в тюрбанах, наша охрана. А возле состава продолжали бродить люди, в дверях вагона повис офицер, влезть внутрь он не мог. «Еще трех сюда», — приказал он. «Но им не втиснуться!» — закричали мы в отчаянии. «Втиснутся», — ответил он, и действительно еще одного удалось втиснуть.

Мы стояли мрачные, тесно прижавшись друг к другу. О том, чтобы сесть, и речи быть не могло. Алжирская охрана относилась к нам дружелюбно. Один солдат был пожилым бородачом, другой — красивым парнем лет тридцати, с выразительными бараньими глазами. По-французски они говорили плохо, но двое из нас знали арабский. Мы угостили их сигаретами, нашли с ними общий язык.

Удивительно, как быстро приспосабливается человек к любой, даже самой неприятной ситуации и как он извлекает все наиболее благоприятное для себя из положения, в котором оказался. Оставшийся багаж мы уложили так, что он занял совсем мало места. Мы успокоились. Ведь это был наш вагон. Тесный, ужасный, но он вывезет нас на свободу.

И тогда — мы вздохнули с облегчением — состав тронулся. Алжирская охрана в нарушение предписания разрешила вновь открыть большую раздвижную дверь. Несколько счастливых сели в широком проеме, свесив ноги вниз. Меня оттеснили от двери, но, встав на цыпочки, я мог поглядывать в нее. Состав прогрохотал вдоль лагеря, вдоль двора кирпичного завода, я мог увидеть оставшихся в нем людей. Возле опущенного шлагбаума стояли несколько солдат, два

офицера, комендант. Правой рукой в перчатке он приветствовал состав, гордый, что организовал транспорт. Возможно, он радовался и тому, что избавился от нас.

Непрерывно насканивая друг на друга, вагоны громыхали и громыхали. Из искусно сложенной пирамиды пожитков вывалился один чемодан, потом какой-то узел, наконец рассыпалось все сооружение. И тем не менее мы (во всяком случае в первые полчаса нашего движения) чувствовали себя счастливыми. Мы вырвались из Ле-Миля, нас теперь уже не кинешь со связанными руками под ноги убийцам.

Поезд тащился страшно медленно, останавливаясь каждую минуту. Наконец-то, наконец-то мы добрались до Арля, вот и мост через Рону.

...Это был длинный мост. Мы из вагонов глядели на него. Мост готовили к взрыву.

Итак, теперь мы были на другом берегу Роны. И по крайней мере еще несколько дней мы в безопасности. Но это чувство безопасности не дало нам того глубокого удовлетворения, какого мы от него ожидали. Слишком долгим был процесс освобождения от страха, и освобождение это совершалось крайне медленно. А тут вскоре наступила ночь, с ней пришли трудности, развеявшие остатки всех наших радостных ощущений.

С наступлением ночи алжирская охрана не решилась в нарушение предписания держать дверь вагона открытой. Дверь нашей клетки захлопнули.

О том, чтобы лечь, нечего было и думать. Но и чтобы просто посидеть, места не хватало. Молодой организатор с лицом мальчика нашел решение. Он разбил нас на две группы. Каждая группа по очереди могла сидеть два часа спать, затем должна была уступить место следующей. Он спокойно распределил нас по группам, никаких споров это не вызвало.

Два алжирских солдата улеглись у двери. Люди первой двадчатки как могли уселись вдоль стен. Многие сидели на корточках. Им, конечно, было крайне неудобно, но все же лучше, чем стоящим.

Мы — остальные — стояли. В вагоне было темно, холодно и воняло. Поезд грохотал. Нас вместе с вагоном бросало из стороны в сторону. Мы закрывали глаза, зевали, но спать стоя не могли. Какое это мучение — без сна, смертельно усталым длительное время стоять в темноте. Переступаешь с ноги на ногу, делаешь какое-то движение, мешающее соседу, прислоняешься к стоящему впереди тебя, к тому, кто сзади, он прислоняется к тебе. Падает какой-нибудь узел, кто-нибудь из стоящих наступает на ногу спящему. Шум непрерывно действует на нервы, тихая, потом громкая ругань, проклятия, стон, храп.

Начался дождь, становилось холоднее. Обшивка вагона имела щели, пол, особенно возле стенок вагона, стал мокрым. Мы, те, кто стоял, тесно прижавшись друг к другу, покачивались в такт движению поезда. Все чаще и чаще слышались проклятия тех, кому кто-то наступил на ногу, кого кто-то толкнул в темноте. Во тьме слегка раздраженные голоса просили и умоляли чуть-чуть подвигнуться.

Но наступило утро. Серый, туманный день проник сквозь щели, сквозь люки и осветил все убожество этого скопления людей. Но простой факт, что стало светло, уменьшил ночные страхи. Да, несмотря на полное изнурение, несмотря на все страдания, мы в основном чувствовали себя неплохо. Как относительно понятия уюта и жалкой, нищей неустроенности.

Мы были совсем близко от Байонны. До нас уже доносился запах моря, мы дышали воздухом Атлантики и наконец увидели мачты и корабли.

Поезд затормозил перед станцией. Шоссе шло вдоль железнодорожных путей, вдоль нашего состава, отделенное от него неширокой низкой полосой земли. Я не мог оторвать глаз, мыслей от этого шоссе, от движущейся по нему непрерывным потоком беспорядочной процессии. Здесь были загруженные, перегруженные, навьюченные, битком набитые транспортные средства самых различных видов начиная со старинных ручных тележек до новейших лимузинов; на крышах автомобилей лежали матрацы, вероятно, для защиты от авиации, и в этом потоке машин брели лошади, мулы, ехали велосипедисты, шли пешеходы — все, кто стремился пробиться к испанской границе.

...Ко мне приблизился наш организатор, спокойный человек с юношеским лицом. Он сказал. «Нам необходимо вместе пройти к коменданту поезда. Говорят, здесь через два-три часа будут гитлеровские войска».

Я уставился на него. Как это гитлеровцы вдруг окажутся в Байонне? Может, наш руководитель поддался гипнозу нелепых слухов, курсировавших по стране? Но он был серьезным человеком, не подверженным истерии. И газеты все время писали, что немцы не будут пересекать долину Роны, более вероятно, что они двинутся прямо на Бордо. «Идемте», — настаивал он.

Мы торопливо последовали вдоль состава к вагону капитана. Кончится ли когда-нибудь этот состав? Но вот мы у цели. Здесь уже были некоторые из нас. Комендант стоял на подножке вагона. Люди со страхом и волнением на лицах взирали на него снизу вверх. Увидев нас, он сказал: «Послушайте, мосье, скажите своим товарищам, нам надо возвращаться. Через два часа немцы будут в Байонне. Постарайтесь предотвратить панику». Легко сказать! Сам я был спокоен. Но люди возле вагона возбужденно заговорили, слышались жалобы, стоны. Значит, произошло именно то, чего мы боялись. Французы, как всегда, прощляпили. Мы поздно прибыли сюда. Об этом мы говорили еще в лагере. Но возмущением и обвинениями делу не поможешь. Что же предпринять? Испанская граница была совсем близко. Не разумнее ли было бы просто влиться в поток беженцев и попытаться перейти испанскую границу? Выдвигались сотни соображений, сотни опрометчивых решений. Идти к американскому консулу, получить там совет, спасение, помощь. Остаться в поезде — безрассудство. Пробыть самим, не дожидаясь помощи французов. Французы вновь показали свою несостоятельность. Полагаться на них и далее было бы глупостью.

Глупыми были и предлагаемые сейчас планы спасения. Об этом говорил здравый смысл, и позже, когда появилась возможность спокойно обдумать создавшееся положение, это подтвердилось. Правда, Испания в эти дни еще держала свою границу открытой, однако переходящим границу следовало предъявить документы, паспорт, удостоверение личности, и пограничники пропускали только французов. Что же касается американского консульства, то в Байонне его вообще не было.

Возник большой соблазн покинуть этот злосчастный поезд. Но что мы выигрывали, сделав это? Два-три дня мы без него еще продержимся. А если нацисты будут нас преследовать, искать, что тогда? Они могут искать и найдут нас, если захотят, это не французы.

Да и от французов, от коренного населения страны, если мы будем бродить без документов, ничего хорошего ждать не следовало. Говорить по-французски настолько безукоризненно, чтобы французы сочли нас французами, могли лишь немногие. Не исключено, что население примет нас за отставших от своих частей нацистов, за врагов. Конечно, нам следовало иметь надежные документы. Уж французам-то мы должны иметь возможность доказать, что мы — противники нацистов и вправе рассчитывать на их защиту.

Мы вернулись к вагону капитана «Многие из нас, — заявили мы, — хотят попытаться на свой страх и риск выбраться из опасной зоны». «Пожалуйста, — холодно ответил капитан. — Кто хочет спастись сам, может это сделать. Но я не советую. У вас мало надежды в одиночку, пешком выбраться из района, занятого гитлеровскими войсками. У меня же, у человека, возглавляющего поезд, есть пока право просить военные власти о помощи. Наша задача — доставить вас в район, свободный от немцев, если будет заключено перемирие».

Он говорил очень спокойно, все еще продолжая стоять на подножке вагона, и производил впечатление человека, внушающего доверие. «Верните нам по крайней мере документы». — попросили мы. «На это у меня нет права, — заявил он. — Впрочем, — добавил он, и в его словах была логика, — за то малое время, которым я располагаю, у меня нет и технических возможностей, чтобы раздать бумаги. Тому, кто пожелает покинуть поезд, придется отправиться без документов». Мы настаивали, угрожали ему, просили, умоляли. Он стоял на подножке своего вагона. «Успокойтесь, — убеждал он нас. — Поверьте, у меня действительно есть более важная работа в ваших же собственных интересах». Но мы не отставали, мы умоляли и угрожали. Наконец он потерял терпение. «Нет, нет!» — крикнул он и скрылся в вагоне.

Поезд стоял и стоял. Отошли один за другим, может быть, десять поездов, до отказа забитых военными и штатскими. Наш состав продолжал стоять. Некоторые из нас ушли из эшелона, все больше людей уходили без документов, многие — без денег, на счастье или несчастье. Лил дождь, время близилось к полудню, мир казался серым, безнадежным.

Наконец наш поезд тронулся. Но шел он медленно и уже через каких-нибудь полчаса вновь остановился.

Теперь уже многие потеряли надежду спастись. Наступил вечер, было холодно, шел проливной дождь. Но люди не желали больше оставаться в нашем поезде смертников. Сотнями уходили они в дождливый, безнадежный вечер. Среди ушедших из вагона оказались и старики, люди, для которых долгий путь был очень труден. Тяжело, безрадостно было смотреть на этих людей, бредущих в лохмотьях по сырому лугу, под проливным дождем, без багажа, без одежды, без денег, без документов — в неизвестность, завтра, а может и нынешней ночью, они могут попасть к злейшим врагам.

Многих своих знакомых я видел в последний раз именно тогда, когда они брели по сырому лугу, исчезая в быстро сгущающихся сумерках. Среди тех, кто ушел, были художник из Санари и его сын, и уравновешенный человек с лицом мальчика, старший по нашему вагону, был среди них и биолог, мой сосед по спальному месту, так мужественно переносивший астму в Ле-Миле. Их и некоторых других я видел в последний раз под Байонной и с тех пор никогда о них больше ничего не слышал.

А потом стемнело, наступила ночь; лил дождь, и влажный холод пронизывал до костей. Мы смертельно устали, были изнурены от пережитых нами событий минувшего дня, испытывали страх, что вот-вот поезд захватят моторизованные отряды гитлеровцев. Отчаянное положение, в какое мы попали, страх, истощение делали нас легковозбудимыми, злыми. Все боялись друг друга, каждый с кем-то спорил, никогда в жизни не слышал я столько похабной брани, как в эту ночь, а на австрийском диалекте, тягучем, широком, гармоничном, ругань звучала особенно вульгарно.

И больные стонали, и здоровые ругались, и были и такие, которые храпели во сне, и вагон ночью полон был страхов, и в нем ужасно воняло. Мы стояли, и нас покачивало, некоторые всхлипывали, думая только об одном: чтобы скорее наступило утро. И при каждой остановке поезда мы с ужасом в сердце думали: вот они, немцы.

Раз поезд остановился в туннеле. Было темно хоть глаз выколи, и состав стоял долго. Но никто из нас не ругался, никто не скулил, никто не шевельнулся, даже больные. Царила мертвая тишина, слышно было только, как бьются наши сердца. Над нами проходила моторизованная немецкая колонна.

*(Окончание следует)*

---

---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. РОДНЯНСКАЯ



## НЕЗНАКОМЫЕ ЗНАКОМЦЫ

*К спорам о героях Владимира Маканина*

**В**ладимир Маканин своими сочинениями (более дюжины книг) вовлек нашу критику в на редкость существенный спор: о реализме с его границами и традиционными опорами и — шире — о человеке, о современной морфологии его души.

Но начну не с человека, а с земли, которую «обнажают» и «раздевают» во взрывном геологическом поиске Некто, профессионально в этом участвующий «не мог видеть, как взлетает елка — небольшая, молоденькая, подброшенная взрывной волной, она взлетала вместе с большим куском земли, увязшим в ее корнях казалась, она летит к богу в гости на небольшом зеленом коврикe даже и с густой зеленой травой в придачу. Однако в тряском полете земля с травой все более ссыпались, и вот уже елочка летела с голыми корнями, и, как бы не желая в верхах предстать такой, она развернулась и быстро, как оперенная стрела, помчалась острием вниз. Павел Алексеевич не отворачивался, пока она, бедная, не вонзилась» (рассказ «Гражданин убегающий»).

До одной ли тут, впрочем, елочки когда и так ясно, что «первые шеренги урбанистической цивилизации, добравшиеся до этой глуши» (пользуясь фразой А. Кима), пустят часть покоряемой природы враспыл? Публицистически здраво выясняя, когда, при каких методах и обстоятельствах потери становятся непозволительно велики, оперировать следует картинками в масштабах самой действительности, а не одним пропащим деревцем. Но здесь эта елка с заголившимися корнями и обломанной в штопоре свежей вершинкой врезается в память как малая, исчезающе малая живая жертва, по поводу которой хочется спро-

снить: оправданна ли она и чем? О Маканине часто полагают, что он фиксирует состояния жизни. А он ставит вопрос о целях, и в свете его «зачем?» всевозможные «как?» и «каким образом?» подчас приобретают непривычный вид.

1

О Маканине — чемпионе журнальных рубрик «Два мнения» и «С разных точек зрения» можно бы составить изрядную критическую антологию. Перелистывая ее, поначалу видишь дело таким образом, как в общих чертах описала Н. Иванова: «В начале пятидесятых, сразу после опубликования «Районных будней» В. Овечкина, их автора критиковали за «серое, скучное, посредственное изображение нашей жизни». В 60-е годы В. Семину ой как крепко досталось от критики за «бытописательство» в связи с публикацией повести «Семеро в одном доме». В начале 70-х «новую» прозу Ю. Трифонова определяли так: «прокрустово ложе быта» (Н. Кладо), «коридорные страсти» (В. Сахаров), «в замкнутом мире» (Ю. Андреев), «измерения малого мира» (Г. Бровман). «„Код“ писателя и стереотипы критиков не совпадали...» («Литературное обозрение», 1986, № 2). Н. Иванова тут же и комментирует: «Это только у каких-то примитивных племен: если «плохого» не называть, то его как бы и нет. Мы так жить не можем, не можем «делать вид», что не существует в нашей жизни зла, претендующего на роль «добра»... Исследование сложных явлений жизни занят В. Маканин («Человек свиты», «Антилидер», «Гражданин убегающий»), замечательно точен и страшен тихий Провирияк М. Роцина. «Пора припречь и под-

леца», как говорил Гоголь». Здесь идет речь о расхождении лакировочной критики с ее парадными мерками и честного аналитического реализма, набирающего с середины века силу в нашей литературе. Но за те же десятилетия и критика несколько упрочила в себе навык мыслить не административно и не нормативно. И если о большинстве оппонентов Семина или Трифонова вряд ли можно сказать, что они в свое время участвовали в подлинном столкновении идей, то проза Маканина оказалась в центре жгучей идейной коллизии. Когда И. Дедков с упорством римлянина, напоминающего, что Карфаген должен быть разрушен, атакует едва ли не каждую новую вещь писателя, им руководят, конечно, совсем не те мотивы, которым подчинялись гонители «окопной» ли, «коридорной» ли «правды факта». И если Дедкову случается сбиться на их аргументацию («мелкоскоп», «ближайшие впечатления» и тому подобное), это происходит, я думаю, от какой-то яростной нехватки доводов (прямо-таки «зла не хватает») перед лицом сочувственных толкователей, которые привычно успокаивают критика, глубоко уязвленного чужеродной ему прозой: дескать, «беспощадный психологизм», «разоблачение нравственных компромиссов» — разве ж это худо?

В общем, Маканина ругают с умом — да и хвалят талантливо. Статьи Н. Ивановой, Е. Невзглядовой, Г. Баженова об «Отдушине», «Реке с быстрым течением» и о других коротких повестях Маканина, разбор «Предтечи», выполненный А. Латыниной, культурфилософский отклик В. Скуратовского на повесть «Где сходилась небо с холмами», полемическая защита «авторской позиции» писателя, ее доброкачественности, предпринятая А. Бочаровым и в особенности М. Липовецким, — это интерпретации не сиюминутные, не прикладные; будучи извлечены из старых подшивок, они могли бы читаться и годы спустя, как, думаю, будет читаться трудный, неудобный Маканин, которого эти авторы помогают переварить и оценить (см. соответственно: «Литературная учеба», 1981, № 1; «Аврора», 1980, № 3; «Подъем», 1981, № 3; «Литературное обозрение», 1983, № 10; «Литературная газета» от 6 июня 1984 года; «Дружба народов», 1984, № 1; «Урал», 1985, № 12). Но таков уж нередкий в истории литературы парадокс, что «несогласные» невольно открывают в объекте своего неприятия стороны, ускользающие от приязненного взора, и непонимание современников может порой сказать о писателе

больше, чем успех у них же. Раз в Макаanine обнаруживают «своеобразное низкопоклонство перед жизнью», «выстраданный пессимизм», «экзистенциальную горечь», сводимость человека к формуле, то, согласитесь, писатель, давший повод к таким упрекам, справедливым или нет, должен обладать достаточно рельефной художественной философией, как бы неусвояемой для иного типа сознания: непонимание, которое он вызывает, всегда будет отчасти волевым актом, лишь стилизованным под недоумение. Как бы подтверждая это, И. Дедков мимоходом заметил: «Маканин — сильный писатель... Я уважаю его последовательность». И в другом месте: «талантливое воплощение», которое даже «кажется невызываемым», доколе не сменишь предлагаемую писателем «оптику». Здесь же задаются и вопросы, по замыслу критика — ядовито-риторические, по существу, однако, не имеющие predeterminedных ответов: «Или тут какое-то более тонкое — даже в сравнении с нашей классикой — понимание человека?», «Такое многообещающее продление правдоискательской, смелой мысли до упора?»

Вот он, гвоздь полемики. Принадлежит ли художественная установка Маканина к миру и духу русской классической литературы с ее гуманностью, с ее верой в бессмысленность человеческой жизни, с ее спросом с совести? Коли нет, то ни о какой «большей тонкости» говорить, конечно, не приходится — разве что о том противоклассическом миропонимании, которое витает в мировом культурном эфире, вербуя себе пошатнувшиеся духовным здорьем таланты. В общем, спор идет не о пресловутой «правде факта» (неизбежность ее для реалистической литературы теперь, кажется, признают все, хотя бы на словах) — но спорят о высшей правде, что делает честь и критике нашей и Маканину, ее мобилизовавшему. По крайней мере три автора, с чьими суждениями все уже привыкли считаться: наряду с И. Дедковым А. Казинцев и В. Куницын открыто квалифицируют Маканина как писателя, отказавшегося от классических устоев и сыгравшего на понижение в оценке человека, его сил и возможностей. Он — разоблачитель, но не тех или иных общественных зол, подлежащих выяснению и искоренению, а бесспорных основ человеческого общежития — таких, как любовь, верность, взаимопомощь. С холодным любопытством пополняя свою картотеку психологических типов, он препарирует людей, как лягушек, ставит над ними уничитель-



ные эксперименты, подглядывает, подобно библейскому Хаму, за их беспомощной наготой. Его обостренная наблюдательность нравственно небезупречна, читателя она не воодушевляет, не учит, не «зовет», а обескураживает и подавляет. С виду у него все точнехонько, а в сущности — неправда, от которой так и хочется укрыться за укрепленными «белыми стенами» русского классического искусства... Три названных критика принадлежат к разным течениям нашей литературной жизни (достаточно заметить, что если И. Дедков, касаясь повести «Предтеча» — о знахаре-целителе. — корит Маканина суеверием, то А. Казинцев, напротив, — маловерием). Тем знаменательней сходство их мнений, некий общий склад сознания — условно назову его утопическим, наивно спрямляющим пути воздействия на жизнь.

## 2

Говоря о классике (читай: о русской литературе XIX века) не риторически, нельзя забывать, что она подчинялась великому реалистическому импульсу, который был задан ей в семье новоевропейских литератур и действует в культуре этого корня по сю пору, несмотря ни на какие истонченности эфирного Метерлинка или миазматического Беккега. Одно из свойств этого реалистического импульса — экстенсивность, приобщение к изображаемой картине все новых «углов» и лабиринтов социальной вселенной. Другое — бесстрашие перед «запретным», тягостным, постыдным, нелепым и искаженным, оправданное, однако, высшими целями постижения, осмысления, преодоления, исцеления. Русской литературе больше, должно быть, чем какой-либо другой удалось сохранить согласие между этим экстенсивным, всепроникающим, неуемным духом реального и неколебимой абсолютностью идеальных ориентиров. Но последние сберегались именно «при полном реализме», по замечательной формуле Достоевского.

Реализм не раз вступал в конфликт с личными читательскими навыками, вызывая сопротивление, не одинаковое по идейным мотивам, но в выводах своих однотипное. Ведь он по самому существу призван вбирать новыи, неолитературный материал, это касается и пластов среды, и пластов языка, и зондирования психики, а вместе с нею — даже телесной физиологии. Все — начиная с Пушкина! — русские реалисты подвергались неудовольствиям за эту свою неизбежную дерзость. Не буду поминать мецдански-официозную критику «Северной

пчелы» и «Библиотеки для чтения», которая попрекала Пушкина «ничтожными» подробностями (вроде «жука», что «жужжал» в «Евгении Онегине»), а Гоголя — «грязью» его задворков. Но, воскрешая в памяти Жителя Бутырской слободы с его невинным брюзжанием насчет мужицких речений в «Руслане и Людмиле», ведя тот же пунктир через радикала Михайловского, усматривавшего патологию, и «жесточких» картинах Достоевского, и параллельно — через славянофила И. Аксакова, журившего автора «Дневника писателя» за грубость и чуть ли не циническую развязность выражений, упираясь, наконец, в народническую критику Чехова, безыдейно, по ее мнению, и безобличительно описывавшего что попало, — мы поймем, что от жизни «со всем ее сором» укрыться за белыми стенами классики не так-то легко. Утопическое сознание, охранительное или боевитое, всегда склонно форсировать учительную функцию искусства, по сути, заменяя ее исправительной: «...давай нам смелые уроки!» Поэтому особенно его раздражают «малозначащие уточнения» (как и сегодня пишут о школе наших «новых реалистов»); из них не выжмешь ничего наставительного, определительного, типажного. Они лежат за пределами «утопического» литературного горизонта с его нетерпеливым прагматизмом. Описанная реакция на реалистическое движение литературы иногда несет бесполезную сторожевую службу; ведь на окраинах этого движения (где познавательная экспансия переходит во вседозволенность) постепенно накапливается всякая «арцыбашевщина», вообще немало тошнотворного. Но, как показывает опыт, чаще эта реакция бьет не столько по эксцессам художественного реализма, сколько по его внутренней природе.

Когда-то А. Н. Островского называли Колумбом Замоскворечья. Каждый реалист — Колумб какой-либо области постижения, дарованной ему чаще всего непосредственным жизненным опытом, «ближайшими впечатлениями». Достоевский считал себя Колумбом «подполья», открывшегося в интеллигентном петербуржье, он же прославился в качестве Колумба Мертвого дома Чехов не был ли Колумбом «пестрой» России с расшатанными сословными перегородками, странной смесью «одежда и лиц»? Нередко эти Колумбовы плаванья действительно имели характер географических перемещений. «Натуральную школу» определили собор литераторы, столкнувшись с Петербургом; об этом, кажется, уже напоминала наша крити-

ка, успевшая сравнить ту, прежнюю школу и «сорокалетних» писателей-москвичей, имеющих провинциальное прошлое. К стати, И. Дедков, говоря о последних, жаловался на неузнаваемость Москвы в их изображении: «Это странный город: невозможно ни увидеть, ни почувствовать ни улочек и переулков, ни зданий и храмов, ни парков и скверов, ничего... Будто город — это нечто безликое и беспамятное...» Как всегда, обвинения чуткого противника дорогого стоят. У Маканина, в частности, Москва — не трифоновски обжитая, облюбованная и элегически освещенная малая родина природного москвича, а «большой город», своими законами жестко противостоящий житейскому и этическому опыту посланца поселковой и барачной России. В «большом городе» есть, конечно, свои приметы, свои «время и место», неправда, что (как преувеличивает Дедков) перед нами «табличка на пустой сцене, оповещающая о месте действия», — но это не приметы исторической Москвы.

«Колумбово» начало в реализме бесмертно. Когда мы поминаем добром нашу военную прозу, наших деревенщиков, мы благодарим их не только как наставников и учителей — мы благодарны, что они открыли и сохранили ту действительность, которая без них ушла бы в небытие, что они закрепили человеческий образ, который уже не повторится. Эти художники вписали главы в нашу историю, не только в литературу. Но продолжают вписываться и другие главы — горожанами, поселочанами, таежниками, конторщиками, взявшись за перо. Раз реализм существует, он действует с принудительностью разворачивающейся пружины: в пределе будет описано все, — я имею в виду все формы и разновидности, все укромные и заказные социальные уклады от массового бытия миллионов до бытования окраинных, маргинальных «субкультур». («Ах, значит, все? — слышится мне саркастический голос рецензента «Предтечи» — А в мужскую палату на час клизм не хотите ли?») Что ж, наша больничная палата — это драматичнейшая общность, где телесные немощи вступают в мучительный клубок человеческих и даже экономических зависимостей и авасний она палата, ждет своего часа, никем еще по-настоящему не описанная, даже и Маканиным, который хорошо знает этот мирок мир.)

Те кто противопоставляет военных и деревенских писателей как летописцев на одной стороне судьбы «сорокалетним бытовикам», погруженным-де в мещанские стра-

сти своих ненародных героев, слишком охотно забывают, что чуть ли не половина послевоенной людской толщи — это ни городские (в современном смысле), ни сельские, это «барачные» жители, это огромная полуседалая, многократно страгиваемая с места масса, которая к настоящему времени порассосалась, частично огорожилась, оквартирилась, но и по сей день существует — и на аванпостах модернизации, захватывающей нетронутые районы, и в пригородных зонах, лепящихся к большим городам. Если под народной жизнью понимать только «лад», описанный В. Беловым, тогда неладному барачному люду с его оголенной неустроенностью, перерастающей в своеобразный полууют, в «цыганскую утряску», с его вынужденным коллективизмом, совсем не исключающим добровольной «хоровой» слитности и общих неписаных ритуалов, следует отказать в звании «народа». Однако на это никто не решится, слишком недемократично. Тема (за редкими исключениями — «Вдовий пароход» И. Грековой) просто была не характерна для литературного репертуара. Дескать, что уж тут вспоминать — проклинать надо, чтобы скорее большем поросло.

Так называемым сорокалетним, некоторым из них, выпала Колумбова честь воссоздать этот мир не как рассказчик «межумков» и «междомков», а как привычную среду собственного детства, как память о пенатах, которая, сквозя за пристойным миражем изолированных «секций», легко воскресает от малейшего напоминания. («Все то, что пахнет детством, старухами, керосином, примусами и тукальем швейной машинки в дальнем углу барака. — Рассказ В. Маканина «Лебедянин».) Старый Поселок с его бараками маячит за спиной каждого маканинского героя, будь он даже урожденный москвич, как Толя Куренков из «Антилидера», или подмосковный житель, как герой «Предтечи».

Тут же — еще одна форма реакции на непредусмотренную тему — слышны упреки в идеализации «барачного рая». Упрекают несправедливо. Если у Р. Киреева в «Ладане» действительно проскальзывает подслащенный неореализм «двух грошей надежды», то искупается это старательным очерком нравов А. его «Лестница». Драматическая история о том, как барачная девочка становится (или вот-вот станет) «пропавшей» и «гуляшей» не будучи к тому predetermined никакими порочными наклонностями, стоит уже вплотную к суровой правде жизни, дает сложное и острое ощущение незаметного, обволакивающего

диктата среды и вместе с тем — несомненной свободы даже малого, неопытного человеческого существа, колеблющегося, поддаться или не поддаться обстоятельствам.

Что касается Маканина, то его память об «истоках» ни на минуту не теряет горькой и четкой трезвости. В «Голубом и красном» ясно дано понять: подобно тому как муравьиная куча, которую маленький Ключарев обнаруживает у подворья своей деревенской бабки, первозданнее кучи жестянок за бараком, хоть вторая сызмальства ему привычнее, как простор вокруг деревни для его ребяческого ума первозданнее пустыря вокруг барака, хоть пространством они равны для малыша, — так и «деревенская» жизнь бабки Матрены, жизнь своим домом (а равно и туманная «господская» жизнь второй ключаревской бабушки, голубых кровей) первозданнее обезличивающей барачной жизни скопом. Частная жизнь естественна, входит в «замысел человека», предполагает личные отношения, прежде всего — любовь с ее ревнивой избирательностью и незаменимостью любимого. Соперничество бабок за любовь внука, за его исключительную привязанность предстает у Маканина не в виде мелкой бытовой вражды и лишь во вторую очередь — в виде застарелой социальной розни; прежде всего это сюжет эпоса с поэтически укрупненными, барельефными образами враждующих героинь. И присущее им чувство своего сословия, класса, рода ощущается не как ограниченность, а как глубоко ценное индивидуализирующее чувство, совершенно безразличное обитателям барака, «безындвидуальным» родителям Ключарева. Люди сгрудились в бараке и притерпелись к нему, они даже обрели своеобразное высокомерие терпеливцев, исключаящее в них зависть, а быть может, и заменяющее ее: Ключарев «не раз слышал, а помнил и по сейчас, как человека, откуда-то приехавшего (из деревни ли, из другого ли города: из другого сорта тесноты), спрашивали: «Ну как там?» — и улыбались... спрашивали они с уверенностью, что там, где барак нет и где не живут в такой тесноте, — там не жизнь». И прижившись, потеряли то разнообразие живущих наособицу хозяев собственных стен, ту колоритную характеричность, которые при наличии общих норм образуют между людьми многокрасочный лад, а не сводят их к наименьшему общему знаменателю.

Впрочем, взаимоподобность «людей из барака» в этом размышлении Маканина намеренно преувеличена. Когда доходит до

дела, то есть до запечатления живых лиц, каждое из них обозначается своим особым нравом и судьбой. Чего стоит в «Голосах» мать неизлечимо больного Кольки Мистера, бодрая и рукастая бригадирша-активистка, срывающаяся с высоты своего деловитого оптимизма в утробную, надрывную жалость к угасающему калекке-сыну... А какие инициативные выходят отсюда люди, словно аккумулировавшие коллективную энергию, достигшую критического предела в этой тесноте: от композитора Башилова до сомнительных, но обаятельных авантюрных героинь Маканина — Валечки Чекиной или Светика.

Маканин — не бытописатель; о барачно-поселковом слое жизни из его книг узнаем либо по резким и обрывистым зарубкам в памяти («Повесть о Старом Поселке»), либо в форме философической стилизации (Аварийный поселок из рассказа «Где сходилось небо с холмами» — это уже надбытовой символ человеческой общности лицом к лицу со смертью). Однако в жизни обитателей его мира барак всегда сохраняет значение целой исторической полосы: одновременно и социальная травма, вроде укола шпорой дающая стремительный разгон к «месту под солнцем», и мерка неподдельной жизни, позволяющая выявить в продвижении к лучшим местам момент духовной утраты. Во всяком случае, где сквозь объективность маканинского повествования пробивается лирическая струя, там, как можно догадаться, он обнаруживает себя в некотором роде посланцем этой среды, мысленно воображает «их» суд, дорожит этим судом и боится его. Так было в первом наивном романе «Прямая линия», так оно есть и в недавней повести о музыканте, находящем некую обратную связь между собственными творческими достижениями, собственной известностью и безвестным исчезновением, стандартным перерождением воспитавшего его поселка. «...Со мной говорили мягко и всегда до конца выслушивали, потому что я был хуже всех одет и обут, давали мне ноздрястую горбушку хлеба и тут же говорили, что я молодец — хорошо учусь, и гладили... мальчишеский чубчик, и я чувствовал затылком морщины на их руках...» («Прямая линия»).

## 3

Обыкновенно Маканина считают заправским психологом, хваля за это или порицая, ежели в таковом преимущественном интересе усматривается невнимание к со-

циальному масштабу жизни. Однако вот кто, кажется, мог бы повторить вслед за классиком знаменитое Достоевское: я, дескать, не психолог... Самый строй маканинской прозы, от раза к разу все более сгущенной и даже конспективной; слух, скрепление версий, краткие промельки чьих-то мыслей и чувствований, беглые записи будто бы не осуществленных сюжетов — все то, что в «Портрете и вокруг» названо «камешками» (или, иначе, «штришками»), просто не оставляет места для развернутых описаний душевной динамики. Все «как» остаются за кулисами, в таинственных потемках души человеческой. Нас осведомляют о поступках, реакциях, вывертах — главным образом о том, что возникает на «выходе» из этого черного ящика. Но если вчитаться, многое узнаешь и о том, что на «входе». И не заметишь, как станешь на путь слежки, детективного расследования человеческих мотивов, которое в «Портрете и вокруг» изображено так грубо и мелкотравчато (с досье, опросными листами и тайным магнитофоном) и так тонко внедрено в склад более совершенных произведений Маканина.

Коронная область писателя — не психология, а социальная антропология, «социальное человековедение». Каждая индивидуальность имеет у него свои стойкие корни в специфическом слое и укладе (как раз обратное тому, что писалось об «обрубленных корнях» и связях этих лиц). Героев без роду и племени почти нет; даже в небольшой повести, в анекдотической истории автор рад вернуть, кем были родители высвечиваемого лица, и намекнуть, кем скорее всего станут его дети.

Категория рода, семьи как векторной линии, прочерчиваемой в общественном пространстве, помещаясь на которой человек, даже особенный, самочинный, вынужден все-таки ощущать себя звеном, одним из звеньев, — категория эта очень сильна и содержательна у Маканина.

Про инженера-мебельщика Михайлова (повесть «Отдушина») для начала сообщается с обычной у Маканина невозмутимоснижающей интонацией, которая сигнализирует о закоренелом духовном беспорядке: «...Для Михайлова самое время любить — у него жена у него приличный заработок а два сына уже заканчивают школу... и старушка мать, еще, в общем, живая» (разрядка моя, хотя и без разрядки слышны все акценты. — И. Р.). Вводной фразой персонаж характеризуется как стандартное и самопопустительское — равняющееся на «всех» — существо. Эта готов-

ность к роману между пятнадцатыми и двадцатыми годами прочного брака, когда дети уже выросли, а устройством их будущего с сопутствующими тревожениями покуда не отвлекает от внедомашнего любовного сюжета; когда мать еще жива, еще загораживает тебя от твоего срока стареть на подступах к могиле, а немощи ее посреди суеты тебя не слишком волнуют, была бы жива «в общем!» «Легко, в одно касание», как выразилась И. Соловьева о маканинском способе писать «среду», дан срез определенного образа жизни — но пока дан как наличность столь неподвижная и сама собой разумеющаяся, что впрямую здесь-то и заподозрить печальное «примирение» с такого рода «действительностью». Однако впечатление это опровергается. Не только экстраординарной фабулой — обменом любовницы на ценную для «основного» семейства услугу (так из не самого пакостного — «не хуже, чем у других» — существования тихо возникает давящий душу позор). Корректируется оно и заключительным, бросающим обратный ответ штрихом. Вот Михайлов, расставшийся со своей Алевтиной, заморенный левой работой добытчик (все для «сынов»<sup>1)</sup>, поздно вечером возвращается домой и, прихваченный сердечным приступом, карабкается по лестнице на четвереньках: «Всего-то на третий этаж... Коленами и руками работая поочередно, Михайлов перебирается еще на четыре ступеньки вверх. Еще малость, еще немного, говаривала безмужняя мать, когда она и маленький мальчик тянули в гору салазки на деревянном ходу с полмешком муки, и он ни разу не вспомнил матери, как она эту муку зарабатывала, выводя Пашеньку в люди». Почти рефлекторно, стихийно проделанный Михайловым житейский «путь наверх» (сам-то он, впрочем, в семья пошел, но «сыны», обихоженные и огражденные, гордо вступят в жизнь с университетскими значками) — этот путь здесь одновременно и объяснен и скомпрометирован малой подробностью. «Безмужняя мать» с подозрительным полмешком муки, во всем правая, хоть и виновная, должно быть, не только тягостное, но и святое воспоминание. Добираясь до удобной, теплой жизни, Михайлов как бы изменяет вскормившему его слою с его выносливостью, готовностью к жертвам и нешуточным испытаниям. Он нравственно опустился по сравнению со своей матерью, чем бы там она ни промышляла. Но разве не здесь же, в материнской среде, получил он свой разгон, обещающий вынести его сыновей к престиж-

ным высотам? Объяснением отчасти смягчается приговор, но не снимается вопрос «зачем?». Куда ведет это семейное движение, начавшееся на горьком послевоенном пределе человеческих сил и уже в следующем поколении способное разменяться на такую жизнь с расчетом и вполсердца, как у Михайлова? Что станет с его сыновьями, вышколенными отличниками, которые, разумеется, не догадываются, что их блестящий и влиятельный репетитор оплачен не только почасово, но и аккордно — уступленной ему женщиной? И за что задевает в «Ключарева и Алимускине» авторская ирония, слышная всякий раз, когда речь заходит об отпрыске-девятикласснике, «делающем большие успехи в спорте, точнее в спортивной гимнастике»: «На перекладине он получил девять и семь — удивительный результат для юноши. Им заинтересовались известные тренеры...

— Молодец, сын! — так сказал Ключарев... Он держался гордо. И в то же время весело. О нем так и хотелось сказать — Ключарев, сын Ключарева». А в сравнительно ранней «Повести о Старом Поселке» предшественник этого Ключарева-отца разыгрывает с собой самокопательский диалог: «Куда, говорит, ведешь ты свой род, человеке?.. Да так, говорит, без особого направления. В основном, говорит, вверх. Куда же еще, там, говорят, помягче... Н-да»

Обдумывая эту, в общем, простую мысль, писатель чутко различает бытовые, затрапезные, необъявленные цвета времени, ощущаемые наряду с эпохальными, осознанно сформулированными этапами и периодами. «Мебельное время», — пустил он в 70-х годах, и критика охотно подхватила. А в «Предтече» автор выводит как бы твердой рукой летописца: «Становилась иная пора. На службе и дома, в застолье и в городском транспорте люди все больше говорили о здоровье». В самом деле, обмен рецептами и травяными смесями, вести о бегах и голодании, медицинские термины, выговариваемые самими простецкими устами, — всему этому, ставшему привычкой, и значения-то никакого не придаешь, пока не заметишь, с опорой на Маканина, что это симптом, расцветка «иной поры». Симптом чего? Не только длительного мирного «облагополучивания» (неологизм А. Бочарова), когда наконец и до здоровья руки дошли. Но и — незнакомого в такой степени прежде — страха смерти.

Малодушный этот страх — черта одного из наименее симпатичных автору лиц, лодяного, самолюбивого математика (в «Отдушине») с горделивой и хищной фамилией

Стрепетов. Какой-то одичалой неготовностью к утрате — неизбежной смерти близкого существа, жены, — определяется жалкое, недостойное, жестокое, но и трогательное тоже, ибо замешено все-таки на любви, поведение сломавшегося Игнатьева из «Реки с быстрым течением». Автору жаль его, но он и не слишком сентиментальничает с героем, ибо знает, что так со смертью встречаются люди, нехорошо живущие, неверно сознающие жизнь. Абсурдным апофеозом «иной поры» с ее страусовой жизнеустановкой звучат слова врача, сообщающего Игнатьеву, что жена его обречена: «За здоровьем следить надо, все на волоске висим». Ясно, что раз «на волоске висим», то надо другое. Так что чувствуешь облегчение, словно от глотка свежего воздуха, когда как бы в опровержение этого врачебного совета «безумный» знахарь Якушкин яростно шепчет вагонному попутчику, с бравадой висельника только что оповестившему о своей запущенной болезни «на три буквы»: «...Ты не о том думаешь и не о том говоришь! Ты думай, как давать другим людям жить» («Предтеча»).

Только полностью игнорируя вездливую «микросоциальную» приметливость Маканина, можно вообразить, что он пишет про болезнь, смерть, удачу, невезенье, измены и обманы затем, чтобы в порядке мещанского варианта мировой скорби внушить представление об извечной неприглядности бытия: жизнь, дескать, грязная и мутная река. Нет, пишет он не метафизическую формулу, а человека, меняющегося от поколения к поколению в текущем социальном субстрате. И не все перемены ему нравятся. А меньше всего, быть может, нравится сама податливость, безупорность человеческого материала.

## 4

Социальный анамнез своих героев Маканин никогда не дает зараз, а рассредоточивает в щелках и зазорах повествования, в многоступенчатых постскриптумах, когда рассказ уже исчерпал себя вплоть до развязки и остается только его обдумать: разбрасывает там и сям свои камешки, полагаясь, как уже говорилось, на особый, сыскной интерес читателей, требуя, быть может, слишком многого.

Так, детство Михайлова в «Отдушине» — это всего лишь штришок, которым мы вольны пренебречь. То же — и в других вещах. Читая «Предтечу», поразмыслить стоит не только над анекдотическим брев-

ном, которое оглушило героя через мгновение после того, как ему «открылась истина» (скептики вправе утверждать: за мгновение до, автор и им оставляет шанс). Вниманию нашему предложена — где-то в пазах действия — и прежняя жизнь Сергея Степановича, этого одними хвалимого, другими — начиная с Багрицкого — проклинаемого человека предместья, чей уклад был в урочный час, как бульдозером, срезан разрастающимся вширь и вглубь «большим городом». Вернувшись с войны, не растерялся, благо был у него домик, свое пространство жизни; собственным горбом, умелыми руками строителя и ремонтника заработал себе достаток: в доме — дружелюбная и сдобная жена, дочка, во флигельке — соленья, припасы, но и приворовывал стройматериалы, не без того (за что поплатился заключением и никогда на это не роптал). Грешен был и в другом, поддался однажды грубой похоти, соблазненный женой своего соседа и напарника (впрочем, падение какое-то невинное, полусознательное; простота тех душ, цвет того времени сравниваются с целенаправленным женским «поиском» представительницы других нравов — дочери Сергея Степановича Леночки). Да, был грешен, но любил своих надежной и ровной семейной любовью. Подточила все это не тюрьма, и не «бревно» перевернуло. Может, вспомните штрих из прошлого, всплывающий в другом месте, ближе к кончине Якушкина, вспомните, что когда-то произошло с его женой Марьей Ивановной. Она захирела (а вскоре умерла, и все пошло прахом) после того, как во время поездки в Прибалтику, отказывая себе в доброкачественной снеди, отхватила четыре красивых костюмчика — вдвое больше, чем нужно (а ведь не спекулянтка). Якушкину ее трофеи сразу крепко не понравились. По квалификации одного из рецензентов, знахарь в прошлом — «мелкий приобретатель». Несколькими общо сказано! Есть разница между его хозяйственным «домостроительством» (даже если оно не без сучка в свете морали и права) и «бабьей алчностью», охватившей бедную Марью Ивановну при виде модных магазинов, — какой-то нелепой, идолопоклоннической алчностью. Борьба с «хапаньем», с наделенностью этой станет потом одним из главных мотивов якушкинской проповеди. А разве не существенно в повести наше знакомство с братом Якушкина Василием Степановичем, грузным седым сварщиком, вместе с которым знахарь ежегодно отправляется в родную деревню, чтобы помянуть покойную мать? Мы видим

другой росток того же корня, силу его и слабость. Братнего философствования Василий Степанович не выносит, жизнью своей бестревожно доволен, вывел детей в люди (то есть они с дипломами и с интеллигентными женами, «наш род!»), ни в чем перед обществом не провинился. Приходит на могилу матери и, обставленный водкой и закусками, рассказывает могильному холмику семейные новости о замужествах и поездках за границу: «Все хорошо, мама! Все отлично!» В этом торопливом ритуале посреди обстоятельной трапезы сразу — и родовое достоинство и наивное забвение смерти как проверщицы жизненных целей. Народный утопист и праведник Сергей Якушкин и беспомощней и глубже своего брата.

Якушкин — это, если воспользоваться выражением Достоевского, «тип из коренника». По литературной линии А. Латынина убедительно сравнила его трагикомически и иронико-патетически выписанную фигуру с Дон Кихотом. Но есть для него и другие параллели, на ближней почве, ибо его правдоискательство и космическая вера в благую «природу», его убежденность в силе совести, «именуемой также интуицией», и готовность «воплотить задуманное коллективистское общество» на путях самосовершенствования — все это колеблется в диапазоне между «сокровенными людьми» Андрея Платонова и надрывным самодумом Князевым, автором проектов «О Государстве», из копики Василия Шукшина. Формулой того же человеческого типа может служить и «Безумный волк» Н. Заболоцкого. Ясны национальные, социально-процессные и исторические корни Сергея Степановича, ясен склад его сознания и его путь. Этически сомнительны высокомерные насмешки над «ползунайством» Якушкина, «галиматьей», почерпнутой им из газетных сенсаций или околонучных слухов (всякие там «нейтрино», обеспечивающие бессмертие души, или «антимирь», куда она, душа, отправляется после исхода). Столь же недальновидно вслед за А. Казинцевым полагать, что вся подобная мифология служит в повести целям компротетации Якушкина, целям низведения «жития» до обывательского анекдота. Сквозь «галиматью» светит сильный его, ищущий дух, а из подручного сора наукообразных оккультных суеверий он, за нехваткой лучшего источника, лепит совсем не бессмысленное нравственное учение. (Такой «неопримитив», такая вторичная переработка и возгонка народным сознанием шлаков культуры хорошо известна и

в истории современного искусства. Кто читал записанные Б. Шергиным северные сказы о Пушкине, помнит, как вплелись туда газетные и радиовещательные шаблоны, чьи тривиальность и поверхностность однако, совершенно смыты волной живой поэзии, сердечного болезнования, даже озорства народных интерпретаторов.)

Усмешка Маканина относится к бессилию Якушкина-«реформатора», но не к духовному дару Якушкина-праведника, дару, который символически явлен в целостной «психознергии», но не скудеет по мере ее иссякания, по мере ниспадения и заката героя. Ирония Маканина — вовсе не «блуждающая» (как о ней писали), то есть не тотальная, нигилистическая. Она очень даже дифференцированная, чутко меняющая свою интенсивность и тона: сгущается она над головами Леночки и ее мужа, которые все никак не могут разжечься, боясь прогадать с новыми партнерами, несколько светлеет в виду журналиста Коляни, пришедца в «большом городе», способного к подобию бескорыстного увлечения идеей, печальным юмором облакает временно возрожденных якушкинцев, тихо потом разбредшихся на четыре стороны по известному закону рождения и гибели сект; приближаясь же к самому «предтече», переходит в какой-то трагический физиологизм, заставляющий вспомнить о позднеготической живописи. Короче говоря, любопытствующему читателю здесь предоставлены все данные, все акценты проставлены — но так, что их трудно объединить в непротиворечивую, фундаментальную картину. Автор идет на риск, что многое пропадет, останется незамеченным. Почему?

«Антилидер» — опять-таки странноватая короткая повесть (или длинный рассказ). Снова, должно быть, психологический казус из коллекции маканинских редкостей? Кто этот Толя Куренков, тихий и по обыкновению смирный сантехник, нежный отец и дисциплинированный муж, тем не менее время от времени затевающий яростные драки и кончающий жизнь в зоне от руки какого-то урки? Завидует он, что ли, своим вальжным, удачливым противникам или (идейно-бескорыстная форма той же зависти) хотел бы уравнивать всех, поделить поровну достаток и удачу, чтобы никто не выделялся и не превозносился? Но версию зависти, хотя бы и «преображенной», автор настойчиво отмечает. Скажем, приятели замечают Толе, что вечно он набрасывается на человека с машиной, который «может подвезти-отвезти», стоит такому появиться в их старинной, дружащей семьями

компании. А Куренков в ответ искренне изумлен, потому что в тот момент, кипя и наскакивая, не помнил ни о каких машинах. Тогда, быть может, это болезнь такая, какой-то застарелый детский «комплекс», зарядивший Толину психику периодическими взрывами, в преддверии которых он меняется даже физически: смуглеет и ссыхается телом, чувствует жжение в нутре?

Есть у Маканина манера: ложная — или задевающая правду лишь по касательной — подсказка. Ее провоцирующее присутствие как бы расслаивает читателей на тех, кто удовлетворится такой приблизительной «истиной», и тех, кто пойдет дальше. В первых же строках «Гражданина убегающего» «один дурачок у костра» (узнаем мы с досадливого голоса героя) сболтнул, что Павел Алексеевич Костюков всю жизнь был разрушителем. Несомненно так, но раз «слово найдено», стоит ли после этого писать повесть? Впрочем, читателю вольно думать, что остальное — просто иллюстрация к диагнозу «дурачка»... В «Предтече» такая лукавая подсказка — жуткий опыт с крысами. Он может импонировать только Коляне, который ищет внеэраственного, внедуховного объяснения якушкинскому дару. Однако же вивисектор-японец, играющий для своих жертв роль безжалостного и абсурдного фатума, — прямой антипод Якушкина, и нехитрое уравнение «люди — крысы», которое кое-кто принял за последнее слово автора, дискредитируется отношением Сергея Степановича к жестокому опыту: не в силах больше видеть истязуемых тварей, он убегает, оставив восхищенного Коляню досматривать кровавую развязку. При всем том реакция Якушкина изображена нечаянно, а сам эксперимент — с тягостной внушительностью, кто хочет, может думать, что в нем-то и собака зарыта. Еще пример. Утомленный сточичной интенсификацией жизни математик Юрий Стрепетов мысленно произносит свое лукавое слово «отдушина», заявляя право на внесемейный приют, где можно сбросить груз забот. Если верить слову-подсказке, никто тут ни в чем не виноват, есть жена, а есть отдушина — так нынче устроена жизнь. Ну, а если не верить, повесть читается по-другому.

Словечко «антилидер» — тоже такая подсказка, выплывающая где-то посредине повествования о Толе Куренкове. Жена его Шурочка жалуетса своему интимному приятелю на опасные странности мужа. Тот, человек образованный (кинокритик!), обдумывая казус, не без труда подыски-

вает ученое определение. В каждой «малой группе» есть свой лидер, но находится и такой, кто оспаривает его первенство, не вынося над собой превосходства — в красоте ли, в уме или силе: антилидер. Закон жизни, закон психологии: кому-то на роду написано быть лидером, кому-то — анти. «Отдушина», «Антилидер», «Гражданин убегающий», «Человек свиты» — формулы-подсказки, перекочевывая из чьей-то речи в заглавия, приобретают колеблющееся звучание; неокончательная правда, подхваченная с чужого голоса и требующая пересмотра или уточнения. («Не сбейся на простое» — так предупреждает себя писатель Игорь Петрович в романе «Портрет и вокруг».) Но эти призывы можно не расслышать, если не запастись интересом к «малозначимым подробностям», спрятанным в складках рассказа.

Такая вот мелочь — из Толиного отрочества. Ребята московского предместья гуляют в лесу. Толя распорол ногу ржавой консервной банкой. Будущая жена Шурочка и еще один неизменный дружок, не брезгуя, высасывают кровь из ранки. Толе щекотно, он смеется. Это — братство, тесное, немудрящее, даже, как видно из эпизода, в некотором смысле кровное. О том же — воспоминание, как женился Толя на Шурочке, свой мальчик на своей девочке. До того свои, что когда из загса пошли в обожаемое обоими кино, Толя после сеанса проводил подружку до ее двери и стал прощаться — забыл, что она уже ему жена.

Вот какова в истоке своем эта компания обитателей окраинных домишек и барачков, переселившаяся в типовые дома по соседству. Вернее, такова она в девственном, нетронутым сознании Толи Куренкова, ее последнего рыцаря, «хорового человека». Если в рассказе «Где сходилась небо с холмами» это «хоровое начало» (прекрасно уловленное рецензентом повести В. Скуратовским) дано притчеобразно: певчий Аварийный поселок последним усилием истощенной фольклорной почвы рождает своего одинокого солиста, камерного музыканта, — то в «Антилидере» оно, тоже на излете, представлено бессмысленными уже посиделками и телефонными перезваниваниями простых горожан, в память детского товарищества по-простому заблудивших друг к другу. Толя, незаносчивый, довольный своим скромным житейским местом, абсолютно верный человек, предан атмосфере этого товарищества, ею живет и дышит, болезненно чуток к переменам, которые вносит в нее быстротекущее время. И. Дед-

кова удручало, что в прозе Маканина и «сопредельных» ему писателей нет героя, на которого можно было бы положиться. Так вот, на Толю Куренкова положиться еще как можно, хотя этот драчун — не положительный герой в искомом критиком значении. Шурочка Куренкова, миловидная и хорошо «упакованная» приемщица телеателье, любя мужа и заботясь, глядит все-таки на сторону — ей хочется «отдушины» вне своего прежнего круга, хочется красивых встреч с «образованным человеком», умных слов. Но представить супружескую измену Толи просто невозможно, как невозможно представить в нем какую-нибудь хитрую утайку, заднюю мысль. И вот когда головы его друзей, словно намагниченные, зачарованно поворачиваются в сторону какого-нибудь присяжного любимца публики (а он — треплив, благодушен, самодоволен, крепок в кости, но с намечающимся брюшком, при деньжатах и колесах, ничуть не смущен ролью временного сожителя одной из прежних свойских девочек с их двора), в Толе начинается неудержимая реакция отторжения. Компания не замечает, что чтит новоявленного «лидера» за пустые и ничтожные вещи, сам «любимец» тоже не замечает, как искательно унижается, стараясь каждого к себе расположить перед очередным застольем, словно бы агитируя за свою кандидатуру. Но Толя остро чувствует, хоть и не умеет изъяснить, неведомую раньше фальшь и бросается в бой, будто Шантеклер, оберегающий свой курятник от порчи, или еще один несогласный с ходом вещей Дон Кихот.

Опять-таки сказала «микросоциальная» вдумчивость Маканина, его озабоченность незаметным распадом каких-то малых клеточек общества, вызывающим причудливые и труднообъяснимые отзывы у людей неординарной души. Финал повести не оставит сомнения в чувствах автора. Противостоящее герою зло все сгущается: от мутноватой пошлости разбитного малого до непроглядной черноты матерого пахана. И когда Куренков, вымывшись перед смертью (обмытый, словно ребенок или покойник, приехавшей на свидание женой), идет навстречу концу, а ветер шевелит его легкие, детские волосы, то, как справедливо заметил М. Липовецкий, чувствуешь шмящую гордость за этого не шибко крепкого и не шибко мудрого храбреца. И еще горечь, что прекрасные Толины природные — народные — качества оказались никому не нужны, никем не воспитаны и не одухотворены. Они смешны скорее оказались.



Персонажи Маканина словно выворачивают наизнанку привычное определение «знакомый незнакомец». Они — неузнаваемые знакомцы. Малограмотный знахарь, драчливый сантехник, злостный алиментщик, поэтесса, с телеэкрана воркующая о любви, подхалим, увивающийся в директорской приемной, — у Маканина все они не таковы, точнее, не совсем таковы, какими мы рассчитываем их увидеть. Своей неожиданной подсветкой писатель ломает нашу житейскую типологию, перечеркивает шаблонный справочник «характеров» и «ролей». Он очерчивает человека на той глубине, которая с одного конца определяется его корнями, а с другой — жизненной целью, жизненным лейтмотивом: зрение, внимательное одновременно и к человеческой социальности и к духовному зерну. Но вместе с тем эти композиции напоминают так называемые тесты Роршаха — пятна и узоры, в которых разным испытуемым (в зависимости от их сознания и психики) не могут не видеться разные изображения. Почему бы в Алевтине из «Отдушины», этой мужественной мошке большого города, не увидеть преуспевающую авторшу с тремя изданными книжками, а в Якушкине — модного кумира суеверных мещан? Автор и для этого двери не закрывает. Он не только «обнаруживает» своих героев, но и читателю дает «обнаружиться». Эта особая читательская свобода — свобода выбирать — очень нужна Маканину, входит в скрытый пафос его прозы.

## 5

Каково подспудное требование «утопического» сознания к литературной картине жизни? Чтобы все проблемное и трудное в жизни, а главное — все неприятное и оскорбительное для нравственного и гражданского чувства было вынесено вовне, в некий лепрозорий для «подонков», подчеркнуто не имеющий ничего общего ни с авторским, ни с читательским сердечным миром. А уж собрав эту нечисть в стороне от хороших людей, можно будет от нее избавиться каким-нибудь реорганизирующим приемом вроде тех служебных авралов, которые вечно пытался затевать в своем НИИ некто по прозвищу Вулкан (из раннего рассказа Маканина «Милый романтик»). Такое сознание всегда стремится уклонить литературу, да и этику, в сторону дидактики, то есть внешнего воздействия на объект попечений. Там, где изображаемые лица не разграничены на хороших и дурных, оно видит безразличное смешение добра и

зла (как будто не «сердце человеческое», каждое сердце — «поле битвы» между тем и другим, с кровавой линией раздела); оно всегда предпочитает категорию «ответственности» (как внешнюю) более интимной и сокровенной идее «вины», а понятие «порока» — понятию «греха» («грешен» каждый, но «порочен» непременно другой, не я).

Проза Маканина глубоко антиутопична в указанном смысле: про ее грешное «население» рассказывается таким образом, чтобы никто не мог подумать, что его знакомят с существами, принципиально отличными от него самого. Этому, в частности, служит невозмутимая («констатирующая», как кто-то написал) интонация, притом в наиболее скандальных местах, так и просящихся под моральный акцент: все эти «как положено», «как и должно быть», «такая минута», «самые те годы», отсылающие нас к собственному опыту, вместо того чтобы препарировать чужой. Вглядываясь в маканинские «портреты», читатель свободен либо с ними хоть в какой-то мере самоотжествиться, либо отвергнуть их как глубоко лживые. Ему не дано только третьего: принять их за портреты каких-то чуждых лиц, избличаемых и изничтожаемых на дистанции от него самого.

Маканин не боится, что и его могут заподозрить в родстве кое с кем из его персонажей — с этими всходами «большого города», поворачивающимися к солнцу «удачи» и вытягивающими свой «род» вверх. Все помнят, как Ю. Трифонов ввел в действие «Дома на набережной» некое загадочное «я» с тем только, чтоб Глебова не приняли за его двойника, отделили бы от автора. Не желая бросать тень на один из лучших романов Трифонова, замечу все же, что Маканину подобная тактика совершенно чужда. Он живет под знаком интегральной вины, источник которой подчас смутен для него самого. Не отделяя себя от «нечистоплотных» персонажей стеной лепрозория, он изнутри изживает это чувство вины, меж тем как нередко думают, что он и х старается обелить.

Вокруг Маканина критика размежевалась в точном соответствии с условиями, заданными его прозой. Для одних эта жизнь, приметливо (о чем не спорят) ухваченная, непременно должна быть пропущена через «антимещанскую» и «обличительную» оптику — как «не моя» жизнь, как чужие, враждебные образы и голоса, как «калейдоскоп отвратительных лиц» (А. Казинцев). Но раз писатель этого не делает, значит, умозаклучают, утрачен нравственный вкус или разлит такой пессимизм, когда черное

уже не кажется черным, потому что его нечем осветить. Есть, однако, и такие, кто, подобно Н. Подзоровой («Литературная Россия» от 5 октября 1979 года), все же уверен, что «читатель, не отчуждаемый „пороками“ героев, «охотно готов сравнить» с их образом жизни свой, свое общественное поведение. (К этому надо иметь охоту, о чем и речь.) По словам Г. Баженова, писатель «словно вместе с героями оказалась в трудной нравственной ситуации... Постепенно мы попадаем в тонкую ловушку, приготовленную для нас прозорливым автором... Мы начинаем тревожиться не только за выдуманных героев, но и за собственную душу, за чистоту и искренность собственной жизни... Проза Маканина... вызывает к совести...»

По поводу «Человека свиты» кто-то из писавших о Макаanine удивлялся: до чего ж ничтожен этот Митя Родионцев, держащийся за местечко в деловой «свите» директора Техпроекта, а ведь когда его потихоньку выпихивают и он сокрушен своей катастрофой, не плюнешь и не скажешь: поделом!.. Эта небольшая повесть-рассказ — почти сатира. Но именно — почти. Каждому из персонажей при общем их ничтожестве подарена медовая капля сочувствия, эти лица постигнуты писателем не только извне, но как-то связаны с его самоощущением. Монументальная, словно изукрашенный идол, невозмутимая, словно аллегория Судьбы, вынимающей жребии смертных, секретарша Аглая Андреевна — не просто «холодная баба», как в сердцах о ней однажды скажет отлученный Митя. Она — пусть это по слухам о какой-то ее прежней, менее ординарной жизни — любила (и любит?) директора, она, возможно, окружает его деловую суету знаками комфорта и престижа не просто по долгу и к выгоде своей службы, а с тайным сердечным жаром, в ней даже угадывается умная широта. Затем — Вика, соратница Мити Родионцева по «свитскому» мельтешению: она тащит на себе семью, лопухамужа, для нее выигрываемые мелкие подачки и удобства — довольно чувствительный приварок к ограниченным средствам существования, ее, как говорится, можно понять — с той точки зрения, какою все мы часто пользуемся в обиходе, не переключаясь на высшую. Ну а сам Митя? Удастся ли нам совершенно сторонним взглядом окинуть его бессмысленную зависимость от Аглаи, жалкое честолюбие и пустую обиду?

Как в критике уже отмечалось, «Человек свиты» писан с оглядкой на «Шинель», к которой Маканина приковывает особый

интерес (эпюда его о Гоголе помещен в «Голосах»). И там и тут костяк сюжета — субъективная трагедия в связи с объективно ничтожной потерей. И там и тут же упущен из вида собственный взгляд героя на то, что с ним произошло. Вытолканный и из протеста напившийся Митя долго не может сформулировать суть своей утраты. Сначала он пыжится за ресторанным столиком и врет командированным сибирякам (не внемлющим и безгласным опяты-таки подобно непроницаемому року) про какие-то свои заслуги и служебные интриги. Но ложь не облегчает его сердца, а неотступующие сибиряки как бы вымогают дальнейшее, правдивое покаяние. И он признается, что был из тех, «кто шестерит, а отняли у него всего-то «лукавую должностешку», к которой он, однако, «привязался». Теплее, уже теплее! Между тем самооплевывание не утешает тоже, и его последнее, выговариваемое заплетающимся языком, но вполне человеческое наконец слово — будто тоненькая ниточка, за которую он цепляется, чтобы дойти до своего момента истины: «М-меня любили, а теперь н-не любили». Можно считать, что в усмешливой повести Маканина — это своего рода «гуманное место». (Особенно если видеть его образец не в знаменитом лирико-патетическом «гуманном месте» «Шинели», а в другом, реже замечаемом: после ограбления «Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого.) «Любили — разлюбили» — это опыт, объединяющий всех людей. И, поверив Мите, мы, те из нас, кто может «сколько-нибудь представить», без брезгливости в эту минуту понимаем, каково ему пришлось. Маканину же читательское сопонимание затем и нужно, чтобы вынудить чувство, что Митя Родионцев — «один из нас». И не только «брат по человечеству», но и сотоварищ по ложной (ну хотя бы иногда подчас ложной) нацеленности жизни. Те, кто из-за Маканина горячится, подзревают, что от них ожидается это самоотожествление с непривлекательными фигурами, и протестуют против несправедливого — как кажется им — приобщения себя к чужой вине.

Так наталкиваемся мы на своеобразный маканинский морализм — не противостоящий своему объекту, а себя с ним объединяющий, рассчитанный на такое же «покаянное» движение читателя и наперед знающий, что оно родится далеко не у всех.

Центральный укоризненный символ этой

прозы — «место под солнцем». Так назван один из последних сборников, но нехитрая эта метафора повторяется и реализуется многократно: от сравнительно давних рассказов «Классика» и «Дашенька», где она осуществляется в виде места на пляже под щедрым солнцем юга, но в тесноте, так что надо лавировать между телами соседей, до «Человека свиты», где вождеденное место совпадает со светлой Аглаиной приемной: какое-то незаходимое в любую погоду солнце, праздничные шторы, отделяющие от серенького мира, и цветущая роза в кадке — райское дерево.

Выше уже говорилось, что Маканин в своем качестве «человека из барака» с особой болезненностью выделяет в общем течении жизни потускнение и распад «хорового начала» — незримых, неформальных связей между людьми, которые складываются в страде, беде, нужде, но на этой чрезвычайной, временной и отрицательной основе не упрочиваются, а требуют для своего поддержания какого-то притока положительной энергии. «Место под солнцем» — предельный знак того, что в прошлом веке Достоевский называл «обособлением». Кажется, в «Обмене» Ю. Трифонов с горечью заметил, что, говоря отвлеченно, смерть — куда более значительное событие, чем чье-то устройство куда-либо, но смерть чужой матери значит меньше, чем поступление моего ребенка в музыкальную школу... Однако примечательно вот что. Герой Трифонова навлекает на себя вину, когда действует — выбирая, как поступить. Герой Маканина виноват уже заранее. У Трифонова — «обмен»: поступок, акт, суммирующий весь предшествующий ложный путь. У Маканина — «полоса обменов», безотчетное вращение в соответственный уклад, из чего следует череда рефлексов с неизбежностью «б» после «а». Трифонов обращается к человеку бодрствующему, с тем чтобы он не ошибся в выборе, Маканин — к человеку спящему, с тем чтобы он пробудился. В «Полосе обменов» возникает смущающий парадокс. Герой рассказа Ткачев (все эти Ткачевы, Михайловы, Кораблевы, Ключаревы, Игнатьевы тривиальной неразличимостью фамилий восходят, конечно, к чеховскому Иванову) стыдится, что собрался менять свой двухкомнатный кооператив на более дорогую трехкомнатную квартиру, то есть «улучшать жизнь за счет других», тех, кто из-за трудного стечения обстоятельств обеднел и вынужден ужаться. Но этот же Ткачев, сам себе удивляясь, не испытывает угрызений совести из-за того, что у него наматилась

связь с обменщицей — привлекательной Гелей, Ангелиной, вдовой погибшего летчика, и что, обменявшись, он будет тайком от жены навещать приятельницу в своем бывшем семейном гнезде, куда той предстоит переехать. Получается, что Маканин бросает камень в своего героя не за явный грех, а за то, за что никто не бросит: кто же станет упрекать материально окрепшую семью за желание жить лучше? Но если вокруг этого желания организуется вся жизненная перспектива! Здесь вина до всякой вины, вина как духовный перекокс. Очень существенно также, что герой Трифонова «улучшает жизнь» за счет родной матери, а герой Маканина — за счет каких-то до поры неведомых гипотетических потерпевших, за счет чужих. Последнее для Маканина хуже первого, ибо искривление заключено в самом понятии — чужой. Ну, а «роман» с Гелей — лишь произвольное следствие «кое-какой» жизни.

Тут кстати будет удивиться, что повесть «Отдушина» почти единомысленно понята ее интерпретаторами как драма погранный и проданной любви. Спасибо И. Дедкову, который разглядел на заднем плане драматического треугольника обиженных жен и поставил под сомнение достоинство всех этих чувствований и приключений. Маканин с ним заодно, хотя видит оттенки. Его осторожные уточнения («любовь или вид любви») свидетельствуют о каком-то коэффициенте неподлинности, подстерегающем вроде бы искренние движения сердца. Чувства не истинны, потому что попутны, побочны, в жизни героев они ничего не меняют и не решают, — выхлопы отработанного пара (еще один смысл слова «отдушина») по пути к иной, практической поставленной цели. Если попутчицы-жены (чьи страдания в маканинском мире И. Дедков преувеличил) находятся при этом в более надежном положении, чем отдушины-любовницы, — здесь, к сожалению, еще нет нравственного выигрыша. С последними переживается и нежность и горечь разлуки — нет только риска сбиться в сторону, опасности утратить самоконтроль (как когда-то потерял его начальственный инженер из Старого Поселка, загубивший карьеру, а потом и жизнь из-за «татарочки»). Именно такую «почти любовью» любит Михайлов свою поэтессу (а она — его, ибо ткет нитку собственной судьбы, поневоле не учитывая «привходящие факторы»). Такими же «побочными» могут оказаться чувства отцовства и сыновства, они фальшивы, раз не мотивируют собой человека, раз его заведомо мотивирует другое. Фальшив порыв

полуразведенного Леночкиного мужа («Предтеча») при встрече с пацаном-сыном. «Сыночка мой! — старомодно, не слишком искренно произнес он». «Но,— добавляет справедливый автор,— боль была искренняя». Родители расходятся, и соображения о сыне вместе с прочими «за» и «против» давно уже взвешены и приведены к итогу. А искренняя боль — это, как любит пояснять Маканин, «такая минута». Она минует. И совсем уж зловещ в той же повести некий «хороший сын», между деловыми оборотами и ресторанными загулами организующий — за любые деньги! — спасение своей матушки от старости и смерти. Идеология «места под солнцем» распространяет едкий душок меркантилизма, проникающий в отношения людей, даже когда грубого расчета нет.

Потому-то достигший «места» удачник, по Маканину, всегда виноват — уже тем, что удача ему любезна: возникает блаженно-беспечное состояние, когда о других не думается. Писателю близки слова из чеховского «Крыжовника»: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные». В притче «Ключарев и Алимушкин» он как бы развивает этот образ, поворачивая дело так, что счастливчик после некоторых совестливых колебаний выбрасывает человека с молоточком вон и затыкает уши. Положение заостряется еще и тем, что счастливчик чувствует: ему прибывает удачи по мере того, как никнет и чахнет другой, малознакомый бедолага, — словно по закону обратной пропорции. Притом сила, тасующая человеческие жребии, у Маканина изображается без фаталистической серьезности — гротескно или иронично: бесстрастный японец, ведающий жизнью и смертью подопытных крыс; Аглая, обновляющая директорскую свиту, как скотовод выстаревшее стадо; сказочный «бог», который успокаивает Ключарева, морально растревоженного своим везеньем: счастье, дескать, как одеяло, на всех не хватает. Этот вздорный образ судьбы не дает ее фаворитам никакого алиби; вопрос получает не метафизическое, а социальное и нравственное измерение. Беда не в том, что одеяла не хватает, а в том, что его делают — куда как торопливо и бойко. Маканин тоскует по той силе взаимной близости, которая внутри человеческого коллектива погашала бы унижительные колебания везенья-невезенья.

**Отдаленный и остраженный образец чеховского подобия — Аварийный доскок, где**

сирота поет на поминках собственных родителей, потому что без его голоса собравшимся нельзя обойтись, и где его сообщая снаряжают в жизненный путь. Сходная общность не менее условно, хотя и по-бытовому, изображена в ранней «Безотцовщине»: бывший детдомовец, ныне следователь Лапин (один из первых маканинских донкихотов, написанный еще умозрительно) превращает свою комнату в фактический барак для бывших соспитанников и, отказываясь от «личного счастья», живет с ними в состоянии некоего духовного коммунизма, пока те не отрываются — каждый в направлении своего «места под солнцем» — и не оставляют его одного. Обидная категория «удачи» преодолевается, таким образом, именно социально, силою человеческих взаимосвязей; но уже в «Безотцовщине» у Маканина брезжит мысль, что достижимо это только на путях чьего-то крайнего самоотречения и жертвы. Смысл притчи об удачливом Ключареве и неудачливом Алимушкине не в том, что Ключарев недостаточно участлив к судьбе полузнакомца и слишком скупотомеривает ему успокоительные для совести добрые дела, а в том, что другой вообще существует перед ним в статусе полу- или незнакомца, от которого можно — задешево ли, задорого — откупиться, оставив между тем свою жизнь в прежнем русле. Это претензия максималистская, и, я думаю, те, кто уже писал о максимализме Маканина, не ошибаются. Подобный максимализм сказывается и в «Предтече» — в жуткой картине «выхода на смерть», когда Якушкин замаривает себя голодом вплоть до агонии, а затем ее преодолевает: сразу — и «острый опыт» на себе, отвечающий якушкинскому стремлению к наукообразию, и жертва, добровольно приобщающая целителя к его пациентам-смертникам, к их страху и отчаянию. Впрочем, гротескность и уродство сцены эстетически свидетельствуют о неполном доверии писателя к собственной идее.

## 6

Классическая «наследственность» Маканина (замеченная И. Соловьевой даже в порядке суетном «Портрете и вокруг») — все-таки существует ли она? Мы помним, что маканинскую прозу **упрекают** за отсутствие широкого дыхания русской классики, ее больших тем. Мне, напротив, писательский путь Маканина представляется поступательным — и неожиданным для него самого — открытием этих больших тем в непрезентабельной гуще будней с их **сиюминутными признаками и метами, в**

«бытовой канючке» и «на пяточке» (как выражаются иные). Есть у него старый рассказ — «Классика»: некто расстается с женой ради нового увлечения. Стыдно ему и тошно не только оттого, что предстоит нанести удар близкому человеку. Главное, он не в силах скрыть от себя причину своего падения, своей непоправимой уже беды. Он рад бы запутать движущие им побуждения в клубок каких угодно «амбивалентностей» (нередко ими-то и попрекают «новую волну» прозаиков), но правда является сознанию в своей элементарной наготе. Я, говорит он случайному собеседнику, «брошаю жену ради более обеспеченной. Экая, ей-богу, классика». («Обеспеченная» — это еще современный эвфемизм для произнесения вслух, мысленно же «грубое и несовершенное объяснение» формулируется в соответствующих делу понятиях: «деньги», «брошаю ради богатой».) Конечно, «все сложнее» — не имение же получит этот Кораблев за новой подругой, не пук ассигнаций или акции золотых приисков. Просто где-то живут широко, празднично: вкус, возможности, такая среда, такова же независимая, широкая Марийка, — а жена, вывезя ребенка к морю, на пляже вяжет себе из экономии купальник, и купальник получается бледноват. С удивлением обнаруживает за всем этим герой, а вслед за ним — с тем же удивлением — и писатель, старую коллизию ценностей: деньги или любовь? достоинство или достаток? верность или выгода? И, обнаружив, называет эти вещи без всяких эвфемизмов именами, старыми, как мир, ранимыми совесть, классическими их именами.

Часто Маканин воспроизводит положения, знакомые по классической литературе, неосознанно или полусознанно — именно что «наследственно»: они заложены в его культурных генах и не всегда проведены через рефлексию. Последнее и хорошо и плохо. Плохо потому, что остается впечатление движения на ощупь, если не с нуля, то со слишком малого запаса. Хорошо же, поскольку перед нами непреднамеренное возвращение к старым большим вопросам, а не стилизация или пародийное снижение (каковыми и без того изобилует литература XX века). Когда в «большом городе» в ночи слышится одинокий плач ребенка («Рассказ о рассказе», «Предтеча») и чуткое ухо болезненностораживается в ответ на сигнал тревоги, то веришь, что писателю подсказано это не литературой, а духом затаившихся кварталов и таинственной путаницей полуоткрытых окон. Но невозможно тут не вспом-

нить и сон Мити Карамазова. Если же вернуться к вопросу о деньгах, то вряд ли Маканин сам замечает, что в «Отдушине» повторена знаменитая сцена из «Бесприданницы» А. Н. Островского: о женщине «договариваются», а уговор скрепляют честным (в ту пору — «купеческим») мужским словом. Алевтина в отличие от Ларисы Огудаловой, конечно, не вещь — в смысле экономической зависимости от мужчины. Но она тем не менее оказывается вещью, ибо может быть измерена «всеобщим эквивалентом» социальных услуг и средств к продвижению.

Классические положения с их большой мыслью — в пределе: о «спасении человека, человечества» (последнее неожиданно открывает в писателе его оппонент А. Казинцев) — плохо улавливаются читающей Маканина критикой, потому что современный материал не просто облекает эти ситуации подобно временным одеждам на вечном теле притчи, а проникает их насквозь и по-новому проблематизирует. Маканин — писатель, идущий от живого (хотя и не от пластически-живописного). Часто подмечаемые у него черты конструктивного рационализма и иронической интеллектуальности, на мой взгляд, выделены и названы неточно. В тех редких случаях, когда он отправляется от общей мысли, а не от загадки лица («Где сходилось небо с холмами»), критике легче бывает его расшифровать и, значит, похвалить, но условные фигуры не дарят того чувства подлинного мыслительного открытия, какое он умеет извлекать из живой природы (когда «входишь в задачу, как в лес», по выражению героя «Прямой линии»). А. Проханов хорошо выразился: «кристаллография Маканина». Не конструкция, а кристалл, то есть нечто органически растущее, хотя и схематически самоупорядоченное.

Не замечая, насколько знакомо строение этой кристаллической решетки, критика с ее претензиями попадает подчас в собственные сети. А. Казинцев красноречиво разъясняет, как в «Предтече» дискредитируется спасительная сила любви к ближнему. Якушкин, пишет критик, наделен подлинным даром такой любви. Но является он со своим даром как бы из небытия. Дар его случаен, рационально не обоснован. Приходит он к залгавшимся «людям ситуации», недостойным этого дара (тут А. Казинцев мог бы припомнить, что «не здоровые нуждаются во врачах, но больные»). Он бросает им вызов, но одержать победу не в состоянии и погружается, обреченный, во тьму. Вдобавок он нестерпимо компро-

метрирует себя надрывной любовью-жалостью к гулящей женщине, которую не покидает, несмотря ни на какие унижения... Но ведь в таком пересказе маканинского сюжета критик, ступень за ступенью, бессознательно воспроизводит центральный «миф» романа «Идиот» — с той добавкой сомнительной огласовкой, когда в трагедии князя Мышкина хотят видеть его духовное поражение!

В склад маканинской прозы, конечно, вошел и «экзистенциальный опыт», специфичный для нашего века, не знаемый девятнадцатым. В ней, в этой прозе, бросается в глаза отсутствие трогательного как эстетического переживания. Даже объективно трогательные вещи рассказываются так, чтобы не растрогать, не умиливать, как будто и не было в недрах русской культуры омывающего душу «умиления». Есть тут некое неверие, что на этих путях можно к «внутреннему человеку» достучаться, — нет, его надо пронять и «достать», не церемонясь с его чувствительностью, он слишком ко многому привык. В некоторых вещах Маканина — «Солдате и солдатке», ряде этюдов из «Голосов» — ощущимо сильное совпадение со «Знатьевцами»: революционным Буниним, Серафимовичем как автором «Города в степи», с циклом Горького «По Руси»; тот же градус «жестокости», рассказывание недогнущим голосом о страшном. «Знатьевцы» в этом смысле открывали собой XX век еще на пороге его главных потрясений. «Тело» попадает в фокус внимания такой литературы совсем не потому, что подавило жизнь духа своим биологическим цветением, чувственной экспансией. Нет, тело с его незащищенностью — достижимостью для взрыва и для пожара, для яростного самосуда (легенда об уральском разбойнике в «Голосах») и для хладнокровного ножа хирурга — становится объектом и средоточием травмы. Маканин показал травмированных войной послевоенных людей — тема, в жизни далеко не выболевшая. В «Солдате и солдатке» встреча и расставание двух деревенских жителей происходит на анекдотической основе, что никак не вяжется с их серьезными, крупными, полновесными характеристиками, с традиционной опрятностью их житейских правил. Но в этой-то неувязке и состоит скрытый драматизм их положения, ключ к которому дан заглавием повести, хотя ее события случаются лет через двадцать после войны. Исползованные, выжатые великой войной, не приставшие в своем захолустье к меняющейся жизни, солдат и солдатка остаются без потомства, без

сбывшихся замыслов, застывают на некоей черте, служащей стартовой отметкой для следующей формации, и платят свою незаметную цену за ее будущее «облагодетельствование»... Целые звенья выпали из преемственности поколений, родов, семей, и это тоже травма на живом теле, какую не осмысливала старая литература.

## 7

Тем не менее проза Маканина попросту лишается стержня, если в малом пространстве ее социальны «анекдотов» не разглядеть классически просторной внутренней тематики. Так пока не был прочитан критикой «Гражданин убегающий». Не для того же рассказана эта история, чтобы принудить сердце читателя к противоестественному выверту, заставив его пожалеть беспардонного таежного «романтика», который засеял осваиваемые пространства своим случайным потомством, а сиротливых детей, преследующих беспутного отца, подвергнуть опрометчивому суду.

Внутренняя тема Убегающего — донжуанская (отнюдь не в бытовом ее снижении), завершающаяся неизбежной гибелью этого печального грешника, который всю жизнь губил то, что любил, что было для него предметом эротического восторга. Речь идет о земле, ее красоте и ее нетронутости, до коих так охоч Павел Алексеевич, этот донжуан «русского космизма». Здесь никакая не аллегория, а самая настоящая страсть, сродни тому космическому чувству, которое продиктовало Достоевскому монолог Хромоножки в «Бесах», Владимиру Соловьеву — любовное признание озеру Сайме как «душе мира», а Заболоцкому — его «Лесное озеро». Чтобы в том убедиться, достаточно взглянуть глазами Павла Алексеевича на мир тайги, на ручьи и речки, ощущая вместе с ним «стыдливость их быстрых поворотов», на стволы деревьев, пробуждающие в нем «некое вожделие»: «Они летели над тайгой, которую сверху Павел Алексеевич знал почти так же, как снизу... При каждом повороте реки возникали ряды выстаревших елей, каждый раз — новые; в них было выражение, в них был смысл и даже обнаруживалось вдруг лицо с особым, своим рисунком...» Но переведенное в практику чувство это разрушительно: Павлу Алексеевичу дано прикасаться к этой красоте, только ее истребляя. Он, первопроходец и цивилизатор, собственно, под тем условием здесь и находится, чтобы нарушать целостность и равновесие земли. Он бежит вглубь, все дальше, все восточнее, го-

нимый и жаждой нового наслаждения и отвращением к покинутой жертве, «тоской и скукой ненавистной», как то и положено фаустовско-донжуанскому типу. «Порушив нехоженость, чуть обжив и наведя людей на дело, уходил, а уж люди вытаптывали вслед за ним».

Конечно, это не личная только коллизия Павла Алексеевича, а историческая, эпохальная. К природе должен прийти и прикоснуться кто-то другой, бережный, нареченный, а приходит Костюков со товарищи. «Ели, ручьи, травы — они привычно ждали человека наивных знаний и больших страстей, но те века кончились». И взлетает корнями вверх маленькая елочка. И стираются волнующие, воделенные изгибы и очертания земли. (Сравним с раздумьями композитора Башилова, который тоже чувствует себя — в духовном измерении — разрушителем, истощившим родную почву Аварийного поселка: «Он смотрел туда, где сходилась небо с холмами. Эта врезавшаяся в память волнистая линия... рождала мелодию еще раньше, чем он успевал о чем-либо подумать. Но, кажется, волнистая эта линия плодоносила именно в воспоминаниях и только в воспоминаниях. Он ее унес. И здесь, наяву, эта местность уже ничего не рождала. Она была выпита, как бывает выпита вода, водичка...»)

Павел Алексеевич плывет внутри этой большой всемирно-исторической коллизии, как щепка в потоке: повадливый, ничему не противящийся потребитель заповедной красоты. Неустрашимое, но бездейственное чувство вины, «сухая постоянная боль» изнутри подсвечивают его скорбным отливом, притягательным для простых женских душ. Так что при желании в его «матером, хриплоголосом, потасканном облике» можно разглядеть вырожденного Печорина, перекочевавшего наконец в дальние страны и умершего там от дизентерии, в толстой же поварихе Джамиле, в ее влюбленных речах: «Твоя сильный. Твоя сладкий», — церкешенку Бэлу.

Что до прозаически-бытового лица Убегающего гражданина, до его не сполна уплаченных алиментов и покинутых некогда малюток, то посмотрим, как совмещается в этом пункте поэтически-гротесковый план с нравописательным. Кто эти «девчушки» в перемазанных и перелатанных джинсах, мотающиеся по Усть-Турской стройплощадке и с хихиканьем окликающие Павла Алексеевича: «...Ну товарищ бригадир, ну не будьте сухой... Мы работать хотим. Мы знаете откуда приехали!..», «...Приходите, — сказала рослая, — к нам в восьмую

и влюбляйтесь, в кого хотите влюбляйтесь, не из пугливых мы»?.. «Ну, вы, — зрелел Василий... — Вы сначала узнайте, не ваш ли он, однако, отец, не с папашей ли в жмурки играете!» Кто та крепенькая малярша, одна из матерей костюковского выводка, у которой до Павла Алексеевича был Колька-бульдозерист и которая «все грозилась, что родит»? И не был ли похож ее Колька на седого пятидесятилетнего мужика Витюрку, с гитарой и бутылкой кочующего вслед за Павлом Алексеевичем, имеющего свое право вместе с третьим из мушкетеров, сентиментальным Томилиным, воскликнуть: «...Это мы построили поселки, это мы обжили все эти болота!..»? Обитательницы же этих типовых поселков, подсобницы и маркитантки армии технического прогресса — разве попадают они в условия, согласные с их женственным естеством и предназначением? Разве угроза того, что отношения между полами здесь будут складываться, мягко говоря, беспорядочно, нереальна? Разве уже не предупреждали нас В. Распутин и В. Белов о неизбежном падении нравов на лесоповале, например, и вообще в таких вот временных поселках, занятых кочевыми подразделениями раскорчевывателей и свежеввателей природы?

Как и в случае с Ткачевым из «Полосы обменов», неочевидная вина Павла Алексеевича — передового гвардейца «неурядья» (здесь кстати слово из распутинского «Пожара») — выделена и подчеркнута по сравнению с его очевидной виной. Зачем ломиться в открытую дверь? Ничего, понятно, нет хорошего в том, что Костюков оставляет после себя матерей-одиночек и безотцовщину; не меньше виноват он и перед своей «еще в общем живой» матерью — плохой отец и плохой сын, ведущий, в отличие от уже знакомых нам персонажей, свой «род» не вверх, а вниз. «Опять просишь денег, но ведь нет их у меня, мать, нет. Сама знаешь: я не держу деньги... нет у меня денег, сдохну я скоро... И не упрекай меня тем, что ты хочешь купить телевизор... Ты уже старенькая, восемьдесят тебе, старенькая моя и слепенькая, как-нибудь обойдешься, зачем тебе телевизор? Твой Павел». Циничное это письмо — правдиво. Павел Алексеевич, действительно отдав все до последней полушки, уйдет в землю, которую он корезил, нагим и выжатым до капли — и так с нею, любимой и губимой, примирится («бог дал легкую смерть»). Повсюду гонятся за ним Эринии в хамоватом обличье его «сынов», этих порождений насаждаемого им же образа жизни. И он стыдится их («сложное чувство»,

замечает соглядатай-автор; ведь свои все же сыновья, а не пришлые «архаровцы»). Как стыдится той пошлаой маски «таежного волка», «клевого мужика», не совпадающей с его внутренним зерном, но приросшей к лицу, какую они, по-своему любя отца, лихо у него перенимают. А тот, сколько ни силится откупиться и убежать, откупается только смертью. Смерть виновного, но не упорствующего в малодушных оправданиях героя, как в античной трагедии (разыгранной здесь под оболочкой грубого фарса), вполне удовлетворяет чувству справедливости тех, кто следил за ее перипетиями. Это чувство строгое, без слезливости и без форсированного негодования. И незачем вбивать осиновый кол в безвестную могилу. Не лучше ли задуматься над истоками беды и вины Павла Алексеевича, над смыслом и целью решающей, должно быть, встречи современного человечества с девственной жизнью земли?

Здоровой литературе равно необходимо и набатное звучание распутинского «Пожара», зовущего всех немедля справиться с угрозой, и чисто художественная закуска «Гражданина убегающего», рассчитанная на медленное проникновение в души.

Владимир Маканин, как сказали бы в старину, — художник по преимуществу. Это не значит, что он во всем хорош и силен. Написал он и немало пробного, особенно поначалу, иногда же — просто развлекательного. Это не значит также, что его кругозор отличается каким-то особым охватом. Нет, на первый случай он слишком недо-

верчив к работе человеческого самосознания, ему не дается герой, способный своим словом выразить идею собственной жизни, заслуживающий того, чтобы быть не только рассмотренным, но и выслушанным. В жизненном мире его прозы преобладают автоматизмы, навыки существования, на коих сосредоточен его беспощадный и умный глаз. И это, конечно, «не вся правда», хотя и крайне необходимая ее часть.

Называя Маканина художником прежде всего, я хочу сказать, что большие вопросы времени он ставит так, как это свойственно именно искусству: он не поражает, а исподволь заражает ими. Мы узнаем себя в его «портретах» только после определенной внутренней работы, не всегда приятной и часто безотчетной, но что-то непременно меняющей в глубинных ориентациях. Искусство, как капля, точит камень нашей поверхностной самоуверенности — уверенности в том, что мы знаем жизнь и знаем самих себя. Искусство не только самое доходчивое, но и самое трудное средство социального общения. В этом, по-моему, заключается один из уроков спора вокруг Маканина. Другой урок, однако, состоит в том, что по двухвековой благородной привычке у нас рано или поздно спрашивают писателя, художника: **ка к ж и т ь?** И если до сих пор Маканина спрашивали об этом, должно быть, слишком в лоб, еще не уяснив толком подходы к его миру, то такого же вопроса из уст «воспитанного» им и уже доверившегося ему читателя в будущем все равно не миновать. **Как-то** Маканин ответит?



---

---

БОРИС ПАНКИН



## НА ГРАНИ СТИХИЙ

**П**рочитал однажды у Пришвина, не помню даже где, и запало на всю жизнь: «Материалы мои были хорошо собраны, правильно расположены, но не хватало им момента творческой кристаллизации, когда каждое слово становится на место само собою. Творческое поведение,— рассуждает далее Пришвин,— по-видимому, потому и поведение, что направлено к этой одной цели самодействующей кристаллизации».

Столько лет уж мечтал и мечтаю написать о Валентине Катаеве. Но не выпрядалась, однако, единая нить из прочитанного в детстве и зрелом возрасте, из услышанного о нем, а потом и от него.

«Белеет парус...» — это просто в тебе, часть тебя, одно из тех сладостных переживаний, которые для моего поколения неотделимы от ощущений детства. Кого бы из сверстников своих ни спросил о читанном в ту пору, в числе десяти — двадцати запавших в душу вещей обязательно будет и эта катаевская повесть.

Затем — пауза. Не в творчестве писателя — в моей читательской переключке с ним. «Время, вперед!» волнует как свидетельство очевидца. «Сын полка», «За власть Советов» — пережито, но не литературно, а событийно. «Святой колодец» — первый толчок, «Трава забвенья» — второй, и потом с каждой новой вещью — все сильнее и сильнее удары, словно пульсация крови в висках после быстрого бега или внезапно пережитого волнения.

Личное знакомство. Первые встречи. «Алмазный мой венец», «Юношеский роман», «Спящий». «Сухой лиман»<sup>1</sup>... Все ближе

и ближе... Вот «Спящий» — рассказ, эссе, воспоминание, впечатление, пролившееся в одночасье, сон наяву? Как ни назови, но для меня он наступил наконец, момент кристаллизации. Накопленное в записях и в голове запросилось на бумагу, и слова словно бы под воздействием магнитного притяжения стали укладываться в одном лишь им ведомом порядке.

«Спящий понимал, что он спит, но у него не хватало сил прервать сон и заставить себя проснуться — выплыть из неизмеримой глубины сновидения. Он сделал отчаянное усилие, чтобы разорвать сон, и ему даже показалось, что он проснулся. Но это был всего лишь сон во сне».

Сюжет здесь, как ни в какой другой вещи Катаева, эфемерен. Любовь бывшего морского офицера, а может быть, гардемарина к бывшей прокурорской дочери, бывшей — потому что прокурор-то после революции уже не прокурор... Тут важны не события, а взгляд на них... Вернее, ощущение спящего и того, кого рассказчик называет «я» — «юноши с загорелым цыганским лицом и жесткими темными волосами». И взгляд самого рассказчика, при том что в конечном итоге, как мы вскоре догадываемся, речь идет об одном и том же человеке. «Воображение казалось могущественнее действительности. А может быть, действительность подчинялась воображению спящего, который в эти глубокие ночные часы был в одно и то же время самим собой, и всеми нами, и яхтой, и мигающим маяком, и созвездием Кассиопеи, и мною».

Свидетельство соблазнительное, но уличать писателя в том, что именно он — это и есть спящий, отнюдь не входит в мои намерения. Да и кто, включая самого Валентина Петровича Катаева, мог бы настаивать на этом с уверенностью? На что намекнул, вернее, что подсказал этот небольшой, но нагруженный смыслом рассказ — так это формулу бытия писателя,

<sup>1</sup> Все наиболее значительные произведения Валентина Катаева последних лет включены в десятитомное собрание сочинений писателя, выпуск которого издательство «Художественная литература» завершило в текущем году. «Спящий», а также «Сухой лиман» были опубликованы в журнале «Новый мир» в № 1 за 1985 год и в № 1 за 1986 год.

которую он, быть может, искал всю жизнь. Рождаются на свет такие люди, для которых обыденная жизнь — лишь производное от деятельности или творчества. Но даже и творцам и деятелям порою требуется немало лет, а иногда и целая жизнь, чтобы понять: выбирать надо что-либо одно. И свое. Катаев — Спящий? Нет, грезящий наяву — повестями, рассказами, романами, стихами даже, о чем мало кто догадывается... Он выбрал, он нашел, пусть и не сразу...

Сравниваю собственные ощущения от встреч с Катаевым, от разговоров с ним, свои зрительные впечатления с тем, что говорят и каким видят его другие, и каждый раз снова убеждаюсь, что для меня существует свой Валентин Катаев — не только ни на кого другого не похожий, но и ни с чьим другим не сравнимый.

Мне говорят — и это действительно, наверное, так, — что он сутул и что не может не быть сутулым человек в его возрасте и при его росте. А в моем представлении он строен и прям, особенно когда сидит у себя на даче на веранде за обеденным столом во главе семьи, разбавленной порой небольшим числом гостей.

Говорят, что он стар, чему свидетельство его года, а на меня от его суждений и реплик, сопровождаемых нередко быстрым, с блеском в глазах взглядом, веет молодостью и озорством одесской литературной богемы, воспеваемой им всю его жизнь.

Отбиваясь от критиков, упрекающих его за искажение то образа, то события времен этой самой богемы, он ссылается на издержки своей памяти, а я не встречал еще в своей жизни человека, который так дешево удерживал бы в сознании мельчайшие, казалось бы даже ненужные, подробности.

Как-то его сын Павел в свойственной ему иронической манере начал рассказывать об одном в годах уже писателе, который, мол, возомнив себя Горьким наших дней, рассылает во множестве молодым своим собратьям напутственные письма. «Зелеными чернилами», — почти машинально добавил Валентин Петрович.

Удостоверившись, что это действительно так, я потом ни от одного из получателей этих писем не услышал с ходу правильного ответа относительно их, так сказать, цвета.

Говорят, что он якобы недослышит, а я так убежден, что просто он пропускает мимо ушей все не заслуживающее его избирательного внимания...

— Вы читали Катаева? — спросил меня один из близких мне людей, имея в виду последнюю из появившихся к тому времени повестей мастера.

— Читал.

— Это действительно ужасно?

— Да почему, собственно, такой вопрос?

— Но я отовсюду это слышу.

Вскоре за столом у Катаевых обнаруживается, что и молодое поколение дома не разделяет моего нескрываемого и отнюдь не куртуазного восхищения новой повестью. Здесь это принято — «нападать на папочку» — и, в общем-то, не вызывает как будто бы возражений у старших. Валентин Петрович от нападков отбивается поначалу вяло, дежурно, как бы не желая обидеть детей ни безразличием к их суждениям, ни откровенным, бывает, их неприятием.

Нет пророка в своем отечестве? Сдается, предположение такое нимало не смущает Валентина Петровича: он сам знает и определяет себе цену. Безмятежно восседая за столом, он, как бы подавая пример младшим, время от времени пригубливает из бокала красное французское вино.

— Вот вы, говорю, обижаетесь, — пересказывает он свою беседу с одним американским прозаиком, — что у вас писателей критикуют, и порой уничтожающе, за их книги. — Тут он повел вокруг взглядом, вовлекая в его орбиту разгоряченных не умолкнувшим еще спором детей. — А мы за такую критику спасибо бы сказали, потому что у нас самое страшное — молчание. Пиши, сокрушай любые идолы, любые авторитеты, любые власти — никто и ухом не поведет, как будто тебя и нет... Вот что по-настоящему страшно.

Он вновь победоносно оглядывается вокруг.

— Что такое? — спрашивает громогласно, как это свойственно людям, которые действительно недослышат.

Спор за столом сливается с тем гулом, который стоял в ушах все последние дни после выхода новой повести Катаева.

Думаю невольно о том, как быстро рождаются и как прилипчивы ярлыки, словно бы заклеивающие для нас лежащий перед нами текст. Кажется, с каждой новой вещью позднего Катаева случается такое.

— Нет, невозможно быть писателем... — вырывается у него вдруг. — Все от тебя чего-то хотят... Но ведь это же правда, правда... — то ли утверждающе, то ли просительно повторяет он. — Остальное — аксессуары...

Катаев переводит разговор на форму. Говорит о последней новости, что она была вначале на восьми листах и он сам сократил ее до трех... Отжал, как выжимают мокрое белье после стирки... Убрал все лишнее, на этом и спотыкаются... Не надо много деталей, лучше одна деталь, которая сверкала бы как крупный чистый бриллиант...

Замечает попутно, что сам-то делит свое творчество на два этапа — до и после того, как понял, что не нужно писать «настоящих» романов, что они слишком громоздки и приходится волочить за собою массу балласта в виде «лепки характеров» и узоров сюжета...

— Мандельштам браковал все, что я написал, но находил одну-две настоящие строчки, и это было праздником и наградой.— Катаев задумывается.— А сейчас тебя никто по-настоящему, в лицо, не обругает, но и не похвалит. Не к кому бежать с рукописью...

Он никогда не теряет нить повествования, но порой иное, ему самому принадлежащее упоминание может на мгновение перенести его далеко-далеко от этого узкого круга собеседников и овального, заставленного едой стола, особо украшенного поданной по рецепту жены «салфеточной икрой».

— Булгаков это придумал — Валюн. А я его звал Мишуней.

Услышанное одновременно и ново и знакомо тебе. Ты в мире Катаева, который он продолжает творить на твоих глазах. Грезя наяву.

Быть может, человек рождается не только с задатками характера, не только с призванием. Быть может, он рождается с глубоко заложенным в нем, зашифрованным и закодированным влечением к какому-то одному-единственному, только на него одного и сшитому образу жизни и действий. Угадать его, наверное, даже труднее, чем само призвание. Иной человек только и делает что плывет против течения собственной жизни и спохватывается лишь тогда, когда сил и воли не остается даже на то, чтобы просто дать увлечь себя потоку. Иногда бывает нужно, чтобы вышибло тебя из седла. И с Катаевым это, должно быть, случилось, когда он перестал быть релактором «Юности». Сложив поневоле руки, он обнаружил себя делающим именно то, что и надо было ему давно уже делать, — пишущим «Святой колодец».

Да-да, осеняет меня, слушающего эти его — наполовину про себя — рассказы.

Быть может, однажды, и именно тогда, когда, расставшись с «Юностью» и иной в том же роде «организационной активностью», он стал чаще заседать вот так за столом в кругу избранных им собеседников, он вдруг прислушался сам к себе и стал писать по-иному, не писать — записывать услышанное от самого себя, и то, что было произнесено вслух, и то, что только подумано.

Поток сознания? Подражание Джойсу и Камю или кому-нибудь еще? Вот так выскажется писатель по-новому, и мы, смотришь, уже начинаем приискивать этому новому общий знаменатель. А может быть, направление каждый раз рождается тогда, когда писатель находит себя? И направлений этих столько, сколько оригинальных писателей? «Гений, какое направление ни изберет, остается всегда гений», — утверждал Пушкин, рассуждая о Шекспире, Расине и Лопе де Веге.

Творчество ли стало образом жизни или бытие превратилось в творчество? Такое бытие, когда разница между одиночеством письменного стола и шумным гулом дружеской беседы как бы стирается... Сократ записал бы свои притчи, наверное, лучше, чем это сделал за него Платон...

Говорили за столом об очередном фильме, где выведен Борис Савинков.

— Савинков, — сказал Катаев, — был совсем не такой человек, каким его показывают. Абсолютно не такая крупная личность. Он был пошляк (самое страшное обвинение в устах Катаева), обыватель, ужасный эгоцентрист, самовлюбленный...

Невнятное бормотание присутствующих за столом.

— Он в первую мировую войну был обыкновенным офицериком, разведчиком. Лебедев — прекрасный артист, но он совсем не того играет... В восемнадцатом году он потерпел полный провал, его банды были разбиты, он вынужден был бежать... Его не было... Он не существовал... Зачем, собственно, надо было его вытаскивать, по существу, поднимать... А теперь вот еще и книга и фильм...

Слышится реплика за столом, что, мол, какой бы Савинков ни был, одного у него не отнимешь — он точно знал, чего он хотел.

— А я вот, — поднимает свои сутуловатые плечи Катаев, — с трудом себе представляю, чего бы он мог хотеть, кроме власти и лести... С белогвардейцами, у которых была ясная программа — назад к царю, он был в кровной вражде. Они откровенно говорили: вот вернемся, не одних

только большевиков к стенке поставим, всех, кто расшатывал... Так с большевиками он боролся... Чего же принципиального он мог хотеть?.. Он ко всем примазывался, чтобы потом взять верх... Был с Керенским, вошел в сговор с Корниловым, потом пытался столкнуться с левыми эсерами... В каждом человеке,— продолжает Катаев,— с детства живет война.— И рассказывает о своей недавней встрече на прогулке с пятилетним существом, которое грозно размахивало игрушечным пистолетом и расстреливало всех и вся вокруг.

— Когда ту повесть, над которой Валентин Петрович сейчас работает, опубликуют и прочитают,— убежденно говорит Эстер Давыдовна, которую в семье чаще зовут просто Эстер,— уже ни один человек на свете больше не захочет воевать.

«Юношеский роман» о любви в письмах появился. Не знаю, убавилось ли число желающих воевать, но еще отчетливее стало, с какой магнетической силой с тех первых послереволюционных лет, вновь возникших и в «Спящем», влечет к себе Катаева бытие на краю, на обрыве, на грани стихий — войны и мира, сегодня и вчера, жизни и смерти, старого и нового...

В «Спящем» эти вечно противоборствующие в жизни, как и в его произведениях, стихии словно бы замерли, замороженные видением друг друга.

Маркс говорил, что высшие взлеты художественного гения человечества не всегда и не обязательно совпадают с политическим и экономическим его прогрессом. И примером тому приводил недосыгаемое для нас творчество древних греков. Индивидуальная человеческая память кажется мне столь же алогичной, как и сама история. Она порой ореолом окружает самые тяжкие для нас годы и равнодушно скользит взором вдоль кисельных берегов и молочных рек. Так минувшая война, самая кровавая и страшная, живет в нас не одним лишь ужасом и болью. Сильнее говорит в нас гордость сопричастностью подви-

гу народному. Боль — возвышающая, грусть — светлая, сами невзгоды — словно выпавший тебе жребий испытать себя.

Одесса между белыми и красными — заповедная земля катаевского творчества. Для него на этом апокалипсическом изломе все начиналось и никогда не кончилось. И фантазмагорическая эта пора, этот первый день творения, агония одной жизни и рождение другой оплодотворили его творчество, навсегда приковали к себе.

В самых разнообразных комбинациях вновь и вновь возникает в его произведениях это реальное и сказочное, страшное и дух захватывающее противостояние антагонистических сил, в которое он продолжал заворожено вглядываться и тогда, когда спор давно уже был решен. Созерцания этого мнимо пассивного, но творчески плодотворного ему хватило на целую жизнь.

«Камышовый курень, костер, запах душистого чая, дымок махорки, которую куривали рыбаки, добрые друзья — чего еще надо человеку для счастья?» — пишет Катаев о героях своего «Спящего», юношах и девушках, сначала выбитых из привычной жизненной колеи традиционно двигавшегося уклада, а затем и в самом буквальном смысле выброшенных на своей яхте разбушевавшейся черноморской волной на маленький песчаный рыбацкий островок...

...Чего еще надо человеку для счастья? Вопрос отнюдь не риторический. Человеку Катаеву нужна еще и способность в возможность рассказать об ищущем счастье человеке. Когда ему это удается, он счастлив.

Когда этот материал был уже написан и отправлен в журнал, пришла скорбная весть о кончине Валентина Петровича Катаева. Но рука не поднялась менять что-либо и править «есть» на «было». Подумал: пусть все останется так, как если бы он был жив.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Н. Попова.** Магия простых слов.— Ал. Горловский. Принцип определенности.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**И. Крупченко.** Полководец новой армии.— Михаил Коршунов. Разговор на «ты».

## Литература и искусство

### МАГИЯ ПРОСТЫХ СЛОВ

**Поль Элюар.** Стихотворения. Перевод с французского. М. «Художественная литература». 1985. 223 стр.

**В** тот день 1947 года в парижской радиостудии стояла особенная тишина, вспоминают участники этой звукозаписи, свои любимые стихи читал Поль Элюар.

Неторопливо вращается пластинка, давняя запись доносит до нас густой и спокойный голос поэта, веско и отчетливо звучат слова: «Явились люди в мир чтобы понять друг друга...» Элюар читает стихотворение «Смерть любовь жизнь», напоминающее, что смысл жизни — в вечном и простом, смысл жизни — в ее непрерывности и вездесущности.

Возможно, стихотворение это никогда не попадалось на глаза Вере Пановой, но герой ее посмертно опубликованной пьесы «Бессонница» («Нева», 1985, № 4) скрипач Ельников, испытывший, как Элюар, утрату, а затем и радость вновь обретенной любви, приходит к открытию схожих истин. «Я был на войне. Она меня научила понимать простые вещи: смерть — небо — хлеб — любовь...» — говорит он.

Разные страны, разные писатели. но одни и те же истины, к которым приводит тернистая дорога жизни.

Сколько бы ни рассматривали под микроскопом событийную хронику жизни и

творчество ушедшего от нас поэта, проходит время, и открываются новые, до сих пор не замеченные или неизвестные строки и даже страницы его биографии.

В нашей стране немало сделано, чтобы познакомить советского читателя с Полем Элюаром. Избранные стихотворения поэта выходили отдельными изданиями, ему посвящены специальные исследования.

С большой скрупулезностью продолжают изучать Элюара во Франции, о нем спорят, анализируют различные аспекты его поэтического наследия: «Дада в поэзии Элюара», «Глаза и свет у Элюара», «Элюар и любовь», «Элюар и смерть», «Элюар и детство», «Париж Элюара», «Элюар и Пикассо», «Сюррационализм Элюара», «Элюар сегодня» и другие.

Согретые живой любовью воспоминания о поэте, множество замечательных и точных наблюдений, глубочайшее проникновение в мир элюаровского творчества Казалось бы, что тут можно еще добавить?

Тем не менее вышедший в 1984 году в парижском издательстве «Галлимар» объемистый том «Письма Гале (1924—1948)» приоткрыл немало нового или по-новому осветил уже известное об Элюаре. Правда,

письма эти опубликованы вопреки воле поэта. Адресуя их поначалу своей жене — Гале Элюар (Елене Дмитриевне Дьяконовой), а в последующие годы — Гале Дали (в 1929 году Галя покинула Элюара ради Сальвадора Дали), поэт не сомневался, что она уничтожает его письма. «Надеюсь, как и я (я даже уверен в этом), ты считаешь, что после нас не должно оставаться следов нашей личной жизни. Поэтому я рву твои письма», — писал Элюар Гале в 1946 году. Галя нарушила эту договоренность. Публикация элюаровских писем вызвала во Франции настоящую сенсацию — прежде всего своей откровенностью. Но ведь они и не предназначались для чужих глаз: с пылкой страстностью в них опозитизирована женщина, которую долгие годы любил Элюар.

Но раз уж эти письма увидели свет, нельзя не оценить важности этого документа: где еще с такой полнотой раскрывается человек как не в переписке, особенно личной?

В «Письмах Гале» преломилась чуть ли не вся жизнь Элюара, история рождения многих его произведений, его собственное отношение к ним, эволюция эстетических и общественно-политических взглядов поэта, длительный союз, а затем полный разрыв с группой сюрреалистов, борьба против фашизма, участие в движении за мир в послевоенные годы, интерес ко всему, что происходило за пределами Франции, дружеское отношение к нашей стране.

Война прервала переписку Элюара с Галей на пять лет. «Не знаю, что сказать тебе об этих пяти годах, — напишет он ей потом. — У нас были и несчастливые и счастливые минуты. Но наши несчастья уступают по сравнению с несчастьями стольких других людей. И мы страдали за других — поверь, что для этого были основания. Я страдал, так как мое представление о справедливости и добре осталось неизменным. На наших глазах почти все время происходили ужасные вещи. Мы надеялись, отчаивались, негодовали, боролись как могли — и состарились. Я разучился смеяться. Но до чего же прекрасны были дни восстания...

В течение года нам с Нуш пришлось скрываться. К счастью, мы не попали в руки гестапо...»

Мы знаем, что за этими строчками стояли годы непоказного мужества: товарищи Элюара по Сопротивлению вспоминают, что он не отказывался ни от каких поручений и выполнял их с неизменным спокойствием и четкостью. В эти же годы, в атмо-

сфере фашистского террора, когда была введена смертная казнь за содействие коммунистам, Поль Элюар и его жена вступили в коммунистическую партию. «Что касается меня, то я целиком принадлежу моей партии... И полностью одобряю ее политику», — писал Элюар Гале в 1946 году.

Почти вся жизнь прошла у Элюара в довольно скромном достатке, а то и в нужде. В послевоенные годы поэт с большим удивлением признается Гале, что его «писания» стали приносить ему доход. И не так уж много случаев знает история литературы, когда на вершине славы писатель решает начать все с начала и пробует силы под новым псевдонимом: «Втайне от всех я поставил перед собой трудную задачу: начать новую поэтическую жизнь. Но скажу тебе по секрету: если тебе доведется услышать имя Дидье Дероша, знай, что это я... Хватит с меня стихов, которые приобретают из доверия к подписи. В скором времени вышло тебе то, что публикует Дерош, его первые стихи...»

Само появление у нас новой книги Элюара в декабрьские дни 1985 года, когда поэту должно было бы исполниться девяносто лет, уже событие. Жаль, что мы находим в ней только уже публиковавшиеся ранее переводы (таково требование серии «Классики и современники»). Но поскольку этот сборник от предыдущего отделяют пятнадцать лет, для многих, особенно молодых, читателей это будет, наверно, первая возможность познакомиться с французским поэтом.

Несмотря на небольшой объем, книга четко прорисовывает путь поэта «от горизонта одного к горизонту всех» (П. Элюар). Путь этот был непростым, и ни к чему его «выпрямлять», но все же — независимо от возраста, душевных смятений, а также деклараций и манифестов, которые Элюар в свое время подписывал вместе с сюрреалистами, — он, по сути, никогда не замыкался в башне из слоновой кости, его поэзия всегда была обращена к людям. «Существует одна только смерть на земле одиночество»; «Жить это заботиться я ненавижу одиночество» — эти строки были написаны Элюаром в разные годы жизни.

Одна из школьниц, отвечая на проводимую во французских лицах анкету о значении Поля Элюара, лаконично написала, что для нее Элюар — поэт любви и свободы. Другая высказала то же самое более развернуто: «Я думаю, что у Элюара все эти темы (любовь, свобода, поэзия, правда) существуют не в раздельности, а дополняют друг друга. И все вместе стихи

на эти темы воспевают всемогущество любви и чудесное преображение жизни под ее воздействием: и даже когда наступят злосчастные годы нацистской тирании, он будет провозглашать любовь, и одновременно это будет любовь к свободе». Разве не подтверждает эти слова история создания знаменитой элюаровской «Свободы»? Сочиняя это стихотворение в сумрачные дни 1942 года, поэт намеревался в конце его поставить имя жены, но словно само по себе с пера слетело слово «свобода», которым и завершилась последняя строфа:

Я родился чтобы узнать тебя  
Чтобы назвать тебя  
Свобода.

Человек должен до конца оставаться верным собственной жизни, говорил Элюар. И как он признавался в письмах, его представления о добре и зле, о счастье, о справедливости, о человеческом достоинстве, о «праве и долге жить» (П Элюар) всегда оставались неизменными. Эту верность поэга самому себе узнаешь, читая сборник стихов Элюара, в который включены и его первые стихотворные опыты, и лучшие стихи 20—30-х годов, и стихи, порожденные испанской трагедией и антифашистская поэзия, и послевоенные политические стихи, и поздняя любовная лирика.

Поэзия Элюара никогда не была громкой — скорее задумчивой, элегичной. Но с годами чистый и тихо звенящий ручей элюаровской поэзии становился все глубже и полноводнее и притягивал к себе все более широкий круг людей.

В чем же секрет этой притягательности? Завораживают искренность и человечность Элюара. Его нежность. Доверительность интонации. Не внешняя, а подлинная поэтичность и музыкальность стиха. Читателя словно приобщают к волшебству. На его глазах самые что ни на есть будничные слова, употребляемые порой в привычном, а порой в неожиданном сочетании, начинают вдруг светиться и петь. Почему? Заново перечитываешь стихотворение. Все те же наипростейшие слова, предельная лаконичность. Но вопреки или благодаря этой лаконичности каждое слово приобретает особый вес, новые оттенки, более глубокое, часто символическое значение.

Вслушаемся в само имя поэта: Поль Элюар. Эжен Грендель неспроста выбрал себе такой псевдоним. Он любил певучие гласные, а из согласных — только звонкие. Эти перетекающие друг в друга звуки, нередко применяемые повторы и зачины, ритм и многочисленные внутренние рифмы

придают свободному стиху Элюара необыкновенную мелодичность. Но отнюдь не монотонность. Даже графический рисунок стихов, расположение строк, их краткость или удлиненность выражают развитие мысли или чувства, эмоциональное напряжение, тревожную смятенность, безнадежное отчаяние или радость разделенной любви. Иногда каждая строка у Элюара звучит афористично, иногда суть — в завершающем аккорде, в последней, самой короткой (как в «Свободе») или наиболее удлиненной строке:

У отчаянья крыльев нет,  
И у любви их нет,  
Нет лица,  
Они молчаливы.  
Я не двигаюсь,  
Я на них не гляжу,  
Не говорю им ни слова,  
И все-таки я живой,  
Потому что моя любовь и отчаянье  
живы.

(«Нагота правды», перевод М. Ваксмахер)

Всегда чуждый патетики, Элюар и в своих антифашистских стихах не прибегает к негодующим обвинениям. В стихотворениях предвоенных и военных лет он достигает крайней заостренности образов, сближая противоположные по смыслу понятия. В «Ноябре 1936» (о бомбежке, которым подвергала Мадрид гитлеровская авиация) Элюар изобрел горький и символический образ «строителей развалин», несущих смерть всему живому. А сравнение улыбки с разорванной цепью передавало тот романтический подъем, с которым сражалась против фашизма республиканская Испания. Символически звучало и название стихотворения «Победа Герники» (к сожалению, не вошедшего в сборник) — погибнув, этот город обрел бессмертие...

При чтении сборника нельзя не задать вопрос: все ли предлагаемые нам переводы воссоздают подлинную интонацию элюаровского стиха?

Сейчас много спорят о том, как переводить поэзию. Все чаще говорят, что соревнование в «выдаче на-гора» рекордного числа строчек, переводимых со всех языков мира (да еще и по подстрочникам), обесценивает то, что звалось когда-то искусством перевода. Б. Пастернак говорил, что «подобно оригиналу, перевод должен производить впечатление жизни, а не словесности». А можно ли добиться «впечатления жизни» и верности оригиналу без знания языка и национальной культуры, которую представляет переводимый поэт? Разве не нужно досконально, в малейших

подробностях изучить его биографию, чтобы понять, каким образом она повлияла (а в каких-то случаях не повлияла) на его стихи?

И разве не должен переводчик переболеть всеми болями переводимого поэта — как Цветаева при переводе бодлеровских «Цветов зла», о чем так ярко рассказал И. Карабутенко в недавней статье «Цветаева и „Цветы зла“» («Москва», 1986, № 1)?

Элюар — сложный для перевода поэт. Вспомним, что писал о нем И. Эренбург: «Я привожу стихи Элюара в прозаическом переводе. Я знаю, конечно, сколько они при этом теряют, но я боюсь, что они потеряют еще больше, если я попытаюсь перевести их стихами... Разумеется, и в оригинале человеку, не чувствительному к поэзии, стихи Элюара могут показаться прозой: он сделал все, чтобы лишить свою поэзию внешних примет поэтичности. Они держатся на ритме и на загадочном сплетении слов. Имеются во всех странах авторы, которые научились бойко описывать, владеть различными стихотворными приемами, подбирать незатасканные рифмы, они успешно выдают свою прозу за поэзию. Элюар в стихах труден и вместе с тем по-детски прост, откровенен, как на исповеди. Он не поучает, не рассказывает, не описывает — он признается».

Признания в сокровенном требуют к себе бережного отношения. И в этом сборнике есть переводы, выполненные с любовью к проникновенной, словно идущей из самого сердца поэзии Элюара. Однако неоправданные отклонения от текста, ненужное домысливание, чуждые Элюару лихость или высокопарность, старание «улучшить» поэта, сделать его «покрасивее» не приближают нас к нему, а уведат в сторону. И порой очень далеко. Как, например, опубликованный в рецензируемом сборнике фрагмент из элюаровской книги «Непрерывная поэзия (II)». Вот как буквально звучат некоторые строки у Элюара:

Однако этот мир мал  
Мал как день

Мал как банальное имя  
Как осенний лист

Поэт хочет есть  
Проститутка преуспеть

Топор упадет сейчас  
На шею приговоренных

А вот как они выглядят в переводе А. Голембы:

Но миру этому расти наверно лень  
Наш мир обидно мал и скуп как зимний день

Мал как банальностью отмеченное имя  
Мал как янтарный лист в осенней пантомиме

Поэт желает жрать таков закон желудка  
На промысел ночной выходит проститутка

И эшафот И плоть И голова в упор  
Готов на шею пасть стремительный топор

Пример этот говорит о том, что у нас сделано еще далеко не все, чтобы постичь магию простых слов и чистый свет поэзии Элюара, не нуждающейся в приукрашивании<sup>1</sup>.

Сто поэтических книжек, вышедших при жизни Элюара, его статьи, переписка, материалы и документы, содержащие новые сведения о нем, — неисчерпаемый источник для всех, кто любит поэзию, — исследователей, переводчиков и читателей.

Н. ПОПОВА.

<sup>1</sup> Разговор о недостатках в переводах поэзии Элюара могло бы продолжить письмо читателя Ф. Рековского (Москва), который в связи с рецензируемым сборником прислал в редакцию «Нового мира» целый свод замечаний.

Приведем некоторые из них.

Начало элюаровского эссе «Труд поэта» в подстрочном изложении звучит так:

Как чудесно быть с друзьями  
На блеклой траве летом  
Под облаками белыми.  
Как чудесно быть с женщинами  
В сером теплом доме  
За пологом просвечивающим.

(Здесь un drap именно — полог, дачная защита от комаров, что подтверждается и воспоминаниями друзей Элюара, в частности Луи Парро, поскольку речь в стихотворении идет о вполне конкретном доме, где жил поэт.)

А вот текст у переводчика:

Ты знаешь как вести себя с друзьями  
На солнечной лужайке летом  
Под белоснежным бегом облаков  
Как с женщиной вести себя (?) ты знаешь  
В старинном теплом доме  
Под простыней прозрачной (!)

Еще пример. В переводе стихотворения «Любовь» есть строка: «Отдохнуть он надеется только на макушках своих детей».

На самом же деле в оригинале о «макушках» и речи нет, ибо sur la tête (буквально: на голове) — это идиома, означающая: занимаясь детьми.

Цитируемые переводы принадлежат М. Ваксмахеру, старейшине переводческого цеха. Это вдвойне досадно — с признанного мастера спрос особый.



## ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В. Кардин. Точка пересечения. М. «Современник». 1984. 336 стр.

В. Кардин. Минута пробуждения. М. Политиздат. 1984. 442 стр.

В. Кардин. Секрет успеха. «Вопросы литературы», 1986, № 4.

Книга критических очерков В. Кардина «Точка пересечения» сложилась удачно. Такими бывают сборники стихов, целостность которых обеспечена единством самой лирической личности. В книге отчетливо выявилась индивидуальность критика, тяготеющего к социальным проблемам и к отражению их в эстетическом сознании, характер дотошный, входящий в рассмотрение, казалось бы, несущественных мелочей и соотносящий их с достаточно серьезными общественными процессами.

О чем бы ни писал критик — об исторической прозе или документальной, об остропроблемном современном романе, о бытовой повести или лирическом рассказе, — он всюду находит тот аспект, который всерьез и давно занимает его, — соотношение правды жизни с художественным вымыслом. Этот аспект позволяет ему поставить важнейшие проблемы нравственного содержания литературы, самого художественного творчества.

Название книги очерков точно определяет ее прицельность: разбирая произведения Ю. Давыдова и Ю. Трифонова, В. Гусева и М. Еленина, А. Крона и Е. Евтушенко, Ю. Нагибина и В. Распутина, критик объясняет успех писателей тем, что в произведении счастливо встретились фантазия и правда, неудачу же — тем, что их пути разошлись. Таким образом, сама литература предстает в книге В. Кардина как место встречи правды жизни и писательского вымысла — «точка пересечения»!

Что же определяет координаты этой точки? Конечно, прежде всего само время, способность писателя услышать потребность своей эпохи. Так, исследуя историко-революционную тему, критик замечает, что в первые послереволюционные годы в повестях о декабристах и народовольцах героями оказывались прежде всего люди отважного действия, героического поступка — Каховский, Пестель, Халтурин, Гриневский... Полвека же спустя внимание писателей, обратившихся к тем же событиям, привлекли люди иного склада: Михаил Лунин, Александр Бестужев, Николай Клеточников, Александр Михайлов, Герман Лопатин...

Явно пренебрегая увлекательнейшими сюжетными ситуациями, которые подсказывались реальными поступками героев, писатели 70-х проявили особый интерес к

размышлениям этих героев, к той внутренней борьбе, которой сопровождался их нравственный выбор, потому что именно проблема выбора оказалась в центре общественного внимания 70-х годов.

Конечно, не менее важна для характера «пересечений» и творческая индивидуальность писателя, его «внутренняя тема». «Нетерпение» Ю. Трифонова и «Завещаю вам, братья...» Ю. Давыдова — об одних и тех же событиях, об одних и тех же героях. Однако если Ю. Трифонов пристально вглядывается в то, что происходило внутри самой «Народной воли», Ю. Давыдова больше интересует тот отзвук, который она рождала среди своих современников, сочувственно наблюдавших за ее действиями извне. «Ю. Трифонову... нужен народоволец как личность, соотношение личности и поступка, — замечает критик. — Ю. Давыдову необходимо отражение личности в зеркалах общественного сознания».

Самого В. Кардина в особенности занимает проблема соотношения документа и художественного вымысла. Очевидно, что этот интерес критика тоже определен его временем, когда в художественную литературу буквально ворвался поток мемуарных, исторических и иных повествований, основанных на документах подлинных и вымышленных. Эта проза стала одерживать настолько убедительные победы над традиционной беллетристической, что иным литераторам показалось, будто весь секрет успеха заключается в том, чтобы предать гласности неопубликованные документы или же сымитировать их.

Анализируя книги Н. Эйдельмана, Ю. Давыдова, В. Савченко, Ю. Трифонова, сопоставляя их с документами, лучшими в основу повествования, В. Кардин убедительно показал: сам по себе документ в литературном отношении беспомощен, он получает художественное звучание лишь тогда, когда его творчески осмыслит художник. Только «прикосновение художника к документам высекает искру, разжигающую ночной костер». Рабская же подчиненность факту, робость писательского воображения приводят к поверхностной беллетризации, к тому самому ремеслу раскрашивания, которое противостоит художественной правде.

Нет, критик вовсе не собираются утверждать некий «примат воображения над

фактом». Напротив, с не меньшей убедительностью и страстностью выступает он и против авторского своеволия в обращении с фактами историческими, литературными. На конкретном материале показывает он, что освобождение от их власти не только искажает те или иные жизненные явления, оно чревато серьезными смещениями в расстановке этических, нравственных акцентов.

Смысл труда критика для В. Кардина вовсе не сводится к тому, чтобы, установив некие оптимальные пропорции между теми или иными литературными компонентами и, профессионально «грамотно» разобрав произведение, зарегистрировать очередную писательскую победу либо поражение. Дело вовсе не в том, чтобы, развенчав одних, возвести на пьедесталы других. Важнее иное — увидеть и оценить явления, встающие за произведением, его достоинствами и недостатками. В. Кардина волнуют не эстетические категории, а нравственные основания самой жизни. Вот почему и противника, с которым он ведет бой, критик обозначил так: воинствующее полужнание, суматошное и самоуверенное стремление оказаться впереди прогресса, этическая вседозволенность. Понятно, что в сражении с таким противником особенно важны выверенность позиции и высокие нравственные качества самого борца.

Сегодня критику читают не только литераторы, с нею вступают в полемику, со знанием дела судят о ней и так называемые рядовые читатели. В этом расширении ее аудитории есть несомненная заслуга и В. Кардина, статьи которого не только читаются, но и запоминаются, потому что читатель увидел: это не только о книгах — это и о жизни.

Интерес к себе статьи В. Кардина, как, впрочем, и других известных критиков, возбуждали вовсе не бесспорностью своей. Скорее наоборот. Его оценки и взгляды не раз вызывали резкое неприятие его коллег и части читателей. Но интерес к его работам неизменно возбуждался тем личностным началом, которое в них заключено: страстностью, открытостью, недюжинной начитанностью и — что особенно дорого — стремлением к истине.

Этими чертами привлекает и «Точка пересечения». Взгляд В. Кардина, подмечающий то «сплошное цветопредставление» в одной из повестей В. Гусева, то «захлестывающий натиск вторичности» в романе Е. Евтушенко, то словесную эклектику в произведениях Ю. Семенова и Б. Васильева, придает книге ту остроту и

пряность, без которых критика, по сути, перестает быть сама собой. Болезненная для разбираемых авторов, такая критика в конечном счете очень важна для читателя, так как воспитывает его вкус, делая его более чутким к слову.

Это воспитание не только эстетическое, но и нравственное: ведь в чувстве слова выражается чуткость к истине, правде самой жизни. Показательна в этом отношении недавняя статья В. Кардина о современном детективе. Отмечая, что в романе Ю. Семенова «Пресс-центр» число убийств почти достигает уровня фильма ужасов, критик говорит, что «простота и легкость изображения смерти как акта донельзя обыденного, будничного, само собой разумеющегося в политическом обиходе не только упрощают произведение, но и безотносительно к авторским намерениям неминуемо дегуманизируют его».

И далее, ссылаясь на одно из описаний убийства, где жертву устранили, сунув шприц в вену и даже не протерев кожу спиртом, критик резонно комментирует: «Нарушена не только стерильность — убийцам, понятное дело, не до нее, — нарушена элементарная правда. Запросто «сунуть» шприц в вену нельзя. Вену надо предварительно нащупать, заставив больного напрячь мускулы».

Неряшливое отношение к слову дает право на откровенный сарказм. Желая подчеркнуть неуемную работоспособность своего героя — писателя Степанова, Ю. Семенов сообщает, что тот «прилагодился работать и на автомагистралях: руль в управлении легок, вторая рука свободна, держи себе диктофончик и наговаривай сюжеты, заметки, заготовки глав к следующей книге».

Словно бы подхватывая предложенный писателем тон, критик продолжает: «Но почему герой скрывает от читателей: свободна, готова соучаствовать в творческом процессе и левая нога — не надо отжимать сцепление? И вообще, на многих «их» машинах скорость переключается автоматически».

Нет, В. Кардин далек от тех пародистов, которые любят поймать автора на слове, на обмолвке. Он выявляет черты устойчивые, характерные. И, говоря о кокетливом желании автора подчеркнуть то эрудицию своих героев, толкующих о Ювенале и пльзенском пиве или цитирующих Пастернака и Поженина, то собственную близость с известными людьми современности, отмечая его неудержимую тягу к элитарности, светскости, смакование «гастро-

номической темы», — В. Кардин показывает, что за эклектикой лексической стоит эклектика нравственная, в которой воспевание семейной безупречности героев («аморалка исключена, с ней за кордон не пустят») вполне совмещается с описаниями секс-бизнеса.

Казалось бы, сугубо литературоведческая статья о чистоте детективного жанра превращается в публицистическое размышление о чистоте нравственной, о важности для литературы идейно-нравственной определенности.

Трудно преувеличить то нравственное влияние, которое оказывает на читателя прямота и достоинство критика, не боящегося задеть даже любимцев публики. Говоря словами самого В. Кардина, критику, как и очеркисту, «дано вооружать людей активной непримиримостью».

Можно не соглашаться с конкретными оценками критика, спорить с ним, когда он упрекает известного поэта в скудости фантазии или в художественном прагматизме, в склонности расставлять героев по законам той самой эстетики симметричности, мещанскую природу которой в свое время определил еще Ю. Тынянов. Но нельзя не согласиться, что пафос его статей направлен не против того или иного писателя, но против случаев безнравственности в литературе, когда погоня за успехом приводит к авторскому нажиму, своеволию, неряшливости.

Именно поэтому не может он согласиться с тем, что писатель отказывает своему герою в праве на саморазвитие, мысля его всего лишь марионеткой в собственном театре, «типичным представителем», призванным «незамедлительно олицетворять, воплощать, символизировать, знаменовать, противостоять и т. п.».

Очевидно, сама особенность пера В. Кардина побуждает его к открытой полемике, схватке. В пылу спора он и парадоксален, и едок, и саркастичен. Но победы свои он одерживает все же только там, где спор возникает о самой жизни и ее проблемах.

Показательна в этом отношении его недавняя статья «В ожидании «Районных будней»...» («Знамя», 1985, № 10). Пока критик ведет разговор об очерках В. Овечкина, И. Васильева, Ю. Черниченко как явлениях общественной, духовной жизни страны, пока речь идет об очерке как действительном инструменте познания и изменения жизни, статья держит читателя в напряжении, потому что критик, как и герои его, «добивается реальных перемен в ок-

ружающем мире». Но стоит В. Кардину отвлечься на сугубо внутрилитературную полемику с Ю. Черниченко, как интерес к статье заметно слабеет. По-прежнему вроде бы неотразима аргументация, все так же отточена фраза критика, а жизнь из статьи ушла. Внутрилитературность чужда критику: тут его не спасают ни интересные наблюдения, ни тонкие сопоставления текстов.

Не по этой ли причине глава из книги, посвященная двум повестям П. Нилина — ранней «О любви» и более поздней «Жестокости», — оказывается менее интересной, чем напористая и темпераментная глава «О пользе и вреде арифметики», где разбирается роман Е. Евтушенко? Да и в разговоре о романе Ю. Трифонова «Нетерпение» критику так и не удается вырваться из мощного поля тяготения трифоновского текста: творческого диалога с прозаиком не возникает.

В. Кардину недостаточно быть только комментатором — истолкователем художественных текстов. Ему важно самому вмешаться в обсуждение темы. Так что недаром писал он в знаменской статье о родстве между «критикой, именуемой публицистической», и самой публицистикой, о сходстве доли критика и очеркиста.

Есть, очевидно, какие-то пределы, которые писателю ставит сама природа его творческой индивидуальности. Это особенно заметно, когда сравниваешь беллетристическую прозу В. Кардина (его историческая повесть «Минута пробуждения» вышла почти одновременно с «Точкой пересечения») с его же прозой литературно-критической.

Посвятив повесть замечательному писателю-декабристу Александру Бестужеву-Марлинскому, автор в первой части подробно описывает события одного дня из жизни героя — дня накануне восстания 1825 года. Вторая же часть вместила в себя события последующих двенадцати лет: якутская ссылка, «романтические» эпизоды на Кавказе, а попутно — непрекращающиеся заочные споры с Пушкиным...

На читателя буквально обрушивается поток имен, подробностей обстановки, деталей экипировки, доподлинных цитат из статей, повестей, писем, из разговоров, зафиксированных мемуаристами. Несомненно, писатель В. Кардин прекрасно осведомлен обо всем, что касается жизни его героя вплоть до «чирьев и ячменей, рези в жилоте», одолевавших его.

Однако, как резонно заметил критик В. Кардин — автор «Точки пересечения»:

«Знание реалий, подробностей, в том числе анекдотов,— условие необходимое, но отнюдь не достаточное. Не подробностью единой...»

Повести ощутимо недостает темперамента автора, того личностного начала, которое проступает в лучших статьях В. Кардина. Недостает ощущения, что судьба этого героя и его мысли необходимы для нашей сегодняшней жизни. И это сказывается прежде всего на образе самого Бестужева: он словно бы ступшевывается, теряет определенность, объемность. Повествование, передающее в основном внешнюю канву событий, кажется торопливым, перенасыщенным эпитетами, подчас нарочитыми и неестественными: «К его простодушному энтузиазму добавлялось тактичное желание, конфузливо запахнув шлафрок, поскорее оставить кабинет».

Избыточность словесных средств выда-

ет неуверенность повествователя, то и дело упускающего нить своей темы, для которой был бы важен именно этот герой, именно эта эпоха, эти обстоятельства.

И хотя повесть «Минута пробуждения» принадлежит беллетристике — жанру по самой природе своей увлекательному, книга критических очерков «Точка пересечения» читается с большим интересом: она наполнена той страстностью, тем этическим пафосом, без которых нет литературного явления. Потому что литературные достоинства, уровень книги определяются не жанровой принадлежностью, но жаром писательского сердца, желанием писателя понять жизнь и способствовать укреплению в ней разумных, светлых начал.

Ал. ГОРЛОВСКИЙ.

Загорск.



### Политика и наука

## ПОЛКОВОДЕЦ НОВОЙ АРМИИ

В. М. Иванов. Маршал М. Н. Тухачевский. М. Воениздат. 1985. 318 стр.

Партия большевиков во главе с В. И. Лениным еще при отражении первого нашествия международного империализма на Страну Советов сумела выдвинуть и воспитать целую плеяду талантливых полководцев, беспредельно преданных коммунистическим идеалам. Дстойное место среди них принадлежит М. Н. Тухачевскому. С его именем связано немало выдающихся побед в годы гражданской войны и иностранной интервенции, успехи в строительстве Вооруженных Сил и разработке советской военной науки в период между гражданской и Великой Отечественной войнами. Пожалуй, не было в то время сколько-нибудь важной военной проблемы, в решении которой не участвовал М. Н. Тухачевский.

О жизни и деятельности одного из первых наших маршалов написано немало воспоминаний, исследовательских статей и биографических справок. Однако ни одна из выходявших ранее книг не смогла охватить его натуру целиком. Уж очень разносторонний и талантливый, поистине незаурядный это был человек. К слову сказать, все прежние публикации, посвященные М. Н. Тухачевскому, сегодня стали библиографической редкостью. Вот почему новая, наиболее полная монография о выдающемся полководце, прозванном на Западе рус-

ским Наполеоном, вызывает повышенный интерес.

Лишь отдельными штрихами набрасывает В. М. Иванов биографию своего героя до 1917 года — ведь и сам Тухачевский говорил, что его «настоящая жизнь началась с Октябрьской революции и вступления в Красную Армию». Однако после прочтения первой небольшой главы «Начало жизни» читатель уже получает достаточно четкое представление о том, как формировался характер будущего полководца, складывались его политические убеждения, почему он, потомственный дворянин и гвардейский офицер, оказался на стороне революции. Закалка Тухачевского-коммуниста проходила под непосредственным влиянием ленинских идей, личных встреч с В. И. Лениным, в совместной работе с такими выдающимися революционерами-ленинцами, как М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе.

С самого начала командования 1-й армией Тухачевский постоянно опирался на партийные организации, придавал первостепенное значение партийно-политической работе. «Я — партийный работник и достаточно дисциплинирован», — говорил Михаил Николаевич, отвергая излишнюю опеку со стороны политического комиссара фронта Г. И. Благонравова. По словам Куй-

бьшева, армия, которой командовал Тухачевский, стала первой не только по номеру, но и «в смысле ее организационной четкости, дисциплины и обученности», а командарм «на фоне партизанщины был уже, по существу, представителем нового периода в истории армии». Хорошая организация в сочетании с умелым использованием обстановки позволила 1-й армии одержать в конце лета и осенью 1918 года первые очень важные победы под Симбирском, Сызранью, Самарой.

Особенно ярко военные способности М. Н. Тухачевского раскрылись на восточном фронте, когда он командовал 5-й армией, действовавшей против Колчака. В период решающих событий на фронте эта армия находилась в подчинении М. В. Фрунзе, который стал для Тухачевского образцом полководца армии нового типа. У Фрунзе Тухачевский многому научился. Их взгляды на проведение тех или иных военных операций зачастую совпадали. Как справедливо утверждает автор книги, командарм с полуслова понимал Фрунзе и был блестящим исполнителем его оперативных замыслов. Но в действиях Тухачевского (и об этом тоже пишет В. М. Иванов) уже четко просматривался собственный полководческий почерк — смелость и оригинальность замыслов, оправданный риск, необыкновенная энергия и решимость в достижении поставленной цели, умение быстро оценить обстановку и так же быстро откликнуться на ее изменение, постоянное стремление к использованию маневра, внезапности и быстроты для достижения успеха, твердость в управлении войсками. Фрунзе по достоинству оценил военное дарование командарма: после гражданской войны, возглавив Штаб РККА, он сделал Тухачевского ближайшим помощником, а затем и рекомендовал его в качестве своего преемника. Но до этого Тухачевскому предстояло провести еще много боевых операций...

Вступив в командование кавказским фронтом, Михаил Николаевич быстро перегруппировал войска, терпевшие серьезные неудачи в боях с превосходящими силами противника, и, не ожидая подхода резервов, нанес неотразимый удар во фланг главной вражеской группировки, обратив в беспорядочное бегство лучшие силы Деникина. Успех этой операции, как отмечается в книге, был неожиданным даже для советского Главного командования, которое готовилось к продолжительной борьбе на Северном Кавказе.

Описывая деятельность Тухачевского на

посту командующего западным фронтом, автор стремится раскрыть не только секрет его впечатляющих успехов, но и причины неудач. Как известно, в войне с буржуазно-помещичьей Польшей Тухачевский использовал весь накопленный полководческий опыт, проявил высокое стратегическое и оперативное мастерство, четкое понимание характера боевых действий. Его маневр в обход фланга главных сил противника, поставивший польскую армию перед катастрофой, произвел сильное впечатление на всю Европу. Именно тогда Михаил Николаевич получил признание как искусный стратег не только в Советской Республике, но и за рубежом. Почему же наступление Красной Армии на Варшаву закончилось неудачей? Прошло уже более шестидесяти лет, но исчерпывающий ответ на этот вопрос так и не получен. Не дает его, к сожалению, и книга В. М. Иванова. Автору следовало бы особенно тщательно проанализировать военно-политические условия, в которых действовали западный фронт и его командующий: ведь речь идет об одном из самых славных и одновременно очень сложных периодов биографии полководца.

Необычные по своему характеру действия по разгрому контрреволюционных мятежей в Кронштадте и на Тамбовщине в 1921 году требовали новаторского подхода к решению оперативных и тактических задач, а борьба с антоновщиной — и сочетания военных действий с социально-экономическими мероприятиями советской власти. Не случайно эти последние операции гражданской войны, имевшие большое политическое значение, были возложены на Тухачевского.

После гражданской войны М. Н. Тухачевский внес большой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Командуя войсками военных округов, возглавляя Военную академию РККА, будучи помощником начальника и начальником Штаба РККА, начальником вооружений РККА и заместителем, а затем первым заместителем наркома обороны СССР, Михаил Николаевич вкладывал много сил в выполнение намеченной коммунистической партией и Советским правительством программы реорганизации и технического перевооружения армии и флота. Он стоял у истоков зарождения и развития новых родов войск и видов Вооруженных Сил, горячо поддерживал и направлял работы по созданию современной боевой техники, ясно видел роль танков, авиации, артиллерии и способы их применения в грядущей войне.

В книге приводятся интересные материалы об организаторской деятельности Тухачевского по разработке ракетного оружия.

В. М. Иванов впервые достаточно полно и систематизированно излагает военно-теоретические взгляды полководца (хотелось бы, конечно, пожелать еще большей полноты, привлечения новых, ранее не публикованных архивных документов). С именем Тухачевского справедливо связываются успехи советской военной науки, шагнувшей в 30-е годы далеко вперед. Известно, что действия Красной Армии в годы Великой Отечественной войны были серьезно осложнены недооценкой возможности внезапного нападения, недостаточной разработанностью таких военно-теоретических проблем, как ведение войны в начальный период, организация стратегической обороны, прорыв из окружения, контр наступление. Именно эти проблемы, как показывает автор, поднимались в трудах Тухачев-

ского: некоторые из них были глубоко им исследованы, на других он заострял внимание для последующей разработки. Опыт минувшей войны с особой силой высветил вклад, внесенный Михаилом Николаевичем в советскую военную теорию.

Книга базируется на многочисленных достоверных источниках. В ней широко используются произведения самого Тухачевского, сборники документов и материалов Главного и фронтового командования Красной Армии периода гражданской войны. Сюда удачно вкраплены воспоминания друзей и соратников Михаила Николаевича. Все это не только способствует лучшему пониманию деятельности полководца и его теоретического наследия, но и дает читателю представление о характере эпохи, событиях и людях.

**И. КРУПЧЕНКО,**  
генерал-майор,  
доктор исторических наук.



## РАЗГОВОР НА «ТЫ»

**Виктор Пекелис. Как найти себя. М. «Детская литература». 1985. 351 стр.**

**С**амосовершенствование. Пламя, в которм сгорает мусор души, а порядок жизни становится тверже. Если ты совершенствуешь себя, значит, ты совершенствуешь и окружающий тебя мир, воплощаешь в нем энергию своей воли, своего характера.

Как быстрее и плодотворнее сформировать характер, чтобы обрести гармонию, развить все способности, доказать себе самому и окружающим свою пригодность — человеческую и профессиональную? Как закалиться в переживаниях, не сломиться от возможных неудач? Как отыскать путь к творчеству, обрести в труде страсть и горение? Этому и еще многому другому учит подрастающее поколение новая книга писателя Виктора Пекелиса.

Автор ставит десятки самых разных вопросов, касающихся жизни не только молодых людей, ибо стать достойным, гармоничным, полезным для общества человеком никогда не поздно. Надо лишь обрести веру в себя, ответственность за свои поступки, бескомпромиссность и отвагу. Ведь отвага нужна не только на войне, не обойтись без нее и в повседневных сражениях мирного времени.

Не разобравшись в важных жизненных вопросах, можно нанести вред и себе и окружающим. Нанести вред даже своим самосовершенствованием, ибо, как сказано

в книге, «я — для себя» это и «я — для других». Мир человека не кончается у дверей его дома, не кончается и на его горизонте. Очень важно научиться служить себе, чтобы служить людям. Стать единицей коллектива, причем достойной единицей. А тогда, значит, и достойного коллектива...

Как же сориентироваться юноше или девушке во всем многообразии нравственных задач? Ведь выбирать «себя», свое место в жизни приходится на всю жизнь, а это предельно усложняет выбор. Тут нужна помощь — не побоимся сказать — энциклопедиста. И к тому же энциклопедиста, не лишеного улыбки, всегда своейственной истинному воспитателю, учителю, советчику.

Вот эту работу и попробовал самым добросовестным образом и с улыбкой выполнить писатель. Работу и социолога, и психолога, и врача, и воспитателя, и спортивного тренера, и космонавта, и знатока этикета, и модельера, и лингвиста, и музыканта, и художника... Кого еще? Да просто доверенного собеседника! Которому можно открыться до самого доньшка. И кто не только внимательно выслушает, но и поможет, выведет из заблуждения, убежит от ошибок, делая все это тактично, с учетом психологии подростков и их интересов.

Да, твой мир не кончается у порога тво-

его дома, не кончается и на твоём горизонте. Время неумолимо движется, набирая скорость. И накручиваются, наворачиваются все новые и новые вопросы. Сочетаются ли требовательность и доверие? Велика ли разница между самолюбием и себялюбием? В чём секрет привлекательности? Можно ли делиться опытом любви? Когда приходит социальная зрелость? Как соответствовать времени?..

Вопросы... Вопросы...

Но главное — ответы. Книга указывает на качества человека, определяющие его как личность. Помогает ему разглядеть особенности своего склада ума, начать работу над своим воспитанием, осознать неразрывную связь между духовной сущностью личности и внешними формами ее проявления. С этой книгой юный человек не одинок. Недаром в конце есть обращение к читателям с просьбой сообщить, какие сове-

ты им удалось осуществить самим, какие — с помощью друзей, «что пришлось преодолевать, прибегая к поддержке родителей, а чего не удалось добиться и почему».

Диалог продолжается. Но одну истину автор советует читателю усвоить сразу и окончательно: трудиться надо начинать с детских лет. И не в «возмечтаниях», а в условиях реальной жизни. Трудиться умом и руками. Повседневно, упорно и честно. Тут не может быть никакой избранности, обособленности, облегченности. Книга В. Пекелиса — и об этом тоже.

Несколько слов об оформлении. Художник А. Шуриц не просто иллюстрировал книгу — он ее разнообразил своей творческой фантазией. Его рисунки — романтические, изобретательные — создают как бы второй план произведения.

**Михаил КОРШУНОВ.**



## ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ...

**В** нашей почте немало писем, в которых читатели делятся своим беспокойством по поводу тех или иных сторон воспитания подрастающего поколения. Это и отклики на публикации журнала, такие, как, например, «Будни словесника» Н. Ф. Шубкина, «Обратить в пользу для потомков» — о семье учителей Раменских, «„Агу“ и „бука“» С. Соловейчика, «По закону Тезея» Ю. Рюрикова, и просто размышления над тем, как реализуется школьная реформа, что надо сделать, чтобы это важнейшее государственное дело шло успешнее и плодотворнее.

Авторы писем высказывают, в частности, недовольство ныне существующими учебниками литературы для общеобразовательной школы. Отмечают их схематизм при анализе художественных произведений, бедность языка, оторванность от жизни и запросов школьников, что плохо способствует воспитанию у детей стремления к систематическому чтению, плохо развивает их культуру и эстетические вкусы. В некоторых письмах высказывается упрек в адрес писателей, которые, по мнению читателей, могли бы принять непосредственное участие в создании школьных учебников, но почему-то не считают нужным это делать. Например, А. Павлова из Загорска Московской области в связи с этим напомнила нам вполне справедливые, как она считает, слова из письма А. Мартынова «Кто поможет маме мыть рамы?», опубликованного два года назад в «Новом мире»: «Лишь в одной этой книге («Букварь». — *Рег.*) литературным консультантом был писатель, в данном случае Сергей Владимирович Михалков. И жаль, что только в одной. Не сделать ли это исключение правилом?»

Своеобразным ответом на подобные предложения наших читателей явилось недавно пришедшее в редакцию письмо министра просвещения РСФСР Г. П. Веселова, в котором он сообщает, что коллегия этого министерства приняла решение о проведении конкурса на учебники литературы для общеобразовательной школы. К участию в конкурсе приглашаются писатели, журналисты, научные работники, опытные учителя и методисты. Конкурс «поможет, — пишет министр, — создать новые учебники, которые в большей степени будут способствовать творческому преподаванию литературы, приобщению школьников к чтению художественных произведений, действительному влиянию художественного слова на формирование нравственных идеалов и эстетических вкусов учащихся, как этого требует школьная реформа».

Положение «Об условиях проведения конкурса на создание учебников для V — XI классов средней общеобразовательной школы РСФСР» полностью опубликовал еженедельник «Литературная Россия» 9 мая 1986 года.

---



## КОРОТКО О КНИГАХ



**Я. С. ДРАБКИН.** Четверо стойких. Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Франц Меринг, Клара Цеткин. Документальная повесть. М. Политиздат. 1985. 367 стр.

У Брехта пьеса о Розе Люксембург не получилась. Длинным показался бы здесь список художников менее знаменитых, чьи стихи, пьесы, романы о создателях Компартии Германии лишь подтверждали, насколько трудна задача. Еще одно доказательство — прошлогодний фильм «Роза Люксембург» Маргарет фон Тротты (ФРГ)...

В списке предыдущих работ доктора исторических наук Я. Драбкина — статьи и книги, посвященные новейшей истории Германии и международному рабочему движению. В русле этой темы и документальная повесть о «четырех стойких» — Франце Меринге и Кларе Цеткин, Розе Люксембург и Карле Либкнехте.

Автор едва ли взялся бы за такую повесть в довоенные и первые послевоенные годы, когда еще и мечтать не приходилось о пятнадцати томах собрания сочинений Меринга, о десяти (вместе с дополнительным) томах сочинений Либкнехта, о трехтомнике появившихся в Польше писем Розы Люксембург Яну Тышке (Леону Йогихесу) — лишь это издание включает в себя почти тысячу документов, ставших эпистолярной энциклопедией политико-культурной жизни предреволюционной Европы... В пятитомнике писем Люксембург, недавно выпущенном в ГДР и включающем в себя «немецкую» часть ее эпистолярного наследия, одних только писем сыну Клары Цеткин Константину шестьсот... Можно сказать, что документальная повесть о выдающихся немецких революционерах-марксистах назрела, подготовлена целым корпусом изданных историками литературы.

Обострение интереса к наследию левых в Англии, Франции, Италии, в США и Японии (П. Неттл, Ж. Бадиа, Л. Бассо...) вызывалось не только памятными датами. Poleмику порождала общественная ситуация: спор о судьбах Европы и человечества.

Автор не позволяет себе беллетристики. Его метод — монтаж отрывков из статей, выдержек их писем. Эпистолярная ткань дает ощущение личности героев. И все же по сути своей книга насквозь полемична.

Правда, историку тесновато в рамках традиционного повествования. Видимо, поэтому в книге появились главы-пристройки, поначалу удивляющие своим заголовком, — «включения» (их шесть), где Я. Драбкин решает на прямой диалог с читателем-современником. Субъективно-личная форма

повествования понадобилась автору, чтобы ответить на вопросы, которые, по его представлению, у читателя, особенно молодого, не могут не возникнуть.

«А ведь у вас не сведены концы с концами, — начинает читатель третье «включение». — Вы явно сочувствуете смелости Розы Люксембург, но разве случайно то, что она осталась одна (или вдвоем с Кларой Цеткин)? Не забегала ли она слишком вперед?..» «Но разве могли спартаковцы действовать в одной партии с Каутским и К? Не грозила ли им опасность оказаться в решающий момент со связанными руками?» — допрашивает читатель во «включении» пятом.

«Включения» дают возможность говорить о том, о чем сами герои повести в свое время знать не могли, но говорить, избегая модернизации действующих лиц и событий, размышлять о прошлом, не читая ему запоздалых нравоучений и не грозя указующим перстом.

Надо думать, самая трудная из стоявших перед ученым задач — реконструировать не только события, но и психологию исторических лиц, ставших героями книги. В особенности тогда, когда свидетельства очевидцев и документами исследователь не располагает, когда их нет да и не может быть. Именно в таком — очень непростом — положении оказывается автор, воссоздавая беседы Либкнехта и Люксембург за несколько часов до ареста в квартире на Мангеймерштрассе. К историку Я. Драбкину у рецензента здесь претензий нет, но вот к повествователю... Каждая реплика, каждое слово этого крайне важного, ключевого в повести диалога имеют вескую мотивировку. Однако ритм беседы, ее стиль, накал и атмосфера того дня, повлиявшего на судьбу послевоенной Германии и всей Европы...

Сцена не удалась повествователю Драбкину, как пьеса о Красной Розе драматургу Брехту. Однако факты — не те, что давно на слуху, а мало кому известные, добытые исследователем, — теперь в руках читателя. Теперь перед ними повесть о соратниках революционной России!

**М. Кораллов.**



**АНАТОЛИЙ МЕДНИКОВ.** Проспект Мира. М. «Московский рабочий». 1986. 287 стр.

Анатолий Медников хорошо известен читателям как очеркист. Именно в этом амплуа, по словам одного из критиков, «пытли-

вый исследователь, без усталости проникающий во все новые глубины душ и характеров людей, покоряющих металл и бетон», составил он себе имя в литературе. Его документальные циклы, вырастающие один из другого, дополняющие друг друга, складываются в масштабную картину трудовых будней страны. В книгах очерков — в подкупающе искреннем «Доме Герцена», в кинематографически панорамной «Берлинской тетради», в аналитических, деловых «Эстафете» и «Групповом портрете», в исполненном чувства интернационализма «Горячем августе в Берлине» — наиболее полно выявились сильные, органичные стороны дара писателя: вкус к детали, чувство контрапункта, умение нанизать россыпь фактов на нить идеи.

Сборники эти заслуженно принесли А. Медникову признание читателей и критики... Что же касается беллетристики, то достоинства ее скромней. Пожалуй, наиболее удачной была, как ни странно, первая повесть писателя «Семнадцать дней», в которой он обращается «к своему интимному, личному, выстраданному жизненному опыту» (Ю. Нагибин) военной поры. В целом же рецензенты, единодушно подчеркивая безусловную актуальность тем, неизменно отмечали недостаточность выразительных средств («хотелось, чтобы автор нашел в разговорах своих героев присущую каждому речевую характерность и образность», «женские образы по своей художественной убедительности уступают образам главных героев»). Суммируя, можно сказать о некоей закономерности: успех сопутствует писателю, как правило, в тех случаях, когда в произведении ощутимо его личное прикосновение к факту, погруженность в события.

И вот новая работа — «Перспектив Мира». Ее фабула, подчас целые смысловые блоки, герои узнаваемы. С ними мы уже встречались в очерках А. Медникова... Группа московских строителей летит в ГДР. Рабочий визит, обмен опытом, дело обыденное в жизни братских стран. Писатель пристально всматривается в берлинские новостройки, вслушивается в дискуссии специалистов. Материалы, знакомые нам из сборников Медникова-очеркиста, используются в качестве рабочих блокнотов, своеобразного «каталога типовых деталей». Впрочем, в «Перспективе Мира» это конструкции «не несущие». В основе сюжета иная линия — личной жизни главных героев.

В ГДР руководитель советской делегации экономист Зарубин, участник боев за Берлин, встречает москвичку Веру, профессора-историка, в прошлом армейскую переводчицу. Познакомившись в последние дни войны, они потеряли друг друга и вот спустя тридцать лет встретились вновь. Ожила былая привязанность. В сущности, А. Медников предлагает свою интерпретацию трагической истории бондаревских Эммы и Никитина, подставляя в этическую формулу «Берега» иные переменные: например, если для героя романа Бондарева встреча с юностью означает завершение жизненного круга, то медниковский Зарубин начинает новый виток жизни.

Мы, читатели, разделяем радость автора по поводу того, что хотя бы одна исковер-

канная войной история любви оказалась, пусть и через десятилетия, счастливо допущанной. Однако, думается, писатель не в полной мере использовал те возможности, которые таит в себе обращение к теме войны и мира, индивидуальной и коллективной памяти о войне, сложной послевоенной жизни. Линия взаимоотношений Веры и Зарубина, подчиняясь собственным законам развития действия, становится доминирующей, а военные, как, впрочем, и производственные, эпизоды — лишь вживленными в ткань повествования. Скрытые в них изначально конфликты и проблемы, которые, казалось бы, вот-вот должны проявиться в силу самой своей природы, сводятся на нет. Например, обещавшая было ситуационную (и психологическую) остроту история доноса на Зарубина, сочиненного его сослуживцем, завершается тихо и мирно, практически сама собой. Лишенное конструктивной жесткости, художественное пространство как бы свертывается...

Анатолий Медников не определяет жанровой принадлежности своей новой книги, доверяя названию издательской серии — «Современный городской роман». «Перспектив Мира» подтверждает наши впечатления о творчестве писателя, о его сильных и слабых сторонах.

**Борис Багарацкий.**



**ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ. Лирика. Перевод с болгарского. М. «Радуга». 1985. 192 стр.**

Вышедшая у нас новая книга известного болгарского поэта, лауреата Димитровской премии Любомира Левчева выбрала в себя лучшее из его предыдущих сборников. Есть в ней и совершенно новые, недавно написанные стихи.

Композиционное решение данного издания придает книге особенную стройность: на каждом развороте слева размещен болгарский оригинал, справа — русский перевод. Читатель имеет возможность видеть одновременно оба текста, сопоставить их.

Можно сказать, что вся книга — это Любомир Левчев, в русском издании бережно сохранены своеобразие и многоцветие болгарского языка, образная система поэта.

В предисловии к книге ее переводчик О. Шестинский пишет: «Чистотой и душевной ясностью веет от поэзии Л. Левчева, она пронизана оптимизмом, но это оптимизм не розовый, не надуманный, а выстраданный, как бы прошедший сквозь человеческую трагедию. Одна из важнейших особенностей поэзии Л. Левчева — что она в целом создает объемный, содержательный образ современника».

Поэзия Любомира Левчева обладает свойством проникать в глубинные уголки души человека, затрагивать сокровенные струны, заставить задуматься о мире и о своем месте в строю борцов за этот мир.

На поворотах  
и на кручах  
этой моей жизни,  
в закусокных пристанционных,  
в вокзальных залах ожидания  
я понял,

что поэта истинная должность —  
испить все боли и отравы  
земли  
и заплатить надеждой  
детям и влюбленным.

Любомир Левчев стремится осмыслить вклад, внесенный его поколением в создание светлого будущего Болгарии, вместе с нами размышляет о том, как сделать жизнь полезной и нужной людям, пытается понять, что есть любовь. И при этом жестоко высмеивает мещан, бичует ханжей.

Очень точно определил О. Шестинский те чувства, которые возникают у читателя, впервые сталкивающегося с поэзией болгарского лирика: «...входишь в круг ярких людей, общение с которыми делает самого тебя более наполненным и мыслями и чувствами».

Афористично звучат строки одного из программных стихотворений этой книги:

Но чтобы оставить  
след среди людей,  
в ереси искусства  
тайны почерпни.  
Пишутся стихи  
в свободе ярких дней,  
донорами вестности  
пишутся они.

Выход новой книги Любомира Левчева — яркий пример поистине братского взаимобогащения советской и болгарской литературы.

Владимир Шленский.



**НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ. Дорога к читателю. М. «Современник». 1985. 224 стр.**

Размышления поэта о литературном процессе — это всегда логическое продолжение его стихотворных строк. То, что в поэзии выступает в виде художественных образов, в критических статьях как бы обретает теоретическое обоснование. Статьи Николая Старшинова, простые и точные, как и его стихи, говорят о гражданской активности поэта, ставят принципиальные, острые вопросы, содержат критические замечания даже в адрес тех, чьи имена стали почти хрестоматийными. Когда-то в одном из своих стихотворений Николай Старшинов определил равнодушного стихотворца как человека, который «вроде бы мыслит стихами», но которому никогда не удастся скрыть своего равнодушия, деляческого подхода к искусству:

И это ему не простится,  
И все это скажется в нем,  
И стих его будет светиться  
Холодным бенгальским огнем...

Против таких людей в литературе и выступает поэт. Вся его книга статей — эта своеобразная биография современной поэзии — доказывает, что только таланты, соединенные с нравственной чистотой, действительно нужны своему времени, действительно служат людям, делу, а не прислуживаются. Удивительными собеседниками называют Старшинов мастеров, давно ставших символами нашей литературы. Ему посчастливилось столкнуться в жизни и с душевной щедростью Михаила Светлова, и

с доброжелательной резкостью Ярослава Смелякова, и с требовательной отзывчивостью Александра Твардовского. Встречи с Твардовским особенно запомнились, стали важными ориентирами в творческой судьбе, помогли определить ту, увы, неуловимую для многих горе-поэтов границу, что разделяет в поэзии ремесло и мастерство.

Сам поэт говорит о мастерстве так: «В это понятие входит знание своих возможностей, то есть сильных и слабых сторон своего творчества, жизненный и чисто поэтический опыт и использование его — умение сознательно управлять если не самим творческим процессом, который во многом происходит подсознательно, то хотя бы подговкой его...»

Критическое творчество Николая Старшинова проникнуто пристрастным, заинтересованным отношением к молодому литературному поколению. Он отстаивает право этого поколения на свою позицию, резко спорит с теми, кто недоброжелательно принимает поэзию новых авторов. Особенно бескомпромиссно выступает Николай Старшинов против высокомерного, неуважительного отношения к творчеству молодых авторов, чем, в частности, грешат иные современные пародисты.

Все это не мешает Николаю Старшинову быть жестким и категоричным в оценке тех поэтов, которые хотели бы возвести камерность в абсолют, сделать ее чуть ли не эталоном интеллектуальности, духовности. Этому серьезному и болевому вопросу нашей литературы посвящена одна из узловых статей книги, которая называется «Генеральная дума поэта».

Даже великие поэты находятся во взаимовлиянии независимо от их направления или литературной моды дня. Невозможно провести четкие грани, разделяющие поэзию на городскую или деревенскую, «чувственную» или «интеллектуальную». Полемизируя с теми, кто хотел бы сделать такое разделение нормой литературы, Николай Старшинов замечает: «Как без Пушкина невозможно представить Баратынского, Языкова, Тютчева, так и в векрасовской лире уже слышны будущие голоса Блока, Есенина, Маяковского, Цветаевой...»

Книга Николая Старшинова — это своего рода открытое письмо литераторам и читателям, необходимое звено в современном литературном процессе.

Леонид Володарский.



**РУССКАЯ ЭЛЕГИЯ КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX в. Антология. М. «Советская Россия». 1983. 240 стр.**

**САТИРА РУССКИХ ПОЭТОВ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. Антология. М. «Советская Россия». 1984. 255 стр.**

**РУССКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОЭМА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. Антология. М. «Советская Россия». 1985. 272 стр.**

Стоит раскрыть эти сборники на любой странице, и сразу же узнаешь интонации, настроения и самый образ мышления, свойственные именно русской литературе. Хо-

тя среди элегий находим «Подражание Тибуллу» И. Дмитриева или «Подражание Делю» Н. Карамзина, а в конце антологии — вполне уместный историко-мифологический словарь... Мы совершенно явственно читаемся во времена, когда античная и европейская культуры с их пантеонами и жанрами обрели на новой почве истинно российской физиономию и сущность.

Так элегия в русской литературе расцвела особенным образом и в эпоху романтизма стала жанром ведущим — своеобразным пропуском в поэзию, ее наиболее выразительной лирической формой. Почему именно элегия? «Вряд ли это можно объяснить, это можно только отметить как факт, — замечает Виктор Афанасьев, составитель, комментатор и автор вступительных статей трех рецензируемых антологий. — Во всяком случае, — утверждает он, — можно уверенно сказать, что элегия периода 1790—1840-х годов — жанр отдельный, особенный». И справедливо говорит о некоей общности: книге элегий, написанной многими поэтами, книге, «которая очень полно выражает свое время». Действительно, нельзя вычислить с математической определенностью, как и почему «свет сходится клином» на каком-то жанре. Объяснения здесь неизбежно будут страдать условностью, односторонностью. А искусство делает выбор, повинувшись своей художественной логике. Нельзя, например, назвать романтическую элегию прямой наследницей фольклорных русских плачей или, напротив, воспринимать ее только как форму, целиком заимствованную у иных литератур. Но и отрицать эти связи вряд ли возможно... Главное в другом: что дала элегия нашей литературе. Эмоция печали, грусти стала не только чувством, нуждающимся в выражении, но и взглядом на мир. Приглушенные страсти, нарочитая замедленность повествования, созерцательность, душевная усталость — лишь одна сторона элегии. От страницы к странице в антологии все определеннее ощущается подтекст иного рода — неудовлетворенность, неуспокоенность. Строки В. Красова «Я скучен для людей — мне скучно между ними!» отзываются в лермонтовском «И скучно, и грустно, и некому руку подать...». Написанное Андреем Тургеневым в начале века «Рыдай, рыдай, что ты живешь!..» резонирует с элегическим протестом, иначе не скажешь, Ивана Тургенева в середине столетия: «Мы недовольны нашей долей — но покоряемся... Судьба! И над разгудной, гордой волей хочю хохотом хохотом раба».

И у Пушкина, Рылеева, Лермонтова элегия словно бы доходит до границ своих возможностей, становясь обличением. Не случайно их имена, как и Батюшкова, Вяземского, Полежаева, Ростопчиной, перешли из книги элегий в антологию русской поэтической сатиры. Другой путь из элегии — в романтическую поэму. Декабристская эпоха с ее молодой по духу тягой к историзму нуждалась в своем эпосе, и, родившись, он приобрел характер Книги судеб. Романтический «Кавказский пленник» был создан прежде, чем многие из друзей Пушкина оказались на Кавказе. Рылеев, обмолвившийся в одной из элегий: «Я увлечен своей судьбою, я сам к гибели бегу...» — в те

же последние свои годы пишет поэму «Войнаровский», ее герой — политический ссыльный в Сибири, любимая, казачка, разыскивает его в просторах Якутии... Не примечательно ли, что откровенно романтизированный исторический персонаж Войнаровский, его судьба оказались столь близки соратникам казненного Рылеева, перечитывавшим его поэму в «Стране метелей и снегов»...

Читая «единые книги», созданные разными авторами, мы словно бы восстанавливаем их жалькую реальную цельность. Полежаев и Кюхельбекер, Ширинский-Шихматов и Бестужев-Марлинский, Хомяков и Лермонтов... Писатели одной эпохи, но разных, порой далеких творческих установок, в антологиях они соседствуют, контактируют. Да так ведь и было: поэты дружили, враждовали, спорили, читали друг друга, а значит, в той или иной мере думали и переживали вместе.

В. Лобачев.



**АНАТОЛИЙ ЭФРОС.** Продолжение театрального рассказа. М. «Искусство». 1985. 399 стр.

Трудно определить жанровую принадлежность этой книги. Театральные мемуары? И да и нет. Потому что с главой «„Женитьба“ в Миннеаполисе» соседствует глава «Все то, что связано с Чеховым», а после нее идет глава «Грудные минуты». Исповедальное эссе? Тоже и да и нет, потому что присущая этому жанру свободная композиция в книге А. Эфроса то и дело перемежается по-режиссерски жестко сконструированными главами, в которых речь идет и о принципах современного театра, и о необходимости творческой дисциплины, и об актерских человеческих качествах характера.

«Я отдаю себе отчет, — пишет автор, — в том, что искусство может быть разным. Можно грациозно притворяться и не скрывать того, что ты притворяешься, как, допустим, в комедии дель арте или у Брехта. Можно существовать в роли, как существовал в роли царя Федора Москвин. Можно и еще как-нибудь иначе. И все равно искусство — это вовсе не то же, что мастерство. А что это — я не знаю. Знаю только, что это что-то остается в тебе и становится частью твоего дыхания».

«А что это — я не знаю», — можно сказать и относительно жанра, в каком написана книга заслуженного деятеля искусств РСФСР Анатолия Эфроса. Одно очевидно: в целом это весьма достойная проза с элементами публицистики, она с интересом прочтется многими людьми, чье повседневное бытие куда как далеко от театра. Тем, для кого театр — праздник. И они знают, как нелегко реально существующий театр превращать действительно в праздник! «Иногда в работе наступают немилые трудные периоды. Все рушится. Теряешь веру в себя. Помню по крайней мере несколько таких моментов. С такой силой проваливался в собственных глазах, что казалось — трудно будет подняться.

Чудом удавалось собраться на новой работе, увлечься ею и восстановить творческие силы...»

Этому веришь потому хотя бы, что театральная проза Эфроса очень конкретна: рассказы о конкретных работах с конкретными актерами над конкретными произведениями конкретных авторов.

Эфрос убежден, что любое театральное действие должно направляться режиссерской рукой, иначе иссякает власть определенных художественных идей, актеры становятся неуправляемыми, спектакли — эклектичными, единый строгий вкус сменяется борьбой разных вкусов. «Тогда уже нет театра, — делает вывод автор. — Есть учреждение, дающее ежедневные спектакли». Развивая этот тезис и одновременно нисколько не приукрашивая фигуры режиссера, Эфрос пишет, что режиссеры нередко бывают неумными, неумелыми, деспотичными и тогда это ужасно. Но опаснее другой тип режиссера: «Это человек бесхребетный. Бессмысленный, слабый, лукавый, малоталанливый». Жестко сказано? Зато справедливо.

Приемы и методы режиссуры полезно, в сущности, знать руководителю любого ранга — от бригадира до министра. А поскольку в зеркале сцены и — добавим — в зеркальце кулис многое видится выпуклее, ярче, чем в повседневном нашем бытии, книги о своем деле, написанные ведущими нашими режиссерами, привлекают многих. Потому что расширяют кругозор и учат не поучая.

«Наша режиссерская и актерская профессия чрезвычайно сложна. Нужно знать огромное количество тонкостей, чтобы научиться в конце концов производить прекрасное. Но как же при этом все-таки быть с новыми идеями? Нужны ли они? Или достаточно только очень хорошо работать?»

Во-первых, очень хорошо работать — это теперь, пожалуй, достаточно новая идея...»

Прервем цитату. Сказанное без претензии на многозначительность оказалось, как видите, применимо отнюдь не только к театру.

Из театральных рассказов Эфроса мы узнаем, почему так, а не иначе прочел он и поставил «Женитьбу» или «Живой труп», почему не все получилось в интересно задуманном спектакле «Дорога» по мотивам «Мертвых душ». Режиссер делится своим опытом проб, удач и ошибок, анализирует опыт других мастеров сцены, рассказывает об особенностях работы с зарубежными актерами, рассуждает о живом и мертвом театре, об искусстве и ремесле. И неизменно сохраняет неоднозначность интонаций, избегает назидательности. Это книга о работе — на примере театра.

В печати в последние месяцы (статьи М. Захарова, О. Ефремова, того же А. Эфроса в «Правде» и «Литературной газете») настойчиво повторяется мысль о необходимости кардинальной реформы театрального дела. «Продолжение театрального рассказа», как и некоторые другие популярные книги мастеров режиссуры, способствует принятию современных решений. Современные и своеобразные. Хотя как знать: произойдут эти благодатные пе-

ремены раньше, может, и не было бы некоторых невосполнимых потерь нашего искусства.

Владимир Станцо.



**В. М. ОСТРОГОРСКИЙ.** Осторожно: «Немецкая волна». М. «Искусство». 1985. 254 стр.

С конца 70-х годов усилилась антисоветская пропаганда, которую уже много десятилетий ведут западные радиостанции. Видную, иной раз авангардную роль в этом психологическом походе реакции против сил мира и социализма пытается играть радиовещание ФРГ.

Автор прослеживает историю немецкого иновещания с момента его появления в Веймарской республике до сегодняшних «кельнских голосов». Первые германские радиостанции, приступившие к вещанию на границу (в частности, так газываемое «Всемирное радио»), держались значительно правее доминанты внутренней общественной жизни, на которую в то время большое влияние оказывали коммунисты, социал-демократы, либеральная буржуазия. Немецкое радио почти всегда выступало как выразитель наиболее агрессивных и милитаристских кругов. Равнение на самые реакционные цвета политического спектра стало его печальной традицией.

Фашисты питали особую «слабость» к радио как средству обработки масс в духе крайнего шовинизма, расизма и антикоммунизма. Гитлер считал, что радиопропаганда «важнее террора» — в его понимании это означало наивысшую похвалу. Самая гнусная ложь, не знающая никаких моральных ограничений игра на низменных чувствах, постоянные провокации — такими были методы нацистской радиопропаганды, направленной вовне, в том числе и против народов Советского Союза.

Крах третьего рейха закономерно привел к дискредитации и осуждению всей системы фашистского психологического террора. В приговоре Международного военного трибунала фашистская пропаганда, направленная на подготовку агрессии, квалифицировалась как одна из форм преступлений против мира и человечности. Вполне естественно поэтому стремление современных западногерманских радиоинформационных центров отмежеваться от нацистской пропагандистской машины, демонстративно порвать с ней всякие внешние преемственные связи. Однако можно ли вполне принять на веру официальную боннскую версию о том, что иновещание ФРГ на социалистические страны уже ничто более не роднит с радиопропагандой времен гитлеризма?

Откатываясь под ударами советских войск, чувствуя надвигающуюся катастрофу, фашисты прибегали в своей пропаганде к довольно сложному маневрированию, заслуживающему в свете сегодняшней империалистической практики серьезного внимания. Они пытались сделать ставку на известные им противоречия внутри антигитлеровской коалиции. К концу войны стало меньше разглаговствований о «мировом

господстве немцев», о «превосходстве арийской расы», о Германии как «государстве-вожде». Вместо этого полились речи о «защите западной цивилизации от большевизма», о необходимости «дать отпор красной угрозе», остановить «врагов мира» и тому подобные. Уже после сталинградского разгрома Геббельс, предвосхищая будущих прозелитов «европейской интеграции», заявил о стремлении Германии к созданию «Европы товарищества и взаимоуважения». Нетрудно заметить, что чуть ли не вся эта лексика вскоре переключалась в идеологические арсеналы зачинателей «холодной войны», а сегодня продолжает без больших изменений использоваться такими кичающимися своей объективностью радиостанциями, как «Немецкая волна» и «Радио Германии». Тут и тезис о чудовищных советских вооружениях, побуждающих-де Запад к оборонным инициативам, и басни о конфликтах в советском обществе, призванные вселить надежду на близкий кризис социализма, и замшелая версия об отсталости советской экономики, на которую уповали в июне 1941 года гитлеровские агрессоры.

Что и говорить, нынешняя западногерманская радиопропаганда существенно отличается от вещания нацистского и донацистского периодов. О притязаниях на мировое господство, разумеется, нет и речи. Альфа и омега политической философии ФРГ — атлантическая солидарность, лояльность по отношению к Вашингтону, защита буржуазно-парламентского строя. Соответственно этому изменились и содержание передач, и методы прославления западных «ценностей». Грубый нажим на психику радиослушателя, свойственный нацистам, уступил место более изощренному и мягкому воздействию. «Лишь испарив воду информационно-оценочных высказываний, — пишет Острогорский о нынешних выступлениях «Немецкой волны», — можно получить кристаллы ее идеологии, ее пропагандистские установки».

Народы СССР и ФРГ, других стран самым непосредственным образом заинтересованы в очищении международного эфира. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, на который так любят ссылаться ревнители «ничем не ограниченной свободы информации», содержит обязательство осуществлять распространение информации в эфире в строгом соответствии с такими важнейшими принципами, как уважение суверенитета государств, невмешательство в их внутренние дела, поощрение доверия и уважения между народами.

Л. Истияев.



**РУССКАЯ АМЕРИКА В «ЗАПИСКАХ» КИРИЛА ХЛЕБНИКОВА. НОВО-АРХАНГЕЛЬСК. Составление, предисловие, комментарий и указатели С. Г. Федоровой. М. «Наука». 1985. 302 стр.**

В январе тридцать седьмого Пушкин подробно конспектировал «Описание земли Камчатки». Тогда же поэт получил одну из рукописей Кирилы Хлебникова: речь шла о российских владениях по ту сторону оке-

ана. Пристально вглядывался Пушкин в дальние дали отечества.

Хлебников пережил Пушкина на год с небольшим. Умер в Петербурге, хотя «центр тяжести» его биографии как раз в дальних пределах. Служащий торговой Российско-Американской компании много времени провел в северных широтах Великого, или Тихого, океана и на островитых берегах, где среди мшистых сопок и сырых, угрюмых ельников по-мужидки кряжисто угнездились бревенчатые поселения Русской Америки.

Стендаль назвал: путешественник, переписывающий все, что он прочел о стране, по которой он развезжает, может составить дневник в сто томов... И уже серьезно: путешественник, отмечающий только то, что он чувствовал, очень ограничен в своих возможностях. Он может обладать только умом, тогда как первый обладает ученостью... Думается, Стендаль вынул нечто общее в тогдашней европейской литературе путешествий. Если так, наш Кирил Тимофеевич решительное исключение из правила.

Хлебников не «переписывал», не тилился выдать «сто томов». И не давал волю эмоциям. То была деловая проза без бантиков. Суровая, как и проза существования Русской Америки.

Его книга, говорит С. Г. Федорова, «это не только замечательная по полноте и обстоятельности монография, но мудрый, теоретический, основанный на обширной практике труда; трезвый реалистический подход к материалу, добросовестное стремление понять психологию и обычаи коренных жителей Русской Америки, к которым он относился благожелательно, не впадая при этом в идеализацию». Труд не залетного вояжера и не департаментского верхогляда, а решительного и бескорыстного, повсюду нужного работника.

Можно верить аттестации. Она выдана исследователем опытным и строгим. Но, поверив, следует обратиться к тексту.

Не думаю, что любознательного читателя отпугнут статистические выкладки, расписания, указатели, таблицы. Мы не питаем балзаковской неприязни к тому, что создатель «Человеческой комедии» называл сухим и досадным перечнем фактов. Не всегда, но нередко нам внятно красноречие цифр. А в единстве с хлебниковским текстом они будят воображение ничуть не в меньшей степени, чем повести и романы «из жизни» Русской Америки.

Хлебников показал обиход мастерских и промысловой байдари, верфи и военного брига, скотного двора и артиллерийской батареи, лесной делянки в горах и огорода на щедрой земле, торговлю с американскими шкиперами. Он очертил житейские обстоятельства русских и креолов, алеутов и индейцев из племени колошей Короче, представил обыденность.

Материалы для комментариев добыты С. Г. Федоровой в архивах Москвы и Ленинграда, Перми и Кунгура. Терпение, усидчивость? Разумеется. Но этого мало. Азарт, несуетный азарт и молнии догадок. А сверх того как подарок судьбы работа, так сказать, на месте действия. Там, на Аляске. И потому в комментариях есть блестящие за-

душевно-интимного, личного. Они, эти комментарии, обладают достоинством подлинного исследования — самоценностью. Жаль, что такие, например, экскурсии, как нумизматический или библиофильский, не достались научно-популярной периодике. Так же как и некоторые объяснения к редким иллюстрациям. Хотя бы к поясному портрету Г. И. Шелихова, зачинателя Русской Америки. Или к акварелям корабельного живописца М. Т. Тиханова. Увы, нет портрета самого Кирила Хлебникова — доселе не обнаружен...

Издание книги члена-корреспондента Петербургской Академии наук К. Т. Хлебникова приурочено к двухсотлетию со дня его рождения. Читатель получил прекрасный источник постижения истории культуры как русского, так и североамериканских народов. Прибавьте вторую — пятую части «Записок», изданные в 1979 году, — и вот вам «река по имени факт». А впереди часть шестая, калифорнийская.

Юрий Давыдов.



**А. С. БЛАНК. Неонацизм — реваншизм. Мифы «психологической войны». М. «Мысль». 1985. 239 стр.**

«...Гитлер был великим человеком — ведь он так много сделал для немцев: ликвидировал безработицу, накормил голодных, построил автострады». Так ответила двенадцатилетняя школьница из ФРГ на вопрос о том, что она знает о фашизме. А вот что заявил молодой человек, принимавший участие в факельном шествии по улицам Гамбурга вместе с бывшими эсэсовцами: «В школе я вообще ничего не слышал о фашизме, но вижу, что сегодня в стране масса безработных, особенно молодежи. Число грабежей и воровство растут с каждым днем. Все это плохо. Говорят, что при Гитлере был порядок... Я за порядок, и мы наведем его!»

Неофашистская, реваншистская идеология внедряется сегодня в сознание всех слоев населения ФРГ. Но особенно часто жертвой «психологической войны» становится молодежь.

Разоблачению современных мифов о «рыцарях» гитлеровских «ваффен-СС», о «мучениках» советского плена, об «ударе ножом в спину немцам», о нацистском «государстве порядка», а также о многих других фальсификациях реакционной буржуазной историографии и пропаганды посвятил свою книгу доктор исторических наук А. С. Бланк

В годы фашизма в Нюрнберге в зале, где проходили съезды НСДАП, висел огромный лозунг: «Пропаганда помогла нам прийти к власти. Пропаганда поможет нам удерживать власть. Пропаганда поможет нам завоевать весь мир». Если в этих словах и есть преувеличение, то не слишком большое. Трудно переоценить значение тотального манипулирования массовым сознанием, которое применяли гитлеровцы.

Времена сейчас иные. Но приемы и методы из арсенала Геббельса остались на вооружении сегодняшних его последователей.

Вместо правды о фашизме и второй мировой войне гражданам ФРГ подсовываются пропагандистские фальшивки.

Статьи, книги, фильмы о фюрере — выгодный бизнес. На экраны вернулись картины лоббицы Гитлера Лени Рифеншталь — создательницы «арийского» документального кино, а провокационный по своему характеру фильм Й. Феста «Гитлер. История карьеры» официально рекомендован к показу в школах ФРГ. «Гитлер-полководец», «Гитлер — государственный деятель», «Гитлер в Париже», «Гитлер и женщины» — такими названиями пестрит серия книг «Третий рейх», выпускаемая для молодежи. В этом издании даже предпринята попытка вывести родословную современных вооруженных сил НАТО... гитлеровских войск СС, поскольку эсэсовцы «служили фюреру опорой в борьбе с большевизмом»!

«В современной Европе нет проблемы границ, есть лишь проблема мира... — подчеркивает А. С. Бланк. — Любителям военных авантур, апологетам третьей мировой войны необходимо твердо знать: июнь 1941 года не повторится никогда!»

К грозному 1941-му автор часто возвращается в своих мыслях: в том году он, двадцатилетний студент Одесского университета, добровольцем ушел на фронт Боец истребительного батальона Александр Бланк отстаивает родной город Одессу, участвует в обороне Кавказа. Затем тяжелое ранение. В начале 1943 года командование поручает молодому историку ответственное задание: лейтенант Бланк становится поллитработником и переводчиком в лагере для немецких военнопленных. В том, что бывшие «солдаты фюрера» начинали прозревать, была частица и его труда...

Спустя сорок лет, в 1983 году, А. С. Бланк поведал о своей деятельности во время войны на страницах «Нового мира». Продолжение этого рассказа читатель найдет в книге, которая, к глубокому сожалению, вышла, когда ее автора уже не было в живых.

Борис Хавкин.



**КОЛОКОЛА. История и современность. М. «Наука». 1985. 304 стр.**

Исторические свидетельства убеждают, что колокол и его звучание с давних пор были едва ли не символами славы и могущества России. Иностранцы, посещавшие Москву, описывали звучание колоколов как характернейшую примету русской жизни. Одну из самых замечательных картин написал Адам Олеарий, приезжавший в Москву несколько раз в XVII веке в составе посольства герцога Голштинского: «На самой середине площади в Кремле стоит чрезвычайно высокая колокольня, называемая Иван Великий... Рядом с этой стоит другая колокольня, для которой вылит самый большой колокол, весом в 356 центнеров, при великом князе Борисе Годунове... для звона употребляются 24 человека и даже более, которые стоят на площади внизу и, ухватившись за небольшие веревки, привязан-

ные к двум канатам, висящим по обеим сторонам колокольни, звонят таким образом все вместе то с одной, то с другой стороны. Но при этом нужно звонить осторожно, чтобы избежать сильного сотрясения колокольни и возможной опасности от ее падения; для этого наверху у самого колокола тоже стоят несколько человек, которые помогают приводить в движение язык колокола».

Комментируя описание Адама Олеария, один из авторов сборника «Колокола», В. Кавельмахер, останавливается на существенном различии между русским и западным звонами. Наряду с раскачиванием самого колокола русские звонари нередко применяли раскачивание его языка — это позволяло им разнообразить ритмический рисунок звучания.

Если многогранное искусство русского колокольного звона почти совсем исчезло (его былое художественное богатство охарактеризовано в статьях А. Давыдова и В. Лоханского), то колокольный звон, основанный на традиции западноевропейского карильона, нашел в нашей стране определенное распространение. Викторас и Гедрюс Купрявичюсы (о них тепло пишет в статье «Колокола в социалистическом городе» составитель сборника Ю. Пухначев) исполняют на колоколах произведения Баха, Бетховена, Чайковского и других композиторов. Эта музыка создает у слушателя совершенно особое настроение, вызывает очень светлые и глубокие чувства. Однако музыканту приходится подавлять в себе некоторое неудовлетворение, вызванное, с одной стороны, недостаточной чистотой звукоряда карильона, а с другой — неизбежным наложением звуков разных гармоний.

Совершенно иным предстает нам искусство русского колокольного звона. Русские звонари никогда не ставили целью воспроизводить конкретные мелодии, хотя это не значит, что к гармоничности сочетаний различных колоколов предъявлялось

меньше требований. О сложности подбора колоколов для звонницы рассказывает в книге статья, посвященная деятельности крупнейшего знатока колокольного звона К. Сараджева.) Насколько захватывающим может быть это искусство, мне довелось испытать не только как слушателю, но и как исполнителю. Многие, вероятно, помнят спектакль по пьесе А. Толстого «Смерть Иоанна Грозного» в Центральном театре Советской Армии. По ходу пьесы несколько раз должны были звонить колокола. На колосниках театра располагалась самая настоящая звонница. Мне предложили в этом спектакле звонить в колокола. Не сразу открылось, какого разнообразия можно добиться, если отнестись к своей «роли» творчески, какую гамму настроений и эмоций можно передать звоном, трезвоном, перезвоном...

Испытав подобное волнение, полнее разделяешь восторг М. Ю. Лермонтова от «согласного гимна колоколов», подобного «чудной, фантастической увертюре Бетховена, в которой густой рев контрабаса, треск литавр с пением скрипки и флейты образуют одно великое целое; и мнится, что бестелесные звуки принимают видимую форму...».

Ты поэтическое чувство  
В ребенке чутком пробудил:  
Ты страсть к гармонии, к искусству  
Мне в душу пылкую вселил! —

писала о колокольном звоне Е. Ростопчина (1811—1858). Нечто подобное, вероятно, испытывал в детстве при звуках колокола М. Глинка, который, по его собственному признанию, «жадно вслушивался в эти резкие звуки и умел на двух медных тазах ловко подражать звонарям».

Мы узнаем из книги об энтузиастах, стараниями которых восстанавливаются и возвращаются к жизни колокола, звонницы и куранты — те, что еще могут звучать.

**А. Майкапар.**



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Избранные произведения. В 4-х тт. Т. 4. 585 стр. Цена 1 р. 20 к.  
**Д. Орденберг.** Те памятные годы... 176 стр. Цена 30 к.

**Э. Тельман.** Речи и статьи. Письма. Воспоминания об Эрнсте Тельмане. Перевод с немецкого. 445 стр. Цена 1 р. 10 к.

**А. Эйсер.** Человек с тремя именами. Повесть о Матэ Залке. («Пламенные революционеры») 335 стр. Цена 1 р. 20 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**И. Матвеева.** Избранное. Стихотворения. Поэмы. 535 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Д. Мулдагалиев.** Избранные произведения. В 2-х тт. Перевод с казахского. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 366 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Я. Полонский.** Сочинения. В 2-х тт. Т. 1. 463 стр. Цена 2 р. 40 к. Т. 2. 463 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Ф. Туглас.** Маленький Иллимар. Роман. Новеллы. Миниатюры. Маргиналии. Перевод с эстонского. 687 стр. Цена 2 р. 70 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Воспоминания о М. Исаковском.** Составитель А. И. Исаковская. 350 стр. Цена 1 р. 60 к.

**И. Грекова.** Пороги. Роман, повести. 543 стр. Цена 2 р. 20 к.

**Г. Комраков.** На пути к человеку. Заметки писателя. 366 стр. Цена 65 к.

**Г. Матевосян.** Твой род. Повести, рассказы. Перевод с армянского. («Библиотека произведений, удостоенных Государственной премии СССР») 479 стр. Цена 2 р.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. Афанасьев.** Жуковский. («Жизнь замечательных людей») 399 стр. Цена 1 р. 80 к.

**А. Казанцев.** Клоночущая пустота. Дипломия. 448 стр. Цена 2 р.

**Р. Кашаунас.** Зеленеющие холмы. Роман, повесть. Перевод с литовского. 367 стр. Цена 1 р. 60 к.

**А. Лиханов.** Собрание сочинений. В 4-х тт. Т. 1. 607 стр. Цена 2 р. 40 к.

## «РАДУГА»

**Р. Най.** Странствие «Судьбы». Роман. Перевод с английского. 351 стр. Цена 2 р. 70 к.

**С. Пру.** Воскресные визиты. Романы. Повести. Перевод с французского. 334 стр. Цена 2 р. 20 к.

**А. Твердохлиб.** Звезда сезона. Сборник. Перевод с польского. 320 стр. Цена 2 р. 10 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Н. Глазнов.** Арбат. 44. Стихотворения. 125 стр. Цена 45 к.

**М. Ломоносов.** Избранная проза. 544 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Очерки народной жизни.** («Библиотека русской художественной публицистики») 507 стр. Цена 2 р. 70 к.

## «ИСКУССТВО»

**В. Белинский.** Избранные эстетические работы. В 2-х тт. («История эстетики в памятниках и документах») Т. 1. 560 стр. Цена 2 р. 70 к. Т. 2. 462 стр. Цена 2 р. 50 к.

**Государственная Третьяковская галерея.** История и коллекция. 447 стр. Цена 25 р. 10 к.

**Е. Марнова.** Современная зарубежная пантомима. 192 стр. Цена 90 к.

**Е. Нестеренко.** Размышления о профессии. 278 стр. Цена 3 р. 60 к.

## «НАУКА»

**Г. Анникин.** Эстетика Джона Рескина и английская литература XIX века. 319 стр. Цена 2 р. 10 к.

**В. И. Вернадский и современность.** 230 стр. Цена 2 р. 20 к.

**И. Галинская.** Загадки известных книг. 126 стр. Цена 45 к.

**Исследования «Слова о полку Игореве».** 295 стр. Цена 2 р.

## МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**И. Анненский.** Тихие песни. Рига. «Лиесма». 102 стр. Цена 30 к.

**И. Кашежева.** Лицом к истоку. Новые стихи и поэма. Нальчик. «Эльбрус». 216 стр. Цена 75 к.

**А. Каштанов.** Эпидемия счастья. Повести, рассказы. Минск. «Мастацкая литература». 239 стр. Цена 1 р. 20 к.

**А. Кушнер.** Дневные сны. Книга стихов. Лениздат. 87 стр. Цена 40 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103798, Пушкинская пл., 5.

Всёми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. Н. Крупин, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахний**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 21.05.86 г. Подписано к печати 02.07.86 г. А 11635.  
Формат бумаги 70x108<sup>1/8</sup>. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)  
27,03 уч.-изд. л.

Тираж 418.000 экз. (1-й завод 1 — 218.000 экз.). Зак. 1890.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103798, Москва, К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

В редакцию журнала поступают письма читателей с просьбой выслать отдельные номера «Нового мира». В связи с этим редакция журнала разъясняет, что у нее нет такой возможности. Журнал распространяется главным образом по индивидуальной подписке. В розничную сеть «Новый мир» поступает в ограниченном количестве.

*В последующих номерах  
1986 и в 1987 году «Новый мир»  
предполагает опубликовать:*

романы: Ю. Азаров — «Новый свет», Ч. Айтматов — «Плаха», части 2-я и 3-я, А. Ананьев — «Скрижали и колокола», А. Афанасьев — «Прощание с любовью», Д. Гранин — «Зубр», В. Орлов — «Аптекарь», А. Рекемчук — «Тридцать шесть и шесть», часть 2-я, Д. Апдайк — «Кролик разбогател», Г. Бёлль — «Женщины на Рейне», К. Кейси — «Пролетел над кукушкиным гнездом»;

повести и рассказы Б. Екимова, М. Колосова, В. Крупина, В. Маканина, В. Рослякова, В. Солоухина, Т. Толстой, Б. Харчука;

стихи Евгения Винокурова, Андрея Вознесенского, Расула Гамзатова, Юлии Друниной, Евгения Евтушенко, Алима Кешокова, Бориса Олейника, Роберта Рождественского, Давида Самойлова, Марка Соболя, Владимира Соколова, Николая Старшинова, Владимира Цыбина;

очерки и статьи И. Беляева, А. Бовина, Ф. Бурлацкого, Е. Лисичкина, В. Овчинникова, Ю. Черниченко, Е. Яковлева;

литературно-критические статьи, обзоры Л. Аннинского, А. Бочарова, И. Дедкова, И. Золотусского, А. Марченко, О. Чайковской;

из литературного наследия А. Ахматовой — письма, Н. Гумилева — стихи, В. Тендрякова — роман «Покушение на миражи», Н. Тихонова — стихи;

дневники кинорежиссера Г. Александрова, воспоминания В. Берестова о С. Маршаке, А. И. Микояна.

Первый номер 1987 года посвящается памяти А. С. Пушкина.

*Подписка на журнал «Новый мир» принимается без ограничения всеми предприятиями «Союзпечати» и отделениями связи.*

*Подписная цена на год — 14 р. 40 к.*